АЛЕСЬ
АДАМОВИЧ

ЯНКА
БРЫЛЬ

ВЛАДИМИР
КОЛЕСНИК



Я из огненной деревни...


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.

Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».

Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии. Целые районы республики были недоступными для оккупантов. Наносились невиданные в истории войн одновременные партизанские удары по всем коммуникациям — «рельсовая война»!.. В тылу врага, на всей временно оккупированной территории СССР, фактически действовал «второй» фронт.

В этой книге — рассказы о деревнях, которые были убиты, о районах, выжженных вместе с людьми. Но за судьбой этих деревень, этих людей нужно видеть и другое: сотни тысяч детей, женщин, престарелых и немощных жителей наших сел и городов, людей, которых спасала и спасла от истребления всенародная партизанская армия уводя их в леса, за линию фронта…

- Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник
  - ○
  - ○ БАРБАРКА
  - ○ МАТЬ И СЫН. СЫН И МАТЬ
    - ■ 1
    - ■ 2
  - ○ ГОРИТ РАЙОН
  - ○ Я ТОЖЕ ИЗ ОГНЕННОЙ…
  - ○ ТРИДЦАТЫЙ
  - ○ БЕЗ ДЕТЕЙ
    - ■ 1
    - ■ 2
  - ○ МУЖЧИНЫ
    - ■ 1

- 2
- 3
- 4
- 5

○ СВЫШЕ ДЕСЯТИ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

○ ДВЕ СТАРОСТИ
- «Головка его болит…»
- Деревня это или хутор — Баканиха?

○ КНЯЖЕВОДЦЫ
○ ЗБЫШИН
- 1
- 2

○ ВЕЛИКАЯ ГАРОЖА
○ ДИТЯ БЕЖИТ БОРОЗДОЮ
○ …ТЯЖЕЛО МНЕ БЫЛО ПОД ЗЕМЛЕЙ
○ ПОЦЕЛОВАТЬ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ…
- 1
- 2

○ АКЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ЭКСПЕДИЦИЯ…
○ ЗВЕРЬ ОХОТИТСЯ НА ЧЕЛОВЕКА
○ ЧИНГИСХАН С ТЕЛЕГРАФАМИ
○ «СЕЛЕКЦИЯ»
○ БЕЗЫСХОДНОЕ ГОРЕ
○ НОВЫЕ ДЕТИ
- 1
- 2

○ НЕ МОГУ… НЕ УМЕЮ…
○ КОПАЦЕВИЧИ
○ РАЗЛИТЬЕ
○ ПАМЯТЬ
○ ХАТЫНЬ И ХАТЫНИ
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114

Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник
Я из огненной деревни…

Про фашизм человечество знает, кажется, все. Пепел миллионов — жертв его стучится в сердца людей.

И все же кое-где пытаются снова и снова обелить эту чуму XX века — в глазах новых поколений, которые сами не пережили ужасов второй мировой войны. Вон сколько «научных трудов» печатается на Западе про Гитлера и его свору, сколько книг и статей, авторы которых, кто как может, стараются придать «человеческие» черты нацизму, память народов подменяя реваншистской тоской генералов, бывших приспешников фюрера.

Однако есть она, живет народная память — неподкупная память о фашизме гестаповском, концлагерном, хатынском. Суд народов не закончился в Нюрнберге. Он продолжается — в памяти народной. Суд этот необходим не только во имя исторической справедливости. Он живым нужен. Тем, кому угрожают будущие «фюреры». Неспроста говорится, что тот, кто не помнит своего прошлого, осужден пережить его снова.

И потому так важно, жизненно важно, чтобы на весь мир звучала народная память, правда о фашизме.

Хатыни — деревни, сожженные, убитые вместе с людьми, — горячая, жгущая болью и гневом правда и память Беларуси. Жителям свыше двухсот наших разрушенных в войну городов и более девяти тысяч сожженных деревень, многие сотни которых уничтожены вместе с людьми, — есть что сказать всему миру. Не только о том фашизме, который видели и другие страны, но и о том, который они увидели бы, если бы фашистам удалось приступить к «окончательному урегулированию в Европе»…

Более двадцати миллионов человеческих жизней стоило это советскому народу — поломать тот «окончательный план», вырвать победу из рук изуверов-расистов.

В этой всенародной борьбе решающую роль сыграла преданность своей Родине, человеческое мужество партизан и подпольщиков, всех тех наших людей, которых фашисты могли только убить, но не способны были превратить в рабов. Сотни тысяч советских партизан и подпольщиков (в Белоруссии — более 440 тысяч) и миллионы тех, кто был для народных мстителей резервом и тылом, — это помешало гитлеровцам осуществить во весь размах «Генеральный план „Ост“», согласно которому

десятки и десятки миллионов одних только славян были осуждены на уничтожение.

Однако «план» действовал, жестокость расистов всей своей, неслыханной в истории человечества, тяжестью обрушилась прежде всего на детей, на женщин, на немощную старость…

«Я из огненной деревни…» — документальная трагедия, книга-память, живой голос людей, которые были сожжены, убиты вместе с семьями, вместе со всей деревней и которые — живут.

Послушайте же, что говорит, как помнит об этом народ.

Десятки километров магнитофонных записей — рассказы более трехсот непосредственных свидетелей хатынских трагедий и составили содержание этой книги. Тысячи километров дорог — асфальтовых, проселочных, лесных — связывают их, жертвы фашистских зверств. Живут они, эти чудом уцелевшие люди, по всей Беларуси, в тех 147 деревнях, в которых мы отыскали их, Свидетелей Правды, объездив на протяжении 1970–1973 годов тридцать пять районов республики.

Деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, у нас, конечно, значительно больше. Но не везде нам удалось найти непосредственных свидетелей. А записывали мы только тех людей, что *на себе* испытали страшную судьбу своих односельчан. Немало приходилось видеть и таких убитых деревень, где не осталось *ни одной* живой души. Только старые деревья, все еще черные, обгоревшие, колодезный журавль, трава, покрывшая дороги…

На страницах этой книги собрались люди, вышедшие из огня, из-под земли. И это — в самом реальном, не переносном смысле. Люди из огненных деревень собрались тут, чтобы свидетельствовать, спрашивать, судить, чтобы рассказать о том, что знать — страшно, а забыть — опасно.

Свою задачу мы видели в том, чтобы сберечь, удержать, как «плазму», невыносимую температуру человеческой боли, недоумения, гнева, которые не только в словах, но и в голосе, в глазах, на лице, удержать все то, что, как воздух, окружает человека, который рассказывал нам, а теперь, со страниц книги, обращается к читателю — к вам обращается. Так пусть же и вам будут адресованы слова, услышанные нами на многострадальной Витебщине от женщины из деревни Латыгово Ганны Грибовской:

«…А что у нас такое горе было, как и в Хатыни, дак никто и не знает. Хорошо, что вы приехали, потому что я ж сама… Вот и рассказывать не могу — плачу…»

БАРБАРКА

Полесье. Брестчина. На восток от города Ивацевичи. Июнь 1970 года.

Озера Лес, перелески Буйная зелень лугов и полей. То солнце, то моросящая облачность, то снова погромыхивания и ливень.

Вместо деревни Краспица — просто лес, уже немолодой И памятничек у дороги людям целой деревни. Вместо Тупичиц и Вяды — ни лес, ни поле, ни луг…

Где были Типичицы, там стоят одинокие груши и чуть ли не до ужаса необычные, обгоревшие дубы, что будут доживать свой долгий век уже без людей. Сюда мы, сойдя с лодки, от озера добирались по глубокому песку, здорово затвердевшему после многих нынче гроз.

То место, где была прежде деревня Вяда, а теперь — лесок, трава и остатки деревьев, которые когда-то росли в садах и на улице, мы видели издали, с пригорка, на котором стоит одинокий обелиск со словами и цифрами

Потом снова было озеро Бобровицкое. Несказанно ласковая серость теплой, почти совсем спокойной воды. Сплошь — пена после недавних барашков, бело-пестрыми на теплой серости полосками. Мы возвращались на стремительной моторке, над нами тарахтел вертолет геологов, знакомых председателю колхоза, который водит нас по этим местам.

Там, где прежде были Бобровичи, теперь растут молодые березы, буйствует трава. Из-под кочки выскочил заяц Пустырь.

В новых, построенных на новом месте Бобровичах мы опять, как и в других селениях, как и вчера и позавчера, записывали рассказы уцелевших.

Высоко вверху — над светлой комнатой колхозной библиотеки, в которой мы слушали людей, над новой большой деревней, над всем этим озерно-лесным уголком западного Полесья — до самых космических орбит торжествует наша победа, в мире назревают новые опасности, идет борьба за то, чтобы они отступили.

А внизу, в глубинах народной жизни, в животворящей простоте ее точатся раны памяти, которые ничем не заживишь…

Вот и еще одна из этих народных ран.

Рассказывает Барбарка, шестидесятилетняя Барбара Адамовна Слесарчук. Говорит со странной и жутковатой усмешкой — будто страшную сказку, необычайно далекую, пережитую очень давно. Говорит временами почти совсем как

сказительница — нараспев, с повторами, что не кажутся лишними, и по-местному — на трех или четырех языках одновременно: белорусско-украинско-русско-польском.

«…Это как нас били? Били… Даже тяжко рассказывать…

Хозяина прежде убили. Зажгли в клуне… Я так переболела. Четверо детей, пятым была беременна… Запалили часов в пять, под вечер. Немец пришел, выгнал Один мой хлопец скотину пас, а трое со мной. Моя хата была тогда дальше, где теперь колхозный двор. Немец пришел, выгнал. Собрались мы в хате, баб пятнадцать. Бабы сидят, как бы овцы, в хате. Думали: може, немцы только мужиков побили, а женщин не будуть бить.

Одна, Остапова мать, говорит:

— Нас живых запалят. Не захотел нас лобыты немец. Живых попалит.

А я вышла из хаты:

— Утекаймо, женщины, утекаймо!..

А две девочки у меня и мальчик. Оны, бабы, не схотели утекать, а я и пошла.

Немцы стояли, кругом сэло цепью обняли, тут цепь там цепь, и по селе ходили немцы. Так много. Я вышла на кусты в Богатье. Я не думала жить. Я не думала жить, а думала, куб[1] он не глядел, куб нам от так черепа поснымало, куб мы свою смерть не видали.

— Бежим туда, куб мы не видали смерти! Где пуля в затылок или в плечи, — говорю, — нам попадет, то легче нам, а то так трудно дожидать вот, чтоб нас убили. Вот, чтоб мы видали свою смерть…

Никто не схотел, никто не схотел, а я взяла и сама побежала. Я побежала, начали бежать с Остапова двора, нашего суседа. От того суседа побежала, а уже людей пулеметом секут, и с того конца и с того люди, падают, падают… Уже и ноги мои не побежат, куды уже мне бежать — взяла я, под сараем легла.

Так сарай и так сарай, и так, а я легла за колодцем. Детей поукутывала лебедой, поукутывала, вот и лежу я, и лежу… А уже немцы там или полицияны, только воды напьется да: „А-а-ах!“ — скажет. А я лежу, лежу, лежу… Пули свистят, летят. Ну, меня убило! Слышу: не, ниц[2] не больно. И лежу, и лежу…

И вот дети мои. Мальчик — два года было Василю. Не заплакал! Маленький: два года, неделю было на третий.

— Мамо, — говорит, — утекаймо, утекаймо! Нас, мамо, не убьют!

— Ох, говорю, сынок, сейчас бежать перестанем, откинем ноги в ту сторону и в эту, расстанемся с белым светом, святое

воскресенье. Зара[3] поубивают, зара.

— Не, мамо, нас не убьют!..

Это ж два года! О, он и сегодня слесарем у меня на ГРЭСе работает. Такой человек!.. А та девочка, шести лет, говорит:

— Вот видишь, мамо, даже мальчик каже, что нас не убьют. Убегаймо!

Вот и побежали. Под сараем легли…

Вот так, темнеть стало. Как огни, лампы зажигают. Лежим. Немец один сарай подпалил. Спичкамы. Еще один — вижу я — спичкамы. В синей одежде два немца стоят. Лежу, лежу, лежу… С детьми лежу, лежу и — молчат! Это так вот — абы мне не погибнуть или что?

Малый хлопчик и не заплакал! О!.. И так вот лежу! А там горит крыша. Сгорела. И немцы стоят, двое. Будто столбы синие. И стены начали гореть. И начала уже земля гореть. Это у самой земли трава та начала гореть. А я в середине лежу. И студова мне печет, и студова. Это благодаря, что, бывало, ткем сукно из овэчок, валяное. Так, было, пальто надела. А если б я в кофточке была — сгорела б. Только платок скинула — косы все обсмалились. А тут вот мое пальто шкварыцца, горит, а я его то песком, то так. Девочка — четыре года — визжиит! — спэклася. А я уже то так, то так. От-от-от погыбаю! От я погыбаю. А воны стоят, немцы. Не хотела, чтоб убило меня лежачую. Вот тянет меня немцу показаться, чтоб меня уже это убил. Уже нема спасенья — печет. Нехай, думаю, убьет. Только встану на немца идти — о, два стоят, — дети завизжали, а я — бух, упала. Так и лежу. Упала уже я и лежу.

И так вот помаленьку, так вот и гляжу: чи воны пошлы, чи не. Уже начало вот-вот гореть полымя, и оттуда, и оттуда. Смотрю это — ушли, ушли немцы. А я еще минуточку полежала, думаю, нехай дальше отойдут. А я за одежу всех детей, как взяла и дернула дальше, в конец огня… У-у-у!..

Лежим на лужке Остаповом. Уже так вот трясло, трясло сильно нас, о!.. А я уже думала: „На всей деревне одна я осталась“. Давай я уже браться за детей, то однэ сюда посадила — два года, а то — четыре года девочку — сюда, а там еще сзади идет. Пошла, пошла, пошла…

А куда вот я?

Вот, на выгоновскую дорогу целюсь, к Выгонищам. Куды мне, думаю, деться? Моя мать из Выгонищ. Думаю: там у меня дядька е. Може, возьмет меня? Потому что и добить могут нас, уже думаю, в нашей деревне. Може, надо уже нас повыбить. „Партизан!..“ Може, засчитали уже, что в сороковом году в колхозе были. Говорили же на нас: „коммунист!..“ Може, нас за

это добивают. Вот!..

Уже взяла я, пошла, пошла к Выгонищам.

Не дошла.

Сяду где-нибудь на пенек… Иду, иду… Как упаду — как полетят мои дети через голову все! „А-ах!“ — только голову почешут. И не плачут. Вот горе узнали!..»

В рассказ женщины врывается очень недавнее воспоминание. Сегодня утром в городском поселке Телеханы услышанные слова. Скупые, мужские. Колхозник-пенсионер Андрей Евхимович Куратник говорил:

«А сын у меня остался. В трупах. Мать моя, когда расстреляли, упала на него и так немного закрыла. Ранили хлопца в бок. Отполз он метров пятьдесят от ямы и заснул. Назавтра пришли — еще пять выстрелов по яме дали. А он столько дней пролежал в стожке. Девять годов было. Не пивши, не евши. Партизаны нашли его, мне сообщили…»

Тетка Барбара говорит дальше.

«…Дошли мы до Выгонищ. Уже воскресенье. Другое воскресенье наступило, та неделя прошла. Пришла я, а уже моего дядьку, моей матери брата, застрелили.

„Вот, думаю, и пожаловалась, вот он меня и пожалеет…“

Жена дядькина и говорит:

— У-у-у, уже так тебе, може, и не надо жить на свете, уже тебе самой в огонь надо бежать. Детей у тебя много, да ты беременная еще — куда тебе на зиму глядя!..

Сами в лес выезжали, хоронились, а меня не брали. А я в той хате лежу да уже, как мы по-старинному, помолюсь:

„Дай мне, господи, сладкий сон! Или уже, если жив я останусь, или чтоб я не слыхала, чтоб я уже погибла с этими детьми, заснула уже навек…“

Вот уже партизаны вышли оттуда, с Березины, сильный, сильный отряд. Из Вяды был знакомый человек, поговорил со мной, поговорил:

— Не бойтесь, говорит, не допустим немцев, чтобы вас убивать…

Дождались мы другого воскресенья.

— Вот, тетко, — говорю я дядькиной жене, — мне сон какой снился Плохой, плохой! Я уже, кажется, по дворам ходила. Хлеба насобирала сумочку. Иду, иду, в глазах почернело. В одну хату зайду, а пять обмину и опять зайду. Так жалко, что столько своего хлеба много покинула. Да хозяина, да скотину. Лошади не было,

быки были. Три коровы были: две коровы и телка. На Хотеничи погнали, на Ганцевичи, в ту сторону. Наплакалась я, нагляделась… Вот как!

Ну, моя тетка, дядькина жена, говорит:

— А мне хорошо спалось…

Вот, честно вам говорю, женщина! Щепочек тех не дает — сварить. „Иди в кусты“, — говорит. Вот люди какие есть, господи! Вредная была, богатая, сильно богатая! Чугунка просишь — чугунка не даст.

В Красницу ходю уже, мэду наносила я, и табе, и сабе. Уже думаю: „Нехай меня пчелы… Може, помру“. Ей-богу. Обмотаюсь в какое-нибудь тряпье. А мэду, мэду, мэду было!.. В ведре несу, несу, несу из Красницы. Это, когда ее спалили. Я уже себе туды пройдусь. Може, убьют. Если не убили, то не убьют. А уже три дня, как добивать кончили. Уже я мэду наносила и уже себе квартеру ищу. Мы уже неделю сидели там, уже она, дядькина жена, говорит:

— Ищи квартеру. За тебя, недобитка, чтоб и нас не побили немцы…

У Лобановича квартеру нашла, у Алексеевой матери, у бедной женщины нашла.

Думаю себе: „Пойду я картошки, хвасоли принесу“.

Пошла я за теми продуктами, пошла себе в Красницу.

А дети тама, в Выгонищах.

Несу я, до горы дохожу — ую-юй! — уже Выгонищи горят! Уже горят Выгонищи, с палимёта строчат! Выгонищи го-о-рят! Сильный такой ветер, что человека с ног валит. Они зашли от Бобрович, с того конца, от моста. Уже ветер — и ка-атит! Через десять хат кидало огонь.

Я плачу.

— Уже мои дети руки мне опростали. Где мои дети?.. Уже побежала я в Березину, куда все люди побежали. Нашла одну женщину, говорю:

— Може, моих детей видали? Говорит:

— Видали. Побежали. Это Настя на плечи Василя посадила, понесла в Березину, далеко!..

И я туды. Искала, искала, може, с двенадцати часов, нашла — уже солнце заходило. Нашла я. И своих, и Вартановых детей нашла, пять штук. Уже нашла, сарай сгорел — картошки напекла, накормила их, тех чужих и своих…

И вот я думаю, куда мне деваться!

Пошла в болото. Сижу. Уже нашла спички, надрала лыка лапти плести и сижу я там в Надлеве, от Выгонит километра три, от Бобрович — четыре. Я уже нашла, где с мужем косила, где

наши покосы. Уже не могу, так мне обидно… Уже думаю: пойду под чужие стожки, очень мне жаль… Где косили, где гребли с мужем сено…

Пошла под чужие стожки. Сижу.

Уже давай картошку чистить. А тут как раз немцы бегут!.. Люди кричат, кричат на болоте.

Думаю:

„Чего это они кричат? Это так, може?.. Може, мати детей потеряла, може, дети мать потеряли да ищут?..“

У-ух! Как вылетают ко мне два полициянта. Выскочили из-за куста, за меня — цап! Уже меня взяли. Да уже моего хлопца — восемь годов:

— Сынок, где твой батька?

— Нема, убили батьку моего. Уже убили немцы Романа моего.

— Паночек, я сама с голоду, с холоду загину, только вы меня не убивайте. Я не хочу, чтоб вы меня убивали. Нехай я сама пропаду с детьми…

Он говорит:

— Где больше люди?

— Побежали к лесу.

— Иди на телегу! А сами ушли.

Если б я пошла на ту телегу, к тому бобровицкому полицаю, что всех добивал, что показывал, где кто схоронился, — он застрелил бы меня, убил бы. Сильно бобровицких людей он убивал. Я-то не попала к нему. Они ушли за кусты, а я — тоже за кусты. Вы меня не видите, а я вас! И я на такой те-е-мный побежала луг — такой луг, что камыш там, папоротник, всего там… Я туда побежала и лежу. там. Лежу уже. Они всех людей высбирали, уже тихо стало…

Только партизаны бежали. Бежали партизаны, моим детям мяса вареного дали. Наелись мои дети — воды!.. Уже этот, которому два года:

— Воды, воды, воды, воды!..

А вода повысыхала, може, на метр, негде напиться Темнеет. Уже этот мальчик, которому восемь лет…

— Возьми, — говорю ему, — мочи своей в чугунчик Напоили.

— Не, — каже, — мамо, невкусная вода. Иди ищи вкусной воды! Иди!..

Нема нигде воды. Плакал тот, плакал… Легла я. И спички е, огонь развел бы. Ой!.. Дай воды… — плачет. Я вот честно говорю вам. Выкопала такую ямочку, выкопала во. „Как на сырой земле человек полежит, думаю, то умрет“. Повыдирала мох, повыдирала. Потому что малые: „Как же я вас прокормлю, как

одену?..“ Вот я ямочку выкопала в болоте до самого торфа, все мы ц нее и полегли. Вот уже заболеет, воспаление возьмет, уже его и не будет на свете, хоть один руки мне освободит…

И вот живет! Даже ни чуть-чуть не заболел!

И вышла я опять с того болота.

— Пошли, говорю, дети, в Телеханы, нехай нас добивают.

Дети не схотели.

— Куда хочешь, мамо, нас в свет веди, только не пойдем к тем немцам и полицаям!..

В Великой Гати квартеру нашли. Стали палить и Великую Гать… Это уже я тогда в партизанах была. Сидела, сидела, сидела, траву сушила, деток травой укутывала. Здоровье потеряла, ревматизм достала. Вот как!..

Детей порастила, порастила. Пошли по государской работе всюду. И дети по свету, а я — себе… Вот спасибо, пенсию дают уже. Овец доглядала, тысячи овечок выходила, десять лет на ферме стояла. Дети работали.

Вот все свое страдание пересказала. Може, я и лишнее что сказала? Я неграмотная. Извините…»

МАТЬ И СЫН. СЫН И МАТЬ

1

Минская область, Копыльский район. Рулёво — даже и деревней неудобно назвать: три хаты на опушке, поселочек, однако и он отмечен памятником жертвам еще одной карательной экспедиции 1943 года.

Лизавете Иосифовне Кубрак шестьдесят шесть лет. Женщина немощная, с клюкой. Расказывает вроде спокойно. Предупредила только: «Не бойтесь, если я буду вскрикивать от боли: у меня отложение солей…»

«Говорят, что едет карательный отряд. Из Песочного много людей сюда приехало, укрыться. А они, немцы, ехали не по дороге, а болотами — хотели захватить всех Приехали, нашли, значит, много чужих людей А эти люди решили, что если едет карательный отряд, дак мы скажем, что из этой деревни. Было большое гумно колхозное, а земля тогда уже была разделена, дак они решили, что мы это все молотим тут. Пошли наши мужчины молотить туда, и эти пошли, из Песочного.

А немцы, как приехали, дак в каждом доме спрашивают семью, жителей дома. Мы помещались у тетки, у нас своего дома не было. Муж, сын и я. А у тетки было две дочки.

Мой муж с сыном тоже пошел туда молотить. В гумне люди хотели спрятаться по норам, но не успели. Немцы открыли двери. Кто успел цеп схватить, тот — будто молотит, а кто и не… А в домах они, немцы, спрашивали: „Где мужчины?“ А моя тетка говорит, что молотить пошли. А две из Песочного, учительницы они были, сидят на печи. Я уже им сказала: „Хоть бы вы что вязали…“ Немцы спрашивают:

— Где хозяйка? А тетка говорит:

— Это у меня две дочки, и еще племянник с женой живет, а у них — сын.

— А эти кто две?

Она говорит, что это люди из Песочного.

— А чего они у вас тут? Она говорит:

— Тут мои девчата, и они приехали с прялками. Что ж иначе говорить?

Они ко мне:

— Где муж?

Им мужчины нужны были. Я говорю:

— Молотят там, в гумне.

— Пойди позови. Я пошла, позвала.

— Партизан? — спрашивает. А он говорит:

— Пан, какой же я партизан? Вот спросите у хозяйки, мы совместно живем.

А были немцы, и были полицаи.

— А это кто? Он говорит:

— Это из Песочного. Вот у тетки дочки, они — подруги, дак они пришли к ней.

И немцы у мужа спрашивают:

— А когда они пришли? Он говорит:

— Сегодня.

А те говорят:

— А мы тут уже целую неделю живем.

Уже не одно пошло. Им верят, а ему нет. А березовая палка здоровая, лучше, чем у меня во, да с набалдашником. И давай они его бить… И столько били, что прямо он черный весь был. А тот палку в сторону отставил и другому говорит:

— Застрелить.

Вижу я, что беда, давай просить:

— Пан, это неправда — они сегодня пришли. Пойдите вы поглядите: они из Песочного, ко всем понаехали, не только к нам. В некоторых хатах по двадцать человек, по пятнадцать, и кони стоят запряженные, и в гумне много…

Они и пошли глядеть.

И пришел уже вечер.

У тетки дом большой был, и их собралось человек пятьдесят. Наносили соломы. А мы на кухне поместились. На полу около печки посадились и мы, и возчики, что их привезли. Я у одного этого человека и спрашиваю, у возчика:

— Дядька, где они, что делают? Дак они говорят:

— Ничего.

А другой говорит:

— А, в Песочном? Одну девочку убили и дом спалили…

Ну, у меня уже мысль плохая, если они так сказали.

Долго не ожидая, приходят и спрашивают по-польски:

— Где господаж?

А он же сидит рядом со мной. Он говорит:

— Я.

— А ну вперед!..

Поскольку они говорили, что застрелят, дак я ж и посчитала, что берут застрелить. Он поднялся и говорит:

— Прощайте все. Куда забрали, не знаю…

Погодя видим — детдом горит. Думаю я: видать, туда его завезли. Там убили…

Еще тихо было назавтра, а я все чувствовала, что будет плохо.

А там у нас сарайчик был, где стояла телка и кабанчик. Дак я говорю сыну:

— Идем туда. В случае чего, дак мы в лес.

Не успели мы дойти туда — уже выстрел получился.

У нас была в сене, в сарайчике, нора пробита, — дак сын говорит:

— Мама, я полезу туда. — Потом я говорю:

— Не, ты лучше лезь наверх, а я — за тобою.

Он лезет, а два немца входят как раз… Дак я его — за ноги. Лопочут они черт их знает что. А я им говорю:

— Пан, я даю есть корове.

А они говорят по-немецки. И давай нас толкать, сына и меня. Так вот сарайчик наш стоит, а так вот — то гумно большое, где они молотили, мужчины. Уже двери открыты. И стал такой большой снег идти! Дак они, немцы, один за него, а другой за меня. Втолкнули в то гумно. И дали два выстрела. Сын побежал, а я упала. Так упала, не ранили. Мне не больно. А в сына, видать, попали, что и не ойкнул. Такая мысль у меня мелькнула…

Вопрос: — А сколько ему лет было?

— Четырнадцать лет было.

Стало гумно гореть… А там семь хозяев складывались. Снопы. Дак там все перемешано… Как я упала, дак еще и соломы на себя натянула. Когда солома стала гореть, дак я думала, что я лежу у стенки, под оконцем, через которое шел приводной ремень молотилки. Подымаюсь к этому оконцу и гляжу — они стоят. А впереди постройка горит, и это же гумно горит… А там еще из гумна в поднавес, где молотилка, большое окно, и оно колючей проволокой перекрещено. Попробовала я один виток — еще вот раны остались — один виток был с гвоздем, дак оторвался, а другой — с пробоем — никак. Все — не вылезешь! Да если б это человек нормальный, а то ж весь…

И в этот момент мой сын:

— Мама, ты живая? *(Плачет.)*

Я говорю:

— Живая.

Он вырывается бежать. На нем был кожушок, он сбросил. И шапка горит на нем, и пинжачок горит… *(Плачет.)* Набрала я снегу, стала тереть, его тушить. А он вырывается бежать. А я говорю:

— Сынок, еще стоят!..

Вопрос: — А вы уже вышли из гумна?

— Не, в гумне. Ветер клонит, двери открытые, снег большой кидает, а мы у самых дверей…

В тот момент они отходят, эти немцы, потому что многие

постройки горят и на них — дым большой.

И мы за ними выходим — вот так, как от меня до вас Как они могли не оглянуться? Судьба какая-то есть на свете… Навес около гумна незакрытый. Гумно сгорело, а навес остался. И мы зашли туда. И только крик слышали, стрельбу большую и крик…

Сын может бежать, а я не. „Мамочка, ты — раненая“. А я говорю, что не. Ну, откуда ж кровь? А у меня эта рука порванная была вся. Не чувствовала я. Ну, он может бежать, а я — не. Там было такое дерево большое, срезанная елка. Снегу много надуло. Он меня тянет хоть в эту елку, в снег. Ну, куда ж он меня дотянет! Четырнадцать лет было. Дак я говорю:

— Сынок, спасайся, а мне уже все равно как будет…

Дошли мы еще дальше, полежали там немного, в яме, где песок брали. И вот в этот лесок, сюда. Этак вот с утра ходили мы, день, ночь ночевали… Он же тоже раздетый, только пинжачок на нем. На мне была теплая кофта такая, дак я ее сняла и на него надела. Дитя. Ходили мы, ходили, куда пи пойдем — немцы… Их нема, но они нам все равно в белых халатах показываются. От страха. Под утро петухи поют. А выйдем на край леса — немцы… А их же не было! Только люди приходили, трупы собирали, а их — не было… И уже так все доходит, что только спать — и все. От холода. Спать. Но я знаю, что как сядем — все… Лапок наломаем, на снег положим, я сажусь, а его беру на колени. Как он только засыпает, дак я его вот так вот… *(Показывает, как будила.)* А только сучья на деревьях трещат да падают. И того мы пугаемся…

Под утро вышли на край, и куда ни поглядим, всюду нам — немцы ходят…

Мужа моего они не убили. Взяли на подводу, чтоб показал, где Свинка, деревня такая. Там были эти „самооборонцы“. И там, в Свинке, моя мама родная жила. А они еще хотели туда, где там где-то Кошачий Брод есть, чтоб он туда вел. А им сказали, что не езжайте, потому что вас ночью убьют партизаны. И тут они мужа отпустили. И он пошел к моей маме. И мама его оттуда не пускала, потому что уже наше Рулево горело…

Грицто уже мама мне рассказала, когда мы с сыном в Свинку пришли.

Мама говорила, что мой муж, когда он ушел оттуда, из Свинки, глядеть, живые ли мы, дак говорил: „Если их нема, дак и я не вернусь…“ Женщина одна в чулках только по снегу из Рулева прибежала и сказала, что видела, как нас повели, и слыхать были два выстрела, а куда мы подевались — неизвестно… Он костей наших поискал и не нашел…

А мама моя запрягла коня и в Рулево приехала. Он плачет, а мама говорит:

— Они живые, они пришли уже до нас!

Потом мы жили у мамы. Я была черпая, темная. Больше года была ненормальная. „Немцы, немцы!.“ Куда я ни пряталась, куда я ни ходила — всюду немцы были… В белом, в белом… Нагнувшись ничего не могла делать, только стоя. Гречку на телегу подавать… Получился у меня менингит, гипертония, и так — всю свою жизнь мучаюсь…

А сын вот уже в этом месяце девять лет как помер. Мой Ростя. Шестеро внуков оставил… Они в детдоме, четверо младших…»

2

В Новом Селе Борисовского района, на Минщине. **Михась Николаевич Верховодка** рассказывал о том, как весной 1944 года убивали его родные Буденичи.

Михаилу Николаевичу сорок лет. Он был один в хате, однако по рисункам, наклеенным на стенке, здесь ощущалось присутствие детей. Впрочем, он и сказал нам после, что это дочка так хорошо рисует.

Человек характера мягкого, чуть ли не с женской лаской в голосе. Может, потому и помнит все так подробно. Как женщины. Рассказывал охотно, будто, наконец, дождавшись случая.

«…Два дня дождь лил… Ну, тут все вышли… Есть ни у кого не было ничего, голодный народ был. Посадились, солнце пригрело — все тут и посадились на месте.

А я сидел, не задремал, ничего. Известно, еще ребенком был. Гляжу: немец идет. Я только сказал:

— Ай, немец идет!.. Большой идет, с автоматом.

Моя сестра была. Брата убили тут же, на месте. Как я сказал: „Немец идет!“ — дак сестра — дала драпу в лес. Тут нашлась еще невестка — она тоже в лес. А дети — за нею.

Ну, а мы только повставали все. Стоймя стали.

Корова была привязана Он дал очередь в то место. Попало этой корове. Корова эта — по лесу. И повалилась. Как начала ногами… Пока она кончилась.

Он надумал — и ракету вверх — жах! Тут их аж черно стало. Повыбежали из лесу, окружили нас полностью, со всех сторон. Ну, хлопцы такие были — крест[4] во на рукаве и в черном одеты были.

Нас построили. Начали издевательства. Мужчин отдельно построили, а баб — отдельно. И начали лупцевать этих мужчин.

— Где ваше, бандиты, оружие?

Сюда подставит, под бороду… Карабин или черт его там знает. А я за юбку у мамы держусь. Я ж уже немного ладный был, первый класс кончил уже.

Так этих мужчин били, сколько им надо было, метров пятьдесят отогнали, лег пулеметчик… Минометчики легли с боков.

А у меня еще детский разум был — глядеть, как мина летит. Один лежит, а другой зайдет со стороны — швырь! Я видел это — мина летит и плюх там, свалится, туда, в березничек. Я то место знаю и теперь. Только теперь оно изменилось, конечно, много лет

прошло.

Побили этих мужчин — бабы наделали крику. Пулеметами побили — куда ж они на чистом лугу денутся? Три пулемета. Как косанули! Там и мой брат был, Василь. Жена его с нами была и дети.

Прилетает один сюда, этот немец. Хотели нас в березничек, тут уголок один остался. Какой-то старший подъехал и говорит: „Нет!“ Или как он там сказал. Они изменили план. Как стали из миномета бить — два хлопца идут. Молодые хлопцы, може, им тогда по семнадцать было, по восемнадцать. Нас пока оставили. Тут плач. Тут дети эти плакали…

А я не плакал, как-то держался. Интересовался просто… И знал же, что на смерть иду!..

Добре. Занялись этими хлопцами. Били их, сколько хотели. Известно ж, люди при силе, а тут — бессильные. В этот березничек, где нам надо было лечь, этих хлопцев… Так вот как-то положили и прострочили их.

Сейчас подошел ихний этот, какой-то старший, видать, и говорит:

— На Буденичи! Ну, нас погнали.

Мы немного отошли, и этой нашей невестки старший хлопец прорвался. А младший, Генка, тот остался. Вернулся сюда, где нас брали.

А меня как брали с места, то там постилка была завязана: хлеба краюшка была. Я завязал за плечи. Дак он мне сказал:

— Сынок, не бери, он тебе не нужен. Я на месте это и бросил.

Прогнали нас метров пятьдесят — выбежал ребенок. Шел сзади конвоир. Говорит… Старушка сзади шла, дак он ей говорит:

— Приведи его!

Пацаненка того. Она пошла. Если б умная старуха, дак она б за этого пацаненка да в лес. Черт бы за нею побежал. Мы тут начали б разбегаться. А она пошла, за ручку того ребенка и привела сюда, в колонну к нам. Идем дальше. Мать мне говорит:

— Сынок, лезь в куст.

— Мамочка, — говорю я, — штыком как даст!.. Пырнет все равно.

Я уже разбирался. Десятый год мне был. Или уже одиннадцатый. Я девяти лет в первый класс пошел: маленький был какой-то.

Добре Я не полез в куст. Пригнали нас в землянки. В первую землянку пошли старухи какие-то. Мы отошли метров тридцать — уже эти первые — др-др-др! Горит. Кто в другую пойдет? Столбом стали люди. А у них палки были — или они повырезали, или им давали такие, черт их знает. Лупцуют сзади там…

Гляжу: моя мать первая пошла в эту землянку. Ну, раз мама пошла, должен и я. Я за нею второй — шмыг Она как шла — были две переборки, поленца такие. Ктото картошку ссыпал, что ли. Она легла туда так вот как-то. *(Показывает.)* А я сел. Тут еще старушка… Или они вкидывали их — кто знает. Мы не видели. Може, моей маме первой попало, дак она и шмыгнула сюда… Налезло, налезло, налезло людей — дети и бабы старые. Я сел, и мне думка такая — тюк в голову: „Я знаю, что убьют дак нехай с мамой убьют“. Он только стал в дверях Что-то там стал копаться в автомате. Начал он лязгать, а я в этот момент — шусть за маму. Так вот лег и слушаю, как в меня будет пуля… Еще не разбирался, — думал, что она будет, как червяк, точить, эта пуля. Може, я так минуту полежал. Он — др-р-р! — начал стрелять. Пострелял… Только у нашей невестки, — а брата там убили, на лугу, — был дитеночек малый на груди привязан, дак тот только „ку-ва, ку-ва!“ — закричал…

Все. Кончилось.

Приносит солому сюда, в эту землянку. Солома, слышно… Я ж то живой. Солому — шарах сюда и запалил. Дым этот тут пошел. Лежу я так вот, зажимаюсь. Сгорела эта солома.

— Е.т.м., не горит!

По-русски сказал. А так — лопочут по-немецки.

Добре. Сгорела солома, отошли, минуты две — гранату сюда. Граната эта разорвалась. Тут все это — поленья, бочка какая-то лежала, железяки — все на нас выворотило. В двери он туда попал. Те, что были убитые, тех поразрывало. Другую они вбросили. Но это я уже мало слышал. Как выстрел какой-то, как пистолетный. Я еще услышал это. Мать, не знаю, слыхала или нет…

Добре. Пролежали… Сколько мы там пролежали?.. Я слышу: мать дышит, живая!.. Я уже ее прошу:

— Мамочка, не дыши. — Так страшно ребенку, что я говорю: — Мамочка, не дыши.

Добре. Тут подходят, посчитали это: „Айн, цвай, драй, фир, зекс…“

Тут девки едут… Коровы мычат. Кажется, встал бы и пошел, если б только не трогали… Они отступали это уже. Немцы. На Усохи ехали. И полицаи с ними. Коровы мычат, девчата поют вовсю..

Вопрос: — А что за девчата?

Откуда же я могу знать? Я лежу. Я только услыхал, что земля — дух-дух-дух, дак я пробовал вставать. Мать не вставала. Я встану, только слышу: земля — дух-дух-дух.

Я говорю:

— Мамочка, идут уже опять!

Я все страху нагонял ей. И сам боялся… Я расскажу вам еще одно… Это я пропустил. Подходит до землянки этой, где убитые, говорит:

— Тут мины наведены.

А мне, малому, думалось, что это они еще и мины при этом навели. Я слышу. Какое ж тут расстояние? Я глядеть только не могу: не пошевелюсь никак. Это немцы не заходили, ушли. Сейчас приходят два немца еще. Люди побиты, гранатами. Все. А они там что-то — ляп-ляп чем-то. Железки… И сами с собой: „Гер-гер, гер-гер…“ А дыхание-то мы не сдержим! Я лежу так вот носом в землю, а мать немножко боком лежала. Где ж тут сдержишь дыхание! Они задержались как-то долго. „Ляп-ляп-ляп!..“ Мать возьми да чихнула… И один услыхал.

— Что-то дышит!.. — то по-немецки говорили, а то — по-русски: — Что-то дышит!

Другой чем-то, я не знаю, железо какое взял или палку, и засекли, в каком месте кто-то дохнул.

Мать эту катают… Ну, я за матерью вот так вот шевельнулся.

А другой говорит:

— Е.т.м., кто тут может дышать? Смотри — руки, ноги валяются, кто тут может дышать?..

Вопрос: — Так они то по-немецки, то по-русски говорили?

— Между собой по-немецки, а эти слова сказали по-русски.

Добре. Я это слышал, малыш, лежу. Сейчас же они шмыг отсюда и ушли. Страшно им стало, что ли?..

Тихо стало. Все. Забегут, поглядят… Те, что ехали позже. Возчики это, что ли?

Лежим мы. Стало вечереть. Это к обеду было, когда нас оттуда, с места, взяли. Стало вечереть. Они, наверно, пост оставили в Буденичах, пулеметчика или двоих. Ну, и несколько партизан нарвалось на этот пост. Они тоже тогда, хлопцы эти, шли насмело и нарвались. Завязалась драка. Такая драка, что эти самые немцы — все оттуда начали в Буденичи садить.

А мы лежим. Все боялись это. Мама моя уже тут опомнилась. Говорит:

— Сынок, вылазь!..

А они опомнились, стали из пушек бить, из Усох или из Икан там.

Как попадет снаряд, сынок, дак и убьет нас. А у меня в памяти другое:

— Мамочка, они ж мины навели!

Я уж слыхал, как они говорили. Я ж не разбирался, что это за мины такие и как их наводят. Говорю: ~ Мамочка, они — мины…

Я взорвусь…

А она:

— Лезь, сынок, снарядом попадет — то и убьет.

Ну, я и вылез. По этим людям — граб, граб, граб — и перелез. Стал у косячка и гляжу, а немцы эти бегут. „Гер-гер-гер…“ Сюда это. Уже темновато. Фонарь вот такой повесят, ракету — видно, хоть ты считай… А я у косячка спрятался, у землянки, и стою. И говорю:

— Мамочка, скорей! Мамочка, скорей!..

Ну, мамочка постарше, разлежалась… „Поднимусь, — говорила потом, — и повалюсь, поднимусь и повалюсь…“ И мокрая. Мы ж мокрые от дождя. Потом расшевелилась.

Как только она вылезла — дак я и побежал. Просто ни страху никакого… Где ж тут — уже утекаешь да будешь бояться? Побежал и как раз попал в жито. Метрах в двадцати. В полоску жита. В жите я уже жду.

— Мамка, скорей! Мамка, скорей!

А она ползет да ползет… Я пожду ее и дальше. А она меня и догонит. Выскочили мы опять на этот луг. Выбежали на пойму — видно: ракету эту повесят. А пулеметы режут, автоматы!..

Она говорит:

— Убьют. Я говорю:

— Все равно уже, побегу я. Если ж меня убьют, дак ты сиди тут!..

Я и побежал, как клубок покатился через эту пойму. Добежал до лесу… И уже тревожусь, боюсь. Как раз попали мы на это место, откуда нас брали… И почему как раз сюда пошли?.. Пождал я мать, прибежала мать. Постилки, все раскидано… Нашла она тут, на этом месте, круглый котелок, сухарей, може, пять нашла, и соли такую вот торбочку. У кого-то осталась. Она взяла. А я все пищу:

— Мамочка, быстрей! Мамочка, быстрей!

Из страху такого вырвавшись.

Добре. Куда ж нам идти?.. Лес чужой, а ночь уже настала, темно Метров, може, пятьдесят, а може, больше мы прошли. А потом легли и спали вот так.

Еще ночью, как мы шли, дак крот бугорок нароет, а мне уже казалось, что это — мины… Говорю:

— Мамочка, мина!

Мы обойдем его, этот бугорок. А потом легли под елочкой Просыпаемся, уже обед — столько мы спали. Добре. Я уже стал говорить:

— Мама, есть хочу!

Дак она мне — сухарь. Я его немножко похрупаю. А куда

идти — не знаем, куда идти. В лес, чтоб только в лес, чтоб на край не попасть нигде.

Вот прошли мы… А тут партизаны. Подходим.

— Откуда вы? — говорит.

Дак я уже говорю: так и так, от немцев утекли.

Они нам влили крупени немножечко, такая вот, сечка. Мы уже совсем другие люди стали: мы уже горячего попробовали. И зашли мы на Горелый Остров…

А потом и армия наша скоро пришла.

Ходили мы с мамой и плакали Там, где убитые, в Буденичах. Сказали нам, что и брат мой убит…»

ГОРИТ РАЙОН

В музее городского поселка Октябрьский Гомельской области можно увидеть такие цифры:

«Перед войной жителей в Октябрьском районе было — 32 тысячи
В конце 60-х годов — 25 тысяч»

Нечто подобное расскажут вам и Минщина, и Витебщина (бывшие Логойский и Бегомльский, Россонскии и Освейский районы), и другие места Белоруссии.

Выполнять свой план «обезлюживания», «освобождения жизненного пространства на востоке от населения» фашисты начали с первых дней войны

По особенно зловещий размах это приобрело на исходе первой военной зимы на Октябрыцине

Гомельскую область мы выбрали для записей в 1971 году потому, что лето было тогда сухое. Знали по Брестской и Гродненской областям, где уже побывали, что добираться придется до самых дальних деревень оно, пусть и подсушенное, приподнятое мелиорацией, а все-таки — Почесье

Хотя и знаешь, что Беларусь — нефтяная республика, и уже не первый год, но, очутившись в тех местах, будешь снова и снова искать глазами вышки, огромные баки — такое все необычное здесь, среди густой полесской зелени.

Немного в стороне — обязательные газовые факелы.

Знаешь, что это дорогая, «нерентабельная» красота, а не смотреть — не можешь.

И смотришь по-особенному: своими, но уже и не только своими глазами. Такое ощущение, что ты уже видел это полыхание под полесским небом, но в те годы — ночное, тревожное… Один из нас партизанил как раз на Полесье, но дело здесь не в его личной памяти, а в той памяти, которую мы собираем и с которой скоро и неизбежно сживаешься, как с собственной.

Люди из огненных деревень…

«Я не из этой, но тоже из огненной деревни», — сказала нам витебская крестьянка. И сколько их в Белоруссии, деревень, которые страшно, жутко породнил огонь! «Я — тоже…»

Не одному, пожалуй, человеку ночные отблески мирных газовых факелов нефтяного Полесья не дают заснуть. Потому что

видится тогда и такое:

«…Снаружи подожгли нас. Вот взяли так, брызнули на этот клуб — и этот клуб пошел гореть. И вот один наш… Он в окно, в раму как дал и вылетел с сыном. Сын был вровень с ним. И еще женщина… Они, как летели ключом через это окно, дак немцы по ним очередь выпустили — те, что у железной дороги лежали. Они бежали все, как гуси какие, ключом, так они все и полегли, эти люди. А я сзади, из окна выпала, и тут канавка ж была, и кустики были такие…»

(**Тэкля Яковлевна Круглова** из городского поселка Октябрьский.)

«…Подожгли Ковали. На этом моменте. И мужчины эти позалезают на крышу, смотрят и видят, как ловят детей и бросают в огонь…»

(**Матруна Трофимовна Гринкевич** из деревни Курин Октябрьского района.)

«Тот край деревни занятый, а наш еще свободный. Мы и пошли на поселок, что у самого леса. Потом в ольшаничек. И тут нас, може, баб пятнадцать лежало, в этом ольшанике. Уже упали и лежали. Не видели, как они жгли, как убивали, только слышно — сильно кричали, народ кричал. Не слышно, что она там одна говорит, только: „А-а-а!“ Только голос идет, идет голос. А потом и все — онемели…»

(**Ганна Сергеевна Падута** из Лавстык Октябрьского района.)

«…Я отползла так, може, метров сто от деревни и лежу в жите… Я далековато была от них, оттуда, где их там жгли, — метров, може, четыреста… Лежу я и слушаю, а их там из автоматов — та-та-та-та — строчат, строчат из автоматов, как завели уже в хату… А потом вижу — горят уже хаты, и деревню всю осветило. Видно стало, а уже темнеть собиралось… А потом, когда утихло все, я тогда в жите встала, вернулась на свою усадьбу и позвала, може, где кто есть. А никто не отзывается, только скот ревет, да коты мяукают, да собаки лают…»

(**Катерина Даниловна Крот** из Лозок Калинковичского района.)

Это все в наших людях очень уж близко, и звать не надо, на самом кончике памяти:

«Когда так все тянется, — говорила нам женщина в деревне Костюковичи Мозырского района, — думаешь, может, это уже

кончилось. А как снова, вот так напомнят… Кажется, что снова начинается…»

Те тысячи километров, которые молодой шофер Коля Сулейка накрутил на колеса обкомовского «газика», пока мы ездили по Гомелыцине, если перенести их на карту, вытянутся в ломаную линию, на концах и углах которой Гомель — Речица — Калинковичи — Мозырь — Лельчицы — Петриков — Копаткевичи — Озаричи — Октябрьский… И если это считать стволом дерева, то ветви и ветки его — уже те деревни, куда нам и надо было все все время «ответвляться»: Горваль — Глыбов — Первомаиск — Крынки — Лиски — Алексичи — Лозки — Приоыловичи — Большие Селютичи — Тонеж — Копцевичи — Новоселки — Великое Село — Лучицы…

Особенно много таких деревень вокруг Октябрьского — более тридцати.

«Фильтрация», «акция», «экспедиция» — по-разному оно называлось в разных районах Белоруссии, но означало одно: массовое уничтожение населения, запланированное заранее.

И Гитлер и его подручные по разбою и расистскому каннибализму о многом говорили открыто. Но еще больше прятали до той поры, «когда можно будет» (после победы над главными противниками) приступить к «окончательному урегулированию».

Гитлер:

«Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок перед всем миром. Это к тому же вовсе не нужно. Главное, чтобы мы сами знали, чего мы хотим… Мотивировка перед миром наших действий должна исходить из тактических соображений… Итак, мы снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нем порядок и установить безопасность. Мы были вынуждены в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях сообщения и т. п. Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательно урегулирования. Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это, мы все же будем применять все необходимые меры — расстрелы, выселения и т. д.»[5]

И еще:

«Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества: она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас»[6].

Борман:

«Опасность, что население оккупированных восточных

областей будет размножаться сильнее, чем раньше было, очень велика… Именно поэтому мы должны принять необходимые меры…»[7]

Меры?.. Расстреливать каждого, кто хотя бы косо глянул! — кричит ефрейтор Шикльгрубер — Гитлер.

А Кейтель переводит это на генеральский язык приказов: «Фюрер распорядился, чтобы повсюду пустить в ход самые крутые меры… При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью…»[8]

И вот немецкие регулярные войска начали здесь, на Октябрыцине, реализовать ту удобную «возможность»: под видом борьбы с партизанами выполнять давний и главный свой «план».

Для военных и хозяйственников «удобно» было, что и партизан, как они рассчитывали, станет меньше, местность станет «чистой», доступной. Но главное — вообще меньше будет этих славян, этих белорусов, русских, украинцев… Еще в начале 1941 года, выступая в Вевельсбурге, Гиммлер изложил цель «русской кампании» в таких цифрах: расстреливать «славянское население» — каждого десятого, чтобы (для начала) уменьшить их количество на 30 миллионов[9]. Почему бы заранее, не ожидая окончательной победы, не начать на деле «снижать биологический потенциал» восточных народов? Дело это уже начато — в концлагерях и в лагерях для военнопленных. Перенести это и в деревни, откуда каждая нация черпает в основном «человеческие ресурсы».

«Согласно плану, — говорилось на одном из совещаний в ставке Гитлера, — предусмотрено выселение 75 процентов белорусского населения с занимаемой им территории»[10].

И «выселение» началось. С первых дней войны, оккупации. Массовое уничтожение и выселение людей из района Беловежской пущи, карательная операция «Припятские болота» в июле — августе 1941 года. Еще более жуткий размах приобрело это в начале 1942 года — в Октябрьском районе. А начали здесь — с деревни Хвойня. Правда, относилась деревня эта к соседнему, Копаткевичскому району, но на немецких картах якобы числилась за Октябрьским. И потому с нее начали. Расписание, инструкцию, план выполняли со зловещей педантичностью. Приехали и убили 1350 человек. За что? Потому что на их карте Хвойня — в Октябрьском районе. Так и объяснили это и полицаи, и сами немцы. Объяснения должны были поддерживать у окрестного населения веру, надежду, что уничтожают, карают «за вину», а не «всех подряд». Фашистам, понятно, не хотелось, чтобы люди

бросились в леса. Достань их потом оттуда! Вот и «объясняли». Убили Алексичи — большую деревню около Хвойников, и пустили слух: ошибочно, не ту хотели, а совсем в другом районе, а те, другие Алексичи — в самом деле «виноваты»! Уничтожили Лозки и опять: хотели Голявичи, ведь возле них партизаны поезд подорвали, к ним это ближе было. А здесь, в Лозках, ошибочка вышла!..

Не только их жуткие дела, но и эти идиотские «объяснения» лишний раз показывают, что и Хвойня, и Лозки, и Алексичи, и вся Октябрыцина, и сотни других деревень в других районах уничтожены, убиты за одну-единственную «вину»: в деревнях этих жили советские люди, которых «перевоспитать» в покорных невольников фашисты не надеялись. А потому главная задача — «выселять»! А что значило это — одной из первых испытала Хвойня, а за нею — почти все деревни Октябрыцины.

Было тогда в Хвойие более трехсот дворов. На их месте сейчас — шестьдесят. Новых. И люди в деревне новые. Беспорядочно рассыпались эти шестьдесят хат по песчаным пригоркам. По сыпучему песку мы идем к братским могилам, в которых похоронена бывшая Хвойня — 1350 человек…

Что с ними сделали, с этими людьми, рассказывают нам муж и жена **Репчики — Миколай Иванович** и **Вольга Пилиповна**.

«…Значит, рано мы встали и глянули в окно, — начинает Миколай Иванович, — как темная туча, они были на той стороне речки. Куда они едут, черт их знает. Много народу кинулось в лес, мужчины больше. Бабы с детьми остались. Ну, и мужчин осталось много. Что делается? Приехали они, охватили деревню, заняли с конца и гонят — и детей, и малых, и больших, и старых. Кто не может идти — из хаты не выгоняют. Остаются. Я тогда окалеченный был, мне перебило ногу, и я в гипсе лежал. Ну, думаю, что будет, то будет. Вижу, погнали людей. Мужчин отделили, и детей с женщинами. Мужчин загнали в гумно и запалили: я уже вижу, что огонь горит. Вижу, с горы гонят пачками женщин и детей. А гумно горит. То горит, которое дальше. А их гонят в другое. Кончили гнать сюда — раз, двери закрыли, облили бензином и подпалили. А мне все это из окна видно. Я говорю своей семье:

— Знаете что — кто куда! Не хоронитесь только в постройках, а где какие колодья или корчи. И в стога не хоронитесь, он подожжет, гореть будем.

Эти бабы что делают? Напугались. А у меня землянка была. Так вот — хата, а от хаты — так вот землянка. Я сказал им, а сам по их следам иду, потому что забыли очи обо мне, что и я тут.

Дак я взял тогда повод прицепил — была у меня веревка такая, — спустился с кровати, ногу так-сяк обмотал и пошел. Переполз я порог, смотрю, куда они пошли. Вижу — в землянку. Дополз я туда. Но уже к моей хате немцы не подошли. Так мы и остались.

Кто был где в хате, тех побили, горят в хате. Войдут в хату — люди лежат, а кто утекает — стреляют. Волы ходят, коровы ходят, свиньи пищат, а деревня горит. Людей нет, а стадо по селу гонят, скот повыгоняли.

Мужчин сначала по песку гоняли, потомили их, а потом уже загнали в гумно. Женщин гнали постепенно, пачками. А мужчин гоняли, чтоб ослабели они, чтобы не могли сопротивляться.

Жгли нас в сорок втором году, на провесне. Это эсэсовцы были. С черепами…»

У жены, **Вольги Пилиповны**, свой тон, своя всему окраска: очень живая, непосредственная у нее натура. Да, действительно, забыла она, тетка Вольга, своего мужика. И сама об этом говорит: увидела, что делается, а па руках — дети!.. Нет, она все же крикнула мужу, мужчинам, и совсем не женскими словами: «Такие-сякие, что же вы сидите-лежите, немцы ж вон!..»

— А у меня ж двое детей, одно — на руку, и другое — ча руку. Открыто скажу: и не гляжу на того мужика. Детей схватила — и про мужика забыла. А он пришел да ругается…

А затем мы долго слушали **Вольгу Андреевну Минич**, трагедия которой в тот жуткий день в Хвойне только началась. Продолжалась она уже не в Хвойне и не один день.

Курин, Вежин, Октябрьский, Ковали, Затишье… Мученический шлях Вольги Минич и муки тех деревень сплелись в один клубок. Через всю пылающую Октябрьщину прошла, пробежала, проползла она, спасая дорогого ей человека.

Теперь этой женщине немногим за пятьдесят.

А было в свое время и двадцать один. Была она счастлива своим замужеством, ждала первенца. И все было бы хорошо, нормально…

Было бы… Но была война, фашистская оккупация…

Женщина рассказывает.

Хозяйка хаты, тетка Репчик, которая вначале больше мешала, чем помогала своему медлительному «деду» Миколе рассказывать про тот мартовский день, а потом и сама, уже одна, спешила говорить, теперь молчит, полностью доверившись толковости младшей соседки.

Соседка говорит и, время от времени, не умолкая, плачет.

Хозяйка прошла тихонько за перегородку, в спальню, вернулась с чистеньким ручником и положила его соседке на

подол.

«…Две колонны идет в воскресенье: одна колонна, большущая, из Копцевич, а другая — из Лучиц. Эта колонна там, а эта — там, они сошлись, сговорились обо всем и стали идти в село. Поставили посты — прямо на десять метров один от другого. Всю деревню обставили. И тогда уже стали заходить в каждую хату.

И к нам зашли. Сколько нас было человек? У Микиты две девки, у нас… Восемь человек было в хате. И мы тогда тифом болели. Один только батька поправился, так вот у стола сидел. Они уже как вошли, дак все мы лежали вповалку. Они говорят:

— Тиф? — Да на старика… Как это? Ага: — Цурик, цурик! Одевайся, выходи!..

Еще он, бедный, собрался, пошел. Наша крайняя хата была.

Видим: соседка моя, Владимирова Катя, вынесла дитятко грудное, а он ей говорит, немец:

— Неси назад дитя.

Принесла она и в люльку положила, а этих деток взяла с собой. Которые побольше, могли идти.

И все идут да идут наши люди… И уже никого нема людей а только постовые стоят. А потом на подводах, возчики появились. Идут, открывают хаты, забирают, что там осталось в хате.

А мы с женщиной одной говорим:

— Выйдем за село, посмотрим, куда эти люди поделись.

Мы только начали идти, поднялись на горку, а уже люди там кричат и огонь появился. Человека три было в партизанах из Хвойни. Дак мы думали, что партизанские семьи жгут. Прошли мы дальше — не! Сильный вельми крик. Кричат люди так, что мы догадались…

Прибежала я в хату и говорю:

— Спасайся кто как может! Всех людей уничтожают!..

Бегаем мы по хате — кто хворый, а кто так притворился — а выйти — никак: посты уже кругом. Никуда из хаты не денешься — стоит под самым окном. Видим мы, что уже и возчики скрылись, и идут к нам четыре мужчины — высокие, и кости на них прямо нарисованы. Как шли — так и в хату.

Свекровь моя, мужева мать, выбежала из хаты:

— Ой, паночки!..

Хотела попроситься, а они ее под окном и застрелили. Из нагана. Мы увидели, что ее застрелили, так и подались все сюда вот, в одну кучу. А было у нас два человека, что и не могли идти, из-за тифа. Сильно больные тифом, не могли даже встать. Мы всех их на одну подушку постащили.

А они зашли в хату:

— Тиф? Тиф?..

Тут же сразу повернули назад.

А тут уже подожгли нас. Бутылка какая-то черная. И не поджигали — облили и загорелось. Закрыли дверь, выбили окно и давай сюда гранаты бросать. Бросили одну, другую, третью…

…Вот, соседка моя говорила, что как бросили в ихнюю хату гранату, дак они повскакивали босые и побежали… Они тоже в постели лежали. Дым же от гранаты этой, копоть. Как бросили четыре гранаты, дак она и побежала в этом дыму, успела крикнуть только:

— Детки мои золотые, кто куда, кто как может!..

И сама побежала, и дети побежали. По ним стреляли из пулемета, а вот судьба им, видно, такая — остаться, потому и остались…

Ну, бросили нам гранаты через окно. И горит мое тело все. Теперь позаживало, а тогда обгорела я много. Сначала граната первая Миките в голову. Подушки лежали, дак его этак подбросило — ноги вверх! А меня… во, осколком тута ранена. Вижу я, что где кто, побило кого, ранило, догорает уже… Господи!.. Я подтянула стол к окну, его на стол встянула, мужа, а после вылезла сама через окно. В хате, в огне — пока ты дойдешь!.. Я не то что, дорогие мои, я не думала, что буду жить, я думала, что вытяну его на двор — скорее нас добьют. Вся же в огне, вся обгорела, раненая… И попадали мы тут около окна. А тогда, как я его вытащила, как раз выгоняли скотину нашу. Сарай зажгли, а скотину не побили, всю выгоняли. Отвязали они ту скотину, идут, видят: старуха лежит убитая, и мы лежим, обгорелое на нас все…

Еще одна выскочила, мужева сестра раненая, с горячки выскочила, и дошла перед окном.

И лежу я там, и не чувствую ничего, уже и память потеряла. На некоторое время и совсем отключилась. Началось у нас в деревне в десять часов, а к нам в хату они пришли в час, а проснулась я уже на закате солнца. Помнила, что я живая, поднялась, пошевелилась, посмотрела, что и он живой, а соседка наша как утекала, дак выкинула узелок. А мое все погорело, все погорело…

Одна девка в хате осталась, а стреха как сгорела, как осела, дак она только: „Ы-ы-ы!“ — стонала там. Прохрипит. И опять… прохрипит… Долго доходила. Потому что она не ранена была. Долго хрипела, ей-богу. Уже вся хата обгорела, а она все хрипела…

Ну, я поднялась, поглядела, тут же два шага — и се хата.

Взяла я тот соседкин узелок, развязала. Ну, мы ж голые. А я чувствую, что тут я ранена, тут у меня вырвало. Развязала я тот узелок, нашла ему штаны, из подтяжек сделала веревку и подвязала их, полотенце нашла, перевязала ему тут. А ему граната упала вот тут под коленки: и вены, и все ему тут поперервала, он никак не мог встать. Дак я возьму вот так на одну руку положу и на другую и так его тянула. Тянула я три километра его на себе. Протяну, остановлюсь, а потом и обессилела, не могла тянуть. И такие чувства были, хлопцы, и такие чувства! Чувствовала я, что они будут идти… Я в кустарник его, наломала веток, сняла с себя одежу, то одеяльца два разорвала, половину себе на голову, а другою его укрыла. А потом я ту половину одеяльца, что на мне, еще раз пополам разорвала, подстелила ему, положила и пошла.

„Ну, думаю, еще километра два до отряда, доберусь туда, там дадут помощь“.

Командир отряда был Михайловский…

Сани дали, запрягли коня. И Михайловский приказал мне:

— Садись. А если будут они продвигаться сюда, немцы, дак ты тогда с лошадью не удирай, бросай лошадь, а сама — в лес, чтоб не поймали тебя.

Я попросила, чтоб мне кого-нибудь дали: надо ж ехать под Хвойню.

Поехали мы, моего взяли… Сейчас же ему и матрац с печи горячей, и валенки. Я и сама голая была, оборванная вся, кровь течет…

Положили его… Ну, я матрац тот развернула, положила его на сани и привезла туда, где отряд.

Вот был товарищ, спасибо ему!..

Мой ничем не владел. Не видели люди, дак думали, что он хоть как-нибудь помогал мне идти. Он приходил в память, приходил, ну, а когда на печку его положили, дак там какое-то зерно лежало. Бедный, так и подплыло то зерно. До граммочка кровь выскочила, все жилы порвались. Дак он все просил. Скажет два слова… Отключался все время. Приходил в себя, говорил:

— Хлопцы, спасайте меня, я вашим братом буду!.. — Ну и что. Уже назавтра партизанский отряд доложил, что движутся немцы на эту деревню. Куда мне? Меня отправили, дали мне партизаны подводу… Не дали, а прямо приказали людям отвезти меня в Курин. Там был тоже отряд, и Лаптейка был, врач. Чтобы сделал моему Перевязку, оказал помощь. Привезли меня туда, он посмотрел, говорит:

— Моя ты миленькая, он жить не будет. У него ни одного грамма крови не осталось… Одно. А другое, говорит, он еще так

три дня будет жить: сердце еще крепкое, не раненное, а кровь эта вся вышла. Вливание крови надо ему делать. А иначе — все. Ну, он говорит:

— Намучишься ты еще. Ну, пусть еще три дня ты будешь мучиться с ним…

Пока то да се, за пять минут вот доложили, что немцы в Долгих Нивах, и надо из Курина выезжать.

Пока я вышла, все люди до одного человека в лес убежали. Ну, движутся немцы, из людей осталась я одна в хате. Врач мясо то пообрезал с него, перевязку сделал, оббинтовал. Не знаю, что мне делать, не знаю, куда уже и бежать. И только уже вою, вою… Говорю: „Господи, лучше б я погибла в этом, в своей деревне…“ Не знаю, что и делать. Сижу.

Слава богу, бог принес мужчин хвоенских. Шел это Ромецкий Рыгор, Владимир Михалков… Много, много мужчин шло. Узнали меня, тут же мне помощь оказали. Побежали по дворам, нашли саночки мне. Положили этот мой матрац, положили его и довезли до Глебовых Полян. Немцев ждали в Курине, так меня уже дальше туда повезли. Довезли меня до Глебовых Полян, там люди были, но все начеку. Все это в лес выбираются. Переночевала я, мне советуют люди:

— Езжай в Вежин, там сорок дворов только, среди леса. Там немцы, может, и не найдут.

Заехала я в Вежин. Уже все люди были на улице. Они уже слышали, что Хвойню сожгли и в Курине побили, пожгли.

— Езжай, — сказали мне, — через поле, там будет деревня Грабники. Ты в ту деревню езжай, тоже деревня в лесу…

Только я отъехала от Вежина, ну до Грабников не доехала, как получилась стрельба в Вежине… Потом рассказывали люди из Вежина, кто живой остался, что вывели всех людей на улицу, посчитали, и вот так поставили в очередь. И через два, через три человека — одного сюда, другого — туда, одного — сюда, другого — туда. Две линейки сделали. Одну линейку повели в хату, подожгли, а эта стоит среди улицы. Коржичиха… она была с мальчиком и с девочкой. Девочка осталась при ней, а мальчика — в хату: в другую очередь его поставили. Из тех деревень, где людей пожгли, скот остался. Сорок человек их оставили, из Вежина, чтобы скот гнать.

Ну а я доехала до Грабников. В Грабниках тоже ни одного человека нема в хате. Проехала я через все село, некуда зайти… Одна женщина только. Пришла, каких-то коржей напекла, бедная, своим детям в лес. И говорит она мне:

— Мы уже третий день, как выехали. Как Курин сожгли, Дак и мы выехали из села. Все живем в этом, в лесу.

А у меня тетя была, родная мамина сестра в Октябре[11]. Я думаю: „Ну, Октябрь еще стоит“. Партизаны сказали, что немцы в Рабкоре, на станции. А еще в Октябре их не было. Поеду, думаю, туда, а уже пошло на третий день… на другой, правда, а я еще ничего не ела, не пила… Из Грабников я поехала на Октябрь.

Приезжаю я в Октябрь, это зимой, в три часа. Уже через два часа будет темно. Моя тетка, как увидела, что я обгорела и ранена, да моего мужика поглядела:

— О, господи, говорит, куда ты мне его привезла. Это же ты привезла мне, чтоб мою семью уничтожить. Немцы увидят и скажут, что партизана прячем…

Темнеет… Ей же богу, чтоб я не встала!.. Темнеет, а она говорит: „Иди!..“

Вопрос: — Она ваша тетка?

— Родная тетка, мамина сестра. Во люди как напуганы!..

Я говорю ей:

— Тетка, дайте мне платок вязаный, у меня ж из одеяла косыночка, разорвала на две, холодно. Я, говорю, доберусь куда-нибудь…

— А куда ты доберешься? Немцы тебя сразу же уничтожат. Куда ты с этим раненым доберешься? Ты вот езжай в лес, а то через него ты и людей погубишь…

Поехала я в лес. Еду, а куда — не знаю. Надоело уже. Думаю: „Хоть бы какой конец уже!..“ И силы нема. Была я беременная, два месяца до родов было. И такая обгоревши… Еду я, еду… Да, меня предупредили в Октябре, что в Рабкор не заезжай. Езжай лесом, кругом, а там казарма в лесу, путевые живут, рабочие. Пять семей, туды езжай на ночь… А в Рабкоре немцы стояли. То было расстояние от казармы… три километра было, а Может, и не было. Везу его санками, а он кидается, бедный, бредит, в горячке говорит. Доехала я это до казармы, вхожу — стоит на крыльце женщина.

— А моя ж ты, говорит, золотая женщинка! Не заезжай сюда, потому что наших мужчин уже побрали в подводы. Вчера, говорит, немцы побрали мужчин с подводами и сказали: „Если у вас, это, кто появится… Снежок чистый, и если тропиночка будет, дак это, говорят, у вас партизаны были. И вы их кормите. Чтоб ни следочка!“ — и говорит та женщина еще: — Они вот, немцы, только что поехали, на засаду поехали. У нас тут между Дёменками и Рабкором темный есть такой лес… Ну, дак на тебе, говорит, спички, и вот так езжай. Там гумно, и там разведешь огонь. Открыто не разводи, а то, говорит, немцы поехали туда, на засаду в Темное.

Ну, я уже взяла эти спички, ехала, ехала… Уморилась,

господи! — нигде мне не давали передохнуть… Тогда снег большой, большой был, и держало по верху, по сарачу[12]. Стоит елка. Я туда спустилась — под той елкой снегу нема, снизу они сухие, ветки, наломала я веток и уже развела огонь. И сижу. Что меня уже встретит — то и слава богу. *Не боялись смерти, нисколечко. Я уже думала, что всех подряд уничтожают, на всей земле. Уже и не боялись…*»

«Я думала, что всех подряд уничтожают», «Я уже не боялась смерти» — обратите внимание на эти слова Слова такие не раз будут звучать в рассказах многих, и они многое объясняют. Человек, видя такое, начинает думать, что уже всюду, «на всем свете» так…

«…Я сижу, ожидаю, уже немного и подремала.

А ему я в ногах огня разложила. А он весь холодный… Знаете, и живой, а весь вот так дубом подымается. Все потому, наверно, что, это, кровь вышла. Весь задубел, как надо согнуть, дак он — как деревянный…

Ну, это, сижу, а потом слышу шорох. Гляжу я: в белой простыни с винтовкой кто-то идет ко мне. Подошел так недалеко, к самому огню не идет. Спрашивает:

— Кто такой?

Ну, мне уже пришло в чувство, что по-русски говорит, а отозваться я не отозвалась: прямо отняло у меня язык. А я хочу подняться, а не подымусь. Он… видеть пошел… говорит: — Дентина, вот же рядом гумно.

А в гумне этом были партизаны. Он подошел, тот парко мне, взял мои санки. Сказал, что гумно уже вот рядом, что будем вместе. Притянул меня туда, дали мне мисочку, растопила я снегу, немного пропиталась. Есть-то ничего не ела, у меня уже засохло. „Ну, думаю, става богу, что я уже к людям прибилась“.

Ну, тут их командир дал команду собираться. И я хотела саночки прицепить к возу. Не разрешил тут командир, говорит:

— Нельзя. Мы поедем в разведку, узнаем, где удобное место на день, и тогда приедем, обогреемся и поедем вместе. А с нами теперь нельзя, отдыхай.

Я и подумала: „Я так уморилась… Если они приедут, дак чего ж мне? Я отдохну за это время“.

Говорит:

— Не туши огня, огонь пускай горит.

Огонь большой, большой!.. Эти поехали партизаны, а меня, дорогие, страх такой взял!.. Отъехали они метров тридцать, а я стала эти головешки выкидывать из гумна. Повыкидывала,

повыкидывала… Этот дым идет с головешек. Весь огонь этот затоптала. Снегу мисочкой заносила, затоптала огонь, в уголке села на санках возле него и сижу себе смело, уже не боюсь. Этак, может, час просидела. Факт тот, что скоро и день был. Слышу: говорят… Думаю: „Ну вот, зря я огонь разбросала, потушила. Едут уже мои друзья“.

Подъезжают верхом и на лыжах. Немцы!.. И головешки эти подкидывают ногами. Дым идет… Честное стово, не встать мне вот!.. Подкидывают эти головешки, гергечут, гергечут. Глядят, куда след, и этим следом, теплыми следами — за партизанами!..

Господи, а уже Октябрь горит!.. Когда я выехала из Октября, в ту же минуту немцы — туда!..»

Вольга Минич дальше потянула свои саночки, и мы с нею еще встретимся у других деревень, в другом лесу…

А пока нас задержит память **Тэкли Яковлевны Кругловой** — в поселке Октябрьском. Задержит, а потом поведет по другому кругу мук — в соседнюю деревню Рудню. Потому что *дважды в тот день* убивали эту женщину, а *она* осталась жить, одна из тысячи… Теперь ей шестьдесят пять лет.

«…У меня раненые, в моем доме лежали. Партизаны. Ну, стал калавур тут, около нас… Ага, летел самолет тут вот, на Бунёв, забрал этих раненых. Партизаны мне сказали:

— Ты смотри, отряд выбирается, и ты за отрядом езжай, а то тебя разорвут, как придут эти немцы.

Ну, а я так думаю: „Как же пойду я за ними, куда я пойду?“ Тут, говорят, обняли нас кругом, оцепили… Ну, я не пошла с ними и осталась дома.

Я не на этом месте жила — напротив завода жила. Так я выбежала в этот завод да в дымовую трубу полезла. Ну, полезла я, там сидят наши мужчины, в трубе той, четыре человека. Даже один партизан был, а три таких было. Муж мой на фронте, а детей у меня не было — дак я одна. Я в ту дымовую трубу. Посидела я там, и приходит, правда, сосед. Гриб его звали. Приходит и говорит:

— Вы, говорит, вылазьте отсюда, немцы ахвишки кидают и давать будут, это, нам чай и хлеб. Вылезайте, они такие добрые, говорят, закурить дают. Вылазьте отсюда.

Эти мужчины взяли и вылезли. Пошли они, а их там забрали да в клуб…

Я сидела, сидела в той дымовой трубе, а дальше, думаю, пойду я переберусь уже в свой сарай. А наши рабочие сарайчики все в ряд были за заводом. Как я уже к этому сараю подошла, так

и немцы уже там, скот пригнали и поставили. Меж тех сараев — целый табун. Ага, дак я думаю: „Пойду я стану около этих коров, что они пригнали“. А там уже четверо мужчин стоят, которые за теми коровами глядят. Дак я думаю: „И я погоню этих коров. Чтоб хотя меня не убили, чтоб они меня не узнали, что я этой хаты хозяйка“. Потому что они спрашивали много у кого и у меня тоже спрашивали:

— Вы не видели хозяйки вот этой хаты?

Это когда я бежала в завод прятаться. Дак я сказала:

— Она ушла уже, эта хозяйка, уже нема ее.

Тут я сама иду. Потому как страшно в той трубе, думаю, придут немцы, бомбу какую кинут, взорвут этот завод, и я тут погибла. Если где погибну, дак будет хоть свободней, а то в этом железе…

Пошла я в сарай свой — немец! Только я в сарай, ногу на бревно поставила, лезть на верхотуру, спрятаться от них, а немец ко мне! Дак я уже за эту свою коровку, выгнала ее и стала около стада, думаю, что меня не узнает, дак и я погоню этих коров. В Глуск они их гнали. А немцы подошли, забрали меня и погнали перед собой.

Я думаю, куда ж они меня гонят. Пришли в клуб и загнали меня туда. Ну, в клубе мы сидим, сидим…

Вопрос: — А сколько вас было в том клубе?

— Сто девяносто. Это мужчины так считали. Я уже взяла и говорю:

— Бабы, тут немцы нас побьют. — Ой, не-е…

И Гриб этот самый, что вызывал нас из трубы, тут уже был запертый. И я говорю:

— Еще этот Гриб приходил, было, и сына своего вызвал, и нас повызывал оттуда.

Дак он говорит:

— Не бойся, твой муж на фронте. Сказали, что у которых на фронте — тех не будут расстреливать. Только партизанские семьи будут. Будет собрание.

Ну, ждем того собрания, когда оно будет… Вот уже пять часов, а нема того собрания. А немцы лежат все на откосах железной дороги. И автоматы держат на этот клуб. Дак мы вот глядим, глядим в окна, а они лежат. С черепами… Здесь у них белое что-то такое и вот тут какие-то такие нашивки. И такие вот бутылочки по бокам, желтенькие, как четвертушки, были. Они бутылочками по этому клубу — шах! Клуб и загорелся наш! Никакого собрания нема! Снаружи подожгли нас. Вот взяли так, брызнули на этот клуб — и этот клуб пошел гореть. И вот один наш, он в конторе работал бухгалтером, дак он в окно, в раму как

дал и вылетел с сыном. Сын был вровень с ним. И еще женщина это. Нас пять душ выскочило. Ага, дак они как летели ключом через это окно, дак немцы по ним очередь выпустили — те, что у железной Дороги лежали. Они бежали все, как гуси какие, ключом, Так они все и полегли, эти люди. А я сзади, из окна выпала, и тут канавка ж была, и кустики были такие. А под окном вода, а сверху снег. Дак я как летела, в канавку и упала. И лежала в этой канавке. Если бы на меня этот огонь, ветер, дак я б сгорела все равно в той канавке. Но ветер был туда, на склады, склады тоже горели. Так я и осталась.

А дальше — лежала, лежала, эти люди уже пищат, воют, собаки лают… Доходили уже… Ой, на разные голоса, невозможно!.. Вот уже снова меня начало колотить!.. Кричали люди на разные голоса. Так уже это в том клубе…»

О самых жутких минутах люди из огненных деревень чаще всего говорят одной, двумя фразами: «Пищат, лают… воют…» Тут все в одно спеклось: и людские крики, и треск пожара, и лай овчарок…

Или, вдруг, о том же:

«Те люди — как заплакали! Всякими голосками, как пчелы». (**Мария Григорьевна Кулак**. Боровики на Гродненщине.)

Или еще как… И замолкает человек. Здесь уже переспрашивать, расспрашивать не будешь. Только долгая пауза, как спазма, только глаза и лицо человека, которого вновь обожгла память, а он еще и прощения просит: «Вот уже опять меня начало колотить!..»

«…Я лежала, лежала да и думаю… Пойду я в Рудню, там же у меня знакомые, может, меня кто спрячет. Может, там живые люди остались…

Встала я. Хоть бы где кот, или какой воробей, или что на целом свете — все… Это такая тишина… А може, я только одна на свете осталась?

Дак я думаю, нехай эти немцы или пристрелят меня, или что уже… А то как я буду жить одна на свете».

Такое творится, что человек уже не верит, что это только здесь: может быть, всюду, на всем свете! И куда ни кинется — всюду то же, всюду стена из огня, из смерти.

«…А дальше думаю: „Пойду я в Рудню“. Ни немцев, никого нема. Уже все уехали отсюда, из Октября — зажгли и поехали.

Иду я туда через поле, вся мокрая, платок мой остался в

клубе, остались галоши мои с валенок в клубе, а это своей работы валенки, дак они в воде размякли, растянулись… С меня пар идет уже, такой пар идет с меня, все равно как из-под шерсти, как дым. Дак я думаю, может, я горю уже, может, где упала на меня эта, головешка эта, с клуба. Я и так, и кругом себя — не-е, ничего нема!

Пришла я туда без платка. Только я пришла, под какой-то подошла сарайчик, и там маленькая хатка с краю. И стою, слышу — крик… Такой крик там, что, боже милый, какой крик! А они уже с того конца взяли, и оттуда, и гонят уже на этот конец под совхоз. Гонят уже этих людей, баб всех. И самолеты стали по земле строчить…

Я стою под этим хлевком, а дальше, думаю, погляжу, что они тут делают, что такой крик. Только я голову — тык из-за угла, а немец как раз глянул сюда, когда я посмотрела. Дак он ко мне летит: „А-а-а!“ Как стал меня прикладом! Щеку рассек, и губу всю порассекал, и зубы мои один за другой заходят. Полный рот крови. Я уже возьму так эту кровь, выгребу руками, ой, чтоб хотя дохнуть!..

И погнали меня в колхозную канцелярию. Дак эти люди рудненские тоже говорят, как у нас говорили, что немцы будут выбирать: которые партизаны — расстреливать, а таких будут выпускать.

Дак я говорю:

— Мои вы бабоньки, уже у нас, говорю, сделали собрание, ни одной, говорю, нема. Все, говорю, погорели уже, кончаются там люди. Уже которые пищат, говорю, доходят, так что, говорю, не беспокойтесь — всем будет одно.

Ну, и там нас держали, держали… Раньше взялись за мужчин, за тех, кто в другом помещении был. У одного полицейского немцы спрашивают:

— Где у вас такой мужчина есть, что он может по-немецки говорить?

Вызывают по имени, по фамилии того уже мужчину. Подошел этот мужчина, с немцем что-то сказал по-немецки, а потом так его взял под мышку да поставил раком. Немца того. Дед, а такой знаете, крепкий. Дак они:

„А-ла-ла-ла!“ А их только три немца возле хаты было, возле нашей. Патрулей, что за нами смотрели, по подоконьем. О, летят эти немцы от нашей хаты, и того деда взяли и убили.

— Давайте другого, какой может по-немецки говорить.

Вызвали другого. Тот — так же, еще в старую войну, был в Германии. Тот говорил, говорил, дак ему — трах! — пулю в лоб.

Вот тогда уже мужчины ломанули в двери!.. Если б они тогда

ломанули, когда он того немца раком поставил, да выхватили эти винтовки! Если б они знали!.. Дак мужчины ломанули, и пять человек выскочило и живые остались. По полю полетели.

Ну, побили мужчин, а тогда скомандовали возчикам — мы все слышим:

— Снимайте казакины, валенки новые, и галоши новые, и шапки.

И снимали они с побитых шапки, и эти казакины, наложили три воза.

А дальше давай нас… Поставили, привезли ящик и поставили на ящик пулемет. На скрыню, что картошку возят. Придет немец — выпихнет каких, значит, души три, четыре, пять — сколько он отсюда выпихнет. Кто ж это хочет идти под расстрел? Ну, матка, это, забирает своих, семью вот обхватывает и падает. Они ж кричат. „Падайте!“ Матка своих детей, какая там родня — обнимутся и падают. И они из пулемета строчат…

Я все так сзади стояла, не выходила, ага.

Так все видят, глядят в окно, говорят:

— Вой, моя дочка горит, и внуки горят…

И вы скажите — чтоб кто заплакал или что па свете!..

Вот они так тут расстреливают, а тут колхозная пожарная была. Дак там еще мужчины сидят. Женщин отдельно запирали палить, одних, а мужчин — отдельно. Таких хлопцев, которые постарше, дак туда, с мужчинами, а малые — дак с нами были. Были у нас тут и из Бобруйска. Это ж бежали сюда на спасение, где партизаны живут. Ну, вот они все и поприезжали.

Уже осталось нас только семь человек, — всех повыпихнули. В полу щели большие. Я это пришла да руки в щели всунула, да раз — подняла эту половицу.

— Бабы, сюда, говорю.

И сама уже в яме. Эти бабы все и вбегли в яму.

Пришел немец за нами уже, за остальными, а мы зачлись. В яме в этой. По остальных пришел, а нас ни одной души нема. И дети в яме… боже милый, наделали там! Этот немец открыл яму — и прикладом:

— Вылазьте!

Не хотят. Кто хочет под пулю лезть? Кричит:

— Вылазьте!

Не хотят, ага. Он этим прикладом в головы бить. Вот и стали вылезать. Которая не может выйти во двор, дак тут, над этой ямой, и попристреливали — этих баб.

А я и еще тут одна — из Рудни она, и теперь живет, ага. У нее была девочка, такая маленькая еще, полтора года. И мы взяли, подлезли дальше сюда, под брус. Я уже вся в крови была, в песку

была, лицом в песок, чтоб нам не кашлянуть… Вот мы лежим уже, нам слышно, яма открытая, а они уже всунули головы сюда, поглядели, може, еще кто есть. Не видно уже, темно. Только месяц светил, хорошо помню. Дак они поглядели, да тогда возчикам этим говорят:

— Берите солому, разводите костер.

Эти возчики, они же подчинялись, знаете, со страху, — сюда наложили соломы, и в это помещение, и в то. А тогда:

— Выдирайте окна!

Они выдрали, столы, двери побросали на солому.

— Зажигайте! Ага, зажгли.

— Вярчыце вярчэ![13] Они поделали эти жгуты.

— Зажигайте и бросайте в яму!

Он думает, а може, там люди есть, чтоб это уже они там позадыхались. Осмаливается на тех жгутах солома, а дым к нам не заходит. Из ямы все на избу выходит. И вот они зажгли этот костер…

Мы сидим, сидим всю ночь, а тут они ракетами светят — видно там, у нас в яме, хоть иголки собирай, такая виднота. Что нам бедным делать? Боже мой милый!.. Они запалили — и мы слышим, что стреха упала. Но это не наша, это пожарная, а наш огонь взял и потух…»

А рядом, в пожарной, происходило то же самое… В той пожарной и еще в двух домах в Рудне, и еще в десятках, а потом в сотнях других деревень Беларуси… Страшно перемножать такие цифры, потому что за каждой из них — человек и его семья, его мать, его дети, братья, сестры, потому что за каждой — неизмеримый человеческий ужас, боль. Их сотни тысяч — тех, кто уже никогда не расскажет, за которых рассказывают вот эти люди, очень и очень немногие. А у каждого из тысяч погибших было **это**, было так и еще, возможно, страшнее, и уже не смогут живые взять на себя хотя бы частичку тех мучений…

Пожарная стояла недалеко от колхозной канцелярии, где спряталась под полом Тэкля Круглова, и вот что происходило в той пожарной. Живет в новой, отстроенной Рудне женщина, которая и была там в те страшные часы и минуты.

Ганна Иосифовна Гошка, пятьдесят лет.

«…Нас поставили прямо в шеренгу на колхозном дворе. Мужчин отдельно. Тогда за этих мужчин — раз! — погнали от нас совсем, погнали в конюшню. А нас в пожарную набили, битком набили. Пальца не всунуть туда. Загнали нас и поставили немца над нами. Тех уже мужчин гонют, берут по десятку и ведут в

другой сарай. Из одного сарая в другой ведут… Немец сидит. И поставили на лавках пулемет — прямо сюда, в двери… Дак мы сидим уже в этой самой… Там не сидеть, там не было как сесть, там позадушились все. А я на самых дверях. А со мной маленькая сестричка. Я ее держала с собой, на руках. Так стиснули…

Правда, я все видела, как тех мужчин водили. Тогда мужчины видят, что их расстреливают, и они прямо как выйдут — да в ход, утекать. Один у нас калека был, хромой, дак немец, это, то его лупит, лупит!.. Которых назад позагоняли, а которые по полю побежали, утекли.

Тогда женщины на этого немца:

— Пан, что это нас — будут стрелять?

Дак он сначала махнул. Какой-то немец был, черт его… А потом:

— Не, матка, не, не, не!..

Уже догадался, должно быть, что люди будут утекать или черт его знает…

А бабы эти голосят, кричат. А этих мужчин уже как побили, дак стали там, на углах, чем-то лить. И уже вдруг загорелся тот сарай. Тогда они все сюда, к нам подходят. Были там, правда, и полицейские. Из Смыкович тут у нас был один такой, черт его… Дак одна женщина у него спрашивает:

— Андреечка, что это нам будет?

— Ничего не будет вам! — так этот полицейский.

Правда, он — за свою матку, и тот, другой полицейский, тоже. Забрали своих из хлева и с собой повели.

А нас, шестерых девок и одну женщину, которая была у нас депутатом, — повели в пустую хату. И их пришло с нами трое, немцев. Двое, а третий сзади шел. Ну, мы идем туда… Уже буду я говорить все… Говорили, что они издеваются над девчатами. Ну, мы идем и посогнулись, чтоб не такими молодыми казаться… А той женщине, депутату, он показывает: „Садись“. Она, правда, не хочет садиться. Она и сюда, и туда, эта баба. А все остальные повскакивали: о боже, прощаются со своими! А этой женщине как дали сюда в затылок, так сразу она и кончилась. А я взяла и упала сразу на пол. Отстреляли нас и пошли обратно. Других пригнали.

В третью очередь я услышала уже — сестричка моя идет. Она уже так плачет: видно ж ей — я наверху еще. Она прямо мне сюда, на ноги упала… Убили уже в третью очередь…

Тогда я уже лежала, ждала, не знаю чего… И тут уже столько набили! А потом — раз! — окна повыбивали — и из пулемета давай сюда бить. Ну, все равно мне никуда не попало, только мне тут опекло руку и рукав присмалило. А люди так уже стонут! А я думаю, что мне делать, — или мне вылазить?

Я думаю, что уже весь свет — нигде на свете никого нема. И видно было, как Октябрь горел. Дак думалось, что уже все…»

И опять та же мысль, что и Вольгу Минич, и Тэклю Круглову одолевала. Когда горит все вокруг и такое творят с людьми… Мысль, ощущение, что это, что этакое, может быть, всюду, на всем свете началось, делается.

Потому что не укладывается в голове — нормальной, человеческой. Не зная о том «плане», что действительно был для всего мира составлен и припрятан, люди инстинктивно угадывали его дикий замах. Рядом, вокруг начинала работать страшная машина убийства, и простая женщина из Полесья вдруг почувствовала угрозу целому миру, всем добрым людям, и свое непомерное горе, свою беду измеряла уже тем, всечеловеческим масштабом. Потому что она за весь мир, за всех людей так вблизи увидела, что это такое — фашизм, который начал на практике реализовать свои дальние цели…

«…Я гляжу уже — темно, так только месячко всходит, только начинал всходить. Тогда, вот тут у нас старуха была одна (она померла, кажется, в позапрошлом году), да к она:

— А моя ж ты, — голосит, — доченька, за что ж тебя убили, нехай бы лучше меня!..

Это она над своей дочкой. А я, правда, тогда отзываюсь. А она мне:

— А моя деточка, или это ты цела?

А я не знаю, ног не чувствую своих: народу столько па мне. Знаю только, что голова моя целая. Ну, правда, эта женщина, спасибо ей, помогла мне вылезть.

А тут с нами в этой хате был хлопчик один. Батьку его убили в том хлеве, где были мужчины, а его одели за девочку: потому что говорили, что мальчиков убивают. Дак они взяли его сюда, одев девочкой. А его, беднягу, поранило крепко: растрепали тут вот, животик, вес, все… Дак он, бедный, просит:

— Выньте меня, чтоб я не горел.

А тут уже все горит. А он просит… Мы, правда, за него — и через окно. И сами через окно вылезли. С этой самой женщиной. И что ж — по нас они стали стрелять, а мы так, за дым этот затулились и пошли. А тогда были хлевы, гумна, давние еще. Старуха говорит:

— Давай побежим в лес. А я говорю:

— Э, нет, пойдемте сюда, к вашей братихе.

За речкой там она жила. А старая все в лес. Сидим мы за гумном этим, и я говорю:

— Никуда я не пойду, буду тут.

А потом видим: люди бегут, детей на плечах прут — уже из другой деревни. В лес бегут. Тогда и мы пошли…»

Сгорел поселок Октябрьский, сгорело более восьмисот человек в Рудне, а Вольга Минич, а сотни таких, что бросаются от деревни к деревне, от дерева к дереву, видят, как вспыхнуло уже и там, где Смуга, где Ковали, где Лавстыки…

«…Коровы рыкают, — продолжает свой рассказ Минич, — скот этот, что остался где, собаки лают».

А в это время в Курине, куда она сначала, после Хвойни, бежала спасаться, происходило такое:

«…Когда немцы были уже в Хвойне, так нам сказали, что они сжигают людей, — рассказывает жительница деревни Курин **Матруна Трофимовна Гринкевич**. — Мы вышли все в лес: и матери наши и отцы. А потом побыли уже в лесу до вечера. Ну, что ж, тихо, никто не идет и не едет. Приходим в деревню, нас было трое, девки — дак их нема ни одной, а я только одна осталась. Мы идем — и это ж еще, може, по шестнадцать нам лет было — мы шли, посмотрелись в зеркало на горе, а немцы уже кормили коней. Мы его с собой несли. Взяли в лесу и несли. Ну, конечно, девчата! А зеркало большое — посмотрелись. Подводчики потом говорили, что немцы видели, как мы на горе остановились и гляделись. Ну, дак мы и пришли в деревню, а моя мать была дома. Она говорит:

— Донька, утекай, а то молодых забирают в подводы. Ну, иди, говорит, на Смугу. Не в лес, а в Смугу.

Ну, я и пошла. А там был батька. Мы переночевали там. Что ж, повставали, все глядят. Говорят:

— Кто в Курине дома, тех не трогают. Ну, дак я говорю:

— Батька, я пойду додому, потому что матери много работы. Дак я ей там что-либо помогу.

Пошли мы, нас шесть человек пошло. Мы приходим, У нас тут были склады недалеко от деревни. Там стоит уже девять немцев, часовые. Они нас пропустили в эту деревню. *Как мы уже идем, дак мы видим, что на свете нигде уже ни одного человека, окромя немцев, нема.* Шла женщина (ее потом сожгли, а сын ее, инвалид, и теперь живет), дак они с нее сняли и галоши, наверно, Жалко им было, что у нее были эти галоши на ногах. Ну, и они уже ведут нас в нашу квартиру. Мы приходим, и нету уже никого, никого. Я зашла в хату, дак вижу, что мать была в хате. Дак только висит ее фартук на вешалке.

— Куда-то, говорю, людей подевали, потому что их нету.

А тогда приводят к нам пятеро мужчин, наших, куринских. Моего дядьку. Мы спрашиваем:

— Дядька, а где ж наши матери?!. Он говорит:

— Скоро придут.

Он знал все, но он нам не сказал. Ну, а немцы одного старика тут очень били. Бьют, бьют, а он сам был из Хвойни, такой старенький дедок, и с внучкою. И поставят его в угол, как малое дитя. Старика этого.

А потом чех[14] подошел и говорит:

— Паненки, они вас поубивают и пожгут. У них, говорит, постановление такое. Я бы вас не бил…

Так нам говорит часовой. Дак мы заплакали. Он собрался и ушел. Пошел просто на деревню. Ну, дак я говорю:

— Знаете что: давайте будем утекать. Пускай нас лучше побьют на лету, чем нам все это видеть.

А они, как уже людей жгли, — вывели их вон туда, за гору, где вон этот памятник стоит, — дак у нас закрыли ставни, в нашей той квартире, чтоб мы не видели. А тогда как загорелись эти люди, дак он пришел:

— Идите, говорит, глядите, как горят люди. Мы поглядели — заплакали. Я говорю:

— Зачем же нам это еще видеть, как они нас будут живых сжигать, да убивать, да еще издеваться будут над нами. На лету пусть побьют.

Ну, и мы стали утекать… И нас утекло шесть человек. Только мой дядька, который нам говорил, что матери наши придут — он уже не мог утечь… Стали утекать, стали утекать, и мы никуда не утекли, только два человека забежали на кладбище, дак одного ранили, а одну убили на кладбище и веревкой заволокли в огонь. А мы утекли вдвоем с этой вот девкой. *(Показывает на немолодую подругу-соседку Любовь Мордус.)* Ну, куда мы утекли? Сараев в те годы было много — зто теперь у меня только один сарай, а у батьки было Четыре, и клеть, и кладовая и две хаты — дак таое уже было тесное строение. Дак мы как выскочили, и нас как стали стрелять!.. На хате был пулемет. Пули как летят — дак они вдаль летят, тут близко уже не били. Мы покрутились уже на этом, на дворе. Да и за хлев, да и сели. Оттуда хлев, оттуда — соседний и наш. Да отсюда — такая куча навоза. Немцы смотрели и в сене вилами искали. Они знали, что не все. А мы за хлевом, как на смех, уселись. Утекали мы в обед и досидели до ночи. Досидели, и все равно нам ночью нельзя никак убежать. Крепко месячная была ночь, и часовые стояли около этого кладбища — каждые три шага стоял часовой. Мы вышли так вот, из-за забора поглядели: ну, мы убежать не убежим! А потому что у нас еще не было и

опыта. Было б теперь, дак, може, у хлева у какого, може, где дальше прошли б. А то мы сидим. И я, може, с испугу, проспала всю ночь. Она меня будит. Говорит:

— Мотя, не спи. А я говорю:

— Я не буду.

А как только скажу — и сплю. Наверно, с испугу. Ага, еще вечером (еще ж забыла!) — вечером, когда стемнело, привели расстреливать этих самых людей, что в хате были: мужчин, шесть человек. Ну, и их уже стреляли. Дак как выстрел дадут, ну, дак мы сидим, только так руками взялась за глаза. Это ж пуля, бывает, лететь будет: их же расстреливают в этом хлеве, за которым мы сидим.

А потом уже принесли дитя, може, два годика. Что осталось в нашей хате. Такое, как наш этот хлопчик… Дак то дитя, на него уже выстрела не было. Что они ему сделали, я вам уже сказать не могу. Оно уже только детиный голос подало… А выстрела не было. Оно и сгорело уже в том нашем хлеве. И те мужчины.

А мы досидели до утра. И уже стало видно, и стали Уезжать они, и приказали возчикам ловить курей. И эта курица так бежала — между нами присела. И сидит. И мы сидим. Ну, мы притворились мертвыми уже, мы Живые и не были, как эти шли. Нет, это — возчики, но мы им не объяснились, что мы живые. Вот так одна сидела, привалившись, с одной стороны, а вторая — с другой. Они взяли эту курицу, ну, и ушли. Ушли, а затем ведет еще кого-то. Ведет другого, так я и говорю ей:

— Люба, вот теперь уже наша смерть будет, ведет уже немцев.

Они подходят, постояли, да и говорят один другому:

— Вот, говорит, валяются бедные люди! Где ни глянь — лежат.

Ну, мы все равно не отозвались. Мы так лежали, ну, мы им не объяснились.

Ну, немцы стали уезжать. И как доедут уже сюда, до кладбища, дак уже выскажутся и в ладоши пошлепают. Что уже сожгли партизан, — довольные. А тогда наезжают уже другие, те отъезжают, а эти наезжают и все: выскажутся и в ладоши этак. Они уезжали до обеда. Так их было много.

Ну, а потом они уже выехали, дак мы встали, дак я, може, три раза упала. Известно, всю ночь сидели, наверно ж, ноги и позатекали, дак я упала три раза, пока отошла от этого места. Собрались мы и пошли. Потихоньку опять на ту Смугу, где и были. Мы не знали, куда идти. Ну, и пошли. А они ехали вокруг и не забирали нас, хоть и видели, что мы шли. Ну, они тоже думали: „Идите, вы опять попадетесь. В этот самый огонь“. Ну, мы

и пошли.

Приходим мы в ту Смугу, там был мой батька. Ну, все спрашивают, мы им рассказали, что людей уже сожгли, уже утекайте все. Ну, дак никто ж не смог: всюду Ж1ут… Подожгли Ковали. На этом моменте. И мужчины эти позалезают на крышу, смотрят и видят, как ловят детей и бросают в огонь… Ну, мы еще там одну ночь переночевали с Любою, этой самою… Она теперь женщина, а тогда мы были девки. И батька мой с нами. Ну, ночь переночевали… Потом утром встали, и я говорю:

— Знаешь что, батька… Пойду я опять погляжу, где мать сгорела.

Он говорит:

— Не иди, ты вчера пошла, дак в такую беду попала.

— Не, говорю, пойду. Пойду, не буду тут… Что-то в моей душе чувствуется, что не хочу я быть тут. Ну, дак он говорит:

— И я пойду.

— Не идите, тата, вы слабые, вы не утечете, а я все равно утеку.

Всю войну жила и чувствовала в сердце, что я утеку от немцев. Ну, и пошла. Говорю этой девке, Любе:

— Пойдем снова с тобою, может, уцелеем или нас поубивают, а все ж пойдем снова.

Только мы приходим в Курин, на это селище — тут и батька жил, и мой, на краю жили — не прошло и пятнадцати минут, как эти немцы снова окружили Смугу и сожгли в тот же момент.

Идут партизаны. Мы стали: думали сначала — немцы глянули — узнали, что это идут партизаны. Вот этот мельник Парфим, он и теперь живой, он за лесника. И подбегает к нам и спрашивает: как, что, как утекли? Он вскочил тут на лестницу, глянул и говорит:

— Девки, не идите: там горит Смуга с людьми, а идите в такое и такое место, в лес. Идите, говорит, вон за тем мужчиной, он вас заведет, где наши семьи.

Мы только выбежали с нею на эту вот гору и видим: батька мой бежит из лесу, из Смуги. Ну, и вместе побежали мы…»

Хвойня, Курин, Смуга, Октябрь, Ковали… В Ковалях по два, по три человека берут из хаты, около хлева: «Раздевайся!», затем: «Ложись!» — и все чтоб рядочками, чтоб головы людей лежали на спинах убитых… Огонь, смерть, ужас катится по деревням все дальше…

Часть людей в лесу, другие, не зная, как лучше, куда им кинуться с детьми — потому что всюду, кажется, то же, по всему свету, — держатся хаты, соседей. Спокон веку так надежней было.

Однако тут началось, обринулось на мир, на людей что-то такое, с чем нормальный человеческий опыт уже не вяжется…

«…Они из Курина приехали к нам, — вспоминает **Ганна Сергеевна Падута**, жительница Лавстык. — Ну, мы дома сидели, гадали, а потом партизаны нам сообщили, что жгут, что в Курине сожгли всех людей живьем. Ну, мы поубегали в лес. Постояли в лесу. А потом уже… Дымы из печек, из труб идут всюду — в Октябре, у нас. Ну, дак мы вернулись назад, потому что страшно ж в лесу: поймают, да и холодно. Только мы домой — и немцы сюда, разведка ихняя. Ну, у нас мужчины были, такие пожиловатые, дак они:

— Вынести стол, то, другое. Може, уже покаяние будет.

Ну, наши бабы, известно, как бабы. Вынесли стол, а они говорят:

— Матки, вон еще войско идет. А это разведка была.

Приехали потом — тьма-тьмущая, и расположились у нас. А часть поехала в Октябрь. И в Ковалях расположились. Как раз нас захватили в селе тут с женщиной одной (она уже умерла). Нам один возчик подсказал, что с нами будет тут. Мы стоим на улице у стола, дак некоторые ничего не говорят, а он подошел да говорит:

— Дайте, теточки, молока. Мы говорим:

— Пожалуйста. Дак он говорит:

— Ох, теточки милые, все равно вас, говорит, всех живьем спалят. В сарай загонят…»

Во время войны фашисты демонстрировали в Германии и в других странах «документальную» кинохронику: советские «партизаны», много «партизан» стоят на коленях перед немецкими солдатами. А кинокадры эти инсценировались просто. В деревне Великая Воля, Дятловского района на Гродненщине, нам рассказывал об этом **Алексей Ломака**[15]. Толпу сельчан окружили пулеметами, заставили людей встать на колени и запустили сначала кинокамеру…

Имели фашисты и другие «кинодокументы»: как «радостно», с хлебом-солью встречают на востоке крестьяне «немецкого солдата-освободителя»… Не здесь ли работали те «кинодокументалисты», не в Лавстыках ли?.. Все, как видите, есть: и стол среди улицы, и «хлеб-соль». А они идут, и идут, и идут — «освобождать» восточные территории — от людей освобождать.

«…А они идут, гады эти. Как шли, так и кричат:

— Убирай!

Столы, значит. В белых халатах в этих, с этими черепами, ну, эти немцы.

Ну, мы и разбежались, кто куда, по хатам, как возчик нам сказал про то. Я к соседке прибежала, говорю:

— Что ж мы будем делать?

Дак она говорит:

— Выйди погляди на улицу, есть немцы или нема.

Тот край деревни занятый, а наш еще свободный. Мы пошли на поселок, что у самого леса. Потом в ольшаничек. И тут нас, може, баб пятнадцать лежало, в этом ольшанике. Уже упали и лежали. Не видели, как они жгли, как убивали, только слышно — сильно кричали, народ кричал. Не слышно, что она там одна говорит, только: „А-а-а!“ Только голос идет, идет голос. А потом и все — онемели…

Вопрос: — А тот возчик, что сказал вам, он откуда?

— Это просто крестьянин. Полицай не сказал бы. Один полицай к нам пришел хлеба взять, дак мы спрашиваем, что немец с народом делает. А он нам (мы ему полбуханки отрезали): „Давай всю буханку!“ — и ничего не сказал. А этот вот — такая душа нашлась, что сказал. Дак еще вот хоть немного, хоть кто-то остался. Он на ходу — держит стакан и сказал…

Тут фронтовые были немцы, може, они и больше бы жгли, но партизаны нажали, и они ушли.

До войны у нас, може, сто двадцать дворов было. Много у нас было, и семьи большие, детей много. Всех побили. Всех, всех побили. Они говорили: „У вас и курица партизан, не то что дитенок“. Пощады не давали, гады эти…»

Ну как же, столько «партизан» уничтожили! В одной Рудне — восемьсот. Да в Курине — почти столько же. В Лавстыках. В Смуге. В Ковалях… По всему району огонь прокатился. Постреляли, пожгли детей, женщин, мужчин деревенских и в ладоши — хлоп, хлоп! Сами себе похлопали, как у того куринского кладбища. Что-то же и говорили в тех речах — понятно, копируя своих берлинских фюреров. Хлоп, хлоп, хлоп! — выполнили свою задачу, свой план. А там, выше — свой план, пошире, общий, и своя арифметика — уже на миллионы жизней подсчет ведется. На десятки миллионов, если не на сотни. Замахнулись же на весь мир! Там свои митинги, свои Речи, «праздники» готовили — когда будут уничтожены, наконец, вместе с жителями Москва, Ленинград и другие города, которые берлинскому маньяку казались «лишними». «Чтоб не кормить их южным хлебом». Потому что они уже считали своим тот, разбоем

взятый, украденный хлеб.

А пока что — как частичка все того же сумасшествия и того же «плана» — убивают деревню Карпиловку. Все на той же Октябрьщине.

Это видел, об этом рассказывает **Павел Леонтьевич Пальцев**, который помнит все с иными, чем обычно женщины запоминают, подробностями. Он по-партизански мстительно держит в памяти дела, лица, фамилии также и подручных немецких фашистов — местных и неместных «бобиков» — полицаев.

«…В апреле сорок второго года они приехали сюда. Партизаны ушли. Осталось мирное население. Ну, и собрали людей в клуб, и стали спрашивать про партизан. Никто не выявил, народ не сказал.

— Нет у нас партизан, и все. Партизаны были бывшие пленные, окруженцы, они ушли, а наш народ весь дома.

Потом один полицейский, он из Бобруйского был гарнизона, ну, значит, он сказал:

— Если так, партизан нет, дак вы — партизанские, бандитские морды!

А я также в клубе стоял. Женщин по одну сторону поставили, а мужчин — по другую. Там человек шестьдесят мужчин было, разного возраста: и старые и помоложе. Ну, он список держит, а там фамилии в списке. Вот он и спросил:

— Ковалевич Гриша? А женщины говорят:

— Ковалевич Гриша в армии.

А у нас был Ковалевич, который партизанам хлеб молол. Он инвалид был. Дак женщины:

— Он в армии. А полицай:

— Какой… он в армии, когда он хлеб партизанам мелет!

Дак женщины смолкли, видят, что знает… Дак он — за этот список, в карман и пошел к коменданту, поговорил там. И тот, наверно, дал приказ стрелять. Ну, тогда выходит и сразу начинает по-немецки считать: „Драй, фир…“

Отсчитал десять человек и повел на улицу. Полицай отсчитал, но по-немецки. Откуда он, не знаю, фамилия Шубин. Золотой зуб у него был… Отсчитал этих десять человек и повел. Ну, куда повел, думали, може, куда так, допрос или что. А потом слышим, что стреляют в конюшне. Ну, а потом во вторую партию уже я попадаю. А он только сдает: выводит на двор десять человек, сдал немцам — и те повели. Жена моя в клубе также была, а дети — одному четыре года было — на печке спрятались

дома. Ну, а я и попал в другую десятку. И десять немцев идут за нами, с винтовками. Десять немцев ведут десятерых. Ну, привели в конюшню и командуют:

— Становись к стенке головами.

Ну, мы постали, наклонились. У меня полушубок был, дак я так воротник наставил, глянул, дак они уже в канал патроны загнали и на изготовку взяли. А я или с испугу, или кто его знает — ноги подкашиваются… И так выстрелили. Десять винтовок залпом да в помещении — дак гул глушит, как из пушки. У меня зазвенело в ушах, я упал и не помню: или я убитый, или живой. Ну, и лежу. Потом в ушах стало отлегать, отлегают уши, стал чувствовать и сам себе не верю: жив я или нет. Сам себе не верю, однако глаза посматривают. Потом слышу разговоры. Полицаи, два, стоят и разговаривают по-русски. Немцы — гер-гель, постреляют и ушли. А эти… Тишина, дак слыхать, что по-русски кто-то разговаривает. Ага, дак я лежу. Не помню, сколько я лежал — час, два. Просто уже и заснул, сердце, наверно, слабеет, я просто заснул. Потом слышу: еще ведут партию, еще партий пять расстреляли мужчин. Потом уже женщин. Там и моя жена голосит, кричит:

— Пан, у меня дети!..

Ну, и привели женщин тоже, наверно, уже беспорядочно стреляли, как попало, потому что эти женщины — они бегут. Ну, потом это так уже перестреляли — часа Два, три прошло. Тишина — хоть бы тебе что на конюшне. Я так лежал, лежал и в чувство уже настоящее пришел, в чувство, что я уже жив. Целый, не раненный ничего. Ага, а дальше слышу, кто-то по мне ерзает по спине. Убитый, а ерзает по мне, видимо, раненный. Только я подумал, что немец будет его стрелять и в меня попадет, только я подумал, а немец, наверно, шел и увидел. Добивал его, и мне пуля вот сюда попала, в стегно. Правда, не в кость, по мякоти. Жиганула, а я как лежал — лежу. А чувствую — кровь так побежала… И тот перестал ерзать… Ну, а потом я послушал, встал — никого… А деревня была от конюшни метров пятьдесят, ну, шестьдесят. На деревне немцев полно — полная улица. А тут нема никого. Думаю, выбегу я — кругом же немцы, стрелять будут. Подождать, пока запалят, чтобы по дыму бежать. Была не была! Я, значит, по канавке, вот железный мост, он и теперь на речке. Я под этот мост, сбросил свой полушубок и — драпака!.. Бегу, никто не стреляет в меня. Тогда я подбежал к речке — вот речка Неретовка, воды напился и гляжу: не бежит никто. Я уже думаю так: если за мной будут гнаться лыжники или кавалеристы, скину все с себя, голый, но удеру. Быть же не может! А там недалеко кусты уже. Ну, правда, никто не гнался.

Женщина одна видела, как я бежал. Она и теперь живая. Рулега Марья.

Ну, и пошел я в лес…

Сначала оружия у нас не было, а после этого погрома оружие мы стали доставать, кто уцелел, и пошли все в лес.

В основном немцы были тут, когда убивали, но и полицаи были, даже местные были. Из Рудни были полицаи. Один полицай был из Смыкович, по фамилии Лось. Я знаю, вместе с ним работал до войны.

Ну, вот простили его, он даже приезжал в шляпе. Смыковские хотели его убить, так догадался, удрал. И теперь живет. Я не знаю, может, на пенсии он живет теперь. Из Зазерья Говоровский тоже был. Вот он председателем колхоза до войны был. Я сам видел их на свои глаза.

Этот Лось дак ест сало на возу и улыбается, в окно я видел. Ему даже родня там была. Просят:

— Максимка, спасай!

Матруна такая была, его родня. У-у, он даже внимания не обращает… Он теперь работает в Коми АССР, в Смыковичах его мачеха, так добивалась даже какой-то справки на пенсию для него. Он уже там здоровье потерял или что, я не знаю, только справку брала… Теперь он приезжал, но я его не видел, а видел сразу после войны, когда из армии пришел я. С ведрами он шел: печки там делал, что ли. Я ему говорю…

— Сволочь ты… Так и так…

Он голову вниз опустил, ни слова просто. Ему же некрасиво, понимаете. Вот какое дело…»

Видите, уже «некрасиво» им, этим, среди наших людей. И, понятно, боязно людских глаз. Но живут, и нет, чтоб осину искать, а про пенсию у него мысли…

А уже те соучастники злодеяний, выродки из выродков, что считали себя даже «идеологами» этих, а теперь спрятались за спину западных разведок, те даже голов, глаз не опускают. Вон как громко кричат (чтобы перекричать, быть может, тот неумолчный, жуткий крик детей и женщин!..), кричат, что они хоть и служили у фашистов, однако были «третьей силой» и даже «народ спасали»…

Как же им не хотелось бы все это видеть в зеркале народной памяти! И там, рядом со звериным оскалом приблуды-фашиста, видеть и свою физиономию. Такую вот, такие вот! И еще пострашнее, еще более омерзительные…

Мы забежали вперед, даже в послевоенное, в наше время…

А **Вольга Минич** среди тех ужасов, в пекле том все еще хочет спасти беспомощного, дорогого ей человека — тянет свои саночки через всю Октябрыцину.

Сожгли деревни, теснят людей уже и в лесу. Партизаны, где могут, как могут, спасают население от того самого «плана», однако мала еще сила, не хватает оружия, боеприпасов. А против них и против женщин, стариков, детей — фронтовые дивизии… Это потом, в конце 1942 года и в 1943 году Октябрьщина станет недосягаемой для эсэсовцев и «бобиков».

А пока что продолжаются отчаянные метания Вольги Минич в кольце огня — одной из тысяч женщин с подобной судьбой.

«…Поехали партизаны, а за партизанами немцы тропинок) этой, а я сзади еду. Утро придет — будет видно, куда я выеду.

И вот я выехала на путь, на железную дорогу. Солнышко всходит. Я остановилась: путёю дорожка идет, и по одну сторону пути дорожка идет, и по другую сторону. Но я думаю: „Поеду путёю: и выше, и видно“. Проехала я метров пятьсот от переезда — человек десять у костра, женщины сидят. Я напротив них села отдыхать.

— Мои теточки дорогие, — говорю я, — может, у вас есть что поесть. Я уже третий день так, уже не могу, даже воды во рту не держала:

Они говорят:

— Наши мужики пошли в Затишье, может, что там достанут, а при нас ничего нема. Будь с нами.

Двое детей и девять было женщин.

Я подумала: „Они пошли, а достанут ли, а когда придет?..“ А мой, вижу, уже все, уже и не кидается, уже и рот не закрылся, и на зубах такое… Я возьму рукавицей и сотру. Почти что уже неживой.

У меня сестра в Деменке была. Думаю: „Поеду путёю туда“. Я не решилась около них отдохнуть.

Проехала я метров, может, пятьсот. Вижу: ах, боже ж мой, немцы мне навстречу едут. Те, что ехали на засаду…

Если б я бросила его на пути, дак я не ранена была б, а то я с санками — в сторону. Вижу, что немец один кинулся за мной. И я санки бросила. Бегу, бегу, путаюсь, а по мне они не могли стрелять, потому что они заметили тех, около огня. И если б они по мне выстрелили, дак те утекли б все. Пока они тех не оцепили, дак по мне не стреляли. А потом немец выстрелил несколько раз, увидел, что я побежала и кровь за мною по снегу. И не чувствовала, что пуля вот прорезала руку — ни боли, ничего… Если б не увидела, что кровь, не почувствовала б, что и ранена…

Немец прошел за мною следом и вернулся. Пошел к санкам моим…

Что они уже там делали, дак кто их знает: он почти что мертвый был…

Ну, я уже шла в этот лес, шла, шла, и нашла всех тех, тот отряд, что сидел в гумне. Ну, рассказала, как было, что не их тогда приждала, а немцев. Все, как было, рассказала. А командир мне не верит… Дал команду двум хлопцам:

— Посадите ее и отвезите в Затишье!..

Привезли они меня в Затишье, оставили среди села. Зашла я в несколько хат: пусто, вода позамерзала в ведрах, ничего не найду. „Ну, гибель, думаю, господи! Где эта смерть? Где мне ее встретить, эту смерть?..“ Уже и людей не могу найти, никого нету.

Я шла, шла, прошла Затишье, пришла в Бубновку В Бубновке одна баба несет молоко. Подоила коровку, несет в лес молоко. Я попросила, она мне стаканчик налила, выпила стаканчик, но меня тут же сорвало. Кто его знает отчего, три дня уже не ела. Я спросила, цела ли Деменка.

— Сказали, — говорит она, — что партизаны были вчера и сказали, что два двора только немцы спалили. Партизанских. А то вся деревня цела. Собрали людей, подержали и отпустили.

Ну, и мне так хочется уже отдохнуть. Сесть мне на дороге, дак я чувствую, что не знаю, через какое время я подымусь… Я сошла в поле, под хвою села, посидела, а подняться не могу. Уже как ни подымалась, никак не могу подняться. Силы нема, руку уже не могу поднять. Я и заснула там. И знаете, что еще мне это жить была судьба. Шли партизаны из пашей деревни, этой Деменки. Узнали меня, будили и не разбудили. Пошли в деревню, взяли санки и завезли меня сестре. Завезли меня сестре, снесли, стали будить, дак рассказывали, что я говорила что-то без памяти.

Я сутки спала. А проспалась, опомнилась, рвала все на себе!.. Потом попросила уже партизан, завезли меня на то место, где я кинула его. Подошли мы. Санки там, где я кинула их. А тех всех, всех около огня, побили! Говорили люди, что деткам головы позавернули. Две девочки, дак им позавернули, как петухам, головы, показнили их… Закапывал их всех какой-то Гарбуз из Курина. Он и теперь живой. И еще люди были. И моего закопали там где-то. Я там и могилки своего не знаю…»

Вольга Андреевна, рассказав о той ужасной предвесенней поре 1942 года, не может успокоиться. Потому что страдания ее на этом не окончились. Память ее, ее рассказ переносит нас на

два года вперед, в не менее страшные дни последней под оккупацией зимы.

«…Ну, живем уже в Деменке, и опять тут стала блокировка. Такая блокировка, что нельзя было ни в лесу, нигде спрятаться. Попались мы в куренях, нас половили. А потом мы поутекали, все спалили у нас, все — до грамма, ничего не осталось. Мы другой сделали уже курень.

А потом однажды такая стрельба далеко появилась.

Собрались: куда ж нам всем с острова? Уже люди советуются: стоим на гати — куда ж мы пойдем?.. И вот только мы понадевали сумочки, у кого что было, как на нас:

— Стой, русская…

И по матушке. Кто мог — побежал. А у меня тогда дитя уже было на руках, мальчик полтора года. В Деменке, у сестры первое свое и родила. И сестры моей мальчик остался со мной.

Демян хотел с конем утечь, а немец коня застрелил, а Демяна за воротник и сюда.

В очередь поставили нас, сорок человек в очередь, и давай стрелять.

Этого самого человека, Демяна, хлопчик стоял впереди на очереди. Мать его, хозяйка с дочкою, стояла сзади за людьми. Как стали стрелять, дак Демяна первого. В затылок — он и упал, ни словечка не сказал, ни словечка. А хлопчик уже идет, бедный, идет да все: „Ой, боюсь, ой, боюсь!“ А как выстрелили, дак он еще крикнул: „Ой, не боюсь!“ — и упал.

Вопрос: — Так и крикнул?

— Крикнул. Сначала: „Ой, боюсь!“, а потом: „Ой, не боюсь!“ Ему годков двенадцать было.

Ну, как застрелили хлопчика, дак она, мать, что в самом конце стояла:

— Ой, подождите, паночки, нехай уже семейка за семейкой. И я приду.

Пришла уже мать эта да на дочку:

— Иди, Вольга, и ты.

Девочку застрелили, тогда мать подошла:

— Я сама.

Да так вот взялась за голову, да подшилась под убитого мужа. Дак немец в шею — как даст, она головой как мотанет, да ногой… Три раза он стрелял в нее, и три раза она так…

Мы стоим все, а у меня сестрин хлопчик, годов, может, семь, и моему полтора года. Вот все тут горит, кажется, разрывается — что мне делать?.. Или, это, детей вперед, или самой?..

И пришел такой, в очках, и прекратил расстрел. Прекратили

расстреливать. Поговорил он по-русски, обыскал нас по карманам.

А они, это, въехали в такую топь, — они коньми, верхом ехали, — что кони лед не могут поломать, потому что ноги порежут. Дак они — нас. Мы идем, руками лед ломаем, а они за нами коньми едут, верхом. Дак я своего пацана на льду подвину, да и ломлю тот лед. Да доломали всю лощину руками, да пообрезали руки. Выбрались мы из этой лощины, то у кого какая сумочка была, к переобулся. А соседкина мать, она старая была, вышла, бедная, из воды, а у нее никакого узелка. Она не переобулась и так околела, так околела, на колени так и упала. А он подошел, немец, коленом в плечи — она так и заткнулась. Он еще и выстрелил в нее.

Ну, а нас уже гонят, гонят… А хлопчик один… И штанишки упали, голенький. Идет голыми ножками, уже не может идти, замерзли ноги так. Дак немец из разрывной пули… Кишечки вымотало, он стонет, стонет, а нам оглядываться не дают на того хлопчика. Пошли, а оно слышно, как хлопчик стонет тот.

Чувствую я, что вот-вот партизанские курени. А немцы ж не знают, где это…

И вот партизаны увидели из куреней, что это… А они нас впереди гнали. Едут немцы на конях, а нас впереди — женщин двадцать было, еще осталось, а человек двадцать застрелили. И эти партизаны стали стрелять по немцам. Дак мы попадали да ползем к куреням. А немцы тоже попадали, и их двоих тогда убили, немцев, на Рудницком болоте.

Приползли мы уже к партизанским куреням, и так уже остались мы живые.

Вопрос: — А как ваш мальчик, тот, маленький?..

— Мальчик мой помер, бедный, не выдержал…

Вопрос: — А семья у вас какая теперь?

— Теперешний мой муж перед войной пошел в кадровую, оставил жену, мать и сына, а пришел — уже не застал ничего. И мы с ним побрались, поженились, сиротами. И заимели шестеро своих детей. Дети уже наши выучились, самому меньшему вот уже тринадцать годков. Все дети уже, слава богу, живы: три дочки и три сына. Двое в Бобруйске, одна работает экономистом по связи, а один, это, кончил лесотехникум в Бобруйске, а одна Девка в Пинске, на третьем курсе педучилища. А парень в армии один. Кончил одиннадцать классов. Одна в десятом классе, а самый меньший — в пятом.

Вопрос: — А первый муж был тоже местный?

— Местный. Зайцев. Это теперь я Минич. Его брат бригадиром у нас. Дружили мы, я три года с ним дружила. Я

согласна была вместе, я ведь просила того партизанского врача, чтоб он нас с мужем отравил, чтобы нам вместе… И вообще я такая душевная: гибнуть, так вместе гибнуть…»

Полотенце все еще лежит на коленях. Но слез уже нет…

Закончив свою повесть, Вольга Андреевна молчит. И мы молчим.

И в этом молчанье она спохватилась:

«…Боже, боже, еще ж одно забыла я!.. Такое происшествие было, что я прямо на себя вину беру. Это тогда еще, з первую блокировку, в сорок втором. Ей-богу, и сколько я жить буду, столько и вину буду на себе иметь!.. Одна женщина, у нее племянник был в партизанах, а младшие хлопчики, его братики, дома. Когда они стали, немцы, гранаты кидать в хаты, дак эта женщина и своих девочек и этих хлопчиков… Выскочила из хаты и кричит:

— Детки, бегите куда глаза глядят!..

Эти девочки, большенькие они, дак они побежали за матерью, а те мальчики вдвоем — по сколько им было годиков, не представляю, — дак они побежали немного с теткой, да уже и не знают, куда она пошла…

Я тащила мужа, уже вечером это, и знаете, вот так, метрах в тридцати от меня шли они назад, за руки побрались хлопчики и шли назад в село. И почему у меня ума не хватило, ей-богу, ну, прямо непростительно! Почему мне было не сказать: „Детки, вернитесь назад!“ Мне как-то на ум… Просто я растеряна была. А потом уже, назавтра, я опомнилась. И вот и сегодня, где увижу двое деток таких, дак обязательно я вспомню тех детей. И я вот на себя вину беру: почему я их не вернула, тех деток?.. И пошли они, и так никто не знает, куда они делись. Или они их так же, немцы, в огонь покидали?..»

Это правда, душевный вы, Вольга Андреевна, человек! И как ни хорошо, как ни ладно живется вам сегодня, не забыть никогда о том, что было. И те мальчики маленькие, взявшиеся за руки, будут идти по снегу… Кровавому снегу вашей памяти.

Теперь — уже не только вашей.

Я ТОЖЕ ИЗ ОГНЕННОЙ…

Воспоминания людей, которые здесь прозвучали и будут снова и снова звучать, мы собирали четыре года. А собирать поехали спустя почти три десятилетия после самих событий.

Что же они такое — эти воспоминания, рассказы людей, записанные на магнитофонную ленту, когда прошло уже столько времени? Насколько это документ? И какой это документ?

Мы не боимся сами задать такой вопрос, потому что нам, кто видел, слышал всех этих людей, — очень разных и в то же время в чем-то очень схожих, — нам ответ известен.

Да, это документ. Психологический, социальный. И не только документ того, как сегодня, в 70-е годы, народ помнит военные Хатыни, но и чрезвычайно весомый документ о правде самих событий. Хоть и прошло с того времени более четверти столетия.

Правда этих рассказов прежде всего психологическая. Что и как было с ним самим, как чувствовал, воспринял, видел он это сам, — человек помнит настолько точно, что правда эта не только убеждает тебя, но звучит помят просто невыносимо. Настолько в упор смотрит пана те жуткие события и приближает к тебе их так внезапно, сразу, таким «крупным планом», что сам ты становишься как бы свидетелем — не слушателем или зрителем, а свидетелем происходившего…

«Я не из этой, но тоже из огненной…» — услышали мы на Витебщине, в Шумилинском районе.

Женщина говорила о деревне, однако же и о памяти; огненная!

Психологическая правдивость этих рассказов — немалая гарантия и всякой другой точности, фактической — также. Здесь возможны, понятно, и ошибки, провалы памяти (когда что происходило, фамилии людей, последовательность событий). В таких случаях мы старались уточнять рассказы.

Бывшие партизаны рассказали нам, как на шоссе Могилев — Бобруйск была уничтожена группа карателей. Часть тех самых эсэсовцев, которые убили в Борках тысячу восемьсот мирных жителей.

Алексей Андреевич Ананич.

«…Было их так человек шестьдесят. Эсэсовцы. Но что характерно — характерно было то, что когда мы брали их штыки, то они были в крови. Это была одна из групп, что участвовала в Борках…»

Иван Сергеевич Ананич.

«…Возьмем их вещмешок, дак там детское барахло было. Даже вынимали их эти финки, так в крови были. Они людей прирезали и бросали в огонь…»

На магнитной ленте остались наши настойчивые (может, даже и слишком настойчивые) вопросы: как оно все же было, как происходило? Эсэсовцев было шестьдесят, партизан сто с чем-то, да из засады — можно было уничтожать фашистов, даже никого не потеряв. Одного только партизана ранили.

Однако ж, как мы узнали, тот бой начался не совсем удачно.

Иван Сергеевич Ананич.

«Не доехали машины метров пятьсот — некоторые и стали патроны загонять в патронники. И нечаянно Паин партизан выстрелил. Немцы услышали выстрел. Одни спешились, шофер открыл дверку и потихонечку ехал. А немцы куветом идут…»

При таких обстоятельствах да такой бескровный для партизан бой? Не легенда ли это малость? Честно говоря, мы засомневались, что все здесь точно.

— А сколько их было всех?

— Их, говорят, человек шестьдесят было.

— Всех били?

— Всех.

— А машин сколько?

— Три, кажется.

— И один только раненый у вас?

— Да. У нас один раненый был только.

— А они, видно, не все по этой дороге пошли, ведь Борки очень большие и немцев больше приезжало?

— Да, может, на Могилев пошли часть. А мы лежали в сторону Бобруйска.

Потом, расспросив хорошо еще людей, мы убедились, что так и было: на самом деле — на диво удачно провел бой Аркадь Антюх, который командовал партизанской ротой. Все так и происходило, как рассказывают Ананичи Иван и Алексей.

Продолжает рассказ **Иван Сергеевич**.

«…Отдает приказ: сделать не простую засаду, а держать

настоящий фронтальный бой. Огня у нас, мы чувствуем, хватит — мы решили принять бой. Для этого мы расположили взводы буквой „Г“. А самому правофланговому взводу командир дал команду: как только завяжется бой, пересекать шоссе и — цепью, для того, чтобы легче было расправиться…

Ну, завязался бой. Оттуда наши уже стали перебегать, чтобы окружить, но — тут был пулеметчик немецкий.

Я перебежал в канаву, где немцы, и, пока подбежали наши, развернулся и убил пулеметчика и второго номера тоже, и тут же, в этот момент и мне в ногу ударило… Я сел, пока меня перевязали, прошло пять минут, и бой операция была закончена. Ребята подбежали и смяли их, буквально за пять минут…»

Конечно, так допытываться обо всем, так «муштровать» (пусть они нам простят!) мы могли по-дружески только хлопцев-партизан. Уточнять рассказы женщин или стариков, что прошли через все ужасы, не станешь вот таким «открытым способом». Здесь уже мы старались опросить как можно больше людей, специально обращая их внимание на тот или другой факт (дату, количество жертв, фамилии, последовательность событий и т. д.), искали материалы в местных музеях, смотрели документы в райкомах и райисполкомах, обращались к документальным книгам и специальным архивам.

Однако это — что касается «внешних» фактов. О том же, что человек сам пережил, перечувствовал, что он делал и что с ним нелюди вытворяли, об этом вам Тэкля Круглова или Вольга Минич так и такое расскажут, что их воспоминаниями можно уточнять многое. И уже не в масштабах деревни или района, или даже Белоруссии. Целому миру есть что поведать этим женщинам.

Живут среди других сегодняшних людей — также сегодняшние, те, кого мы искали, переезжая из области в область, из района в район, из деревни в деревню… По спискам обкомовским, облисполкомовским, потом — по райкомовским и райисполкомовским, а дальше — по живой цепочке человеческой памяти: назвал человек факт, фамилию, деревню — едем туда, а там — новая цепочка, к другим фактам и людям, которые, может, нигде, ни в каких бумагах и не означены. Цепочка эта ведет ко все новым и новым воспоминаниям, трагедиям, человеческой боли и жестокости нелюдей, сразу перебрасывая тебя, а вместе с тобой и солнце, и улицу с детскими лицами п голосами, и дома, и лес, и дорогу — туда, на три десятилетия назад.

Вот остановился наш «газик» среди песчаной, какой-то чересчур широкой улицы. После пожаров и от послевоенного

безлюдья возникала такая «просторная» планировка. Надо начинать разговор с женщинами, что по-воскресному сидят у старых, еще довоенных берез. Тут вот дети вертятся, хоть и не очень много их сегодня в деревнях.

По-разному, в разных условиях, начинаем беседу — сразу с объяснения, кто мы и зачем ездим. — Ой, вспоминать это легко ли?

— Еще один только раз расскажите, — убеждаешь, как извинения просишь, — мы запишем, напечатается это, пусть люди знают…

Однако бывает, что откладываем такой разговор надальше, потому что самим хочется обычной сегодняшней беседы, чтоб и солнце сегодняшнее оставалось, и смех, и голоса детские не исчезали…

Начинаешь с другого, издалека:

— Это — Погулянка? И теперь так деревня ваша называется? Должно быть, веселыми людьми были деды и бабки, что так назвали.

— А почему ж! А мы разве скучные?

Ну, вот, мы неожиданно сами себе усложнили задачу. Теперь попробуй перейти к тому.

— В войну у вас тут…

И женщины, будто и тона не меняя, громко — о том, что «было, а как же, хватило всем!». Но уже несколько лиц как бы отделились от остальных. Это замечаешь сразу. Прежде всего глаза видишь — остановившиеся на чем-то там, в прошлом…

Живет человек, как все, у многих и семьи новые, и детей бывает много, тоже «новых». Нет, не обязательно лица, глаза эти будут печальные или строгие (хоть таких большинство). На некоторых держится какая-то непонятная усмешка, которой сам человек, кажется, и не чувствует. Нет, человек совсем нормальный. Ненормально то, что он знает, что помнит этот человек, что помнят люди из огненных деревень.

Эмилию Карловну Партасёнок мы вначале не застали дома. И соседи помогали — не нашли. «Только что была у нас, а куда побежала — разве, може, на тот конец!» Пальцы, что играли со старыми автомобильными шинами, авторитетно разъяснили:

— Бабка Амиля дома не сидит!

А когда возвращались из другой деревни, мы снова завернули в Засовье (это на Логойщине Минской области), Амиля Карловна уже ждала нас в своей хате. Немного растерянная, с недоумением: кому и зачем она так понадобилась, что и раз к ней заехали, и пообещали (через соседей) еще раз специально приехать. Первое,

что услыхали от нее:

— Живу одна: не могу, чтоб кто крикнул, чтоб стукнул.

Не может. Но не может и без людей, а потому и не сидится ей в тихой хатке.

«…Я как стану рассказывать, дак вся трясусь…» *(Смеется.)*

Неожиданный этот смех смущает, даже, кажется, пугает ее саму. Черная, морщинистая рука, сжатая в кулачок, старается прикрыть улыбающиеся старческие губы. И кулак этот, и губы дрожат, как у малого дитяти. Которое вот-вот закричит от боли, от обиды…

«…дак вся трясусь…

В Литвичах немцы приехали молодежь брать в Германию, а партизаны подползли и стали там их уже бить… А они опять в воскресенье раненько приехали в Литвичи. А уже тогда приехали к нам в двенадцать часов. Тогда уже приказали они… У нас был Жаворонок, староста, местный. Как партизаны подойдут, так он собирал им что надо, а как немцы подойдут, дак он и немцам тоже. Ну, они приказали старосте этому, чтоб собрал яиц… Ну, люди ж боятся сильно… Я тоже одна была с двумя девочками своими, дак тоже боялась. Я из хаты не пошла. Сильно их, этих немцев, боялась. *(Смеется.)*

Они ходили там по хатам. И к нам приходили. Мои были девчата небольшие.

На этом месте брат мой двоюродный жил, дак я пошла к нему. Спрашиваю, что будет, може, в Германию будут брать. Девчата мои… Одной уже шестнадцать было. Дак он говорит:

— Нас не будут брать никого. Тут из нашего Засовья нема никого ни в партизанах, ни в полиции, нигде…

Ну, я пошла домой и легла с этими своими девчатками спать. Назавтра я одну разбудила. Выпустить корову там, где моя тетка жила и я сеяла картошку, там был мой приусадебный участок. Так был на участке погребок такой выкопан, и будочка землей обсыпана. Дак я говорю дочке, чтоб шла к корове, а я побегу картошки возьму. Взяла посудину какую-то… *(Смеется.)* И вдруг они стоят там, возле тетки моей, пять человек. Одна женщина подошла к ним, спросила о чем-то. А я потом подошла к ней и тихонько говорю:

— Виктя, что они тебе сказали?

— А я, — говорит она, — спрашивала, можно ли выгнать корову в поле, дак они сказали, что только на выгон.

Я тогда скоренько взяла да бегом, да бегом около них. А они мне ничего не сказали. Пришла я к тетке в хату. Дак она говорит,

что, може, поубивают, потому что в Литвичах людей убивали — хлопчик один говорил. Это — уже сродственник ее. На печи лежит, из Литвич прибежал. Убежал. Он и корову вел сюда. Дак и корову убили… Тогда, как стали убивать людей. Я тогда скоренько в тот погребок — нагребу картошки и побегу к детям. Одну ж разбудила, а другая спит…

Только я стала вылазить… А был мой брат двоюродный, у тетки жил: там у них голод был на Украине, дак он сюда переехал. Дак он идет и говорит по-хохлацки:

— Амиля, что-то там стреляют. Дак я говорю:

— Лезь сюда, прячься…

Там, в ее погребе, перегородка такая. Он туда, в этот катушок, залез, а я этак вот присела. Погребок глубокий, а у меня кожух был длинный. Но босая я. Дак я вот так присела и сижу. У дверки сижу. Тихонько. Тогда вижу я, что женщина, соседка, что-то гомонит. Приоткрыла я Дверцы и говорю ему:

— Гайдучиха, видать, просится, чтоб в Германию…

У нее было одиннадцать душ семьи, а ее гонят в хату — убивать. Я сижу у дверцев, а он там, в катухе. И кашляет. Дак я говорю:

— Не кашляй, сиди тихонько.

А как ты в земле сидишь, дак в хате такой глухой выстрел. Слышу — у тетки моей два раза выстрелили… А он на меня:

— Гляди, что там делается.

Вижу — два немца идут с горы — Жаворонок там жил, дак мы все называли Жаворонкова гора. С горы той идут сюда. Когда у тетки выстрелили два раза, дак тогда я слышу — дух-дух — идут по двору. Один подошел, дверцы эти открыл. Я его и теперь вижу…»

И снова усмехается старая женщина, закрываясь маленьким, как у ребенка, но черным от старости кулаком. Будто неловко ей за все, что с нею было. И за всех. За то, что так несуразно, по-детски пряталась, так ползала и ничего не понимала, а незнакомые люди откуда-то приехали, бегали, искали ее, чтоб убить…

«…Нехай бы он меня убил…

Держит он винтовку в руках, а я этак сижу. Поглядел на меня, а я на него… Дак он прикрыл эти дверцы и ушел.

А я все сижу. А тот хлопец все:

— Гляди, что делается.

Дак я открою, послушаю, погляжу… А потом вижу, что уже крайняя хата горит, дак и говорю:

— Ай, браток, уже ж это немцы людей убивают, уже Степана Громовича хата горит.

Тогда уже и я к нему в этот катушок перекатилась, уже около дверей не сидела. Хату спалили, а сарай остался, а напротив сарая — наш этот погребок. Тогда другой уже вскочил в погребок. Но уже он нас не видит — потому что уже меня нема, я уже перекатилась в катушок. Запел он сам себе под нос, выскочил и подпалил тот сарай. Как загорелся ж этот сарай — тепло же, сухо, — дак стали на нашем погребке дощечки да лапник гореть, которыми он был обставлен. Пламя и покатилось по доскам. Сама бы я, дак я б там сгорела со страху, а он все ж уже мужчина *(смеется)*, дак он мне говорит:

— Амиля, давай утекать!

Вскочил, уже дверцы горят… А там стояла у нас бочка с бураками, наскобленными на квас, дак я взяла посудину, чтоб плеснуть на дверцы, да вылезть… Но обгорели мы — и наши руки, и лицо обгорело — и его, и мое. Выскочили мы за сарай, а сарай тот уже сгорел.

Полежали мы в картошке, что была посажена. А он говорит:

— Нас тут видать…

Петухи поют, коровы, которые поостава́лись, ревут, зозулька на дубу — тут дуб стоял — кукует…

Ну, мы тогда поползли ползком по болоту.

Сосед это девочку вынес… По ней два раза стреляли только платок пробили, а она уцелела, за печкой спряталась. Они в дыму выскочили, как горело. А тогда они нас увидели, нас позвали. И мы этак вместе сидели там.

Вопрос: — А девочки ваши?

— Одну спалили. Как оставила я ее спящую, так и убили в хате. А эта сидела на выгоне около коровы. Дак по этой стреляли, да не попали. Там был сруб, срубленный на хату, дак она там под сруб подкатилась.

Немцы, как с вечера пришли, дак они у людей ночевали. Писари там были, писали. А раненько, с солнца восходом начали людей загонять и убивать…»

Да, бывает, пожалуй, когда чувства, переживания, делаются как бы несоответствующими обычным их проявлениям (плакать или смеяться). Других же, «соответствующих», природа человеку, может, и не дала. Не знала мать-природа, с чем когда-то встретятся умнейшие ее дети…

На некоторых сделанных нами фото женщин — такая вот неожиданная усмешка. Ее понимаешь, увидев не на снимке, а на живом лице, когда слышишь голос человека. И тогда даже как

будто соглашаешься с нею: человек, который пережил, своими глазами видел такое, имеет право на слова и выводы, от которых пусть себе даже и холодно делается.

«…Немцы шли к нам так — одна партия из Копцевич, а другая — вон с того конца. А мы на улице были. На Улице нас и побрали, погнали вон туда, в конец села. И там стоял такой на колесах… Я не знаю, что это. Мы Думали, что нас будут расстреливать. А они — за нас и группами загоняли в сараи, в хаты. Я попала во вторую группу. Одна я была и со мною золовка моя. Девушка. Так ее в первую группу загнали, ранили в хате, она выползла и в колодезь упала. А може, ее бросили туда? Не знаю. А я в сарай попала, а потом Павел отбил двери, и мы утекли. Горели все, и сарай тот горел. Стали утекать, а они нас давай бить. Мы вшестером утекали: Лукашевячиха старая, Сергеева мать, Веры Токаливой мать вместе со мною утекала из сарая, тетка Дарья утекала. Тех поубивали, а мы втроем остались. Я за такую вот копенку забежала и села. Шептала та копенка — так стреляли по ней. И я осталась живая. Я с двадцатого года сама, а дети мои были тогда в лесу, двое детей было у меня. Не понимала я еще, думала: хаты у нас хорошие, новые, дак буду просить, чтоб они их не палили. Потому что поговаривали, что жечь будут, но никто ж не думал, что людей будут жечь и расстреливать…

Как я подняла из-за копны свою голову, дак они стреляли, а я побежала, а потом увидела, что за копной сидит Ева Горбань. Вот она *(показывает на соседку)*. Я хотела взять ее, а она говорит: „У меня нема ног“. Я ее и бросила. Мне ж не жаль было ничего, я и детей своих не жалела, бросила, я и сама себя не жалела. Не знаю, кто их, моих детей, побрал. Сама побежала в лес…»

Это и так говорила, рассказывала нам **Вера Тимофеевна Какора** в деревне Великие Селютичи Петриковского района.

А может, она наговаривала на саму себя? И детей, видишь, «не жалела», и «самой себя не жалела», и соседей.

Можно спросить: а зачем это человеку — так на самого себя наговаривать?

Вопреки всякой логике, казалось бы.

Но много ли (мог бы спросить такой человек) «логики» в целом мире? Где такое творилось, где такое возможно. Вот и говорит, действительно, не жалея ни себя, пи тех, кто будет слушать. И тогда рассказ человека звучит жестоким вызовом: можете ужасаться, можете возмущаться! Мир вон какой, так не требуйте и от меня! Люди, пережившие такое, ныне живущие

среди нас, — эти из числа наиболее крепких. Большинство же сразу или через недолгое после войны время ушло из жизни — вслед за болью своей, вслед за детьми, родителями, что так страшно погибли.

А эти все держатся в жизни: одних держит новая семья, новые дети, работа, старческие хлопоты около внуков; других, одиноких, держит в жизни, возможно, как раз как об утрате, потому что человек противится, не хочет, чтобы самое дорогое исчезло окончательно — вместе с ним. Потому что и мертвый для человека тоже иногда еще Раз умирает. «Еще больше» умирает — уже окончательно. Даже мертвое дитя свое мать будет спасать (если надо, жертвуя собой) от этой «другой», от новой смерти, вот как Мария Федоровна Кот из деревни Великие Прусы в Копыльском районе:

«…Схватила младшую, ей было девять лет… Горит и на ней платье, и на мне горит… Замчала в ту яму, где там глинобитку делали, положила… И опять же лезу по тому самому огню — за старшей… Мало что поубивали, а то ж еще и сгорит!.. Потянула, подняла. Так оно такое молодое, мя-ягкое!..»

Мать спрятала застреленных детей в яму. А потом еще раз, жизнью рискуя, вернулась к детям. И говорит нам про это, *про убитых*.

«Приползла к яме. *Живые ли*? Не съели бы свиньи?..»

Да, человек может жить ради памяти: чтобы в ней, в его памяти, и дети его жили — убитые, сожженные. Может, потому и держатся многие — силой любви человеческой, материнской: та память, которая их сжигает, она же их и держит на свете.

Люди из огненных деревень — как и все, могут быть озабочены и пенсией, и тем, что внучка не поступила в институт, и шифер им нужен, и сено для коровы. И нам, слушая, записывая, надо было принимать самое практическое участие в этих их хлопотах. Потому что, к сожалению, случается, что не все еще понимают, что к этим людям отношение должно быть, ну, хотя бы такое же, как к инвалидам или ветеранам Великой Отечественной войны.

Однако же там, где проходит огненная черта их памяти, там все заботы и практические интересы исчезают. За тон чертой забота одна: чтобы сказать одну только правду, чтобы люди знали ее. Даже удивляешься, насколько искренне человек может говорить, рассказывать все и то, что, казалось бы, звучит ему не на пользу…

Многие рассказы не просто правдивые, а даже пугают своей

беспощадной правдой. Уже и хочется невольно, чтобы ее меньше было. Но человек говорит, поистине не жалея самого себя.

«…Моя одна дочь была в Германии, забрали мою дочь, а одна дома была. Ну, дак он пришел, мой хозяин, и дочь пришла из лесу, и трое деток привезли еще. Дак я говорю:

— Анупрей, ты знаешь что, бери ты этих детей, да идите в лес назад.

— Эх ты, такую-растакую, будешь мне все прятаться!. Не слушается, не слушается меня мой дороженький!

Тогда ж не было ни постилок, ни одеял, дак я говорю ему, что давай в дерюгу дитя да пойдем в лес. Опять он ругается. А тут уже немцы идут. Дак я ему и говорю:

— Черта с два мы теперь с тобой удерем. Хоть теперь ты уже веди мою эту донечку!

А она хорошая была, уже семь классов кончила.

— Куда вон люди удирают — туда и ты! Он, правда, — за нее, и пошли они.

А теперь — откуда уже немцы взялись! — обняли нас кругом. Вот тебе ты и удрал!.. Полицейский зовет его. Он вернулся, дак они его тут во дворе и застрелили. Он идет этак вот во двор, а я кричу:

— А боже мой! А куда ж ты? А удирал бы ты, дак холеру б они в тебя попали.

Сама себе уже, не ему. Сначала его, а потом мою доньку, дак я — ох! Нехай же они мне в плечи, а не в глаза!.. Два мальчика: одному четыре года, а другому шесть. Они бегут за мной. А уже немец… Это бабы, которые потом рассказывали: „За тобою, Парася, дети бежали!..“

А они меня, немцы, — вот и так, пуля та вот и так, господи родненький, уже и ранили меня, дак летит кровь… И как я виляла тогда! И кто мне дал бежать не прямо, а все виляю, виляю!.. И не убили. Там у нас, дальше, копань, дак я в ту копань упала. Дак они, паразиты, туда и не пошли. А я в грязи лежу. А они думали, что уже убили. А я потом встала, мокрая, и пошла. Пошла и говорю: „Боже мой, боже, где ж мои сынки?“ А у меня еще три хлопца, дак этот, старший, коров пас, а младшие — свиней. Дак я им говорила, как еще живые были все: „Гоните, детки, а то немцы поберут. И поросят побьют, и свинью“. Дак они уже и погнали. И пришла я к ним. А я ж не знала, где те дети в лесу. Но вот ведь привело меня, — вот они сидят в лесу под кочками, накрылись, Когда я пришла.

— Вот, сынки мои родные, да убили ж и батьку, да убили ж и Любку, да убили ж и Ваньку, да и Кольку убили!

Дак они:

— Ох, мамка, добре, хоть что ты живая.

Одному было восемь, другому было десять, а третьему, что теперь у него кирпичный дом, восемнадцать было. Ну, добре. А потом уже и было… Э-э-эх, если бы это все рассказал, дак господь милый!..

Мне уже семьдесят второй год. Если по хозяину — то **Параска Ивановна Луцкая**, *а если по отцу — то Скакун*…»

Было это в деревне Первомайск Речицкого района Гомельской области.

Старая, больная, с простреленным на том поле лицом, женщина кончила рассказывать и снова жалуется на непослушного мужа, что вот так погиб, на то, что аж до Москвы немец дошел, на невестку и сына, которые ее попрекают, что живет в этой старой хатке одна и не хочет к ним перейти — в кирпичный. И все это говорится с такой усмешкой на одноглазом лице (глаз вытек от ранения), и таким голосом, такими словами, что невольно представляешь: «Ну, вот, я бежала, обо всем, обо всех забыв от ужаса, а никуда же я не убежала, все оно продолжается — во мне! Догнала старость, догоняет смерть…»

Новые, иные лица, имена, голоса, судьбы. И вдруг снова — та же горечь на самом дне рассказа. Уже новая семья у человека, дети, их чаще всего ровно столько Же, сколько убили, и все есть, что требуется живому, но? ДРуг после рассказа вырвется: «Осталась я, а зачем? После того?..»

Те, что в Испаниях и в Аргентинах прятались, а теперь в Западной Германии живут как добродетельные «деловые люди» и «любящие отцы семейств» — вон как обидчиво они (и их защитники) уверены в своем праве не только на жизнь, на «срок давности», но и в своей «патриотической обязанности» присутствовать среди новых поколений.

А эти, их жертвы, жертвы нечеловеческой жестокости люди с огненной памятью несут в себе — потому, что они люди! — проклятые вопросы, терзавшие всех великих мучеников за человека и человечество: от Данте и Шекспира до Толстого и Достоевского.

Так что же помнит и что может помнить человек через столько лет?

Поразительно много и, оказывается, на удивление, подробно — если это касается таких событий. Были бы только слова — передать пережитое. Но и слова есть, находятся, особенно у женщин. У мужчин, как правило, слова не так точно прилегают к

воспаленной памяти. Но тоже не у всех, о чем свидетельствует рассказ Ивана **Максимовича Савицкого**.

Карателі ворвались в деревню Збышин Кировского района Могилевской области, а молодой партизан Савицкий[16] как раз из лесу пришел, надо было наведаться к сестре. Оружие он спрятал на опушке. Кинулся в хлев, на чердак и оттуда наблюдает, видит. И вот что помнит. Как запомнил человек:

«И мне через фронтон видно, что через речку бегут две женщины. А вот так передо мной сарай стоял. И там стоит станковый пулемет, и они через речку стреляют в этих бегущих женщин. И вот, представляете! Мне вот этот сектор из-за досок фронтона виден, где бегут женщины, а дальше за доской не видно. А выскочить они должны вот тут — там снова мне видно. Там я их снова увижу. И когда женщины вот тут из-за доски не выскочили, я понял, что убили, что в Збышине убивают людей…»

Или то место из рассказа Ивана Савицкого, как человек стоит в подожженном сарае, не может сразу выскочить, потому что убийцы где-то близко, стоит в самой середине и терпит, пока можно, и сам удивлен, что терпит:

«Ну, знаете, когда свечка горит, так по краям жарко, а в середине — нет. Горит хлев кругом меня, а я стою. И когда мне уже невозможно было стоять, меня припекать начало, я и полез под стену…»

Временами, особенно когда женщин слушаешь, начинает казаться: вот только что человек *оттуда*! Вырвался и прибежал к людям и говорит о том, как и что было с ним, в его деревне, и сам удивлен, почти не верит, что живой. И что оно взаправду было, уже будто не верит, потому что вот здесь все по-прежнему, а ему ж показалось, что всюду, что уже навсегда — *это так*. («Я уже думала, что всех подряд уничтожают, на всей земле…»)

Домна Васильевна Щемелева[17] рассказывала нам, что когда она нашла среди трупов раненого сына, когда тянула его на спине три или больше километров в лес, так после того ходила, жила, не выпрямившись. Долго, несколько лет, спина такой оставалась. Будто все еще несла женщина на себе жуткую тяжесть того дня…

Вот и не удивительно, что такое не позволяет и памяти человеческой выпрямиться до конца, сбросить все с себя. Не может так человек. Потому что он — человек.

Сначала некоторые сами не верят, что все помнят, что так близко оно. «Ох, хлопчики, ведь когда было это!..» Но скажет слово, другое, тронет, дотронется и вдруг такие подробности вспомнит, на такие острые углы памяти начнет натыкаться… И понимаешь, что человек помнит все и всегда, однако есть память, прикасаться к которой боязно, больно.

А был же когда-то первый рассказ об этом — самый жгучий. Когда только человек вырвался из пекла, прибежал к людям или они его выхватили из лап палачей.

И вот чудится, и очень часто, что и мы слушаем именно тот рассказ — самый первый. Столько там первого чувства, первой слезы, первых самых правдивых слов.

Некоторые сначала и надолго онемели.

Как говорит Мокрина Ковальчук из Княжеводцев Мостовского района Гродненской области: «Я тогда, може, пять дней не пила и не ела… Все побили, все попалили — Даже и вороны не каркали. Такой был страх…»

А потом (а кто и сразу) рассказывали людям. И как тогда, впервые и первым людям рассказали, так оно, может быть, и держится, вписалось в память. В память самого рассказчика, на огненной «ленте памяти» его. Так случилось, что некоторых людей (в Борках Кировских, в Великой Гароже и Брицаловичах Осиповичского района) одному из нас записывать довелось дважды. Четыре года прошло, а казалось, что прослушиваешь — на магнитную ленту записанное. И интонация, и детали, и слова — все почти то же. И вместе с тем — по чувству, непосредственности — как впервые рассказанное. Чаще всего, за несколькими исключениями — так. Единственный на всю жизнь рассказ, но каждый раз звучит как впервые — потому что через такую боль прорывается, через такую муку души!..

Чувствуется, что некоторые много раз рассказывали соседям, может, детям (новым детям — об их убитых сестричках, братиках). Но тут приехали к ним незнакомые люди издалека, с разными аппаратами, и просят вспомнить все и как можно более подробно, а соседи тоже здесь, слушают, что не раз уже слышали или даже сами своими глазами видели: и дополнят, и напомнят…

И тогда бывает, что включается как бы еще одна «секция» человеческой памяти: о тех ночах без сна, когда ты снова и снова это представлял, видел, вспоминал — все до мелочей.

…Как соседка, видя немцев, что окружили деревню, и услышав крик: «И нас убьют!» — вдруг сказала своему восьмилетнему мальчику: «Сынок мой, сынок, что ж ты в эту резину обулся? Твои ж очень будут ножки долго гореть. В резине».

(**Анастасья Илларионовна Касперова**. Борки Кировского района.)

…Или как люди сидели, спрятавшись в жите, а убийцы бегали, искали их, а каски звенели о колосья…

(**Петр Николаевич Малащенко**. Лозки Калинковичского района.)

…Или как, перестреляв соседнюю деревню, каратели укрылись от дождя, став под стреху, стоят вдоль двух стен, а в хате той — люди, и слышат, как твердо каски немцев стучат о стены…

(**Алена Григорьевна Жарченко**. Рудня Россонского района.)

…Как думалось среди убитых, как боялись те, которых пуля миновала: «Снег на убитых не тает, а на мне — тает. Заметят!..» Или: «Почувствовал я дрожь от холода и думаю: увидят!..»

Память снова и снова поднимает из своих глубин то, что поразило самого человека неожиданностью, жутким несоответствием всем обстоятельствам.

Еве Тумановой из деревни Красница Быховского района очень уж запомнилось, как она, тогда еще подросток, увидев, поняв, что убивают всех подряд: «…в дом вскочила растерянная, понимаете. А мысли такие… Еще жить думалось. Лежал узелок одежи, дак думаю: „Возьму я хоть узелок, сожгут же, дак переодеться не во что, я ж в одной одежке“. А тогда думаю: еще посмеются, скажут: „Убивают, а она узел какой-то!..“»

И сегодня помнит, как странно тогда вела себя, как странно думалось ей. Каждую мысль о собственной мысли помнит.

Услышав в деревне Курин на Октябрыцине сказанное вскользь Матруной Гринкевич, что девчата, спасаясь от смерти, несли с собой большое зеркало, гляделись в него (девчата же, по семнадцать!), мы еще раз спросили об этом: «Так и было — с зеркалом убегали?»

«…Вы про то зеркало спрашиваете? Ага, это когда сожгли Хвойню, дак наши люди все выехали в лес. Побыли до вечера в лесу, и — холодно. Я говорю:

— Пойдемте, девки, додому, ничего не будет!

Нас было трое. Ну, шли мы уже дорогою, взяли в лесу большое зеркало — ведь это ж девки, нам не надо, чтоб чего-нибудь там набрать, а в зеркало бы посмотреться… Ну, ми шли, на горке остановились, дак уже рассказывали подводчики, что немцы видели, как мы смотрелись в зеркало…»

Такое человек помнит и не может не запомнить навсегда. Потому что это было за шаг до смерти, когда все приобретает особенный масштаб и особенный смысл.

Фашизм, его реальное лицо, реальность его планов такие, что

природа человеческая отводит свои глаза от всего этого. Ужас такой, что люди вдруг… засыпали. (То, что называют «запредельным торможением». Психика человека, спасаясь от срыва, от помешательства, отключается.)

Про этот внезапный сон нам столько раз говорили, столько людей рассказывало…

«…Ну, мы все поползли по картошке в жито… Мужчины, уже на фронте были которые, понимают, говорят:

— Ну, это уже убивают.

Слышно, что выстрелы, а потом дали гудки. Мужчины говорят:

— Ну вот, сейчас будут жечь деревню.

Вопрос: — А вы в жите?

— А мы в жите сидим.

Вопрос: — В жите они не искали? Из хаты в хату ходили?

— Не, не искали. Из хаты в хату. Може, ближе где мекали, а нас — никто. Только было такое тяжелое… Страх, спать хотелось. Ну, а когда уже запалили…

Вопрос: — Спать хотелось?

— Ну, от страху. Так вот от страху спать хотелось! Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное… Люди ж горели, запах тяжелый был…»

(**Ева Ивановна Тумакова**. Красница Быховского района.)

Природа «отводит глаза» — человек внезапно засыпает. Часто в самый опасный момент.

«…Рассказать вам, как это все начиналось? — переспрашивает жительница деревни Алексичи Хойницкого района **Антонина Лазаревна Кособутько**. — Ну, вот я жала за поселком. Я ячмень жала, а жито стояло, и там поубивали двенадцать душ. А как стали они людей тех убивать, дак я вот так легла ниц и заснула. Я не слышала, как их убивали, не слыхала ни писку, ни крику. А дальше уже, как поднялась я — уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и весь скот лишит, ревет тут, в соседском дворе. Дак я встала и стою, а соседка идет и говорит:

— Чего ты тут стоишь? У нас же всех поубивали.

А я думаю: боже, нехай бы и меня убили, зачем же я тут осталась!..»

Такое случалось с женщинами, с мужчинами. И сами они *рассказывают о том — с удивлением*. И *с испугом* даже.

Детская же психика, природа еще поспешнее отворачивалась от такой реальности. И тут неожиданный, внезапный сон часто был спасением — уже в прямом, физическом смысле. Сон прятал детей от убийц. И некоторых — спас.

«…Сейчас приезжает на лошади *тот*, который *добивал*. Видит, что человек живой, — добивает. Я глаза приоткрыла и тихонько гляжу на него.

Вопрос: — А дети?

— А дети не шевелятся, спят. Заснули».

(**Софья Пименовна Скирманд**. Збышин Кировского района.)

«…Когда уже две хаты осталось до нас — они подходят, видим: раскрыли дверь и выстрелили раз. Там одна старушка была. И оставили дверь открытой. И уже последняя хата! В ту, а тогда уже — и к нам. Там, это, староста жил. В той хате. Они шли туда, дак он вышел, а У него, може, человек двадцать в хате. Он думал, спросят что да и уйдут. И вышла его старуха, того человека, и девочка — он, тот староста, неплохой был, его заставили быть старостой. Он не хотел, а заставили. Ни то ни сё, ни туда ни сюда был. Ну, и они его так за воротник, да в дверь. И за ту старуху, за дитя — и начали из автомата бить там уже. А нам уже некуда деваться, мы уже растерялись. У меня четыре души. И соседских детей пятеро было в хате у меня. Куда ж деваться. Они хотели сюда вот спрятаться, под полом, а я говорю:

— Утекайте, а то придут, и они нас или запалят или Убьют. Бежим, нехай стреляют, да и все.

Дак мы кинулись на кладбище, — дети те и мы. Мы попадали — там яма была. Трое детей вдоль дороги вроде бы к Романовне побежали, а двое упали: ветер с сосны сломал верхушку, дак они залезли в ту верхушку. Да и позаснули там. А мы в той яме были. Видим, что стоят немцы вокруг кладбища. Подняться нам никак нельзя: они ходят и гомонят, слышно. Ну, не встаем. Уже они и ушли отсюда, а нам сдается, что стоят там. Спят дети…»

(**Ульяна Осиповна Казак**. Казимировка Мозырского района.)

Вот так психика человеческая спасалась от помешательства (и подчас спасала детей от смерти). И подсказывала, что происходит что-то такое, на что природа человеческая «не рассчитана», «не запрограммирована». Несмотря на весь прошлый опыт, который оставили человеку и человечеству Тамерланы и чингисханы всех веков и народов.

Если так помнят, такие подробности, — веришь в правдивость. Сидит женщина — тревожное, вопрошающее,

готовое к мукам лицо, взгляд — как в больнице перед серьезной операцией. Тут не до придумок!..

Некоторые рассказывают с такой готовностью, будто они тут ждали этого все тридцать лет — чтобы вот так кому-то, кто от далеких людей приехал, пожаловаться, всему свету поведать, что тут делали с ними.

Акулина Панкратовна Габрусь. Козуличи Кировского района.

«…Ну, у меня была девочка два годика на руке, во тут во. Правда, у меня документ был, взяла я документ. Ну, гнали, пригнали. Я думаю: боже ж мой, где ж моя семья? Только одна девочка у меня на руке. Пригнали. Кто говорит, что будут в беженцы гнать, а кто говорит, что будут убивать, а кто его знает! Я думаю: куда мне, боже мой? Потом погнали людей по шляху. А соседка идет и говорит:

— Ат, Кулина, пошли, куда люди, туда и мы! Что бог даст!

Дошли мы только до крупорушки, из-за хатки выходим — немцы выносят те весы. Дак я говорю:

— Ну, молодичка, нам уже бог дал.

А нам было слышно, что в Лютине загнали в мельницу й спалили людей. Я говорю:

— Ну, Явгинья, нам уже бог дал. Она говорит:

— Ага, уже.

Ну, их обняли кругом, один к одному стояли — кругом! И пальцем не проткнешь — от шляху и до шляху, кругом этого здания. А людей же полный двор. И вот их прут в эти двери, душат, гонят в эти двери, а там — в крупорушку. А у меня девочка на руках, во тут во. И у меня — документ. Я как глянула — уже мама там и тата. Этих людей уже так душат, так бьют! Один тут стал проситься, дак его — прикладами. На штыке и поперли туда. Это мужчина был. Молодой попался. А я с этой девочкой. Оглянулась вот так назад — мама стоит моя.

— Мамка, говорю, уже все наше!

Я ее целую, дак она — как лед. А тата — уже дальше немножко. А уже… А тут одна, знаешь, женщина, две девочки и она. Они к немцу одному, попросились — он пустил. Эта во Ульяниха. Пропустил. Тогда я глядь — боже мой, надо было и мне с мамой идти! И у меня уже темно в глазах стало, я ничего не вижу. Только вижу тень человека, который уже отпустил этих. Дак я подошла да: „Пан!“ — вот перекрестилась, а тогда эта моя девочка — у меня вот тут документ был, я забыла о нем — это мое дитя вытащило этот документ. А боже ж мой, дак это ж у

меня документ! Я ж уже забыла…»

Ни за что могли убить целую деревню. Потому что убивали, излишне не разбираясь, кто там какой, есть у него «аусвайс» или нет. И вдруг женщина показывает какую-то там бумажку, и та спасает ей и ребенку Жизнь… Случайность, которая только подчеркивает, насколько все их «причины» и «доказательства» придумывались на ходу не очень даже и старательно.

«*Вопрос:* — Сколько вашей девочке было?

— Два года.

Вопрос: — Она сама взяла эту бумажку?

— Ну, она — вот так… Я ее держала, я про нее забыла, уже у меня темно было в глазах, ничего, только вижу, как тень человека идет. Я — ему, а он, правда:

— Матка, туда!

Я перебежала на эту сторону, упала. Упала с этой девочкой. Потом приподнялась. И идут еще — одна шеренга, другая шеренга. Думаю — все равно — те отпустили, эти убьют. Не. Не тронули. Тут дохожу только до того, *до шляху*, идет человек. Несет документы, сбегал и уже документ этот взял, и женка и двое деток. Узелок еще одежи несут. Я думаю: „Господи, куда ж вы, люди!“ Думаю, скажу — другие ж прошли и не сказали им — думаю, скажу, дак и меня убьют. Их уже как довели, дак убили там…»

Убили, хоть тоже «документ» имел человек. Какой уж тут документ, когда действует «план»!

«…Я как оглянулась: „Э-э, уже дым!“ Только пулеметом, слышно было: тр-тр-тр! Как вталкивали там — так сразу и убивали. А тогда уже и запалили. А этого немец вел, что с документом, если бы не немец, дак я ж бы сказала, что убивают.

Три года оно, може, у меня с глаз не сходило, стояло в глазах и стояло…»

И теперь оно не «сходит с глаз» у Акулины Панкратовны — то, как убивали Козуличи — ее родных, соседей.

Нашли мы и ту женщину, о которой говорила Акулина Панкратовна — Дрозд Ульяну Прокоповну. Она также своими глазами видела весь ужас расправы над жителями Козуличей.

«…Ну, мы уже стоим… Всех околотили, только одни хаты остались. Отца и мать мою и две сестры младших.

Ага, когда всех гнали, я осталась и еще двух свиней и две коровы понакрывала соломой. И собака на цепи. Они *подошли*:

— Авек, авек, авек!

Я собралась и *пошла к шляху*. Выхожу — все стоят семьями! И плачут. Стоят навытяжку и плачут…

И повели нас. Где вот это кладбище, тут стояла мельница, крупорушка, жил мельник. Так старая его хата была, а так — новая. Ну, вот туда заходят:

— Заворачивайте направо!

Заворачиваем. Мельницу раскрыли на две половинки, и у дверей стоят весы мельничные.

— Заходите, выносите весы!

Немецкая одежа, а по-нашему, по-русски говорят:

— Заходите! Никто ж не идет.

— Заходите!

Никто не идет в эту мельницу. Они — такие плетки резиновые, через руку вот такой ремень — и этой плеткой через голову, через голову! В ряду шли семьями, дак вот так мужчины позакрывали своих. Бросили бить. Бросили, крупорушку эту раскрыли — а крупорушка на две половины — широкие двери, засов был. Они открыли эти две половинки дверей:

— А ну-ка, заходите сюда!

Ну, кто идет, кто не идет. Они сами зашли и кличут:

— А ну-ка, — кличут, — заходите, заходите!

— Авек, авек! — немцы. А эти по-русски:

— Заходите, заходите!

Людей и втолкнули в эти двери. В эту крупорушку. А я, значит, — стоит в немецкой одеже, — я говорю:

— Пустите меня, — и какая-то у меня была справочка. В Любоничах давали. Я говорю: — Пан, пустите меня.

Посмотрел на эту… бумажку, за руку меня, через шлях перевел меня.

— Садись и сиди тут, — по-русски. — Сиди, пока я не приду, не удирай никуда. Если побежишь — убьют тебя.

Ну, что будет, то будет. Я села и сижу. А мама моя говорит:

— На платок и хлеб уже, в беженцы собирайся.

Два куска сала с собой она взяла, две буханки хлеба — это ж трое детей уже и сами вдвоем, думали ведь, что погонят в беженцы. Я махнула: „Не надо!“

Вопрос: — А мать где ваша?

— В крупорушке уже. Дак думает, что хоть мне понадобится. Хоть мне.

Вопрос: — Она вам это передает?

— Мне не дали взять, не пустили меня к ней, а ее ко мне. Ну,

я махнула: „Мама, не надо. Мне, говорю, хватит дома“.

Вопрос: — А с мамой кто из ваших?

— Две девки младших, мои сестры. Ну, немцы за людей — в крупорушку, закрыли этим засовом. А я сижу, ноги спустила вот так в канаву и сижу. Так, как вот теперь на лавке. Проходит этот самый, что меня перевел через шлях. А они бегают, бегают, канистрами — жах-жах-жах, пообливали канистрами. А этот самый подходит ко мне:

— Собирайся — шагом марш!

И шляхом, говорит, бочком, только не беги, будут стрелять, это, говорит, не по тебе. Так он. Ну, я и пошла. Иду — что будет, то будет! Иду, иду, а там человек идет: его пустили домой, чтоб документы эти взять, и двое детей с ним. Немец повел их, тех людей, того человека с женкой и с семьей. А я пошла и пошла. Прихожу на шлях сюда, а тут стоит этот часовой. А эти уже стоят, а машины так ревут, так ревут все. Подходит моя сестра (ей теперь семьдесят два года):

— А где тата с мамой?

А их уже, пока я отошла, запалили, горит уже крупорушка. Говорю:

— Вот, уже горят!

— Гэ-э-э-э! — подняли люди крик.

Вопрос: — Все эти люди? Которые остались?

— Ага. Я говорю: тихо вы!.. Подскакивает один да:

— Успокойтесь, а то и вам ето буде!

Правда, сти-ихли все, как воды в рот набрали! Смолкли. Подбегает Коновалов етот самый — тот, что в красную субботу был…

Вопрос: — Его тогда партизаны перехватили тоже?

— Перехватили и ранили, а кто-то из казюлицких его в уборную спрятали. А через ночь на жеребке завезли в Кировск.

Вопрос: — Он был начальник полиции?

— Начальник самый главный, етой, кировской, ну там. Отрядом уже ихним командовал. Ну, дак он подходит:

— Ну, что — ету сторону на уголь жечь, а ета сторона пусть стоит!

Вопрос: — На деревню показывает?

— На деревню. Эти немцы уже как бежали, а сюда ветерок, как бежали по-за хлевами, по-за хлевами — через одну, через одну запалили. Это уже и горит все. „А вы, говорит, расходитесь“. Все тогда и побежали, и я побежала.

Вопрос: — У вас много людей осталось?

— Наша деревня большая была. Триста восемнадцать уже спалили, с детьми, ну, а еще деревня большая. Я прибежала, еще

выгнала корову, теленка и двое свиней выгнала. Стояло ведро, миска и ложек семь — я за ето, на руку и ушла из хаты. А так в хате все сгорело. Ну, ушла, села на улице и сижу уже. Немцы меня не трогали. По шляху едут — все взад-вперед, взад-вперед. Некоторые попрятались, а я сижу, думаю — одна смерть, если я уже оттуда ушла!.. Все сгорело, назавтра приду и на двор еще не могу зайти. Как гляну — не могу, поверите! Тогда открыла погреб, глянула на эту одежу: батькино, мамино лежит… Я, вы поверите, обомлела в том погребе. Ну, и что? Прожила… А забыться — не забылось. Тогда снится эта моя сестра, самая младшая, она такая кудлатая была! Ходила во второй класс. Дак я говорю:

— Вот, Алена…

Знаю, что она сожжена. А она мне:

— Ох, Ульяна, да болела ж моя голова, под полено прятала голову, так припек уже огонь!..

Приснилось. И под полено она прятала свою голову. Так во сне она мне говорит…»

Огненная память, огненные сны…

О снах своих, военных, послевоенных, рассказывали, говорили нам многие. Потому что в снах тех — продолжение их мук. Снова и снова, как самую реальность, переживают люди все то — вместе с погибшими и как бы Уже за них.

Даже «коллективные» бывали сны у людей — после того общего ужаса. И такие, что люди в лесу, поговорив, Переговорив утром, вдруг бежали на свои пепелища — настолько реальным приказом были для них ночные, во сне, картины мучений родных, близких…

Мы — у деревни Лозовая, в Осиповичском районе Могилевской области. Несколько женщин, занятых делом около сенажной ямы, узнав, кто и зачем приехал, говорят с нами, перебивая друг друга: и про вчерашнее все, и, еще больше, про сегодняшние дела, заботы, огорчения. И одно с другим переплетено: жизнь у человека одна, и память — тоже одна. Как на дереве: прежде чем дойдет сок от корней до самой последней, самой молодой веточки, должен он пройти через весь ствол, А эти женщины еще и довольно молодые, крепкие, потому сегодняшние заботы для них имеют значение большее, чем для тех, для многих, кого старость «отсадила в сторонку». Люди, живущие всеми практическими делами, интересами, и вот они нам — о снах. О своих, таких реальных снах. Потому что сама реальность, действительность тогда выглядела жутким сном, кошмаром. Одно переходило в другое, неизвестно где кончаясь…

«…Мы были в лесу, — говорит **Вольга Григорьевна Гришанович**, — ну, и пришли из лесу, когда наших спалили. Посмотрели, собрали пепел: дети лежат, кажется, живые. Возьмешь — пепелок рассыплется. В одной хате мы собрали всех. Девять цыбарок — одни беленькие косточки. А в другой — там уже была гора. И кровь видна была, их, видать, убивали. Потому что они в куче, и кровь была. По уголочкам были, под печью. Через год один дед… Ему приснилась жена: „Почему ты меня не похоронишь? — говорит она во сне. — Я ж под печью в мухоморе!“ Ну, он никому не сказал, дождь идет, он тихонько эту печь разбирает. Приходим, говорим:

— Дедушка, что ты делаешь?

— А мне, говорит, Алеся приснилась: „Что же ты меня не похоронишь, я уже целый год лежу под этой печью, в мухоморе, а ты меня не похоронишь“.

Правда, он разобрал эту печь, а там косточки, только косточки остались.

Вопрос: — А как фамилия этого деда?

— Прокопович Виктор. А его жена звалась Алеся. Ну, мы пособирали эти косточки и снова закопали. А когда этих хоронили, придем в лес, наголосимся в лесу.

Снова на пепелище прибежим — приснилось нам: „Что вы нас не похоронили!..“ Станем этот кирпич разбирать… Сколько раз прибегали. Раскопаем, раскопаем, найдем, опять эту могилку поправляем. Снова пойдем в лес, ляжем: какой там сон! Но опять снятся: „Вы нас…“ Что всех не похоронили. Снова придем и станем этот кирпич разбирать, искать… Ну, так и остались. А как палили — никто не знает. Ни одной души у нас не утекло. Вот уже в соседней деревне, в Бозке, там в Германию отбирали. А у нас такие были женщины молодые — ни одной души не оставили. Там, так с детьми которые, тех сжигали, а молодых — в Германию.

Вопрос: — А они потом, немцы, поставили здесь гарнизон?

— Это потом уже. А когда жгли, мы прятались в болоте. Трое суток сидели. Залезем на сосну, глядим: никто ни печи не топит, ни воды не носят. Ну, мы решили, что забрали, може, и погнали в гарнизон. Тогда — солнышко заходило — мы говорим:

— Давай побежим, поглядим, что делается…

Вопрос: — Сколько здесь погибло?

— Сто пятьдесят человек наших только. А тут, говорят, пригнали из Лочина тридцать человек. И тех, что в лесу ловили, тоже в огонь бросали.

Ну, что ж, остались по сегодняшний день. Из всей деревни

остались: вот нас троих — она со своими детьми, и еще одна женщина с детьми осталась — три семьи…»

…Надо сменить в магнитофоне ленту, остановить рассказ — и боишься: а сможет ли человек, хватит ли у него силы снова вернуться туда… Потому что и случалось, что после такого перерыва человек уже не мог по-прежнему полно, обстоятельно рассказывать. Но чаще было такое ощущение, что ты магнитофонную ленту остановил, а он «остановил» свою. И что на самом деле в нем все это записано. Один раз и навсегда. Один на всю жизнь Рассказ. И исчезнет он только вместе с жизнью, с памятью человека. Действительно видишь, — когда столько, как мы, послушаешь этих людей, — что эта необычная полнота, точность — общая особенность «огненной Памяти». Такое человек не может рассыпать, растерять по дороге жизни — даже и через три десятилетия, даже если бы и захотел…

Однако проявляется эта общая память по-разному, Уже в зависимости от человеческой индивидуальности. Что человек — то и рассказ.

Среди всех выделим пока два типа, два образа рассказчиков, а точнее — рассказчиц, потому что женские воспоминания — наиболее полные, эмоциональные.

Об одном типе рассказчиц мы уже говорили — о тех, которые и говорят, и смотрят, и даже при этом усмехаются как-то странно спокойно, рассказывают неожиданно «эпически». С непривычки и пока поймешь, что за этим скрыто, зажато — делается даже страшновато. Не к месту певучий голос (Барбара Слесарчук из Ивацевичских Бобрович) или звучно-бесстрастный (Ева Туманова из Быховской Красницы) мешает сначала даже чувствовать, понимать, о чем человек рассказывает. Зато, когда наконец дойдет до тебя правда и этого спокойствия, и этой бесстрастности, и этой странной усмешки, еще более невыносимой и жуткой делается правда самого события, самого факта.

«…Через улицу перехожу, — рассказывает жительница Красницы **Ева Туманова**, а в глазах ее на широком лице ее вопрос, как бы непонимание: что ж это было, правда ли, что было? — гляжу, лежит сродственник, двадцать третьего года рождения, и лежит, и у него кишки вывернулись… Ну, все, живот ему порвало, все… Он говорит:

— Ева, дай мне воды. Я говорю:

— Ай, Игнат, где ж я тебе возьму воды, все ж погорело!

— А вы все живы?

— Убили мою мать, а брат и батька остались живы… А ваших?

— Надю, говорит, убили, а Кастиян где-то пополз в яр…»

Какое-то раздвоение с человеком и в человеке происходит: сам рассказывает и сам как бы спрашивает: было ли с ним это, правда ли, могло ли быть? А если правда, так что же это, и как можно, чтобы такое было?

И это раздвоение видно не только на лице, в глазах, интонации, в голосе (звучно-бесстрастном), но и на слова накладывается. И слова, а не только интонация, уже «не то», «не о том». Горит все, истязают людей, убивают, можно представить, какой ужас, крик над…й, а человек рассказывает, что он не побежал, не пополз, не бросился в жито, а «пошел» («пошли и сели в жите»). Или та же «беседа» девочки (Еве Тумаковой было тогда тринадцать лет) с тяжело раненным родственником. Будто и на самом деле так: «Ай, Игнат, где ж я тебе возьму воды!..» — будто это обычный разговор девчины с парнем среди сельской улицы, в обычный, а не в тот день.

Рядом с образами таких рассказчиц, после таких рассказов, встает из числа многих и совсем иной. В той же Краснице, в том же красницком клубе, записывали мы **Нину Михайловну Князеву**.

Подошла, присела к столу красивая женщина, совсем еще молодая, и заговорила тихо, почти шепотом. Нет, не от неловкости или застенчивости перед соседями, что сидят у стены, или перед нами, незнакомыми людьми, притишила она так голос, а потому что каждое слово для нее — боль, мука. Не та, не там, а мука здесь, теперь.

Жизнь для нее не разделена на две половины, ибо то, что было, что в ее памяти — продолжается. Такая это натура, душа. И с такой реальной остротой все в ней продолжается, что любая жизненная неудача, обида (муж бросил — сказала и об этом) бьет по тому же воспаленному месту. Такой человек все, даже мелочи, переживает втрое… А на тронутом пулей лице — присмотритесь! — сколько душевной мягкости в этих глазах, в этих детских губах, душевной наполненности, человеческой красоты.

Каждым словом своего рассказа она будто дотрагивается до все той же жгучей, живой боли — и невольно понижает голос до шепота. Будто зажимает в себе ту боль. И голос уже совсем пропадает — только тихий, беззвучный плач… Тихая женская краса, тихий голос, тихие слезы, а кажется, что здесь стоит тот немыслимый крик.

«…Ну, что я знаю. Знаю только, как в нашу хату засняли людей. Когда убивали Красницу, то мы стояли на улице. Мы жили туда, к низине — на поселке. Мы стояли, собравшись, глядели, что тут уже дым. И дождались, что соседний дом, что соседей уже… И подходит к нам — В хату!

Загнали в хату. Нас было три семьи. Наша семья — семь душ…

Вопрос: — Вы стояли и видели, как уже соседей убивают?

— Ну, все, соседей уже… окна бьют и гранаты бросают… А мы еще у своего дома стоим. Мама, отец и я. Отец больной, только что пришел с операции. На войну его не взяли. Ну, стояли, достоялись — приходит:

— В хату!

Загнали нас. Ну, а в хату мы зашли — что делать? Один за другого стали прятаться. Мама кружится, тут и все за ней — никто никуда. Ну, а они стояли.

— Так, долго с вами чикаться? Ложитесь! Только ничком. Ложись!

— Ну, мы — кто куда! Мама хотела под лечь — тут отец крикнул:

— Сгоришь живая!

Она сейчас — на печь. Ну, и мы — скок-скок за ней на печь. Семь человек. Ну, и баба еще была наша. Она залезла уже на печь и загородила нас всех, легла с краю. Ну, они начали бить: прежде на полу кто лежал. Отец на полу был, дед, брат, там еще одна женщина с ребеночком под кровать залезла. Тех поубивали. Я все гляжу, как они все убивают. Я все вижу. Ну, тогда и мне — я ж тогда и ранета — сразу и мне попало сюда вот, в лицо, в одну щеку и вот, в другую выскочило.

Вопрос: — И вы видели того, что стрелял?

— Я все глядела, пока они на полу поубивали. Тогда уже — ко мне! Ну, тут мне попало уже, я прилегла. И брат мой, младше меня — тут, у трубы прислонившись — его не ранило. А мать первая вскочила на печь, дак она так вот легла, за трубу голову. И ей — как били, так мясо летело — голову это обляпало ей. Ну и били на печь все. Старушку ту посекли — она все живая. Мать ранили, там поубивали всех… Семь нас человек, а мы только втроем — мама и я с братом сошли потом с печи. Ну, они уже раза три — побьют и выйдут — слушают, живой, может, кто. Еще раз — услышат, войдут и бьют. Дыму наделают! Вышли. Третий раз, опять вошли — слушают: ну, уже все, никто не дышит! Кто еще жив — притаился.

Вопрос: — И говорят о чем-нибудь, когда заходят?

— Разговаривают сами тихонько, дышит ли кто, слушают. Ну, вышли уже последний раз, говорят, что „капут“, а мы ведь слышим. Мы уже, притаившись, лежим. Ну, что? Не слыхать. Хату запалили. Там, на чердаке, сено было, что ли — оно стало заниматься уже. Мама встает. Тут убитые на ней лежат. Дерг, дернула ноги эти! — она почувствовала уже, что в ногу попало — стала вырываться.

— Ну, еще раз попробую — если вырвусь, то пойдем, а не то гореть будем.

А мы говорим:

— Мамочка, мы лучше гореть будем!..

Да сразу с себя все раздевать, одежу. Она не дала нам раздеваться, говорит:

— Не, подождите, може, выйдем.

Ну, и стали выползать. Ну, мы вышли. Мама прошла еще:

— Кто жив — за мной.

Ну, мы вдвоем с братом идем. Дети. Мне девять, а брату было восемь лет, что ли. Ну, вышли. Она говорит:

— Кто жив — за мной!

Мы вышли, видим, отец вышел. Ранетый. Рука правая и тут вот, в шею его ранили. Ну, выползли, жито было у нас на усадьбе, — по житу. Мама уже стала сознание терять: стала от нас утекать. Дак мы по крови ее найдем… *(Плачет.)*

Я не могу рассказывать…

Она жить хотела еще. И сознание теряла… Хаты горят, солнце заходит… В леску хата одна осталась — дак уже в ту хату все сползались, кто живой. Дак мама говорит:

— Уже идите, може, где коляску какую, меня завезите.

Пошел брат этот меньшой — ну, это ж ребенок, — пошел в ту хату, там и сел. Пошла я. Мне уже тоже свету Не видно: я же в лицо ранета. Коляски там нема. Мама сгореть хотела — поползла к огню, а ее кто-то оттащил. Снова поползла. Посбивала коленки, ползая. И шел Биськов Яков (он живой теперь) — он ее нес, до дороги пронес. Это с километр будет от той хаты. А потом другой донес, ну, и собрались в *ту хату*. Все раненые.

У кого была родня — те забрали своих. А у мамы сестры были далеко они пока услышали… По лесу мы скитались. Потом уже коляску нашли: удирают в лес — и мы ее на коляску. А отец ранетый тяжело, он оставался один в том доме. Ну, тут уже говорят, что немцы идут, танки по лесу — деваться некуда Бегут — куда кто, в болото… Ну, мы ушли все, а он… Он сам себе смерть сделал… Надо плакать нам снова… Остались мы. Мама ведь ранета, а еще ж и пацаночка родилась после того. Сидеть некогда, я говорю.

— Мамочка, пойдем в Воровское. Я дорогу запомнила.

Ночью сходила раз и запомнила. Их завела в Воровское. Только завела, и в то утро немцы в Воровское пришли. Ну, и нас выгнали Выгнали в беженцы, гнали, а мы еще утекли. За Кузьковичами, в лес. Поутекали. Жили там с неделю, что ли Окоп выкопали. Ну, все равно нас немцы половили в лесу. И погнали. Жили мы в Ямном — за Быховом. А затем — в Подкленьи, а потом — в блиндажах. И зимой. Пока и война закончилась…»

Голос рассказчицы — все тише, а боль кричит все сильней…

ТРИДЦАТЫЙ

«Конаши — деревня в Городокском р-не Витебской области, на берегу оз. Плав Центр сельсовета и колхоза „Родина“. 100 жителей, хозяйств 34. Нач. школа, клуб, б-ка, магазин. С деревнями Малгати (43 ж., хоз. 18) и Городок (67 ж., хоз. 19) фактически образует один населенный пункт.

В Вел. Отеч. войну около К. базировалась 1-я партизанская бригада (командир М. Ф. Шмырев). Во время карательной операции 1.5.1942 нем. фашисты расстреляли 30 жителей д. Городок. В д. Малгати сожгли живыми 69 жителей..

В. И. Щемелев».

В Конаши мы добрались поздним утром 14 июня 1972 года. Пятый том Белорусской Советской Энциклопедии, откуда взята справка об этой деревне, тогда еще только печатался. О Конашах мы вообще услышали впервые в тот день, в райисполкоме, и знали только, что там среди расстрелянных карателями живой остался один человек, теперешний председатель сельсовета Щемелев

В скупой справке, как теперь нам известно, написаний для энциклопедии этим человеком, не сказано, что среди тридцати расстрелянных тридцатым был именно он сам, Василь Иванович.

От Витебска до Конашей, через районный центр, — восемьдесят километров. Однако в словах «мы добрались» — нет преувеличения: имеются в виду последние километры низинной дороги, лесной, полевой да сельской, страшно разболоченпой за несколько дней бесполезно щедрых дождей.

На такой дороге мы и встретили нужного нам председателя сельсовета. Ехал куда-то на мотоцикле.

И вот сидим в его кабинете, как будто опустившись в светлую тишину, после дождей вновь залитую солнцем. Тишину эту еще более подчеркивает время от времени далекий гул какого-нибудь земного или, еще реже, небесного мотора. И не слыхать из ольховых кустов соловьиной песни, которая и тут нас встретила, как будто все одна, та самая всюду. Все это теперь за окнами, где млеют в припаре старые сосны и густо буйствует над болотинкой ольшаник. А в нашей светлой тишине невидимо гудит растерянная оса и шуршит на столе магнитофон.

Василь Иванович, чернявый, степенный мужчина,

рассказывает.

«…Первого мая раненько окружили нашу деревню с этой стороны, и оттуда, откуда вы ехали. Свободный выход был нам токо в озеро. Дворов тогда было больше: теперь с Малгатями семьдесят один, а тогда было около ста. А у нас на ночь оставались ночевать партизаны. Провели митинг тридцатого, а ночью снялись и ушли. Немцам стала тут свобода. Всех людей собрали там, где я вас встретил, где теперь колхозный двор. Ну, а потом начали там расстреливать. Партизанские семьи, таких людей, которые были связаны с партизанами. Построили в две шеренги и — пулеметы…

Вопрос: — А вы тогда где были?

— Стояли около забора. Все на моих глазах было. Отводили только от нас и расстреливали. А потом еще одного дядьку взяли и расстреляли. И пришла очередь моя. Ну, мне тогда еще было только тринадцать лет. Приходит одна женщина, связана была которая с немцами, и показывает:

— Этот имеет связь с партизанами.

Он меня берет за воротник и туда, где убитые. Немец, переводчик даже, но в форме немецкой. Толкнул меня и сзади очередь из автомата по мне. Я упал.

Сначала я, конечно, не знал, жив к или нет, пока это немножко пришло сознание. Попали мне все три пули вот в это место, в поясницу. Почувствовал я, что вроде ничего, не больно, жив еще. А потом слышу, что началась у меня боль, появилась. Ноги не слышно стало. Полежал я так немного — идет немец сзаду. Подошел, кругом меня обошел, согнулся — слышу, — сопит надо мною. Видать, слушал, живой я или неживой. Послушал он, а я, конечно, ждал, что он услышит, что я живой, и убьет меня. А он, видать, посчитал, что я уже убитый, и пошел дальше. Дали команду копать яму.

Вопрос: — А вы слышали, что они там говорили?

— Тут же рядом, где мы лежали, там и яму нам копали. Копать, конечно, заставили наших мужчин. Молодые все были в партизанах или в армии. Одни старые дома, такие, что уже были не годные служить Ну, слышу, что вот уже нас будут укладывать в яму. Думаю: тут же свои будут укладывать, попрошу я их, чтоб хоть наверху положили. И чтоб-поменьше присыпали…

А потом — ракета! Оказывается, в Малгатях кто-то произвел на них выстрел. Нас там так и бросили, побитых, команду дали старикам закапывать, а сами в Малгати. И там полностью всех сожгли. Кого в квартире убивали, кого живьем.

А потом я слышу — начали уже женщины плакать, кричать.

Думаю: что-то тут не так, верно, их уже тут, немцев, нету. Лежу и сначала думаю, что, может, меня и не закопают. Удастся, то попрошусь в лес меня занести, если это уже можно будет. Все кричат, плачут… И тогда я уже отчаялся повернуть немного голову. Туда, где все эти люди лежали побитые. Люди вот так лежали, а я вот так, поперек, а сзади, за мною, еще один пацан, вместе в школу ходили, в ногах моих лежал, убитый был. Батька его был в партизанах. А тут, гляжу, бегут наши соседки. Я прошу:

— Скажи маме моей, пускай хоть пить принесет. Она не послушалась: у нее тогда убили батьку, она прямо туда бежала. Потом другая бежит соседка. Эта, правда, послушалась, побежала и сказала матери моей. Принесли мне пить, а я говорю:

— Несите меня куда-нибудь быстрей. Немцев нема, поехали в Малгати.

Вопрос: — А мама ваша дома была?

— Не-е, все стояли там, и пулеметами обставлены были. И немцы себе там выбирали, кто им нужен. Чтоб никто не разбежался. И выбрали тех, которые им нужны были.

Вопрос: — И мать видела все это?

— Нет, не видела. Мать стояла с этой стороны хлева, а мы — с этой. Я видел всех, когда убивали, ведь убивали в огороде под окном.

Ну, она меня взяла… Я был уже немаленький, а мать старая, лет под шестьдесят было, — ну, и нести… И брат был двоюродный у меня. Тот помогать уже ей. Несут. Я ж немаленький уже. Тогда ж не было никаких подвод, хоть бы на тачку какую взяли.

А тут, говорят, немцы вернулись назад. А я тогда кричу:

— Девайте меня куда-нибудь!..

Ну, куда ж меня девать? Поле, деревня. А они меня тогда на сеновал да под сено. А там, наверху, еще один хлопец лежал спрятавшись. Слышу, там разговор: „Жгут деревню“. Наверху говорят. „Придут, думаю я, подожгут, и я сгорю“. Говорю матери:

— Неси меня хоть назад, на то самое место… А потом подали команду, и они, немцы, уехали.

И меня тогда понесли в лес. Мать, брат и сестра была еще старшая. У нее были малые дети, дак ей надо было детей носить. Трое детей было. И меня помогать нести. Тогда занесли и в байню[18] положили. В лесу байня стояла у нас. А сами пошли туда, где всех поубивали. У матери мать материну убили, потом дядьку с пятью детьми, сестру с мужем, другую сестру, племянницу. Побили нашей родни много. Все пошли туда, где трупы. Потом уже, когда все успокоились, начали каждый своих закапывать. А я там и остался, один в той байне.

Потом мне стало плохо. Назавтра пришли и меня нашли — я уже лежал на полу. Врачей же не было. Крошила, сколько она уже могла… Только одну перевязку сделали мне снова — вот и лежи. Больше были в лесу Ночью в лесу, а после обеда — домой. Потому что экспедиция была, нападали немцы больше с утра. После обеда они не ездили. Медикаменты партизаны доставали.

Вопрос: — А что это за женщина была та, что на вас указала?

— А ее нема, ее расстреляли. Жила тут в нашей деревне такая, видимо, думала что-то, настроена так была. Потом ее расстреляли немцы, — потому что она указала сестру одного полицейского. В тот же день ее убили, как и всех, но ее последнюю: полицейские настояли…»

Матери Василя Ивановича, когда она переносила его, еще живого подростка, было, он сказал, около шестидесяти. Нам и не подумалось, что она еще может быть жива, потому и не спросили об этом. Василь Иванович сказал сам. Жива, здорова. В своей хате, рядом с ним. И мы, конечно же, попросились туда.

Домне Васильевне восемьдесят восьмой. А она еще, как испокон говорится, дай бог всем добрым. Застали мы ее в саду сына, около ульев, в тени, которая все же не спасала от полуденной духоты.

— Пчел стерегу, — сказала бабуля. — Никого дома нема. Комары тут заели.

Рой не удерет — старая хозяйка на посту. Еще на удивление подвижная и разговорчивая. Василь Иванович остался в саду, а она повела нас в свою хату, что немного поодаль от сыновой.

— Все я вам, хлопчики, расскажу, все подробно.

И *рассказала*. То сидя немного, то вставая, жестикулируя, меняя голос, когда подражала кому-то, то возвышая его, то переходя почти на шепот, когда ей снова было горько и страшно — так, как тогда.

«…Было собрание перед этим днем, перед Первым маем, партизане его проводили. Отряд Данилы Райцева. Собрание провели, партизане ушли, только наши остались.

Назавтра чуть свет… Я всегда выхожу и все слушаю, Что где стукают, где стреляют… Вышла и думаю: „Господи, что это такое, что что-то блестит перед нами?“ Разглядела, а это немцы в касках своих, и светлая одежа на них. Пробежит и завалится, пробежит и завалится… Через несколько время они меня заметили и начали палить. Я назад в хату.

— А детки, говорю, а немцы пришли! А старик мой кричит:

— Тебе все немцы! Сиди ты, коли сидишь. Тебе все немцы.

А я кричу:

— Скорей, немцы!

А они с горы и оттуда вон начали палить — как раз в нашу хату… У меня ж была семья: старик, я, три мальца, одна дочка была уже замужем.

— Ложитесь на полу около печи!

И правда, полегли все. И лежали. А они уже так били по хате, так били — все посекли, и печку… Били с двух сторон из пулемета. А тогда они видят, что нет никого, что не выбегают, не бегут, так прямо к нам в хату. Мы тогда еще там жили, где школа, где липы растут.

— Матка, паризан, паризан!..

А я руки сцепила, стою вот так и говорю:

— Нема партизан.

Они и на чердак, они и всюдых, под полом — всюдых лазят искать. А что тут искать, когда полная хата дыму.

— Выбирайтесь, выбирайтесь!

Выгнали нас на дорогу и поставили. Кругом окружили, кругом. Погнали. Старика прикладом в спину, прикладом в спину… Меня, правда, тогда не били — не буду говорить понапрасну. А старика били… Только мы подходим туда, на гору, где магазин там был, гляжу — бежит баба и кричит:

— А людечки ж мои, а батеньки ж мои, а что ж вы *наделали, а вы ж мою дочку убили*!..

Тут один подбежал да трах ей сразу, дак она уже и лежит…

И ведут людей, и ведут, и бьют наповал. Кого от озера ведут. Тогда прятались в озеро.

Гляжу: о, господи, мой старик коня запрягает! Запряг старик коня, положили пулемет на телегу ему, а тогда к возу его самого за руку привязали. И погнали. Тут гляжу: коров гонят, турят отсюда, забирают, забирают…

Тогда ракеты стали бросать. Ракеты побросали, бросили расстреливать уже. И побежали. А там уже, в Малгатях, подожгли. И людей, людей, кого живьем сожгли, кого убили — всех порешили, всю деревню порешили.

Вопрос: — Вас всех поставили? Сын говорил. А мужчин отвели от вас?

— Всех, всех поставили. Сынов отвели, около другой постройки поставили. А я вот так села. *(Бабуся показывает, легко сев на полу.)* Одного внучонка взяла вот сюда, а другого, меньшого, вот сюда положила. И сижу. И приказ нам дали: „Если не будете давать знать в Смоловку, когда партизане приходят, — всех порешим“. Ну, кто ж ему будет что говорить?.. Я видела, как мою мать, родную мою, невестку с трем детям… И была в

положении, последнюю недельку ходила уже. И мать. Стоит на дороге… Один полицай, из Загузья, хлопает по плечу ее, невестку:

— Проска, говори, где твой Евхим?

А его забрали по второй мобилизации, нет дома. Один брат был в партизанах, меньший, а тот, старший, Евхим, ушел. А эта женка старшего. Не сына моего, а брата. Я *думала* так, что он *ей ничего не сделает, — свой ведь*, из Загузья. А он и будет бить их. Старуху, семьдесят лет уже было, и невестку… И за что же он их?..

А сама я с места не слезу, никуда. Мы сидим у стены, а они — на дороге.

Тогда же, кто остался живой, побежали, а я с места не слезу. И вижу уже, что мои-то лежат. Вот подбегает ко мне одна женщина:

— Домпутка моя, а твой же Васютка живой! Просит пить.

А я говорю:

— А жива ли моя мамка?.. *(Плачет.)* А что делать мне?

А я не встану. У меня спички: как хотела печку затопить, так и держу их все время в руке. И я поползла, и поползла, и слезы те лились… *(Бабуся на удивление легко ложится на пол и показывает, как ползла.)* Приползла, а он поднимается, голову поднял. А так и из ушек кровь, и из носа кровь, и изо Рта кровь — и все. И так вот.

— Ма-а… Ма-а… Возьми меня отсюдова-а… Добьют Немцы…

— А сыночек мой, а куда нее я тебя возьму?..

Но тут две дочки были, подняли его и унесли в хлев. Да соломой закрыли. А он кричит:

— А меня тут добьют! И спалят хлев, и меня тут следят! Возьми меня!..

Ну, взяли оттуда. Положили мне вот сюда, на спину, на плечи, и я вот тут… А он кричит:

— Мама, неси меня в болото! Добьют немцы!..

Несу, несу, и меня как согнуло во так… *(Показывает.)* Може, поверите, а може, не поверите, — всю войну вот такая ходила. Палочка у меня была, и всю войну ходила согнутая. А уже тогда, после войны, я распрямилась, теперь уже, видите, не такая.

Ну, и понесла я в лес, положила. И пошла. Положила и пошла. Я так ходила — я в памяти или я без памяти?.. Снова кричит:

— Меня волки тут съедят, мама! Возьми меня!..

Тогда мы его в байню. Порезала на нем одежу, штаны порезала, сапоги порезала. Даку него крови так… Под ним… Он, как стреляли, лежал в картофельнике, в борозде, ввалился туда

лицом, дак зато он и остался живым. Дак у него тут кровь запеклась — такой блин… Я тог блин смахнула, а его голого покинула да опять пошла. Опять пошла, согнувшись, туда, где стреляли.

Прихожу — что это такое? — моя мать лежит…

— Мама, говорю, что ты лежишь?

Лежит. Отвернулась я дальше — и Проска лежит, невестка.

— А чего это вы тут?

Лежат. Ага, они уже лежат на том свете.

Матка моя легла… Большая внучка была, дак она ту внучку во так положила. *(Ложится на пол и показывает.)* Во так во на нее легла. А другую сюда притянула. А третью — сюда, к *себе*. Во так. Ну она еще была и живая немного… Девочка маленькая не скоро померла…

Старики ж там яму копали. Они заставили ямы копать во такие. Во таких квадратных две ямы. Двадцать девять человек — надо ж положить. Мой это уже тридцатый был. И остался живой теперь. А там их… Кто боком, кто как, кто — боже мой!..

Дак мама моя просила мужчин:

— Мужчинки мои, скажите немцам, пускай добьют. Мне дуже худо…

Дак он как дал ей, подойдя, дак разрывная вот так и выскочила…

А другая женщина дорогой шла. Шла дорогой и одного несла на руке, а другой около нее бежал, и третий. Гляжу, лежит она на дороге, как гора, а рядом ребятки жальте… *(Бабуся начинает говорить почему-то шепотом.)* Лежат… А этот, что с моим Васей шел рядом, дак убитый. Тот был младше моего, а мой выше, он сам рассказывал после, когда опомнился, что тот бежал за ним, за Васей моим, и все просил:

— Дяденьки мои, стреляйте меня с моей мамкой! Она лежит с тем двум ребятами на дороге, а он все *повернется к ним и так кричит, и так кричит,* дак они ему — в рот…

А моего как стрелял, дак у него, видать, рука повернулась ниже…»

Тяжело слушать такое.

А *как же носить* его в памяти — столько лет? Да *живое*, что отплывает временами, а потом возвращается вновь?..

Опять в саду сына, где солнечно звонят заботницы-пчелы, вот-вот собираясь роиться, снова в своей тени Домна Васильевна даже спросила — почти что полным ужаса шепотом:

— А *о том*, Василь, *рассказать*? Про *те сапоги* с ногами?

— Все рассказывай, мама. Надо, чтоб люди знали все.

И она рассказала, как суровой зимой сорок первого — сорок второго немцев и полицаев зашло однажды в их деревню очень много. В хату их зашло несколько. И вот *один из них швырнул на пол ноги в сапогах*. Женские. В сапожках женских, хромовых. Отсеченные по колени. Мерзлые. И сказал он, тот немец, по-русски Аньке, меньшей бабулиной дочке, тогда студентке, что из-за войны че училась:

— Смотри, красавица, это мы взяли у тети твоей, бандитки!

Бабусина сестра и правда была тогда в партизанах.

Позже, через три дня после Конашей в Витебске мы навестили Ганну Ивановну Игнатенко, ту Аньку, бабусину меньшую дочку. Воспитательница детского сада, приятная, интеллигентная женщина, в войну партизанская связная, она рассказала нам про тот ужас более подробно.

Это были ноги партизанки Полубинской. Уже мертвой отрубили. Окруженная, она отстреливалась, а последним патроном — себя.

— Боже мой, сколько тогда было всего, сколько было!..

Говоря это, бабуля Домна знает, что у других людей, в других семьях было еще хуже, чем с ними, Щемелевыми. Старик ее, привязанный тогда к возу, чтобы не утек, удрал-таки из Смоловского гарнизона. Войну пережил и умер своей смертью, в своей хате. Живы обе дочки, Анька и старшая, Александрина, также в Витебске, при своих детях живут. А с нею младшенький ее, Василь, которого она дважды, когда малым, а когда раненым, выносила на руках. Живет сынок, хорошо живет, и люди добрые уважают, и в хате, что в улье, людно да весело — пять дочек! Трое уже в люди вышли, да лето вот началось святое — теперь все тут к бабке соберутся — и дети, и внуки, и правнуки.

— Девять правнуков у меня, — с гордостью говорит бабуся. — А уже внуков!..

Даже рукой махнула — сколько их.

Пока мы сидели в бабусиной хате, записывая ее рассказ, Василь Иванович не просто стерег своих пчел. Вдвоем с нашим шофером они похозяйничали около одного улья, и, когда нас после, уже из сада, пригласили в сынову хату — на столе был горячий мед в сотах и холодное, из погреба, молоко. Был черный хлеб, дышала паром картошка, был холодник, было масло и творог. В хате, как добрый дух, незаметно появилась, придя с поля, хозяйка, моложавая мать пяти дочек, двое из которых, младшие, что еще при родителях, были в школе.

Было и главное, в этой укромной, светлой белорусской хате — такой желанный, так дорого купленный мир, было не просто гостеприимство, а мудрая человеческая искренность, о чем,

понятно, не говорилось, что чувствовалось душой.

Бабуля Домна снова была на посту, около пчел. Хозяйка тоже — с работы и снова на работу. Людей покормит и пойдет. И хозяин должен же был куда-то сегодня поспеть, только по делу с нами остался.

Несколько слов еще о нем — его слов, скупых и скромных:

«…В сорок третьем году, летом, поймали нас в поле, собрали снова в деревне. И тут один из полицейских снова выдал партизанские семьи. Нас тогда, Щемелевых, двенадцать человек забрали. Мы с братом, мать с отцом, сестру с тремя детьми и тетку. И еще одна тетка была, тоже с тремя. И завезли нас в Городок, в тюрьму посадили. Кто был помоложе, сестра и тетка, тех отправили в концлагерь, а нас, старых и малых, в полицейский гарнизон. И жили мы там до зимы сорок третьего года, пока нас не освободила Красная Армия.

А после вернулись и стали жить. Мне было тогда пятнадцать лет, но людей не было — меня поставили бригадиром. И двенадцать женщин было трудоспособных людей. Ни тех коней, ни того ничего больше не было. Так подымали колхоз…»

Коротко, сухо, почти как в той справке, с которой мы начали рассказ о тридцатом.

БЕЗ ДЕТЕЙ

1

Минская область Восточная, лесная часть Слутчины.

Две небольшие деревни с одинаковыми названиями — Адамово, Первое и Второе, неподалеку одна от другой. Разъезжая на этот раз с районным провожатым, мы не плутали и в этих местах, у нас были точные адреса нужных людей В Адамово Второе заезжали дважды, первый раз не застав человека дома В Адамове Первом нам назвали «еще одну женщину», которой не знал наш молодой провожатый, — она живет как раз в Адамове Втором. И мы поехали туда в третий раз

Пока мы петляли проселками меж двумя деревушками, — кстати, их зовут здесь застенками, — на окраине Адамова Второго, на лужке, старая женщина сначала гребла, а потом копнила сено. А солнце уже заходило, и она спешила. Третий раз въезжая в ту же улицу, мы спросили у этой женщины, где тут живет **Мария Тарасовна Хотька**. И очень простое чудо произошло: это была как раз она, тот нужный нам человек, которого мы могли вблизи не увидеть, не услышать, даже и не подумать, проезжая мимо, что и еще одна страничка народной трагедии таится именно в этой душе.

Когда мы сказали Марии Тарасовне, что нам надо, она приставила грабли к незавершенной предпоследней копне и повела нас в хату. Мы присели у стола.

«…Я, мои детки, малость недослышу… Я вам буду рассказывать, как было.

У меня было две девочки, одной было два годика с половиной, а другой — полтора. А моя сестра вот тут жила, через улицу. У нее тоже была девочка, в школу ходила уже. И она делала моей девочке чулочки шерстяные. Пришла этот чулочек мерить моей девочке да говорит:

— Ой, дядька, — моему мужу, — немцы на Случи мост делают, переправляются сюда.

Я говорю:

— Неужели? А она:

— Правда! В застенке говорили.

— Ну, и эта девочка померила этот чулочек и ушла. Я говорю своему — его Мишей звали, моего человека:

— Миша, а как бы нам куда из дому уехать? Ну, вот же кусты рядом…

И только, мои вы детки золотые, как это вот мы с вами говорим, — уже выстрел. Уже люди, кто на конях, из того уже

Адамова, из Первого, летят сюда. С травинки — выстрел. Тут упал один… Он так упал, его не убили… Ой, пули свищут… Разбили мне стекло в окне. Пуля разбила. Все уже — немцы тут. Окружили…

Но мой еще человек из застенка уполз в лес. Вот.

Приходит моя сестра да говорит:

— Знаешь что, Манька, — мне это, — дети твои будут там с моими меньшими. — Там у нее хлопец был и девочка та, что чулочек, я говорила, приносила мерить. — Нехай, говорит, они будут там.

— Нехай будут, — говорю я.

Этих детей она забрала к себе, дак они там… Дома они не сгорели, там их после перебили, у сестры…

Ой! Выхожу я во двор из своей хаты. Думаю: выйду я погляжу, что, где, куда люди, что они делают?.. Уже горит! С того конца, оттуда, от болота — все горит! Только та хата, моей сестры, и моя остались целы. Я — иду к сестре. Вижу: идет немец и полицейский. Ко мне идут во двор. Немец впереди, а полицейский сзади идет. А я иду по погоночке[19]. Дак он как встретился, дак мне — с одной и с другой. Дак я под забор — брик и лежу… Они пошли в хату. У нас стоял сруб новый, а хата у меня была из истопочки, времяночка маленькая. Дак мы уже достали лесу тогда, да уже срубили дом новый, накрытый был… Они пошли ту хату палить, а я тогда — в погреб. Такой был погреб выкопан и плашками обставлен. Картошка была, все… А я в ту картошку, к задней стенке, залезла и там сидела. Вот.

Слышу я — выстрел, плач соседки… Ну, все — нема детей. Ни моих, ни сестриных. Сестра дома была. И у нее двое детей…

Застенок весь спалили, уже сгорел. А они и пришли проверять. У нас тут длинный свинарник был, може, метров пятьдесят. Свиньи стояли колхозные. Дак они уже этот свинарник последний подожгли, окружили его кругом, стояли, думали, може, кто оттуда выходить будет… Ну, кто ж, если все люди были дома и всех они пожгли, всех побили!..

Пришли уже они и на мой двор проверять. Прогергетали что-то… А что я понимаю? Погреб этот открыли. И еще стояли конопли в том новом срубе, дак они запалили ту коноплю, чем-то облили, и такая вот была погребка, такая маленькая, чтоб снег дверей не заносил, — запалили и вкинули мне туда. Ой, ой, детки мои! — как нашло дыму, и погреб горит!.. Стенка ж деревянная. Эти, что дощечками обиты, тоже горят…

Ушли они. Думаю: что ж делать? А это ж еще, мои детки, на жизню, ей-богу, шло! Думаю: сгорю ж я, и никто меня не найдет, или задохнусь в дыму!.. Как-то мой человек мерил котух, доски

городить, дак осталась тут палка. Я выползла, взяла эту палку… Известно ж, жара такая — запалили все постройки, дак лужа воды около порога погреба стоит. Дак я эту коноплю как откинула сюда, дак она упала в эту воду и погасла…

Пришли они снова, гергенули что-то… Я только прияла, что они говорят: „Ниц нема“[20]. Но не закрывали они этого погреба и пошли отсюда. И уехали.

А я уже до утра сидела там. А собака у моей сестры была, дак она всю ночь — ой-ой! — то уже лаяла, то уже лаяла!.. И что ж я знаю — или уже они уехали, или, може, думаю, остались… Сидела всю ночь.

Да уже утром приходит мой человек. Уже эта собака залаяла на него, а потом — известно же, свой человек, она его узнала. Подходит к дверям, а я ему говорю:

— Миша, это ты?

— Я, говорит. Може, тут и дети?

— Не, говорю, нема.

— А где?

— Не знаю, где. Были у сестры моей, у Лупиновича… Говорит:

— Что-то лежит у него на току, в гумне. Може, корова и конь сгоревшие.

Я говорю:

— Не, Мишечка, это побрали всё, немцы да полицейские позабирали с собою весь скот. Это, говорю, може, семья его и дети…

Эго ж и было… Двое его этих деток больших… А мои как сидели на полу… Известно, маленькие, а около печи полочек был такой… Хата была новая, хорошая. Как сгорела, дак они… Их кирпичом и завалило там… Они уже там и попеклись… Мы после только их косточки такие понаходили. И с платьиц пуговочки…

А то — сгорели они уже…

Эти трупы мы поубирали, позакапывали. Гробов не делали. Так, полотенцами позастилали и позакапывали. После уже их посносили на кладбище.

Вот какое положение.

…У другой сестры хлопчик сгорел, и сама сгорела. А мужа у сестры… Ехал за сеном на Ворониско, за своим, дак его зарезали там на острове… Немцы. Туда шли по лесу, там его остановили и там его зарезали. Я не видела, а говорил мой муж, что весь был изрезанный, нельзя было нигде, говорит, пальца положить.

Вот как издевались над народом!..

Мой был после в партизанах. А после пришел с войны с этой и заболел он, и помер. Еще, знаете, несчастье какое получилось:

корову у нас украли из хлева после войны. А он немного был заболевший на беркулез, да вылечился, ездил проверяться, и врач из Слуцка сказал, что молодец ты, вылечился, только рубчик, как волосе чек, остался. Береги себя, говорит. А дальше, как украли корову, дак он попоходил за этой коровой, разыскивая, да попереживал: дети были малые, да после ж войны, это ж вот, не хватало всего, да все погорело, и одежа, и всё на свете, дак он как погоревал, дак и помер, малых детей оставивши…

Этак вот я и жила, мои детки. Ходила в колхоз на работу — Да ой, ой, — после ж войны ничего на свете не было… А я ж потом как-то вот их учила и повыучила вот… Стояла на штате, одних телят, може, двенадцать, да в ночное, да все на свете… Да уже лесу дали. Хлопец был в армии. И раз, и два дали. Да я уже эту халупинку вот пересыпала.

Дети поразъезжались, и жить некому…»

«Халупинка» у Марии Тарасовны ничего себе, снаружи исправная, внутри чистая. Только пустая еще, как хозяйка говорит: «новой обстановки нема». Стол и три стула. Кровать — в кухне. А на большом без мебели, чистом полу хаты поразбросаны куклы, игрушки, тряпочки… Вчера внучки гостили — дети послевоенной дочери, из соседней деревни приходили — праздник в бабушкином одиночестве.

Рада людям Мария Тарасовна, еле отказались мы от угощения, самым дорогим в хате заманивала: «Я вам и сала, хлопчики, нарежу…» И проводила на улицу, сердечно желая доброй дороги.

2

Жаволки — деревня в северной части Копыльского района, ближе к той лесной да луговой красе, где начинается Неман.

Деда и бабку **Кузьмичей**, **Ивана Трофимовича** и **Агату Германовну**, застали мы в хате. Старик отдыхал, пригнав с утренней пастьбы коров, а старуха управлялась в кухне.

Как водится, начали мы с хозяина. Иван Трофимович исподволь расшевелился, начал рассказывать, немного сбился, немного расплакался, а потом махнул рукой: «Нехай лучше она расскажет!..» Тем более что она и порывалась несколько раз помочь ему.

И вот бабуля Агата села к магнитофону.

«…Его я отправила, мужа, с сыном. Говорю:

— Езжайте, где-нибудь спрячьтесь в Кудиновичах, а я уже буду тут стеречь.

Потому что так было, что кто утек, дак всё позабирали у тех, а кто не утекал, дак у того ничего не брали. Полиция, немцы и какие-то мадьяры были. Дак я уже решилась:

— Вы идите, а я пожила уже, хоть меня и убьют, буду я уже дома. А если не убьют, дак заберут все, и мы ни с чем останемся.

Он пошел с малым хлопчиком в Кудиновичи, а потом немцы эти как поехали, дак они и вернулись назад. Дак я говорю:

— Господи, чего ты вернулся? Уходи ты опять с этим дитем.

Он тогда взял и зашел к моему брату двоюродному Они — не партизанские семьи. Сказали, что будут семьи партизанские убивать, а остальных — не будут.

— Вы, дети, разойдитесь по этим семьям, что не партизанские, дак, може, останетесь живыми. Никто ж не выдаст.

Ага. Меня застали в хате. Говорит:

— Партизан, партизан Кузьмич, у тебя сын в партизанах.

Вынули такую во бумагу, а там написаны семьи партизанские. Кто-то же написал! И говорит:

— Вот, Кузьмич Михаил в партизанах, три дня как забран мобилизацией.

— Что я вам, пан, скажу… (Надо же как-то спасаться.) К оружию мы все применяемся: с оружием придет партизан, с оружием придет и немец… А мы — ни при чем, не виноватые мы.

— А-а, — говорит, — сволочь ты партизанская! Партизанская мать!..

Да мне левольвером в грудь. Не стрелял, а стукнул. Так болело!..

— Подвесить ее! Идите веревку ищите!

А у меня сидит в хате много так этих полицаев, в халатах в белых, офицеры с погонами, кокарды высокие, а говорят и по-русски, и по-немецки. И кричат они на меня:

— Признавайся! А я говорю:

— Пан, я неграмотная, я испуганная. Спрашивайте, може, мужчины вам что скажут.

Они меня мучили, мучили, а я ничего не сказала. Так он писал, писал что-то все, а потом убежал, начальство это. Остальные сидят в кухне. А у меня так пересохло, хоть бы мне воды каплю выпить. Не могу уже, как одеревенелая вся. Про детей я уже и забыла, что они у меня есть. Ну, что деревянная. Я думаю: пойду воды напьюсь.

А они на меня:

— Куда?

А я говорю:

— Дети, разве ж я от вас куда убегу? Вас столько, такая масса сидит, а я одна, да вы думаете, что я убегу. Данте мне воды.

Они меня пропустили, я воды глотнула и опять на этом месте села пошла. Сижу, жду смерти…

Тут один человек из нашей деревни прибежал и говорит:

— Иди на собрание. Вызывают отдельно партизанские семьи.

Я скорей это на себя полушубочек — да в двери. Так и бежит этот навстречу — этот, что был, начальник.

— А куда? — говорит.

А другой ему бормотнул по-немецки, что „в группу“. Как он меня отпустил, дак я пошла к этой соседке — хоть с девочкой своей попрощаюсь пойду. Да говорю:

— Надька, дочушка моя! Меня убьют, а ты хоронись куда… *(Плачет.)*

Я выхожу из ихней хаты. Как меня тут толкнуло, — я зашла в каморку, и там лестничка вверх, дак я туда Думаю: „Не хочется ж попадаться в руки, чтоб меня убили, да дитя мое будет видеть меня…“ Залезла я наверх, в уголок да сижу согнувшись. Холодно, я почти голая…

Уже меня ищут: спрашивают у того хозяина, где это Кузьмич Агата… А он сказал, что она пошла по деревне.

А потом влезает эта хозяйка:

— Иди отсюда, а то через тебя и нам будет… Я прошу:

— Сестрица, голубка родная, дай мне посидеть, пока они отъедут… Ты скажи, что не видела, нема меня нигде…

Слезла она, смирилась. Я думаю: зароюсь в сусек овса, что там стоял. Залезла в овес, леща, на себя нагребла… Холодно мне, берет… Все равно замерзну… Нехай лучше убьют. Вылезла и

снова сижу. Пришла она и снова…

Ну, и решилась я выйти и пойти среди улицы в тот конец. Думаю: меня ж эти немцы не знают.

Пошла я туда, где моя дочка замужем была, у нее маленький родился, два месяца… Не, две недели. И муж ее был в партизанах, а она пряталась. В чужой хате пряталась. Я попросилась к ним в гумно, дак хозяйка говорит:

— Иди себе, прячься. Я ж не жалею вам. Убьют — то я не виновата буду, а не убьют — то ваше счастье.

Тут она меня пустила в этот сарай, моя дочка дала мне одеяло, в том сарае соломы много было, там складывали многие люди, — я залезла, повыдергала от дверей задних, залезла в самую середину, в яму, и сижу вот так.

Бежит ко мне моей дочери золовка.

— Теточка, я к вам!

— Иди, говорю, вдвоех веселей будет, и теплей. Она взъехала там на меня, в ту самую яму, и мы вдвоех сидели. И этот день, и ночь, и снова день…

Пришла хозяйка этого сарая, принесла окорок. Мы говорим:

— Что там слышно? Принеси нам хоть по капле воды! Мы тут сохнем от жажды.

Дак она говорит:

— Ой, мои голубки, я вот печь растоплю, дак я вам принесу чего-нибудь теплого.

— А что там слышно? А она говорит:

— Ходят по хатам, военной одежи ищут. Дак у меня, если будут искать, заберут это мясо, а что я есть буду.

Она вдова была. И вот принесла прятать это стегно. Это тетка той девушки, что сидела вместе со мной. И не приходит она… А девушка говорит:

— Пойду я, дак разорву ее там. Уже воды каплю пожалела. Сгорим от жажды…

А я говорю:

— Не ходи. Може, там что случилось. Подождем, уже тогда мы, може, как-нибудь…

И все стреляют из пулемета: та-та-тах! та-та-тах!.. Уже и видно, уже и солнышко. А мы ничего не знаем. Я говорю:

— Разгребем эту солому да через щель поглядим, что делается на свете.

Продрали — дак уже горит! Коров гонят, коровы ревут… Я говорю:

— Все уже! Нема уже моих ни детей, ни хозяина — никого… *(Плачет.)* Осталась я одна. Что мне делать? — говорю.

А после что?.. Там, в этом гумне, кобыла стояла Дак она не

пила, не ела. Ржет!.. Как начнет бить копытами! Чувствует, что на свете делается… И они пришли, услышали. Много их. Гер-гер, гер-гер… Отвязали эту кобылу, подпалили в середине солому и пошли. Туп-туп, туп-туп: кобыла пошла, и они пошли…

А уже в этом сарае — ж-ж-ж-ж! — солома эта аж гудит. Я говорю:

— Что ж нам делать? Давай вставать да как-нибудь выбираться.

А тут впереди горит. Сзади еще не горит. И мы там, сзади сидим. Она говорит:

— Мы будем гореть. Пока мы кончимся, будет очень больно. Давайте вылезать!

Вылезла она. А там — щит. Я говорю:

— Бей ногой, може, доску отобьешь.

Она бьет, а страшно, как бы не услышали. Никак не отобьешь ногою.

— Ничего мы не сделаем, — говорит она. — Давайте через огонь!..

Она молодая да, известно, еще здоровая… *(Плачет.)* И никого нема у нее, известно, девушка. Как пустилась она через огонь, занялось все на ней. И платок, и все, а она вкатилась в снег — погасила!.. А я говорю.

— Господи, пронеси хоть меня! И мне ж не хочется погибать!..

Я взяла, полушубочком накрылась, побежала! Поопекала руки… *(Плачет.)* Утекла через огонь. Скорей тоже в снег…

Полежали мы там, полежали… Чувствуем, что еще живые. Глядим — еще они тут, злодеи эти, все равно Убьют…

Лежали мы аж до вечера А ночь ясная, мороз. Начали мы ползти. Она вперед, а я за ней… А тут у нас клуб стоял. Дак они пулеметы еще с клуба не сняли. Как заметили нас, что мы ползем, дак с пулемета по нас: тэ-тэ-тэ!.. А пули свищут! Перестанет стрелять, мы опять ползем, как те солдаты. А они снова по нас. С коленей кровь идет, с рук кровь идет. Замерзли. Без рукавиц. Зима. Снегу тогда много было…

— Господи, хоть бы какой-нибудь куст!.. Конец нам скоро… Выползли мы в конец села.

— Давай, говорю я, стоя пойдем.

Встали, взялись за руки и пошли. И кровь идет, и мерзнет эта боль… Пошли мы на поселок, зашли в одну хату. Где ж моя семья? Ни детей нема, ничего — погорело все!.. Я назад в огонь, а они меня не пускают. И зачем же я жить буду одна!..

Вот меня не пустили. Я сижу на печи. Боль невыносимая. Плачу.

А потом — мой идет! Слава богу милому, что хоть он

остался!..

Жалко ж детей всех: а где ж Фаня с дитем, а где ж Надька? *(Плачет.)* А Толик где мой?.. Убили хлопца, убили девушку, семнадцать лет, такую красавицу… *(Плачет.)* Не могу рассказать вам… На жизню я выбралась. Нехай бы лучше я погибла!..»

Рассказывая, бабуля Агата то и дело нервно стукала то кулаками, то ладонями по столу. Когда мы попросили не портить таким образом магнитофонную запись рассказа, она послушалась и потом уже *стучала руками по подолу, раздельно, а то и сложив их, как на молитву*.

Дед слушал ее, время от времени согласно кивал головою, а слезы то вытирал, то забывал о них…

Когда же бабуля дошла до того момента, где ей надо было броситься через пламя, она заломила руки над головой и с выдохом «Господи!» разрыдалась. Иван Трофимович также затрясся от плача, уже не только беспомощный, но и почти по-детски беззащитный.

«…А дочка моя с дитем в лес утекла, — сказала бабуля, кое как успокаиваясь. — Один сынок остался… Вернулся раненый тогда. Лечила я ему ту ногу, купала в зельях и целовала ее от радости, что осталось в хате хоть одно дитя…»

МУЖЧИНЫ

1

В мозырской деревне Костюковичи, где мирных, беззащитных людей уничтожали «технически» — душегубками, мужчин отделили на улице от женщин, детей оставив с женщинами. Один мальчик от матери бросился к отцу… Каратель схватил малыша за руку и хотел его бросить в колодец. И вот отец, Софрон Каменский — от забора, где стояли мужчины, — рванулся к карателю, успел ударить его и даже самого в колодец бросить.

Односельчан, что сами видели этот случай, никого не осталось. Об этом после войны на суде рассказывал разоблаченный полицай. По окрестностям пошла легенда об отцовском горьком мужестве…

Продавщица одного из слуцких магазинов **Зоня Михайловна Богданович**, рассказывая о трагедии своей родной деревеньки Гандарево, вспомнила, между прочим, н такое:

«…Яник Алиновский с сыном несли цыбарку, коню сечку давать, а шли эти немцы… И немец сына застрелил, а Яник выхватил из-за пояса топор и убил этого немца.

Как убил он этого немца топором, так и пошли они остальных убивать. Все!.. Всех поубивали, подожгли и ушли…

Алиновский — Ян, но его и до пятидесяти годов называли Яником. А сыну Людвисю было годов семнадцать. У Яника топор был за поясом, и он — немцу по голове. Убил этого немца, а другой немец его убил.

Вопрос: — Вы сами это видели?

— Мы все видели. Мы ж на улице стояли. Он так с сыном, как шел, дак немец сына — трах! А этот, топор выхвативши, — да его! Немец упал. А его сразу тогда в кожух, в разные постилки, — забирали ж тогда у нас, — завернули, завернули, на воз положили и повезли с собою, этого немца…»

«Мы все видели», — говорит Зоня Михайловна. Однако, кроме нее, никто уже не засвидетельствует этого, потому что всех жителей маленького Гандарева в то утро убили (ради того ведь и приезжали каратели), а из тех девчат, что отобрали для отправки в Германию, сегодня живет одна она. Удалось убежать от расстрела и одному из ее младших братьев, двенадцатилетнему Миколаю, однако случая с Алиновским он не видел: был уже за сараями. (Рассказ его — в очерке «Свыше десяти».)

Дальше рассказывают сами мужчины.

Иван Карпович Саковец.

Нашли мы его в одном из переулков городского поселка Крупки Минской области, где у человека гряды под окнами деревянного домика. На грядах мы Ивана Карповича и увидели. После дождливо-пасмурного дня ясно заходило солнце, а человек, который уже на пенсии, оказался общительным, — повел нас в квартиру и рассказал о том, что происходило в его родной деревне Узнаж осенью 1942 года.

«…Я был женатый, у меня жена и трое детей было. Немцы когда оцепили Узнаж, то я остался дома. Переночевали. И немцы у нас ночевали. А я к отцу перешел. Моя хата с самого конца была, но я боялся. Потому что партизаны стояли у меня перед этим. Тогда не утечешь. Все в лес уйдут, а я с детьми… Дак я к отцу перешел. Он в середине деревни жил.

Переночевали, а рано собрали нас посреди деревни — всех, и старых, и малых, и больные которые — вынесли. Вынесли и поставили. И — допрос. Бургомистр из Выдрицы, — Карань его фамилия, Рыгор Васильевич, — он знал меня еще с детства: моя мать из Выдрицы была, я там у деда все был, когда был маленький. Ну, вот, он захотел Узнаж выбить. У нас партизаны стояли, а у них там, в Выдрице, доты были. Партизаны наступали и доты эти разбили. И эти полицаи… Там несколько французов было. Все поутекали в Крупку. Несколько полицейских убили они, а этот бургомистр удрал. А жену его — убили. И хату его спалили. Ну, у него было шестеро детей, кажется, но детей его не трогали.

А потом уже, когда они в Крупку утекли, отряд больший выехал к нам, и к нам эти немцы, этот карательный отряд приехал.

Допрос шел. Там следователь какой-то был, русский. По-русски чисто говорил, но в немецкой одежде. И меня вызвали там по списку. Бургомистр меня привел. Один немец с палкой стоит, сбоку, в хате. И вот он привел меня и говорит:

— Почему ты заготовку не сдаешь?

— Гумна у меня своего нема. А он говорит:

— А партизанам почему даешь? Я говорю:

— Партизаны с оружием, сами зайдут, возьмут, а что я им могу сделать.

Что мне говорить? А бургомистр говорит:

— У него два брата в партизанах. На меня.

А я говорю:

— Спросите у крестьянства. Мои братья взяты в кадровые.

Ага. Ну, он так и пишет. Записал, а потом бургомистр говорит:

— Он имеет связь с партизанами. — Обо мне: — Мы, говорит, партизанку поймали в Выдрице, и она говорила, что он связь имеет.

Записал он и: „Веди!“

Меня привел. Партизанские семьи там. Поставил. Около ворот как раз. Человек семь стояло, я так восьмой был. Я стал с краю так, у калитки. Калитка была открыта. Партизанская семья с нами стоит. И меня сюда поставили. Ну, я знаю, что братья в партизанах — меня убьют все равно. Я тогда думаю: на ходу убьют, дак убьют. Я не думал, что мою семью выбьют. Дак я как стоял у ворот, а калитка открыта, а немец нас отдельно охраняет уже, с автоматом… Если б он напротив меня стоял, дак я, конечно, и не удрал бы, а то он прохаживался — шага четыре туда и сюда. Он как пошел, а я тут же около калитки стоял, он не повернулся, а я — раз в калитку! Двор огорожен был. А метров семьдесят — кусты там, болото. Ну, я молодой был, годов тридцати двух. Я только так шапку подхватил, думаю: ну, убьют на ходу. Через забор! Ни выстрелов, ничего. Он не заметил, повернулся и не заметил меня. А там не было заставы, а застава была кругом, а около болота — тут не было.

Так я и утек.

А всех поубивали.

Я пришел тогда, посмотрел — никого нет. Где мой отец жил, на том огороде яма выкопана, и в эту яму — всех… И малых, и старых — всех…

Триста шестьдесят человек…»

2

Деревня Раховичи на юге Солигорского района Минской области.

На горизонте, вокруг, бывшие партизанские леса, а вместо когдатошнего болота — урожайная полесская равнина, культурные поля и сенокосы. Хаты, если смотреть с высокой улицы-гравийки, прямо тонут со всеми заборами да пристройками в зеленом паводке картофеля.

Миколай Павлович Брановицкий рассказывает.

«…Мы были в лесу — все наше сродство. Разведку слали мы, из наших, поглядеть, спокойно ли дома.

значит, доложили, что спокойно. Мы и поехали домой. Знаете, дети малые, надо их обогреть, обсушить…

Только я затопил плиту — тут явились немцы на пороге. А куда ты деваться будешь? Значит, обшарили все. Полиция немецкая. Один немец только крикнул: „Раус!“ Что такое „раус“, дак я немного понимаю: выходи или удирай, что-то такое. Погнали нас — и жену, и детей…

Как только вышли мы на двор, один молодой полицай кричит:

— Хозяин, давай вернись и давай нам мэду!

Не меду, а мэду. Ага, думаю, стой: раз „мэду“, значит, украинцы. Я говорю:

— Меду у меня нет.

— Выдирай пчел!

Стал я выдирать сам пчел своих, а тут уже некогда, гонят. Гонят уже всех. И они за меня и — туда. Все мое сродство. Это нас собрали двадцать шесть душ: стариков, детей…

Загнали в сарай и приказали:

— Молитесь богу! Кто молится, кто что…

— Прощайтесь!

Ну, стали прощаться. Знаете, там и плач, там и беда… Ну, а потом говорят:

— Становитесь на коленки, отворачивайтесь к стене!

Я, правда, поднялся и говорю так:

— Вы люди или какие-то… или какие-то звери, или кто вы такие? За что вы нас стреляете? Ну, вы стреляйте партизан. Ну, я — партизан, меня стреляйте. Но зачем вы грудного ребенка будете расстреливать? Зачем старика, который едва ходит? Кто вы такие?..

Правда, они ничего не ответили на этот мне вопрос. Они начали из автоматов стрелять. Я упал. А жена уцепилась за мою шею и упала на меня. И попадали еще трупы, с близкого расстояния из автомата не проходила пуля, чтоб через трупы и меня достать. Только правая сторона у меня, как лежала, вот такое положение, дак три пули попало, и еще две сюда, и одна… Шесть пуль.

Стреляли долго. Одной женщине попало, она упала на ребенка, он сильно плакал…

Средняя дочка моя, ей пять годов, стала плакать. Говорит:

— Папка, папочка, сильно больно!.. Я говорю:

— Тихо, дочечка, не плачь.

— Ой, папочка, я не могу терпеть!..

Как стала она плакать, дак в нее из автомата очередь как запустили, дак череп слетел и мозги брызнули на стену, и она кончилась. Я это своими глазами…

А жену убили сразу.

Ну, я и лежу под трупами. Стало тихо. Потом что-то гудит. Что такое гудит? Самолет? Потом из-под трупов я подымаюсь. О-о-о! Крыша палает уже, горит! Люди горят синим огнем. Или они облили, или оно разгорелось уже так. Знаете, все-таки жир, тело людское. Что ни говори. Горит прямо синим огнем, как бензин! Я на горящую стену карабкаюсь, на сено хочу. Когда карабкался, валенки с ног съехали, и я остался босиком. Потом поднялись еще две женщины — моя сестра двоюродная и соседка. Некуда деваться, горим — полностью уже крыша палает. Я, значит, сел и говорю тихонечко:

— Одно средство — бежать в двери.

Они закрыли двери. Мы в этом углу были, и бежать нам через трупы надо. Дак я как бросился!.. Эти трупы горят, корчатся — я перепрыгнул и ударился руками в двери. Дышать уже нечем. Я ударился так сильно, что обе половинки раскрылись. Я упал и потянул сырого воздуха. Дым клубится. Сарай большой, горит крыша и сено… И я бежал в этом дыму. И добежал я — немцы!.. Стоят немцы. Обоз немецкий. Я развернулся и опять в дым. А там была братова истопка и яма — он обсыпал истопку. В эту яму я и вскочил.

Весь я в крови: трупы ж на мне лежали…

Пеплом следы мои занесло на снегу. И я сидел примерно до полуночи. Потом поднялся. Что ж делать? Рук я не чувствовал: у меня ожоги сильные, повсхватывались банки, пузыри такие на руках. И босиком. Надо на ноги что-то. У брата висело белье на заборе, постирано. Я взял. Позавязывал рукава в белье в этом, натянул на ноги и потихоньку потопал до своего дома. Было это

метров сто пятьдесят.

Правда, раньше я подошел к трупам. Женщины, что за мною бежали, лежат обгорелые на пороге… Може, в трупах, в одёже запутались? А може, их немцы втолкнули назад?..

Зашел я в свою квартиру, взял одеяло, взял веревочки такие хорошие, взял простыни, взял полотенец штуки две, чтоб в случае, если я найду человека где своего, чтоб ему перевязку сделать. В кустах разорвал одеяло, накрутил на ноги, позавязывал и потихоньку подался…»

Миколай Брановицкий вернулся в родные Раховичи инвалидом войны. Ходит на костылях. Рассказывает сдержанно, а глаза все-таки полные слез.

«…Дочек убитых вспоминаю часто. Надо ж так, чтоб одна родилась Восьмого марта, а другая Первого мая, а третья — на Октябрьские. Хорошо было бы дни рождения отмечать!..»

А у человека сегодня и новая семья, и дом, и трудовой достаток.

Память…

3

Михаил Андреевич Козел. Деревня Красное в Щучинском районе Гродненской области.

Крыл хату шифером. Пригласил нас в чистую комнату, заставленную вазонами, и рассказал, как не однажды уже, видать, за тридцать лет рассказывал, — и без прикрас, и с новым волнением.

«…Теперь я живу в Красном, а тогда жил в Ляховцах.

Батька по утрам молотил, а я сапожную работу делал. У батьки живот заболел что-то, дак он приходит, будит меня:

— Подымись, иди молотить.

Я поднялся, обулся, взялся за ручку дверей, а тут меня — назад!.. Погнали туда, где со всей деревни народ собранный был.

Согнали все Ляховцы. Сначала люди стояли безо всякого порядку, а потом они поставили в три шеренги. А через какое-то время вышел ихний комиссар и зачитал, что убили лесника, значит, все тут — „помощники бандитов“. Вот за это сегодня и будут расстреляны двадцать пять человек. Тогда он достал список и начал по списку зачитывать: такой, такой, такой… Вызвали нас а сразу окружили пулеметами.

Все они были в серой немецкой форме, говорили по-немецки между собой, а с нами — по-польски. Через переводчика. А амтскомиссар сам немного по-польски говорил.

В хату нас Воробьеву загнали, а потом приходили и не вызывали, а прямо брали, кто попадется — по пять человек.

Когда мы в хате сидели — я сел за стол, и вот мы все, отобранные, друзья и подруги, попрощались меж собой… Когда повели первую пятерку, нам в хате было слыхать, как там затрещали автоматы… И как только затрещали автоматы, минут через пять снова пришли немцы, снова пятерку взяли — повели.

Я, конечно, мог бы пойти и в последнюю очередь, они брали первых от дверей. А если б вы знали, что в этой хате творилось! Хаос целый! Я не плакал, ничего… Посидел я, подумал. Расстреляли одну пятерку, повели другую пятерку расстреливать. Мог бы я в последнюю очередь пойти, но думаю: „Сколько ни сиди, от пули не убежать“. Я тогда выхожу и говорю:

— Кто еще идет?

Каждый жмется в угол…

Немец остальных четырех вытолкнул в двери за мной.

Вышел я — сразу комиссар стоит. Спрашиваю я у него по-польски, за что меня расстреливать будут. А он:

— Лёус[21], бандите!

О побеге я не думал, куда тут убежишь? С одной стороны забор высокий, кладбище, а с левой стороны улицы — фельдшеров высокий забор, штакетник. Куда тут убежишь? Потом прошел я метров двадцать, и толкануло меня что-то: „Удирай!“ Но куда удирать? На забор прыгну — сразу убьют, быстро не перепрыгнешь. Тогда я шел, шел… Направо улица. Думаю: сюда. Прямо — убьют. Вижу, расстрелянных в яму бросают. Осталось мне метров двадцать — тридцать. А у Миколая были ворота приоткрыты во двор. Я поравнялся с воротами и тому немцу, что справа от меня шел, — ка-ак дал! — дак он сразу и пошел кувырком! А я — в ворота. А тут рядом дом. Я — за угол, а по мне — выстрел… Не попали. Я — по задворкам и в улицу. Через забор перескочил — й по улице. А по мне — от тех людей, что стояли согнанные, — через кладбище начали из пулемета бить. Добегал я в самый конец улицы, до Любы, а там, где расстреливали, стоял станковый пулемет. Начал он по мне бить. И еще человек тридцать бьют… Ну, правда, бежал я, падал. Даже не ранили. Я помню: ползу, ползу, а пули, как только начнешь ползти, — тёх-тёх-тёх!.. Больше всего бил по мне пулемет. Можжевельник рос. Я к тому можжевельнику подполз, и — прыжок. И — в сосняк. Бегом, бегом по этому сосняку. Сосняк кончается. Направо — хутор и поле уже. С левой стороны у меня все время немцы, а справа, где хутор — немцев нема. „Пересеку я, думаю, это поле“. Оглянулся, вижу: стоят три немца! Но я все равно пру на хутор. Как начали они по мне стрелять!.. Добежал до хутора, забежал за хутор — огонь прекратился. На речке кладка лежала, я по этой кладке — как чудом каким-то перебежал. За речкой — метров триста — ольшаник, я туда добежал. А немцы подошли к самой речке, постояли, постояли и вернулись назад.

Из нашей деревни никто больше тогда не уцелел. Только Миколай Стасюкевич пробовал утекать, но отбежал метров двадцать и — на заборе его убили.

Тогда убито было, кажется, двадцать семь человек.

Когда я утек, тогда те немцы, что гнались за мною, вернулись. Старший немец, который там командир, — люди потом рассказывали, — давал, давал, давал тому, что меня гнал.

А потом батьку моего за меня забрали и застрелили. Хотели еще мать забрать, но что-то они меж собой поговорили, поговорили, и так она осталась…»

В свое время Михаил Андреевич, как «западник»[22], был солдатом польской армии, в сентябре тридцать девятого года встречался с немцами в бою. После расстрела он, естественно,

стал партизаном. Мужчина. А рассказывает и… время от времени плачет, даже не может говорить. Видимо, из-за отца… Или это просто обида, гнев — человеческая обида и справедливый гнев, которые не проходят, не успокаиваются даже местью!..

4

В деревне Усакино Кличевского района Могилевской области.

Богатый домик, зелено-таинственный сад. А хозяин — высокий, дородный мужчина, с виду моложе своих «семидесяти с гаком». На руках — маленькая городская внучка. А дед, хоть он и колючий такой, и гремучий, видать, и добрый, и веселый.

Макар Карпович Заяц.

«…Тут у нас много Зайцев в деревне, но один я — Макар Карпович.

Вопрос: — Так это вы тот самый Заяц, что немца убил?

— Тот, тот! *(Смеется.)*

Отступали наши. И тут шли наши. Дивизия. А я жил в конце. И ко мне все приходит начальство, покушать чего-нибудь. В лесу мы жили. Я раз дал, другой раз дал, а потом нечего давать. И говорю я:

— Ребяты, я вас не выкормлю, а мои дети останутся так. Вон картошка уже подросла колхозная. Черт с нею, что маленькая, подумаешь — жалеть. Все равно хвашисты заберут.

Ну, а они в окружении были. Они картошки накопали.

— Лошадь есть?

— Есть.

— Завезите нам.

Завезли. Назавтра снова приходят, уже больше. Лейтенант, в гражданскую войну воевал, Иван Минович. Это они у меня про его спрашивали: есть ли еще кто-нибудь из окруженцев. Я повел их и показал, где он прячется. Они его взяли. Мы два воза картошки накопали, завезли им на полигон.

Ахрем Бобовик узнал — пошел в полицию и немцам донес. А уже наши прорвали где-то около Друти. Еще фронт шел. А Ахрем говорит:

— Вот этот возил бандитам есть. Ну, меня ночью забрали.

Вопрос: — У вас семья большая была?

— Четверо детей и жена. И всех нас забрали. Еще из лесу людей забрали: прореска лесу была. Стали расстреливать.

Меня бьют:

— Веди где партизаны! Веди — куда вы бандитам есть возили!..

И Иван Минович тут же, и его забрали. И вот они мне говорят.

— Заведешь — будешь жить, не заведешь — расстреляем!

Вот я их на край поля привел, и нема мне куда крутиться… Я им так и говорю. А он бьет меня. А я все не давался; как он замахнется, немец, дак я все в сторону, в сторону. Все равно как какой-нибудь — которые бьются… боксер. А потом по затылку мне прикладом как ударил — я упал.

Тут же и семья моя вместе. Берут ребенка — расстреливают.

— Вот заведешь — этих не будем стрелять!..

А я знаю, что как заведу — больше чужой крови напьюсь, чем моей разольют. Я не повел.

Вопрос: — И тут застрелили ваше дитя?

— Тут одного ребенка застрелили, другого застрелили, а третьего подводчики спрятали. Четвертого, то есть, самого старшего. Он и сейчас живет в Ленинграде.

Вопрос: — А как они его — в телегу спрятали?

— Не. Дали кнут, и пошел коней отворачивать. В борозде спрятался. Ему так сказали подводчики. Вот он и остался живой, и сегодня живой. А тогда и хозяйку расстреляли. А потом и меня вели стрелять.

Ну, меня ведут расстреливать, а я думаю удрать. Что уж тут сделаешь? Один двоих ведет. Прошел я вперед — немец. Как били нас, то он стоял — по-немецки разговаривал. Потом зашел наперед, идет напротив нас и по-русскому говорит:

— Вы не знаете, может, куда вас ведут? Ведут расстреливать.

Вопрос: — Он так говорит, чтоб не услышали другие немцы?

— Не, немец шел, но он же по-русски не понимает. И этот, одетый в немецкое и наган у него. Тогда по-немецки с немцами говорил, а теперь с нами по-русски. Это не переводчик: переводчик остался, а он как нас тронули, то он наперед зашел, вроде ему присесть надо… И он тогда напротив идет:

— Вас, говорит, ведут расстреливать.

О-о-о! Господи! Семью расстреляли, и меня расстреляют… Давай попробую удрать. Я так на край верну с этой стежки, чтобы в лес. А он мне автоматом р-раз в плечи. А я… Это у меня потом, на фронте, руки побиты, а тогда я ему как двину! — дак он навзничь, и его автомат отлетел. Я верхом, за автомат и — шарах! — его застрелил. Иван этот, Минович, в одну сторону побежал, а я — в другую. Под меня гранату второй подкинул, ну, а граната меня не тронула нисколько…

Вопрос: — Так вы в него еще и из автомата выстрелили?

— А как же! Если б я его не застрелил, дак у него ж наган был. А другой немец, говорите?.. Много, много их, немцев, было. Но в этом шуме… Я три войны провоевал и знаю, что в шуме никто не знает ничего и не ведает. Они пока осмотрелись… Это каких-нибудь я, было, метров десять от немцев отошелся,

недалеко, а это ж — шум!..

Ну, вот, это моя вся и история.

Вопрос: — А потом вы куда, в партизаны пошли?

— Не. Мне сделалось плохо. Плохо сделалось. Ну, куда? Я в Закутье, в отряд. Это начальник отряда был знаком, дак я к нему. Иду, и кажется — играют, поют… А никого нигде нема. Это у меня в голове. Расстроился. Да… И он говорит мне:

— Знаешь что, вызову я тебе врача. Врач мне уколы делал и говорит:

— Иди в тихое место.

Побыл я в тихом месте. А потом уже при штабе находился. Я у Лешки доверие имел… Я забываю его фамилию. Лешкой зовут. Я его так и называл. Он в ваших годах был. И я там все время и находился.

Вопрос: — В хозяйственном взводе?

— Не, как дневальный. В общем, я его охранял. Тела его хранителем был. Доверенный.

Вопрос: — Тогда, в сорок втором, Сушу[23] 3 два раза сжигали?

— Не, первый раз партизаны не дали. Знали, что Сушу будут жечь. Здесь, как виден лес, и на горе там — со станковыми пулеметами партизаны. Они их сильно много перебили, немцев. Заяц, Бобовик по-уличному, который вел немцев, стал звать их: „Сюда!“ — и рукой махает, чтоб бежали вслед за ним. Знает куда. Тут он и родился, только не сдох тут…

Ну, это первый раз как ехали. Другой раз уже большей силой… И никто уже не приступился к ним.

Вопрос: — И что они тут натворили?

— Ну, что, людей перебили. Два поселка целиком выбили. Семь человек осталось, что дома не были. „На собрание! На собрание! На собрание!“ — выгнали. Во так поселок и во так поселок, а посредине на картофлянище и побили…»

5

Ходит по лесу человек. Изо дня в день. Зимою и летом. Лесник — такая служба, такой хлеб. Хватает и забот, если человек заботливый, хватает и одиночества, времени для раздумий, для воспоминаний. Тем более, если есть ему что вспомнить.

Есть что вспомнить, о чем погрустить и чему порадоваться **Александру Карловичу Зауэру**, бывшему партизану, а теперь леснику в тех самых родных местах…

Александр Карлович — латыш, один из тех латышей, которых на героической и многострадальной Октябрьщине после фашистской лютости в годы оккупации осталось очень немного. В деревнях Перекалье, Булково, Залесье.

«Когда мы, латыши, приехали сюда, — говорит Зауэр, — я не знаю. Надо у стариков спросить. Тут есть один, Франц Винтарс, он до войны был председателем нашего латышского колхоза „Сарканайс араайс“[24], а теперь уже на пенсии. Но и он не расскажет, потому что латыши приехали сюда давно, видать, более ста лет тому назад».

В том самом Булкове, где живет Зауэр, мы навестили и названного им Винтарса. Хороший дед, крепкий еще, бывший партизан, теперь совхозный пастух, человек старательный и толковый, о чем можно судить хотя бы по исправному, ухоженному домику его.

Не помнит Винтарс, с какого времени здесь угнездились латыши, беда их пригнала сюда или магнат какой-то перевез. Не помнит, хоть и пожил немало, и от стариков когда-то кое-что слышал. Липы по обе стороны улицы такие же могучие были уже и тогда, когда он был малым, а их же, это он знает хорошо, — садили предки латыши.

Добротный дом и у Александра Зауэра. По-летнему он был пуст, застали мы в нем только хозяйского сына, лейтенанта-отпускника, который готовился в какую-то свою дорогу. Юноша сказал, что отец в лесу, но скоро должен прийти.

Лесник вскоре пришел.

Латышский тип сильного, не очень разговорчивого, будто даже хмурого работяги. Хорошая белорусская речь. И деловая общительность.

Сначала — просто скупой и скромный солдатский рассказ:

«…Мне уже шестьдесят второй год. В войну был в партизанах. Когда жгли наше Булково, дак я как раз был в Октябре, в

Смукове, — там мы сидели в засаде. Это — когда немцы наступали на Октябрь. В конце января сорок четвертого года. Мы их тогда отбили, они в тот день не вошли в Октябрь, а дня через два пришли и все-таки заняли.

Наши семьи тут поубивали. Пригнали из лесу, согнали в два гумна, и там их пожгли. Вот тут у нас, в деревне. Там всех моих… У меня было шесть душ семьи: жена, теща, тещина сестра и трое детей. Никого не осталось. Остался только брат — был в партизанах. Сестричку поймали в лесу. Она была в смерть-лагере, под Озаричамн. После ее выручили.

Заняв, тут немцы у нас были месяцев около двух, Людей поубивали, а сами жили в деревне. Тут они были около Залесья, сделали себе… так сказать, убежище, чтоб партизаны не подходили. Но мы подошли. У нас была как раз десантная группа, мы пришли и снова их разогнали. И из Залесья выгнали. Десантная группа и наши партизанские две группы были. Мы обстреляли их, несколько раз прошли по деревне, и им показалось, чю нас тут тысячи. Назавтра они выбрались оттуда в Октябрь. А потом мы их из Октября выгнали, они поехали в Паричи…»

Дальше — о личном. Но таком, что о нем должны знать многие. Александр Карлович и об этом рассказал очень скупо. В ответ на наше любопытство — когда мы начали удивляться, что на стенах большой, светлой хаты так много увеличенных фотопортретов миловидной, веселой молодежи.

«…Я взял жену своего товарища. Мой товарищ был белорус. Одинец Миколай Рыгорович. Его убили. Он отпросился пойти домой, в свои Косаричи. Пришел, а там деревню окружили и повели на расстрел. А с ним был еще Ковзун Петро, также там попался. Дак тот говорит:

— Мы что — скотина? Давайте разбегаться!.. Начали они разбегаться. Одинец перебежал через поте, вскочил в лес, а тут разведка немецкая… Убили его.

А мы с ним договорились раньше: кто останется живой — семье помогать. Не знаю, как он сделал бы, а я сделал по-честному: забрал его троих детей. Меньшему, Миколаю, полтора года было.

Она говорит:

— Разве ж ты меня возьмешь — трое детей?.. А я говорю:

— Я не тебя беру, а только детей — надо.

Но раз уже мы сошлись по характеру, то и живем вместе. Уже двадцать шесть лет. Живем. Детей повыучивали, дети у нас все на

работе. *(Дальше говорит, переходя от портрета к портрету)* Вот это ее средняя дочь. Это вот сын, который в паре свадьба была. А это вот уже наша с нею первая дочка А это сын, который в Ленинграде учился. А это вот старший сын, работает в Риге. Вот какая у меня семья!.. Четыре дочери и два сына. Все работают. Тамара — сантехником, Галя — крановщицей, Ганна — маляром, Лида — телеграфисткой, Микола — каменщиком, а этот вот, Александр, как видите, офицер. И сама еще, моя Любовь Андреевна, от молодых не отстает — и теперь в поле. И я работаю Лесником с сорок восьмого года…»

Ходит по лесу человек. И много думает, многое вспоминается ему в одиночестве, которого так много. Одиночества и тишины.

СВЫШЕ ДЕСЯТИ

1

«…Маленьких хлопчиков, как и баб, они тогда не стреляли, а уже если которому годов десять — таких вместе с мужчинами…»

(**Александра Пилиповна Михолап**. Деревня Столпище Кировского района Могилевской области.)

«…Женщин отдельно запирали палить, одних, а мужчин — отдельно. Таких хлопцев, которые постарше, дак туда, с мужчинами, а малые — дак с нами были».

(**Тэкля Яковлевна Круглова**. Городской поселок Октябрьский Гомельской области.)

«…Немцы детей любили… Возьмет на руки, поносит, а потом — в огонь…»

(**Виталь Михайлович Шадура**. Деревня Зеняки Щучинского района Гродненской области.)

В двух первых случаях — частная прихоть какого-нибудь «сверхчеловека» в полицейской или эсэсовской форме; в третьем случае — еще раз подтверждается то, что истребление детей, от несмышленышей до подростков, было па захваченных землях составной и неотъемлемой частью фашистского плана «переустройства мира».

Разговаривая теперь с мужчинами, которые в годы оккупации переходили из детства в самое первое возмужание, уже стыдились маминых ласк и еще все мужчинами Не были, нельзя не волноваться как-то по-особому…

Деревня Байки в Пружанском районе Брестской области.

Июнь, роскошное лето. После короткого ливня — еще более ласковое солнце, которое уже хорошо склонилось за полдень. Раз за разом горланят по-за плетнями старые петухи. Издалека слыхать трудовой тракторный рокот. Вызванивает свою неутомимую песню жаворонок. Или, может, много их, только над нами — один.

И дети гомонят, кричат и смеются где-то совсем недалеко от скамейки у забора, на которой мы сидим, — мы их не видим, а только слышим.

Видим одну девочку, что между нами и хатой на той стороне улицы играет в «классы». Сама с собой, старательно, сосредоточенно, как говорится, для души. Отца этой попрыгуньи, к которому мы приехали, еще все нету с косьбы. Идем туда, откуда слышится мальчишеский гомон и смех.

Вот они — живописная гурьба босых да чубатеньких «философов и поэтов», искушенных многими тайнами книг, кинокартин, футбольных и хоккейных матчей — «без отрыва» от родной хаты с телеэкраном, от родной деревни с клубом и школой. Отдыхают — кто на жердях ограды, а кто и на столбе, кому где удобнее после доброй половины долгого и содержательного дня. Еще не каникулы. Но этим мужчинам, — по виду четвертый, пятый, шестой класс, — окончание школьного года особенных трудностей не приносит: ни экзаменов тебе, ни забот о каком-то институте. Смех — их воздух. Даже и перед объективом фотоаппарата смех этот трудно сдержать.

Счастливые ровесники тех, кому в черные дни гитлеровской оккупации было столько, как им теперь. Тех, что и тут, в этой деревне, погибали вместе со всеми — и младшими и постарше их…

Поговорив немного с ребятами, возвращаемся к нашей скамейке.

Девочка уже отскакала свое и куда-то побежала. А отца ее и еще все нет.

Он вернется с косьбы, бывший военный подросток, он нам расскажет, как вырвался из огня, из-под пуль. Одно, что мы уже знаем о нем, одна деталь, что загодя оживляет незнакомый образ, — это то, что нам сказала сегодня одна старуха, также бывшая мученица. Он, **Миколай Степанович Шабуня**, был не сыном, а пасынком, по «дай бог, чтоб каждый родной отец любил своего сына так, как Миколая отчим».

И вот он, Миколай Степанович, наконец пришел. С косой за плечами, со степенным видом привычной усталости. Мужчина — немного за сорок, спокойный и сильный.

Отдыхая на крыльце, он рассказал:

«…Шли мы утром в Ружаны, пилить дрова к бургомистру. Вышли на шоссе, а тут — немцы:

— Хальт! Подходят:

— Цурик нах хауз! Пошли мы домой.

Сказал я родителям, они встревожились. Глядим в окно — едут к старосте на машинах и пешком идут.

— Берите все документы и выходите!.. Туда, где и теперь большая елка стоит.

Вынесли они столы на улицу. У кого деньги, часы, кольцо серебряное или позолоченное — все дочиста забирают и в стол. Коридор из немцев сделали, один немец от другого — на три-четыре метра, и людей гонят одного за другим — в гумно.

Пригнали людей из других деревень, из Новосадов и Колков.

Копать могилы…

А мы в гумне сидим. Тот — то, тот — другое. Сегодня, говорят, сито будет густое. Просеют. Одних заберут, поубивают, а других — отпустят. Убьют тех, у кого родня в партизанах или которые сами связь имеют…

Сидели, сидели, ждали, чтоб как-нибудь через то сито пройти, кому это придется, а тут попали — все без разбору.

Выводили из гумна — кто под руку попадал. Мужчины — не больше как по четыре-пять человек. Бывает всякий характер — может сопротивляться. А женщин выводил — сколько вытолкнет…

Это теперь уже, если хозяин с хозяйкой живет, то детей у них двое-трое самое большее, а тогда было по пятеро — семеро.

Уцепятся за юбку и так волокутся…

Очереди были короткие. Только чтоб ранить. А женщин с детьми — процентов на шестьдесят живьем закапывали.

Два человека геройски погибали — Шпак Данила и Сава Семей.

— Бей, — говорит, — сволочь, в лицо, а не в затылок!..

Я сначала продрал стреху и сам глядел. Видел. Стояла охрана около гумна. Когда не вылазишь, то не стреляют. Я помахал рукою, что вылазить не буду. „Гляди себе, выдержишь — гляди…“ И пока сестер и мать не убили, и этих двух — я глядел. А потом… Будто страх… Родных поубивали — страх овладел. А так просто человек столбом стал, без чувствия…

Как теперь говорится, по московскому времени, с восьми часов до шестнадцати была проверка, а потом начали расстреливать. Два часа расстреливали, не больше.

В гумне сидели на сене и курили, никто тогда не остерегался. Слышали, что стреляют.

— Люс! Люс! — кто крайний.

Не хочет — прикладом, голова, не голова…

Форма вся немецкая: и серая, и черная. В черной больше стояли на постах. А немцы — выгоняли, подвозили. Расстреливали те, что пошли… Ну, полиция. Из Ивацевич приехали, из Пружан приехали, из Волковыска приехали, из Слонима приехали, из Баранович приехали. А те, что забирали документы, говорили по-немецки, через переговорщика.

Всех побили, а мы с отцом под сено зарылись. Отец первый, а я его забросал сеном.

Продрался я до стены, а у стены — большая бочка, на замок замкнутая стоит. Немцы пришли, давай смотреть, что в бочке. Прикладами разбили ее. А я как раз до нее докопался. Сена было так на метр тридцать сантиметров, а продергать, чтоб человеку

пролезть, то получается прогиб. На мне стоял немец. Разбил бочку, начал вокруг нее колоть штыком, аж до одежи моей докололся.

„Ну, думаю, все равно не останемся, не выйдем живыми“.

Как-то так… То ли человеку жить положено?..

Ушли они.

Потом один с собакой зашел. Собака — заливается, рычит!.. Потом слышу: спички шаркают. Слышу: солома начала гореть…

Вылез я на ток. Вспомнил, что и батька мой тут. Взял вилы, пырнул — шевелится. Вытащил я его. Я обгорел слабо, а у батьки все лицо было с полгода обгоревшее, нельзя было смотреть…

Вышли мы из этого гумна. Гумна одно от другого — метров шесть. Глядим: человек перед нами. Испугались, стоим, как столбы, один на одного посматриваем. А потом узнаем: сосед.

— Это вы, дядька? — спрашивает. — И хлопец с вами?..

Пошли мы втроем к дороге.

А они последний дом, где сидело начальство, поджигают.

Напоролись мы на немца. Нес сноп соломы. Метрах в двух от него я руки раскинул, чтоб тех, что сзади бежали, задержать. В дыму он меня не заметил, а двор узенький. Мы — назад. Я — через забор. У соседа ульи были на зиму составлены, я — между ними, в лужу, — снег от пожара растаял, — лёг и лежу…

Уехали немцы. „Давай, думаю, пойду погляжу на могилу“… Детский ум… Понаходил одежду, материну и сестер. Раздевали всех до белья…

Та могила, где мужчины, подымалась немного, сантиметров на двадцать, а кровь около стенки — фонтаном. А где женщины… клянусь… истинным богом, что на женщинах не меньше как сантиметров на семьдесят земля то подымается, то оседает… Значит, они только немного присыпали, чтоб не видно было. Потом людей пригоняли, на третий день, добавляли земли…»

Пока он рассказывал, за спиной его, на пороге, почти все время стоял мальчуган. Один из тех веселых «философов» с забора. Уже разумно притихший. Когда он отходил или возвращался снова на порог — обязательно осторожно и, босиком, совсем неслышно. Моложе, чем отец в то время, когда его убивали, но уже также — свыше десяти…

Девочке было неинтересно. Только немного послушав, попрыгунья побежала со двора искать новой забавы.

И все над нами и вокруг нас было в покое ясного предвечерья.

2

Великая Воля Дятловского района Гродненской области.

Лесная деревня с вековечными дубами и высокими, стройными соснами — не только вокруг нее, но и на улицах, с кипарисным можжевельником на полянах между редко разбросанными усадьбами, с деревянной церковью на кладбище, красивой в своей поседелой, согбенной старости. Добротные хаты у великовольцев, почти все — послевоенные.

16 декабря 1942 года немцы убили здесь около двухсот человек. Среди очень немногих, кому повезло как-то спастись, было два подростка.

Один из них, колхозный животновод **Алексей Викторович Ломака**, так рассказывает про тот день.

«…В то время я еще был малец, мне шел одиннадцатый год. Помню я: пришли немцы, стали выгонять нас из хат. Немец отворил двери и сказал: „Выходите!“ Мы жили в хате две семьи, потому что наша хата сгорела, и мы жили у соседей. Вышли мы из хаты и видим, что тут уже вся деревня согнана. Подогнали нас, може, метров на пятьдесят, поставили всех в колонну. Не помню, сколько там человек в колонне было. Скомандовали нам всем стать на колени, и сзади пришла машина. И стали мы промеж собой говорить, что, може, жечь нас будут живых… А они нас стали фотографировать — с каким-то аппаратом стояла машина.

Сфотографировали они нас, подали команду встать, затем брали по двенадцать человек, отсчитывали по двенадцать человек, и на метров сорок или, може, пятьдесят отводят тех двенадцать человек и командуют ложиться в таком вот положении, под гору. *(Показывает.)* Из пулемета тогда шурует.

Я попал тогда как раз во вторую группу — двадцать четвертый человек. Я только помню, что я до тех пор был в памяти, пока скомандовали ложиться. Упал я — уже выстрелов не слыхал, как по нас лежачих стреляли. Може, и заснул. Что-то получилось.

Уже потом, когда всех порасстреляли, встал старый Василь Ломака и говорит:

— Хлопцы, кто остался живой, вставайте. Немцы уехали.

А батька мой был тяжело раненный в живот и, как услышал этот разговор, спрашивает:

— Алешка, а ты не раненный? Пошевелись…

Ой, я забыл, я это сразу с батькой говорил, как толь они перестреляли, еще не ходили добивать. Батька говорит мне:

— Ты, сынок, жив? _ Жив, — говорю.

— И не раненный?

— Не-е, не чувствую.

— Не печет нигде?

— Не.

Дак он говорит:

— Не шевелись, а то ходят, добивают.

Минут, может, через пять подходит немец к моей голове, подцепил ногой мою голову, а я этак во… *(Показывает.)* И он пошел дальше.

А потом уже этот Ломака Василь встал и говорит:

— Хлопцы, кто живой остался, вставайте. Немцы уехали!

Встал я, и пошли мы по трупам искать людей, которые живые.

Еще я застал свою сестру, ей было тогда семь лет. У нее была нога перебита ниже колена. Я ее метров, може, сто, може, семьдесят отнес. Ну, тогда ж я был пацан, если б это как теперь был, самостоятельный… Она стала просить, что болит, что положи меня, и я положил, я пошел с теми стариками в лес.

Ну, в лесу мы тоже ходили двое суток. Есть у нас нечего было, мы там обнаружили партизанский лагерь. Пришли мы в тот лагерь, было там немного пшеницы и мяса малость. Взяли мы кастрюлю. Голые ж мы были, никто ж не знал, что придется еще долго жить. А уже зима была. Нашли мы какого-то матерьяла на портянки, оделись малость, взяли эту пшеницу и мясо, наварили там, поели…

А на другую ночь решили: пойдем в свою деревню.

Пришли мы туда, где я положил сестру, — сестры уже не было. Куда она делась: или ее забрали да вместе с людьми засыпали, добили, или она сама кончилась, кто его знает. В лесу она лежала, прямо в лесу, я ее метров сто, може, и меньше отнес за пригорок, она стала просить — и там я ее положил…

Ну, а потом мы взяли в деревне хлеба, у кого где нашли в кладовке, что-нибудь так еще, мясо какое-нибудь…

Подходили мы потом и к могилам, но они были уже все засыпанные. Они пригнали из Малой Воли людей и засыпали.

Взяли мы продуктов из деревни, где у кого что нашли, — голодный уже не глядишь, свое не свое, лишь бы где, — и пошли в лес.

И думаю я: пойду куда к людям, искать людей.

Шел я, а там стоял сеновал, сарай такой на болоте. Которые побогаче люди, то ставили там сараи и клали сено. Захожу я в тот сеновал — лежит Борис раненый. Я говорю ему:

— Борис, что делать, как тебя спасать?

Ему уже годов двадцать было. Он мне говорит:

— Сходи в Крупицы, к моей сестре, скажи им, нехай за мной приедут.

Ну, я и пошел помаленьку, осматриваясь, чтоб где не нарваться, и дошел аж до Крупиц, наказал, и они его забрали.

И я там остался, в Крупицах, у тетки, маминой сестры…»

Другой **Ломака, Родион Алексеевич**, как раз был тут, в родной Великой Воле, — приехал из Ленинграда в отпуск.

Нашли мы его на берегу Щары, с малой Любушкой, дочкой, что знает и любит папину деревню, очень охотно приезжает с ним сюда, на парное молоко, сон на свежем душистом сене, к быстрой и живописной Щаре. Хоть и поуже Невы, но такая прозрачная, теплая. А лес — земляника, черника, лисички, боровики?..

Работает Родион в Ленинграде «дежурным механиком пищевой промышленности». Подался он туда сразу после войны, там закончил ремесленное училище, а потом — техникум.

В том жутком декабре ему было одиннадцать лет, и он, как сам говорит, «все хорошо помнит».

«…Пришли они, немцы, собрали всех и выгнали на развилку дорог. Всех поставили, прежде мужчин отогнали в одну сторону, а потом женщин и детей — в отдельную сторону. И сделали киносъемку. Тогда я не разбирался, что они делают, что это к чему. Давали команду подымать руки и снимали нас, как им нравилось.

После первую партию мужчин погнали. Женщин одних оставили. Поубивали мужчин — погнали женщин с детьми…

Сколько там крови, сколько стону было!..

Не знаю, как это вышло так удачно, что в меня не попала ни одна пуля, ни одной царапинки не было.

Все лежат убитые, а немец — как сегодня помню — ходит с автоматом и добивает…

А потом я поднялся. И не знал, что ж мне делать. Пошел еще домой сходил. Потом снова пришел на кладбище. А в деревне уже нету никого. Пришел я на кладбище, а там одна женщина еще живая. Взяла она меня за руку и говорит:

— Пойдем в лес!

Пришли в лес. После мы нашли, на другой день, Ломаку Стася и Василя. Уже нас было четверо. Идем дальше. Потом нашли Ломаку Стэфу, с девочкой Маней — двенадцать годов. Когда мы их нашли, так они говорят:

— Там вот лежит Ломака Иван. Он раненный. Это — мой родной брат.

Пошли мы и притащили его к партизанскому лагерю, „под

большую ель“, как тогда говорилось. Лагерь тот был пустой. Раненый стонет, перебита нога… Потом ее ему ампутировали.

Пробыли мы там шесть дней, потому что немцы еще кругом курсировали. Потом один говорит:

— И так, и так помирать — давайте добираться до дому.

Брат мне говорит:

— Иди домой. Там в яме водка стоит. Чтоб мне не замерзнуть — натереться надо.

Пришел я домой — ни души. Приполз я, в яму ту спустился, а в хату не заходил. Схватил там пару бутылок той водки — и назад в лес, к нему. Пришел в лес, так он взял там да рану свою обмыл. Переночевали мы еще одну ночь, опять он говорит:

— Иди погляди, принеси что-нибудь. Но остерегайся.

А хаты наши в лесу. Приполз я — вижу: стоит какойто мужчина. Подошел я ближе, давай присматриваться, а это наша родня из Крупиц. Рассказал я ему про все, а он запряг кобылу, и мы поехали в лес. Привезли брата в Крупицы, и там он лежал…»

3

Деревня Первомайск[25] Речицкого района Гомельской области.

Сюда мы ехали через Днепр, любуясь им с высокого моста, потом — полями, лугами да лесом, миновали несколько нефтевышек — полесскую новь — и вот сидим в хате **Павла Марковича Скакуна**.

За окном покачиваются от ветра тощие подсолнухи. На одном подоконнике громоздятся недоспелые помидоры, на другом — умывается кот, пророча каких-то гостей еще.

Хозяина нам позвали с работы: он — мелиоратор, был на своих канавах. Не хотим его задерживать излишне, но и не спешим во вред делу. И он не очень спешит.

«…В сорок третьем году, четырнадцатого мая, с самого утра приехал немецкий карательный отряд. Ну, я малый был, двенадцатый год, я об этом ничего не знал… Они окружили деревню. Мы пахали, батька, значит, и я был с быками: водил. Бегут немцы кругом и кричат, чтоб мы бежали в деревню. Нас толканули, и мы пошли в деревню.

Приходим мы с батькой в деревню, а там уже три немца вытащили такие вот браунеры, пистолеты и гонят людей по деревне.

Тут батьку раз — забрали телят грузить на возы. А я пошел к матери. Нас всех было четверо. Шел я, шел, вижу: одна женщина за хлев утекает, а немец ее раз — и убил. А тут они с мотоциклами… А та сторона деревни горит. И гнали нас до того перекрестка. Они загнали во двор и решили разделить. Как разделили, значит, дак мать в одну сторону пошла, а я тут остался. Одна женщина стала бежать в ворота, а я — за нею, дак она мне: „Куда ты?“ Дак я не пошел за нею, побоялся.

После — в хату. Там один мужик, высокий такой, уперся в дверях и не пускает никого, чтоб не заходили туда. А немец ему тем браунером — по голове. Ну, деваться некуда, дак я между ног у того человека и — в хату. Захожу я туда, а там полно уже. Зажгли в красном углу свечку — обычай такой в деревне, — сидят, о чем-то молятся, крестятся. А я ничего в этом не понимаю. Я стал в углу у стенки, потому что я один: я этих людей не знаю. Знаю, но мало.

Тут окно одно выбито, и через окно одна покатилась, синенькая, как картошина, — граната. Как лопнет она, значит, — пораскидала! Кого ранило, кого так отбросило. Меня только

воздухом ударило. Я ростом небольшой, дак оно, видать, выше пошло, что ли. Меня об стенку только ударило, и я оглох… А потом из трубы сажа как пошла — темно в хате! — ничего не видать. Те попадали, значит, корчатся, ползают, кричат. Я вижу, что около порога место есть. А у меня была лохматина такая, дак я пошел да лег и укрылся ею.

Лежу я и слышу: кок-кок-кок — идет. Он от меня и начал. Бух, значит. Дак меня пуля — вот сюда. *(Показывает.)* Три раза слышал я, как бухнуло. Шум у меня в голове, ничего я не помню. Стрелял он там, стрелял…

Оглох-то я оглох, но не совсем, и глаза видят. Вижу: они порасселись, говорят что-то. И смех там был. По-немецки и по-русски — слова бросали разные. Три человека их. Потом, как выходили, дак, видать, смекнули, что все люди — вытянувшись, а я — наполовину согнутый был. Дак он как дал мне в колено сапогом или ботинком, дак аж рассек колено. У них — железо на носке. Я уже как дохлый был, я уже ждал, что пуля шлеп — и по всем будет. Они что-то там буркнули и пошли.

Запалили они хату отсюда, от меня. Крыша соломенная была, а они отсюда от дверей и запалили. Сени начали гореть, двери начали гореть… Потом двери упали ка меня — и мне уже горячо, я уже горю. Я оттуда выбрался, а отсюда уже крутит пламя, выгоняет меня. Я хотел сначала под печку, но там валенки всякие, — там могу и сгореть. Дак я в окно.

Выскочил, а эти немцы недалеко, метров тридцать. Они, видать, стояли и наблюдали. Я, значит, через это окно, которое выбито, куда они кидали гранату, перемахнул и — там канавка была небольшая — пополз. Там пожарная стояла, дак я за эту пожарную, а потом — в кустики.

Не доходя до моста, немец меня заметил и — за мной. А на эту сторону дороги бежали две пацанки. Дак я под восток, а те пацанки — дальше. Он их убил, они попадали, а я — под сваи и лежал, до самого вечера в воде. Потом шла тяжелая машина и чуть не придавила меня. Как даванула на те сваи…

Когда они нас поубивали, дак долго сидели и гергетали — минут пятнадцать-двадцать. А потом вышли и запалили хату.

Вопрос: — А о чем они говорили? Вы слышали? Вы понимали их?

— Да нет. Там же и повернуться негде. Как повернешься немного, дак сразу пуля, они ж готовы на все.

А люди, которые недобитые, дак они стонут. А он как услышит — дак и направляет туда пулю…

Как я потом там поднялся, дак видел, как соседка лежит, этак вот дитя держит. Сундук какой-то, дак она к сундуку вот так

притулилась и сидит.

А муж уперся в стену, и сын, годов пятнадцать…»

4

Харитоново Россонского района Витебской области.

Павла Александровича Лазаренко мы не застали дома. Поехал в поле, сеять.

Райкомовский шофер знал, казалось, не только все деревни района, но и все хаты, всех людей. Однако и он не сразу разобрался, где то поле, куда те хлопцы поехали сеять подкормку, люпин и овес. Мотались мы от перелеска до перелеска, заплутались и начали искать тех сеятелей — по тракторному гулу. Останавливались и, сквозь густой да усердный щебет жаворонка, слушали, где он, тот трактор, гудит. А не услышав или плохо уловив гул, не поняв, где он, — ехали дальше. Сначала по дороге, а потом «по-фронтовому», как весело говорил шофер, которому, кстати, в войну не было даже десяти. Пробирались мы то какой-то опушкой, то по какой-то приблизительной дороге, а то и просто по бороздам картошки — где вдоль, а где и поперек. И снова останавливались, снова слушали… И вот наконец нашли! Кажется, даже и не по гулу, а просто наткнулись. Потому что трактор как раз замолк, остановился около возов с семенами.

По нашей просьбе лишние отошли и приглушили гомон. Магнитофон наш примостился на возу и начал писать. Так же «по-фронтовому» — с помехами. После ночного дождя дул резкий ветер. Над зарослью, над сивым, разволнованным житом, мокрыми луговинками и нашей свежей пахотой шли охапками белые редкие облака. Ниже, чем всегда, усердствовали жаворонки, ближе и больше, чем всегда, считала кукушка, скулили два чибиса, раз за разом размашисто снижаясь чуть ли не до самого воза… И еще не все, — наш уважаемый Павел Александрович, раненный когда-то в рот, как ни старался, а говорил невыразительно.

Хороший хлопец, из тех, что умеют, и не стараясь, сразу нравиться.

«…Ну, это было в сорок третьем году. У нас была партизанка[26]. И немцы были — и танки, и самолеты, и орудия… И вот шестого февраля сорок третьего года немцы ворвались к нам, на нашу местность.

Пришли они сюда, а люди, конечно, в беженцах были, много уходивши. Потому как они уже знали, что будут издеваться.

И вот когда они пришли, сразу, шестого, всех людей собрали в один дом. Тесно там было, невьютно, в общем — люди мучились. Потом, на следующие сутки, седьмого февраля, нас

разделили. На два дома. В одном невозможно было.

У них были списки, кто-то им подал, партизанских семей. У нас такая байня была, и они согнали туда людей. Мы думали, что они нас запаливать будут. Живых спалят. У нас была одна учительница, Дроздова. Ей просто и одеться не дали дома. А мороз такой был, метель. И что вы думаете, — она там, в байне, с ума сошла. Одежу все на себе рвала, волосы рвала, „ратуйте!“ кричала. В общем, сошла с ума. Не выдержала. Еще потом один, Захаренко Владимир — тоже… В общем, всем худо было, У всех настроение нехорошее.

В десять часов утра раскрылись двери, и говорят:

— Выходи, половина! Поедем в Германию на работу.

Нас вывели. Кругом охрана. Никуда не денешься. Они не повели нас дорогой, а на поле. Повели на поле, на поле нас выстроили в ряд всех, сами зашли в затылок, ну и давай стрелять по нас…

У меня был отец, я и брат. Матери не было. А мама наша была в поселке: немцы утром взяли ее на кухню, горох перебирать.

Ну что, поставили нас в ряд. Большинство было стариков, детей было, наверно, человек семь или восемь. Детей на руках держали. И вот они как стали стрелять… Я не знаю, как у меня получилось. Я сразу полетел, на меня полетел отец мой, — ему сразу как дали пулей разрывной в бедро, так ногу и отняло. И брат мой повалился. А я как повалился — сразу стих…

Старухи плачут. Одна женщина была с ребенком на руках, ее убили, а ребенок ползает по снегу… Немец подошел и его там сразу… Расстрелял на месте.

Стихло немного, вот, немцы ушли, а одного оставили дежурить. И вот тот немец ходил, каждому в голову бил. Стрелял. И ко мне подошел. А я когда летел, дак у меня шапка свалилась с головы, съехала. Он выстрелил, голову задел разрывной пулей, шапку всю разбил, а я — остался жив. И еще один парень. Он и сейчас живет у нас, в Харитонове. Казюченко Евгений Александрович. Мы лежали, лежали, замерзли. Потом его мать поднялась. Она старуха православная была, давай креститься…

Вопрос: — А немец этот ушел уже?

— Не, не ушел. У них охрана была на горе, два пулемета. Когда мы поднялись, начали бежать — они из пулемета по нам. Как стали бить — ну что… Хорошо, что кусты недалеко. Мы в кусты — и пошли по кустам. Вошли в лес Лесневский. Уже мы ходили всю ночь. Ночевали в лесу. И мокрые, и голодные. Куда ж нам деваться? Где партизаны, где немцы?..

Пошли мы в Миратин, там у меня бабушка жила. Приходим

туда — там никого нет… Сначала зашли мы в Скуратово. Там в одной хате сидят девочки. Мы попросили у них есть — они нам не дали. Потому что не было чего. А когда мы входили в деревню, дак был спаленный сарай и люди: их, значит, согнали в сарай и запалили…

А потом я добрался до Миратина, там моя бабушка жила, и там я отлежал шесть месяцев.

Вопрос: — А сколько, скажите, вас там лежало, убитых?

— В нашей группе было двадцать три, а другая группа была — двадцать два.

Ну, вот и все. А как там дома случилось — я сам не видел. Расстреляли мать и брата моего. Вывели их за поселок, покололи штыком. Искололи лицо все… А батьку, когда он утекал… Он жив был, только нога оторванная, потом они пришли и в голову разрывной пулей. Ничего не было — вся голова…

А ребята, маленькие дети, — в головы побиты, страх было глядеть…»

В то трагическое для харитоновцев время Павел Лазаренко был не подростком, как нам перед тем в деревне сказали, а уже юношей. Это нам стало известно в самом конце нашей беседы, когда мы услышали, что ранило его в рот и «все побило там» уже на фронте, в Германии, а тогда, в Харитонове, каратели ранили его иначе.

Рассказ его мы даем в этой главе, как нужное вступление к тому, что сообщил нам после **Евгений Александрович Казюченко**, которому тогда было четырнадцать.

Женя стал инвалидом труда и войны одновременно. Уже на седьмом году после победы трактор его наехал на противотанковую мину. «Трактор весь побило, — говорит бывший тракторист, — а мне вот — ногу и руку…»

Нашли мы его дома. Записывали в хате.

«…Это было в сорок третьем году, восьмого февраля. Пришли они к нам, уже сюда. А у меня был брат в партизанах. И вот за брата меня и мать поставили под расстрел.

В две хаты было все это население согнанное… Из одной хаты вызвали партизанские семьи, из другой вызвали и всех нас отделили.

— Поедете в тыл к немцам, скот будете доглядать.

Он так сказал, чтоб народ не волновался. А как оказывается, не в тыл скот доглядать, а всех собрали нас в байню. Это было точно человек сорок пять. Заперли в байне, часового поставили, а тогда пришел немецкий офицер, подсчитал, видать, сверялся,

точно ли. Вышел из байни, и немцы пришли, скомандовали:

— Выходите!

Ну, вышли мы, они нас оцепили. А снег же тогда глубокий был!.. И повели на гору. Расстреливать. Там были и дети, и старики, и старухи — все. Подростки. Всяких видов люди были.

Завели за гору и построили в одну шеренгу. Когда покроили, немцы тогда — позади… Шесть немцев тогда расстреливало. Из винтовок расстреливали. Ну, они шага за три стали сзади в шеренгу и начали уже расстреливать. Выстрелов так пять раздалось, и я гляжу: там человек упал, там… Значит, не по порядку они расстреливали.

Как раз мать моя стояла. Мне тогда годов четырнадцать было. Я тогда мать в снег пихнул и сам сообразил, зачем стоять: кто стоит — того убивают. Я упал и качнулся, чтобы сильней в снег въехать, и въехал в снег…

Ну, а кто стоял, тех всех поубивали.

Когда поубивали — тихо стало все, а все-таки боязно было голову подымать. Тут оказалось, что пять немцев ушло, а одного оставили. Людей били сзади, а люди вперед валились. А он шел спереди и давай снова, этот уже эсэсовец — вторично уже убивать людей. Три раза винтовку перезарядил. Винтовка — пять патронов. А я на это смотрел. И я знал, что в винтовке пять патронов… Руки я отморозил, мороз был большой, градусов тридцать, а то и тридцать пять. У меня как раз руки распростерты были, он шагнул между моими руками — только шинелью протянул… Ну, и пошел он уже.

А мы все-таки боялись головы подымать.

Тогда я услышал *наш* разговор. И моя голова будто сама подскочила. А это сосед оказался живой. Его брат живой, и батька живой был. Батька в ногу раненный.

Тогда мы уже стали рассуждать, идти батьке или на месте лежать… Но на месте целый день не вылежишь: мороз большой. Давай уже утекать будем.

А на горе пулемет у них был: охранялись, чтоб партизаны не напали. Лазаренко вперед побежал утекать. Тогда я своей матери:

— Ты следом утекай!

И уже я стал утекать. Когда я стал утекать, поднялся, а ноги — уже кровь застыла, не мог утекать, дак я ползком метров шесть или семь прополз — ноги стали работать — встал. Только метров десять отбежал — заметили. Пулемет и два немца стояли. И сразу давай из пулемета по мне уже… Это там тростник был, кустики. Пока не бегуне стреляют, как только подымусь, стану двигаться — так стреляют. Сяк-так я утек, не застрелили.

А отец Лазаренки в ногу был раненный, этот уже не утекал. А

братишка малый, когда мы утекли, дак он уже отполз и в деревню пришел сюда. Братишка Лазаренки.

д этот, который списки делал, продал немцам партизанские семьи, этот увидел, что „партизан прошел битый“, опять немцам сказал, что этот братишка остался и что мать осталась. Она горох какой-то перебирала, военным, — немцы заставили. Забрали этого пацана и мать, повели вот сюда за огород и убили.

Вопрос: — А что ж это за гад был такой?

— А его тогда — приехали немцы на третьи сутки и всю семью убили.

Вопрос: — А как его фамилия?

— И его самого убили. А как фамилия — ей-богу, не помню. Кажется, Верига.

Вопрос: — А мать ваша тоже осталась?

— Мать осталась живая. Она еще прожила двенадцать лет, а потом померла.

В сорок четвертом году пошел я на курсы трактористов и потом работал трактористом до пятьдесят первого года, пока на ту мину не наехал… Ну, а теперь вот нахожусь инвалидом, помогаю в совхозе, что могу…»

5

Миколая Михайловича Богдановича нашли мы в Слуцке, на строительстве мясокомбината. Как раз кончалась смена, и сорокатрехлетний плотник, закрывшись с нами в прорабской, за дощатыми стенами которой слышался грохот и гомон, рассказал нам, как он удирал из родной деревеньки Гандарево, когда она была в своем последнем огне.

«…Мы как раз были в хате все. Мать ставила еду на стол, а тут немцы налетели на деревню. Никто никуда не успел убежать.

Немец пришел в хату и говорит:

— Матка, иди корову выгоняй!..

Она пошла, а он достал пистолет и убил ее. На моих глазах. В хлеву. А потом вернулся в хату. А я на дворе спрятался.

Брат был. Постарше. Уже был раздетый, как больной лежал, — чтоб в Германию не взяли, — дак он взял и застрелил его в постели. Младшего брата с печи снял… Девочку тоже убил… И вышел из хаты.

А я потом вбежал, брата поднял меньшего, Ваню, и — убегать с ним.

Выбежали мы из хаты вдвоем, и я еще забежал в хлев маму поглядеть. Думаю: если брат живой, дак, може, и в маму не попали…

Брат побежал прямо в лес, и его догнали. В руку выше локтя и в голову… Потом его там нашли.

А я не побежал, я между двумя хлевами залез в проулочек. Дядькин хлев и наш. Сижу там. А потом, как хлева начали гореть, дак я думаю, что они будут разваливаться и придавят меня… Я оттуда вылез и ходу с одной стороны на другую: чтоб он и из дядькина двора не шел и из нашего. А они меня заметили. С направления Тихани, соседней деревни, они ехали. И послали одного Я вижу — он идет… Думаю: они меня не видят. А лото а он голову из-за угла, и я — из-за угла. Дак я ему: „Панок! Панок!“ Да этим… Извините, мерзлым конским говняком из-за угла запустил. А сам бегом на свой двор, через колодезь, через забор и полетел дальше по улице.

Вопрос: — А он поскользнулся, немец? Так нам ваша сестра рассказывала.

— Поскользнулся. Ну, он, може, думал — гранатой я пустил. Черт его знает, что он думал, факт, что так было Он упал, а я за это время — на третий двор… А потом ползком, ползком, за бурты… Там была конюшня колхозная, а уже от этой конюшни до

лесу метров пятьсот было. Снег растаявший был от пожару, снегу много — никак не могу бежать. Полз, полз, а потом подхватился и — бегом. Где уже снег твердый. Добежал до лесу, и тут все равно как кто-то в затылок меня ударил — темно в глазах… В одну ногу ранили и в другую… После очнулся, слышу — стреляют…

В Стареве люди меня перевязали, и я пошел в лес…»

Не разговорчивый Миколай Михайлович. Расспрашивать надо было, подшевеливать вопросами. И стеснительный. Про ту мерзлую «гранату», которой он, мальчуган, напугал взрослого с погонами и автоматом, он вообще не думал вспоминать. Если б Зоня Михайловна, сестра его, к которой мы перед тем заезжали, не рассказала про это, так он, как сам сказал нам, «постеснялся б говорить»…

ДВЕ СТАРОСТИ

«Головка его болит…»

У нас был перерыв, целая неделя, когда мы были дома и жили больше заботами и радостями своей повседневности, и потому теперь солнечный, зеленый июнь мы по домашней инерции воспринимаем без страшного глубинного подтекста — без людских воспоминаний о крови и огне.

Деревня Ольховка Кличевский район Могилевской области

Спешились мы около нужной нам хаты, идем от машины к лавочке перед палисадником, на которой сидит Дедок Тихонький, серый, маленький, седой. И не в тени, хоть жара, а на солнце. Здороваемся, а он не отвечает, спрашиваем, а он молчит. Да не от грубости, потому что осмотрел он на нас то ли приязненными, то ли безгрешными глазами. Не улыбается — только глянул неторопливо и безразлично, и снова смотрит куда-то, будто вперед, будто вдаль.

Стережет что-то? Обдумывает? Просто любуется тем, на что глядел столько лет, а все же не нагляделся? Видать, ни одно, ни другое, ни третье: на все на это нужна какая-то активность, а он, дедок, просто смотрит. Сидит себе и смотрит…

Поняв, почувствовав, что это не тот, кто может нам помочь, идем в калитку. Уже во дворике нас встречает шустрая, приветливая бабуся. Да еще и толковая — быстро смекнув, что нам надо, приглашает в хату, а деда своего с улицы не зовет.

В хате чисто и пусто, и, не спрашивая, можно догадаться, что дед и баба, как во всех почти сказках, живут одни.

Присев к столу, бабуся, как большинство тех, с кем мы уже встречались в хатах и на поле, на микрофон не обращает внимания, — просто рассказывает людям, и все.

«… Как меня, говорите, зовут? Цмыг, **Грипина Павловна Цмыг**. А сколько мне лет? Мне уже, хлопчики, два года еще и тогда будет восемьдесят. Ой, давно уже живу-у, ой-ой-ой!.. *(Смеется.)* А он у меня, мой хозяин, уже совсем… Он старше меня. Може, на тринадцать или на четырнадцать лет. А зовут Амельян Атрафимов Цмыг. И тот мой дед был Амельян, первый муж. Этот мой дед вдовец был, у него пятнадцать душ убили немцы, в яме в той лежат. А он остался, этот дед.

Ну, я осталась вдовой. Мой сын был в партизанах. А он, этот дед, да того моего деда кум. Дак он говорит:

— Знаешь что, кума, давай мы будем вдвоем. Дак я говорю:

— Ну давай.

Сын прибежал из лесу, и я спросила:

— Так и так, сынок, что делать?

— Мама, если где прислониться есть, дак ты тут и будь. Може, когда портянки дашь или рубашку переменишь мне, прибегу.

Ну, вот мы и сошлись с дедом, и годов, може, тридцать живем. Уже не в нашей деревне, не в Суше, а здесь.

А теперь головка его болит…

Этот дед и эти хлопцы собирались гуртом — воскресенье было. И женщины принарядились, старые и молодые. Сидят где-нибудь, собравшись. Ну, и тогда это дед стоит в курене, а та баба, первая его, и говорит:

— Собирают на собрание! Иди, дед.

— Я спрячусь.

А она говорит:

— Чего прячешься? — Это ж мы такие глупые бабы. — Что тебе прятаться — все же на собрание пошли.

Ну, на собрание, дак на собрание. Все эти бабы и хлопцы молодые… А хат уже не было, — курени. Хаты попалены были. Землянки были. Дед хотел в землянку под нары, дак она не пустила.

Тогда эти немцы и говорят:

— Вот три человека: этот, этот и этот (стареньких уже: молодых же погнали в плен), три человека надо коров гнать. И гоните их сюда, к речке, на луг, попасите их. А тогда гоните в Кировск. А если не будет коров, дак и вас не будет!..

Это дед мне уже рассказывал все, когда мы с ним сошлись.

Дак они погнали в Кировск.

А они уже их, немцы, людей тех, что остались, — поставили в шеренгу. На собрание. Два поселка было. Километра не было — этот поселок и этот поселок. Дак они — оттуда и оттуда, а посреди — картошка. Выкопали яму, приготовили. И поставили их в шар, и пиляметы наставили. И тогда: „Столько и столько!..“ И бегом в яму. Это рассказывали возчики.

Дак не выдержал человек один из Городца, который возчиком приезжал, — не выдержал, помер.

Людей в яму, в яму, а тогда он пиляметом построчит, построчит. А бабы возьмут… как только уже голосит, дак так во завязывается, да тогда уже в яму. Бросается. Завязав лицо платком. А тогда уже, говорит, другие все…

Откапывали потом. Може, сто пятьдесят этих… черепов…

А как закапывали их в той яме, дак земля, говорили, этак вот дышит, дышит, дышит!.. Это возчики рассказывали. Как раз Хведотовых свояк был. Дак он говорил: „Так все на мне млело“. Помер тот человек, от этого и помер, не выдержал.

Когда мы уже сошлись со своим дедом, дак поискали, поискали его семейных с неделю. Слышим, какой-то рой гудит… А это уже не рой, а всё мухи, оводы всё… А они закопали вот так — тут дорога, а они около дороги, близ в этом… Ну, картофельник большой… Этот мой дед и еще человек три-четыре: „Давай пойдем откапывать. Похороним их отдельно“. Откопали. Как за руку возьмется уже, дак и слазит кожа эта вся. Сопрели. Ну, дак некоторые говорили, чтоб вытаскивать, а мой дед говорит:

— Не буду я трогать их — нехай где положены, там и лежат.

Там мы их и прикопали и обгородку поставили…

После того уже головка его заболела, у деда моего. Вот ничего он так и не знает… Хлопчики мои, как это дожить? И купить все надо, и его доглядеть, как малое дитя…»

Вот и сказка — не сказка про деда и бабу.

Светит солнце, щебечут дети и птицы, весь наш мир живет полетнему, бабка — веселая, шустрая, добрая — плачет, а тихонький, серый, маленький, седой дедок глядит… Только глядит и ничего как будто не видит.

Если и на самом деле ничего, так хорошо хоть, что он не видит также и роя лесной мошкары, и разрытой могилы со всем своим родом, со всею деревнею — того, отчего «заболела его голова».

Навсегда.

Деревня это или хутор — Баканиха?

До Баканихи мы добирались долго и трудно. А может, и не добрались бы совсем, если б не шофер и проводник. Павел Ващенко — шофер райкомовский, энергичный, веселый мужчина лет под сорок, который на своем «газике» мог бы, пожалуй, и через забор перескочить. А проводник, которого Павел взял в последней перед лесным бездорожьем деревне, бывший партизан и солдат, Антон Мациевич, теперь комбайнер, не только рассказал шоферу о дороге, но и повел нас в те зеленые дебри. Спокойный и тяговитый мужчина; из тех, что говорят немного.

Это было в Россонском районе на Вшебщине, где за каждым пригорком озеро, а за озером снова пригорок, Да немного поля, и лес, и озеро снова. В одном районе сто восемьдесят озер. Бывшая «зона пустыни». Тридцать лет после войны, а людей в сравнении с довоенным годом все еще только чуть поболе половины… Чудесный уголок нашей земли, край партизанского мужества и бездна невинных мук…

На непоследней поляне того болотистого леса, за которым, на самой границе Белоруссии с Россией, должна быть Баканиха, проводник еще раз втолковал шоферу, куда тут и как, а сам выбрался из машины, пошел куда-то и исчез. Снова врезавшись в чащобу, «газик» наш и храпел, и ревел, и задыхался, вывиливая по заболоченному после щедрых дождей подобию лесной дороги, а то и прокладывая себе дорогу по целине. Потом товарищ Ващепко, как строго сказал бы кто-нибудь, немного зарвался: рванул в одну подозрительную колдобину с ходу, поревел, подергался «газиком» и — основательно засел. Как сказал бы кто-нибудь другой, повеселее, — только антенна видна. И тут, как добрый дух-леший, из зеленых недр вынырнул наш проводник. Началось спокойное обдумывание, что же тут делать… Часа через два мы выбрались из ямины, отмылись немного в солнечном после чащобы и тревоги озере Глыба, потом еще раз врезались в чащобу, еще раз чуть-чуть не засели и вскорости вырвались все-таки на большую поляну.

До зимы 1942/43 года на этой поляне стояла деревня. Сорок одна усадьба. А осталась — одна. На пригорочке у леса. А между нами, — потому что мы тут, на своей опушке, остановились фотографировать, — и той усадьбой в низкой долине течет криница с мостком, на ней и стоят покинуто два бывших коровника и сеновал. Прежде колхозные, поставленные вскоре после войны, а сегодня уже ненужные совхозу, в который влился колхоз. Центр совхоза далековато отсюда — за озером, что

сверкающе распростерлось на юге.

Решайте теперь, что это — деревня или хутор — Баканиха…

Тот, к кому мы приехали, дед **Архип Тихонович Жигачев**, был во дворе, складывал у сарая наколотые дрова. Мы уже кое-что знали о нем, однако главное было здесь. Оно началось с дедовых рук — обгоревших когда-то, без пальцев, которые срослись в одно… Да все ж, дедок подвижный еще и даже веселый. Восемьдесят четыре года.

Ему не впервой такие расспросы, и он в хате снял Шапку, сел степенно за стол и начал, для разгона сказав:

«…Дайте мне надуматься только…

…Когда был тут пришедший отряд немецкий, то мы были забраны в деревню Мамолю. И утром, в этот же день, как жгли нас, пришли мы в Лопатки, а там смотрим — Заусветье горит. Мы не остановились, пришли в свою деревню. Сюда, в Баканиху.

Как только пришел я в квартиру — собрались женщины, спрашивают, где мы были? И посмотрю я — уже полицейский побежал через мой двор. И шаровары обматывает вокруг спины: мои шаровары были выброшены в сад. А он уже забрал себе.

И тогда сейчас же команда нам поступила, всей деревне, собраться в одну квартиру. И собрали нас, шестьдесят четыре человека, туда, где теперь памятник стоит. Один полицейский бежал и командовал, чтоб шли все туда. Не на собрание какое, а так просто говорил: „Идите в ту хату“.

Нас уже тогда погнали, а тут возчики и полицейские выгоняют наш скот. Угнали за деревню.

Когда мы собрались в одну квартиру, вошел немецкий офицер и стал осматривать, на ком что надето. Если хороший тулуп или валенки, заставляли раздевать и выбрасывать на волю, а там подбирали возчики. Тогда офицер это взял и попрощался с нами. Говорит:

— До свиданья. Давайте спасибо своим этим партизанам.

А для чего он так сказал, я не понял.

Как только он так сказал, так квартиру закрыли и в два окна бросили к нам гранаты. Гранаты эти сипели долго. Если б такой был отчаянный — их можно было б назад выбросить. Ну, ничего. Взорвались гранаты — много погибло там людей, но отшатнулись все в одну сторону. Тогда из автомата по этой по куче. Когда из автомата бросили стрелять, тогда еще много было живых. Выбили люди одно окно и начали прыгать из окна. Полицейские стреляли, кто выскочит из окна. Стояли кругом квартиры.

Они подожгли. Потолок обсыпался. Вижу, что мне некуда… С соседом мы напротив этого окна под канапкой спрятались. Ага. Уже они нас не видели. Тогда сосед говорит, Федор Лукьянович:

— Посмотрю в окно, может, они отошедши.

Только приподнялся, а ему как раз пулей сюда, в лоб — он назад и свалился.

А я лежу. Потолок уже стал обсыпаться. Тогда я уже вижу, что мне дальше некуда лежать — уперся в простенки, в окно прыгать, и простенки посыпались. Тогда я в снег — снег был глубокий около квартиры. И сразу у меня с рук кожа долой. Тогда я немножко отполз и лежу. А у меня все фуфайка со средины горит и горит. Я снегом затру. Немцы ходили. Когда затер — утих. И они уже отошли все.

Один мой товарищ лежал. Ахрем был Бурнасенко. И его пулей стрельнули. И мелко хватили вот тут по ребру — не очень повредили. Он отошел к забору, лег и лежит. И вот немцы, как проходили из оцепления дорогой, увидели, что он шевелится, — пришел один немец и ему в упор винтовкой сюда ударил. Пуля прошла вот так вот. Я подошел к нему, — после уже, как отошли все, — дак он мне говорит:

— Чего ты тут ходишь, еще увидят.

Он еще живой был. Только кровь тут была, ага.

Правда, Пашков был, учитель здесь, отступивши так немного, проползши — остался цел.

Тогда мы с Пашковым пошли в сарай здесь ночевать. А его, Ахрема, так и оставили. А он тогда поднялся и — овин был такой, что хлеб сушили, — в эту печку забрался и трое суток лежал. А мы с Пашковым пошли в Перевоз. В Завщу то есть… В Завще там у Пашкова сестра оставалась, забрала его в Перевоз. А я у старухи жил трое суток.

Ну, а старуха говорит:

— Как хочешь — или ты иди с квартиры, или мы пойдем, а то немцев боюся.

Я и пошел оттудова. На озеро вышел, глаза запухли все, не вижу ничего. Вот так веки подыму, посмотрю — не в ту сторону иду. Лицо ж все обгоревши было, и голова была обгоревши. И вернулся все-таки сюда, добрался До своей деревни.

Уже некоторые из отступления пришли. Уже там ребятишки. Один такой, Петра Медведев. Меня они к себе взяли. И тут мы остановились. Тогда дочка пришла. Тогда одна квартира со всего поселка осталась несгоревши. Мы тогда собрались в ту квартиру. Тогда меня сестра взяла на излечение, я у сестры был месяц. Больше. Она меня там постным маслом лечила, тряпками обвертывала. И так у меня зажило скоро… И вот после того…

Я не знаю, что дальше говорить…

Вопрос: — А вас из вашей хаты забрали одного?

— Всю семью. У меня была жинка, и дочка четырнадцать лет,

и еще мальчишка Коля был, полтора года. И этих они там уничтожили всех. А сын вот этот и дочка еще была. Сын в партизанах был, а дочка с партизанами отступала, через дня четыре вернулась уже.

Теперь мы тут живем одни. Вот наша хата. В прошлом году витебские приезжали корреспонденты, которые фотографировали тут. И они сказали, что у них неполно вышло, что будто бы я один тут живу. Меня все одного, все одного фотографировали. Без семьи. А в прошлом году так меня уже свезли в совхоз туда, где закладывают сенаж, фотографировали, косу мне дали, косил уже я с этим, с шофером…

Вопрос: — Вам и не хочется отсюда уезжать?

— Нет. Здесь родился, так и думаю уже здесь дожить…»

Сила жизни. Родная почва. Если хотите, даже и утверждение победы. Я здесь был, я здесь есть, я здесь буду, покуда я хочу.

Перед войной Архип Тихонович работал в колхозе конюхом, бригадиром, после войны ходил лесником. Теперь он давно уже на пенсии, а все еще хлопочет. Извечное, народное **надо**. Надо и в хозяйстве помочь, и внука досмотреть. Надо и людям рассказать о том, что было, — пусть знают, кто не знает, что такое фашисты. К нему уже сюда приезжали не раз, брали его и в Витебск на вертолете, и уже оттуда, как говорит дед, его «вся область слушала по радио». Согласен он далее как будто и с теми старательными журналистами, которые посчитали, что деда надо еще завезти и за озеро, в совхоз, где как раз закладывали сенаж, и дать ему в обгоревшие руки косу. Что ж, пускай люди, если это надо, посмотрят на него еще и по телевизору. Что живой он, Архип Жигачев, что он на родной свет смотрит и чаще улыбается, чем грустит.

А тут вот эти говорят еще, что и в книге он будет. Если надо, так надо. В этом и ощущение чувства долга, и гордости малость тоже.

После беседы, после гостеприимной перекуски, мы всей компанией отдыхали перед нелегкой дорогой в Россоны — сидели на лавке перед хатой. Архип Тихонович курил, попыхивал люлечкой. Что ж, и еще один снимок, пригодится. Дед не позировал, когда мы снимали, сидел себе, покуривал, но все же и не выдержал, сказал, как будто не о самом себе:

— Эта люлька побывала уже на многих снимках.

Живет человек. В целом, как говорится, и совсем неплохо. Хоть и не так временами гладко, как по телевизору — Жена, Татьяна Ивановна, — добродушная русская женщина, тоже осиротевшая и овдовевшая в войну, говорит хорошо по-

белорусски. Сын деда, от первой жены, что был в партизанах, и невестка. И горе в дружной семье, без которого жилось бы совсем хорошо. Горе такое, что в нем уже нет чьей-либо вины. Один сын у молодых, единственный внук, подросток Василь — тяжело болен. Будто этого деду еще не хватало после всего пережитого… А почему только деду? Горе всем, но старик с этим парнем до сих пор за няньку. Потому что со двора все, даже и баба, намного моложе деда, идут на совхозную работу, а дед — с Василем…

Однако и это горе не гнет старика.

КНЯЖЕВОДЦЫ

23 июля — годовщина трагедии деревни Княжеводцы, в Мостовском районе Гродненской области.

День был, возможно, такой же, как и двадцать восемь лет тому назад, знойный, расслабляющий. Воздух дрожит под горячими лучами. Колосья опускают головы. Дремлют старые дубы. Так и тянет в густую тень, под их разлатые кроны.

На бывших дворах когда-то большой деревни — сгоревшие груши выгнали побеги из корня, и те отростки стали уже деревьями. Млеют на солнце дички, томятся на безлюдье Им не хватает хат, амбаров, сеновалов, гумен, возле которых было бы так уютно расти. Им не хватает воробьев, что шебуршели бы в листве, таскались бы за чубы на потеху степенным курам-цокотухам, крали бы у них крупу, искушая своей дерзостью котов-охотников.

Одна лишь усадьба восстала из пепла на месте большой деревни. Одна — из двухсот. Простая деревянная хата. Как-то почернела она. Может, от напоминаний о том черном горе, на котором стоит? Притулилась хата к белой высокой березе. Тянется береза вершиной в небо, хочет оторваться от земли. В хате часто говорят о былом огненном ужасе, и не проходит испуг у березы.

Мальчик, который летом приезжает сюда из Гродно и прогуливается над Неманом, не ведет под дичку дружков, потому что их здесь нет. Не с кем ему дружить. Черный Барс — единственный мальчиков друг. Вернувшись с утренней рыбалки, мальчик занимается в хате каким-то своим делом, с Барсом играет редко.

На пороге хаты стоит хозяйка, тетка **Ганна Андреевна Бородавка**, пожилая женщина в черном капоте и белом платке, завязанном «под бороду». Она похожа на монашку. Изрезанное морщинами лицо, сухие, запекшиеся губы, тревожные глаза, которые видели так близко смерть.

Смерть стояла над двумя затаенными в крапиве людьми — женщиной и ее мужем. Смерть была в мышастой шинели, в тигровой накидке и зеленой каске.

Такою видела ее женщина, и, должно быть, от бабки внук научился представлять смерть именно такой. Он лепит множество фигурок из буро-зеленого пластилина. Фигурки фашистов вытягивает, как будто сознательно, на манер старых готических мастеров, и выходят они из-под его пальцев длинными, словно какие-то человекообразные червяки…

Это — уже в хате, куда мы приглашены, где хозяйка рассказывает.

«…Говорили все время, что будут бить княжеводцев, но мы все не верили. И вот однажды моя свекровка встала и говорит:

— Вставайте, уже Княжеводцы оцеплены.

Мы встали, глянули в окно — немцы стоят один от одного, как от стенки до стенки. Мой муж говорит:

— Пойду я куда-нибудь схоронюсь, пойду, будто по резку, коню…

А я у него и не спросила, куда же мне деваться, что мне делать.

Потом я вышла, начала его искать и нигде не нашла. Иду и кличу его тихонько. А он говорит:

— Иди, иди, не останавливайся. Я в крапиве тут лежу. Иди, говорит, к хате, ляг в межу и ползи сюда ко мне.

И я так подползла к нему. Легли мы одно к одному головой и лежим…

И слышала я, лежа в борозде, как шли люди. Одна соседка заплакала, но они не кричали на нее, а что-то ей все тихонько говорили. А после они зашли к моей свекровке, я слышала, как они брали ее, свекровку мою. Потом еще один немец, как забрал свекровку мою, заговорил по-немецки:

— Пойду фарзухан[27].

Зашел в хату, посмотрел и ушел.

Тогда пригнали людей из соседних деревень — брать наше добро, что осталось. Выгнали коров.

Подошла наша корова, стала над нами и чмыхает. А мы боимся, чтоб кто не заметил, чего она здесь остановилась. Потом те люди, что были с лопатами, пришли, отогнали корову, а нас — не заметили.

Антон мой говорит:

— Людей закапывать пошли.

И еще нам все не верится. Слышим мы, как из нашей хаты все берут, как соломорезку взяли на дворе, плуг. Борону искали. Потом уехали, стихло все снова, и мы думали, что все уже успокоилось. А после уже — стрельба, стрельба, стрельба!.. И из пулемета стреляли и так, по одному, и из автоматов. Мы лежим, а потом уже видим — горит, все горит! Уже наш дом горит, и соседи за нами горят…

Один наш сосед, Ковш Миколай, вечером как-то раньше зашел к нам и говорит:

— А как будут нас когда-нибудь поджигать, дак я залезу под печь. Подожгут хату, разгорится хорошо, дак тогда в дыму я

выскочу и убегу, и все будет в порядке.

Он так потом и сделал. Когда запалили все хаты, около того дома, где он под печь спрятался, стали немцы что-то говорить. Потому что они так делали: дом запалят и стоят кругом, ждут. Ковш залез под печь, а немцы запалили его хату и стояли. Тогда он выбежал из огня, и его поймали. Это люди рассказывали из других деревень, которые подводчики. На нем были резиновые сапоги, немцы приказали снять их. Стащил он один, стащил другой, и тогда ему сзади в голову выстрелили. Говорили люди, что закопали его в той большой яме, вместе со всеми, но сбоку.

Стояли они около хат, пока все дотла не сгорит. Как Же там усидишь, под тем припечком!..

Все они были в немецкой форме, в плащах, в таких пестрых, и в касках все.

Было это двадцать третьего июля — как раз сегодняшним днем. Даже и пятница была так же. В сорок третьем…»

Мальчик слушает рассказ старухи, слушает быль пострашнее сказки, а проворные пальцы его машинально лепят долговязых буро-зеленых фашистских солдатиков. Они у пулеметов, они в автомашинах, на самоходках. Им тесно. В каком-то неистовстве саранчи они липнут друг к другу, сцепливаются, слипаются, сплетаются, как змеиный клубок у корча, в колдовском исступлении.

— Это ваш внук? — поинтересовались мы у тетки Ганны.

— Нет, Сережа — мой племянник из Гродно, приехал на лето.

— А ты, Сережа, умеешь лепить птиц или животных, или так, обычных людей?

Мальчик молчит.

— Скучно дитяти одному, — старается то ли оправдать, то ли выручить племянника хозяйка.

В голосе старухи чувствуется тоска по людям, жителям большой, гомонливой деревни, по таким вот бойким подросткам, что умели обшарить все огороды, выкупаться по пятнадцать раз на дню и, вместе с тем, пасти коней, коров, гусей… Она скучает по соседям — размашистым неманским плотогонам, что умели трудиться и гулять на полную душу.

Могла бы такая жизнь плыть себе привольно и широко, как Неман, полноводный здесь, в среднем течении. Могла б…

В мареве виднеются поросшие лозняком берега. Еще великие князья литовские, должно быть, держали в этом месте переправу на пути из Вильно в Волковыск и Берестье, а люди, что охраняли и обслуживали княжескую переправу, названы были княжеводцами.

О том давнем-предавнем мало кто помнит. Рассказывают, люди были поновее.

Ходит в околице предание о соборе в совсем недалекой, тоже большой, деревне Дубно, которая в войну уцелела. Огромный, громоздкий собор этот посматривает провалинами ржавых куполов и не может сообразить, что же произошло. Были на виду у него большие Княжеводцы, и пошли они дымом, нету их. Звучала зычными колоколами божеская, царская, панская власть, воля понад Неманью, но смолкла. Таинственно устроен мир, чудом построен здесь и сам он, этот собор. Говорят, царь приказал возвести Храм в украинском городе Дубно, а исполнители его воли что-то перепутали, переиначили повеление, прилепили его к одноименной белорусской деревне. Тут действовала в Наднеманье, как и всюду на свете, и другая, светлая, добрая воля — воля жизни. Она исходила от земли, от людей труда, от потребности творения, воплощала жизнь и свободу, была их разумным проявлением. Под влиянием животворящей силы света и свободы, стремления к ним, рождались и здесь, в очаровательном уголке Наднеманья, крестьянские поэты. Как жаворонки над нивой, они пели гимн жизни и творению, звали наднеманцев призывом Янки Купалы «людьми зваться». Не далеко зашли голоса этих певцов, но напевы их здешние люди слышат, как слышит человек удары собственного сердца. Поблизости от этих мест звучало в дни неволи и борьбы сердечное, скромное и острое слово поэта Михася Василька, а несколько ниже по Неману и значительно раньше по времени здесь среди угнетенных белорусских крестьян находила бессмертные образы благородная полька Элиза Ожешко.

На краю земли, которую засевали жители Княжеводцев, в хлебной долине за сосенником, уцелели три хутора. На отшибе от бывшей деревни.

Вот присел у могильного памятника **Сымон Иванович Кая**. Сосредоточенно кладет он бронзу на высеченные в бетоне традиционные буквы «З. П.» — «Здесь покоится». Эта работа стала после фашистского погрома как бы новой профессией земледельца. Есть что-то символически жуткое в этом сочетании случайностей. Крестьянин, хозяин, который чудом обошел свою смерть, пережил смерть родных и близких, никак не может уйти от присутствия смерти… Она — рядом.

Однако не она диктует ему слова «Здесь покоится», не она приказывает высекать извечное «З. П.». Диктует жизнь, потому что ей принадлежит память. Что думает старый поденщик жизни в долгие дни медлительно-кропотливой работы? Что думает о

тех, чью память сохраняет золочеными буквами? Разве что рассказывает теням и этим камням события того дня, который отделил его от живых и не соединил с умершими.

«…Тогда я, знаете, — рассказывает он, — пришел со Свадьбы, из Сухинич, и лег спать на сеновале. В эту ночь я как-то плохо спал. Стало только немного светать, и я поднялся. Пришел, постучал в окно, но жена спала крепко, еле добудился. Вошел в хату, уже немного развиднелось. Жена вышла во двор, а я еще все хожу по хате. Известно, со свадьбы, в голове шумит… Дочка, семнадцать лет, спала на одной кровати, вторая — на другой…

Гляжу я, жена быстро бежит назад.

— Скорей, говорит, немцы за огородами и кричат „Хальт!“

Ну, знаете, они к нам приезжали несколько раз из Гродно. Наберут машину людей и повезли. Не на работу. Там их били, чтобы говорили о партизанах… Отобьют у человека память, он и говорит, что им надо…

Начали они нашу деревню оцеплять. Пройдет один метров пятьдесят и станет. А несколько наших хат на хуторах были за этой цепью. Вот и моя тоже. Они нас сначала обошли, а потом группа немцев отделилась и пошла нас из хат выгонять. Тогда я выскочил через окно и — к Неману…

Когда расстреливали, я был от этой могилы близко, в лесу. Крику не было никакого. Только залп был. И одиночные выстрелы. От стрельбы этой я ушел дальше…

Мне рассказывал один человек из Лунной, который был тогда возчиком. Помер он, этот человек. Он был около могилы. Которые застреленные падали не в могилу, а около могилы, то этим людям, возчикам, приказывали стаскивать их в яму. Человек этот четыре дня ничего говорить не мог. Не приходил в себя. Только потом пришел к памяти. И рассказал, что там было…

В форме все они были немецкой. Сидели после всего, как постреляли людей, ели сало, колбасу, что награбили…»

Когда глаза Сымона Каи посматривают на слушателя рассеянным, невидящим взглядом, а на губах блуждает беззаботная улыбка ребенка — делается холодно. Наконец — выражение скорби на лице, и собеседник может вздохнуть с облегчением — ничего, он еще ничего… Удара, который пережил этот человек, не смогло стереть трудолюбивое мирное время. Так и не поправился когда-то заботливый хозяин. Окончилась война, а он все скитался по чужим деревням — ни нищий, ни работник. Как-то набрел на это свое занятие… Ремесло? Заработок? Наказание или плата за то, что уцелел?..

Не вернется уже Сымон Кая с того рубежа жизни и смерти, на который бросила его хмельная ночь со свадьбой в Сухиничах и утро — с немецким оцеплением в родной деревне. Не поддастся он искушению мелких житейских хлопот, не усмехнется людям так пытливо, приветливо и весело, как его соседка, бабка **Мокрина Ивановна Ковальчук**.

Живет колхозная пенсионерка Мокрина Ивановна рядом на хуторе одна, но огород завела, как на добрую семью, — тут и картошка, тут и фасоль, тут и мак. Копается бабка Мокрина в огороде, как чародейка-травница на Ивана Купалу. Бушует у бабки Мокрины огород, как будто хочет удивить ее городских детей да внуков, что вскоре приедут сюда на бабкины лакомства.

Бабка Мокрина ростом маленькая. С головою скрывается она в маках, а высокие хлеба, что охватили ее хуторок, называет то ласковым словом «жито», угадывая связь этого растения с понятием «жить», «выжить», то, на русский лад, величая жито своим словотворчеством — «рошч».

А «рошч»-то эта даровала жизнь и ей, и ее детям.

Тогда, в июле сорок третьего, Мокрина Ковальчук повела своих пятерых детей в жито, нырнула в житную густоту и пропала на несколько дней, как куропатка с выводком.

«…Как раз сегодня то самое число, как и тогда, когда нас били…

Моего звали Змитрук. Его убили, моего мужика…

Детей это я разбудила старших, а потом говорю себе: „Сбегай к соседке“. Соседка была старше, ей было шестьдесят лет. Я побежала к ней и говорю:

— Тетка, уже немцы ставят цепь! Надо утекать. А она говорит:

— Надо что-нибудь спрятать. А я говорю:

— Ничего нам не надо, вот убегаемте. Бежимте в Рошч или куда…

Но она не слушает и сыну своему говорит:

— Ты, сынок, утекай, а я буду прятать что-нибудь.

Прибежала я домой, а мои дети в сенях стали и говорят:

— И тата ушел, и мама ушла, мы уже думали, что вы нас бросили.

Взяла я четверо старших, а маленькая спала на кровати, так я себе думаю: „Пускай спит“. А потом вернулась я:

— Нет, говорю, будем, дети, погибать все вместе. Взяла я ту девочку, и пошли мы в жито. И сидели мы в том жите один день, сидели другой день. Немцы ходили по полю, кричали, а мы все видели… Хлопец один мой говорит:

— Я есть хочу. А я говорю:

— Ешь жито! А он говорит:

— Я тебе не ворона, жито клевать.

Чем я их кормила, говорите? Ничем не кормила, сидели, и все. Я тогда, може, пять дней не пила и не ела, так перепугалась… Все побили, все попалили — даже и вороны не каркали.

Такой был страх…

Только вечером пришли, на пожарище поглядели. Все у нас погорело, ничего у нас нема.

Мой муж раньше меня из дому ушел, и там его убили. А я с детьми осталась…

Никаких женщин со мною больше не было, только сосед наш жив остался. Полазит он по житу, по люпину коленками, поищет и говорит:

— Нема моей ни матери, ни жены, ни деток…

Но теперь его нет: он как ушел на фронт, так немцы его и убили. Звали его Юрик Шивилько. Шел на фронт, так сказал: „Пойду своих врагов убивать“. А как ушел, так и не пришел…

Двести дворов спалили.

Да так стреляли, так били!..»

Высокой стеною стоит колхозное жито вокруг огорода и хаты Мокрины Ковальчук. Звенят, усердствуют жаворонки над нивою, веселя хлеба: гони соки, зрей на радость добрым людям. Под эту песню вызревания отлегает от сердца у старой женщины, вспоминаются сыновья и дочки, зятья и невестки, внуки и внучки, что живут в городах. Она их сберегла когда-то в жите. Она их ждет, предчувствуя удивление и радость, что столько добра бабка вырастила одна — чародейка на своих грядах.

Все родители спасали своих детей. Каждый и каждая по-своему. Как кто умел. Если бы описать только те счастливые способы, которые помогали спастись, получилась бы не одна книга мужественной отцовской и материнской жертвенности, которая могла бы сделать честь любому народу.

Страх сковывает, страх губит слабые души, страх высвобождает решительность у сильных.

Антон Кая, степенный, аккуратный княжеводский хозяин, разбудил в то зловещее утро своих сыновей, четырнадцатилетнего Василя и одиннадцатилетнего Миколая.

— Вы, хлопцы, выгоняйте коров. Гоните их, може, хоть вы останетесь жить. А я уже старый… Куда денешься?..

Так запомнил последние отцовы слова Василь. Послушались сыновья отцовского совета, погнали коров в конец села. Там их

остановил часовой и выкриком «направо» приказал загонять скотину на крайнее подворье.

«…Подворье это, — вспоминает **Василь Антонович Кая,** — было очень большое, огороженное хорошо. И они начали сгонять туда весь скот, и лошадей, и коров — все вместе. А у того хозяина да были ульи. Скотина их разломала. Вылезли эти пчелы — как нападут на весь этот скот! И на людей! И на немцев! Они шинелями головы позакрывали да с этого подворья ходу. А мы этих пчел не чувствуем, кусают они или не кусают. Выбежали мы, подростки, на улицу и думаем: „Куда бежать, куда тут денешься?..“ Поговорили и пошли назад в деревню, туда, где все…

А комиссар, который из Лунной, немецкий, он стоял впереди, и мы его начали чуть-чуть вот так обходить. А он заметил, что весь скот пошел по полю, и зовет нас. Свистит — зовет к себе. Мы вернулись. И показывает он нам: „Берите все это и гоните туда, где паром“. Ну, хорошо. Мы это раз-два разбежались, думаем, что, может, так и удерем. Ага, только мы успели туда-сюда, а немцы заметили нас, что это мы же, что убежали с подворья. Он — за нами. Бежит, бежит, свистит. Страшно как-то.

Мы остановились все — и назад. Только уже не на то подворье он загоняет нас, а на соседнее. Тогда были у нас хутора, двор от двора далеко.

Стоим мы на подворье, а тот немец, который нас загнал сюда, ушел. А потом подъезжает комиссар, — он ехал на бричке, — соскочил с брички и к нам. Начал на нас кричать что-то и показывает опять: „Паром!“ И мы тогда рассыпались кто куда. Я не знал, примерно, где мой брат. Только мы остались с одним другом — мы вместе с ним в школу ходили. Мы с ним пару коров взяли, прем по житу: чтоб хоть не заметили немцы, что мы удираем. Брытько Виктор друг мой звался. Догнали мы этих коров до леса и тогда этих коров бросили. В лесу мы снова разбились с моим товарищем… И мы с ним сидели в лесу: он — себе, а я себе — четыре дня. Боялись выходить… Уже есть хотелось, дождь, но куда же там… Подойдешь к шоссе — машины едут, опять в лес удерешь…»

Разлучиться с родителями, с братом, разбиться, говоря по-местному, с другом, отбиться от людей…

Меньшой **Кая, Миколай Антонович**, тоже страдал от разлуки с родителями и с братом и от своей потерянности в этом знакомом и вдруг — чужом, таком обезумевшем мире:

«…Как начали пчелы жалить этот скот, — вспоминает Миколай, — некуда ему деваться. И начал он, этот скот, по нам топтаться… И не знаем мы, куда нам деваться. Кони сломали забор, и весь этот скот пошел, куда кому ровно, по всему полю.

„Брат мой, видать, уже удрал, — думаю я. — Как бы это и мне до леса добежать“. Вижу, брат мой с товарищем до леса добежал. Как бы это и мне! Добегаю я в лес, туда к Неману, и иду себе, будто корову гоню. Только я хотел уже спрятаться, а тут меня снова тот немец, который караулил, схватил за шиворот, и назад в деревню. Что ж мне делать? Кто был из моих товарищей — все поудирали, а я один остался… И еще, гляжу, захватили одного моего товарища. Я этому товарищу говорю:

— Костя, давай будем проситься, може, нас пустят. А он говорит:

— А я и проситься не буду, и говорить ничего не буду.

Потому что мы уже оба обмерли от страху. Пригнал нас тот немец назад в деревню. Уже вся деревня горела. Машины начали уже разъезжаться. А цепь делала прическу.

Видим — один человек через окно выскочил, а немцы — за него. И уже не стреляли, а живьем в огонь бросали. Ну, ничего я так не боялся… Думаю, нехай меня уже убьют, но только б в огонь не бросали живого.

И он меня не стрелял, тот немец, а вел туда, где горело, чтоб в огонь бросить. Говорю я своему товарищу:

— Костя, бросит он нас живых в огонь.

И привел он нас на то самое место, откуда мы удирали. И тут идет какой-то офицер или кто он. Поманил нас пальцем к себе. А он умел по-польски говорить. Говорю я ему:

— Пане, я не отсюда, я из Сухинич. Тут нас убивают, а мне надо домой идти.

Немец, который нас пригнал, заряжает винтовку, чтоб застрелить меня. А этот, что встретил нас, погрозил ему палкой и отпустил меня. Я отошел немного, а потом вернулся:

— Пане, говорю, это мой товарищ Костя. Отпустите и его. Он тоже из Сухинич, Костя Бородавка. Коров пас, нанятый в Княжеводцах.

И немец нас отпустил. Когда мы шли, дак Костя даже мне свой карандашик отдавал… Теперь он далеко, в России. Женился здесь. А чашником[28] меня, небось, не взял…»

Отец троих детей, знатный кузнец и электросварщик в колхозе «Светлый путь», Миколай Антонович Кая, поселился и живет в Сухиничах, в той соседней деревне, которую назвал родной в минуту смертельной угрозы.

Сидит он с нами в новом колхозном правлении и неторопливо рассуждает:

— Теперь люди завидуют, что дом хороший я себе сделал. А не говорят, сколько я нагоревался!..

Не надо завидовать Миколаю, его золотым рукам, его рачительности, его счастью. Хоть дом и в самом деле, как игрушка, как какой-то сказочный терем. Такая красота, может быть, не однажды снилась осиротевшему, Угнанному парнишке, который после той напасти, так же как и брат Василь, не мог жить даже у замужней сестры в Сухиничах. На каждом доме были вывешены списки его жильцов. По этим спискам полиция проверяла людей и хватала всех, кого не было в списках, а хозяев карала за всякого непрописанного высылкой смертью Долгими осенними ночами скиталось дитя по кустам. Зимой зашивалось в сеновалах и гумнах. У несчастного сироты не было дома с дощечкой, на которой можно было написать имя Гонимый угрозою смерти, забрел Миколай аж под Волковыск, притаился там пастушком. В ту пору бездомности, бесприютности, жуткого одиночества, как мог не видеться ему во сне свой дом. Может, именно тогда опаленная кривдой и горем фантазия и нашла формы и краски этого сказочного расписного дома. Своего — назло врагам — беспечного, уютного гнезда.

Старший брат, Василь Антонович Кая, также осел в Сухиничах и живет в обжитом, как старая крепкая борть, доме. Аккуратность в хате такая, что боязно ступить. Кухня чистюсенькая, белюсенькая, как аптека. Исправному каменщику из межколхозстроя, видать, нравится эта сверхаккуратность. И он в тот жуткий день удирал от смерти и за долгие годы беспризорности испытал вдоволь отвращения ко всему неразумному, беспорядочно грубому и грязному, что может нести лихолетье.

На крыльце стоит мальчик — сын Василя, тоже аккуратный, досмотренный, уверенный в себе подросток. Он улыбается и не отводит взгляда, когда один из нас хочет его сфотографировать.

«Калі ласка[29], снимайте, — говорит нам его улыбчивое лицо, — снимайте, я нравлюсь не одним вам, незнакомые люди, ну, что тут плохого».

Когда мы в колхозной кузнице попросили Миколая Каю оторваться на минуту от наковальни, на которой он наклепывал накладки на тормозные колодки для трактора, оторваться и пойти на какое-то время с нами, он, Миколай Антонович, добродушно усмехнулся и послушался. Что ж, запишите, если это надо.

Кто-то из его друзей по работе поинтересовался:

— Куда ты?
И кузнец ответил со своей простодушной усмешкой:
— На повышение!..

ЗБЫШИН

1

Местные люди, на могилевский лад, говорят Збушин, а не Збышин, как значится эта деревня официально. Большая деревня, свободно разбросанная по привольным пригоркам десятками редких домиков в садах.

Июньский полдень, солнечный, но с выразительными намеками на близкий перелетный дождь. На зеленой поляне возвышается несколько старых лип. На солнце и в густой тени шумит многоцветная праздничная толпа. Самодеятельный духовой оркестр время от времени старательно выдувает польки, краковяки, вальсы. Но танцев нет. Продаются напитки, мороженое, книги. Малыши бегают с цветными шарами на ниточках, шары и летают, и лопаются — на звонкую, щебетливую радость. Старые люди то идут еще от хат, не спеша собираясь на праздник, а то уже встречаются с соседями, односельчанами и из соседних деревень, с приезжими земляками — из районного Кировска, из Бобруйска, из областного, как тут говорится, Мугулёва. Пускай себе нынче отовсюду недалеко, а все же встречи близких бывают не очень частыми. Все торопимся, браток, куда-то все бежим… Молодежь как молодежь, ведет себя или малость бездумно, или просто весело, прохаживаясь стайками, однако же и сдержанно. И танцев нет, и песен не слыхать, и краковяки звучат неуместно.

Что ж, если бы не памятник на окраине поляны, на легком пригорочке около огородов, да чтобы не знали люди, что их собрало, можно было бы считать, что веселья здесь маловато. А некоторые даже и плачут…

Сегодня тридцатая годовщина того ужасного дня когда весь Збышин был расстрелян и сожжен. Сегодняшние дети и молодежь — это поросль, которая поднялась на кровавых пепелищах оттого, что немного збышинцев, теперь уже и в зрелом возрасте, и старых, вернулось когда-то из партизанских отрядов, с фронтов, из неволи, из эвакуации. А еще меньше людей, очень и очень немного, чудом спаслось от фашистских карателей.

Здесь, в толпе, нам их по одному, по два показывают — людей *с того света*, из-за той черты, что 21 июня 1942 года пролегла огнем и кровью между былой и сегодняшней мирной жизнью.

Мы просим этих людей, то одного, то другого, пойти с нами в хату подальше, где не слышно будет праздника, и рассказать о том, что было. Они идут охотно, может, и потому еще, что здесь, в толпе, их не успокаивает сегодняшний солнечный день, а хочется,

больше чем когда, говорить о прошлом.

Недалеко от поляны, где сдержанно гудит праздничная толпа, над Збышином, на обгоревшей липе, возвышается гнездо аиста. Аистята еще не летают, — они белеются на гнезде, их издалека видно.

Видно их и через окно той хаты, где на столе, который застлан белой скатертью и уставлен цветами, тихонько шумит наш старательный магнитофон, перед которым степенно сидит **Софья Пименовна Скирманд**, полная и спокойная семидесятилетняя старуха.

«…Людей, значит, гнали в хату — в мою. Я раньше их вошла в хату свою, первою. Двое детей со мной было, мальчику три года, девочке восемь месяцев было. Я вошла в хату — вижу, что плохо. Я ударила в окно — оно вылетело. Я детей высадила за окно.

Вопрос: — А они еще не окружили хату?

— Они ж еще гонят только. Вижу, что уже людей гонят. Куда гонят? Я еще не знаю, куда гонят. Детей бросила в окно и сама отползла вот так, как до дверей…

Я лежу, двое детей со мной. Гляжу и туда, и туда. А Збышин горит. И люди в моей хате… Что ж это людей не слыхать, а стрельба в моей хате? Ага! — они людей убивают… А я уже припала к земле, и мне ничего не слышно.

Лежала, лежала — прилетает самолет. Этот самолет начал надо мной кружиться. „Ну, теперь убьет меня!..“ Гляжу на него из-под полы.

Ну, когда самолет этот пролетел, прилетели аисты. Вот тут, видите… Гнезда ж горят ихние. Дети горят! Они так: зах-зах-зах!.. Надо мной летают. Може, они не надо мной, а мне кажется, что надо мной… Эти дети… Сгорело гнездо их, где и теперь оно, только было поближе…»

Тут мы невольно смотрим в окно — на символ мирной домовитости, который неподвижно белеется еще несмелыми аистятами на высоком гнезде — над зеленью яблонь, вишен, берез.

«…Ну, эти аисты полетели, — рассказывает дальше старуха, — прилетают вороны. Черные, черные!.. Ну, думаю, это меня есть будут!.. Опять — вниз-вверх, вниз-вверх! Летали, летали и эти улетели.

Сейчас приезжает на лошади тот, который добивал. Видит, что человек живой — добивает. Я глаза приоткрыла и тихонько

гляжу на него… А дети мои не шевелятся, спят. Заснули.

Може, шагов десять не доехал, повернулся и уехал…

Я лежала до самого вечера. Вечером девка стала плакать, маленькая, восемь месяцев. Я говорю: „На, дочушечка, грудь…“ Зашумели машины и ушли. Я думаю: „Подыму голову“. Так сейчас же машины стали. Вижу: они из машины увидели, что в жите дети спрятались: Мать с отцом и четверо детей. Остановились и поубивали. Там другой человек поднялся поглядеть — они и того Убили. Доехали до него и убили.

А я лежу.

Выстрелы прекратились. Дети плакать начали. Я поднялась и пошла в лес…»

Миколай Павлович Ходосевич, теперь мужчина в самой зрелости, тогда тринадцатилетний малец, который видел фашизм так вблизи, — свежим, чистым взглядом ребенка, который уже многое понимал почти по-взрослому.

«…Остановили меня на улице: „Иди на собрание!“

Ну, я и пошел. Пришел, тут мужчины были уже согнаны все. Ну, и за меня — и сюда. Потом погнали нас по улице. Там был сарай, вернее — гумно. Гнали немцы и полицейские. Тут, черт их поймешь, форма немецкая, и в русской, в гражданской.

Ну, потом выстрелили в стреху трассирующими пулями. Стреха загорелась.

Вопрос: — А что люди меж собой?

— Ничего не говорили. Тут был у нас один, Шумейко Андрей, его тоже сожгли, так он, видите, по-немецки хорошо понимал. Он и говорит: „Будут нас сжигать“. Слышал, как они по радиве… Сидит один с наушниками говорит. Так он и слышал, тот Науменко, и говорит: „Счас нас погонят в то гумно и жечь будут“.

Когда загнали — сразу запалили. Ну, кое-кто живьем выскочили. Были боковые ворота, их, значит, обвалили, ну, и стали выскакивать. Ну, а я, — там было, где зерно сушить, называлась — ёвня[30], - я попал туда, и сидел, пока уже шапка на голове не загорелась. А брат мой раньше выскочил. Он встает выскакивать, а мне кричит: „Ложись!“ Я около него и лег. Его убило, а меня ранило, метров восемь не больше от хлева. Ну, потом это я и лежал. Стрельба была сильная: не разобрать, дождь или стреляют. Крик, шум!.. Стала стрельба утихать. Пошла проверка. Вот они когда подошли повторно ко мне, я ничком лежу. Они, значит, стволом под правую бровь подняли меня. Вот так, как на руки на вытянутые. Что-то по-немецки геркнули, опустили. Подумали, что я убит.

Ну, а что вот так раненые кричали, дак тех они добивали.

В часов девять они уехали. А ранили меня, значит, в час дня. Я поднялся — солнце уже заходило. Я пошел по улице, к своему дому пошел. На улице убитые, в домах — кто сгорели; дома у меня тоже никого. Стемнело. Ноги мне стало подтягивать, раненные, кровью сошел…

Вопрос: — Так двери, говорите, мужчины выломали?

— Ага, как только гумно запалили, значит, и выломали…

И один еще мужчина был. Девочка у него была, года два. Она вот так ручками как взялась за шею, спереди, так он ее и вынес. Она и теперь жива…»

Что жива она и сегодня, что она будет жить, непобедимо повторяясь в других девочках и мальчиках, — об этом радостно думать, глядя на того ж Миколая Ходосевича в толпе, где рядом с ним — племянница Галя, молодая мама, а на руках ее — одно из тех бессмертных повторений — сын.

Все выглядело здесь просто, на этой поляне, обычно, знакомо. И памятник, подобных которому мы немало видели, в разных углах Белоруссии. И трибуна, которой стал кузов выходного сегодня грузовика, аккуратно поставленного куда надо. И выступления нескольких товарищей, с чего начался траурный митинг. И жерди ограды сразу за памятником, где сел и вдруг закукарекал петух, кстати, никого не рассмешив. И дождь, что как раз тогда и пошел, когда ему вздумалось, не обращая внимания на людей с их речами.

И выступали люди просто.

Председатель местного колхоза **Рыгор Захарович Каган**. Тридцать лет тому назад — десятилетний еврейский мальчик, сын сельского кузнеца, дитя, что изведало бездну мук от врага и спаслось у своих людей. Теперь он — агроном с высшим образованием, хозяин, уважаемый людьми, с которыми работает. Говорит долго, но и толково, делая обзор международного положения, увязывая прошлое с задачами сегодняшнего дня, и, между прочим, когда говорит о том, что происходило здесь *тогда*, невольно роняет фразу, которую хочется записать:

«*Мужчины, с погонами на плечах* убивали женщин, немощных стариков и детей…»

Просто это сказано, однако ж и продуманно, прочувствованно по-своему, во всю глубину того страшного несоответствия: мужчины с погонами — не солдаты, а убийцы беззащитных.

Затем выступил **Савицкий Иван Максимович**, здещний человек, который работает в райсовете, а тридцать лет тому назад прошел через ад збышинского дня. В отличие от председателя

колхоза он написал свою речь заранее, ее по службе перепечатала машинистка. Однако дождь, что как раз тогда припустил, мешал читать, а слезы — туманили взгляд. Савицкий менее уравновешенный, чем Каган, намного старше его, более утомленный и впечатлительный, и речь его как-то не получилась. А может, нам так показалось еще и потому, что утром, перед приездом в Збышин, мы с ним встретились в Кировске, где нам Иван Максимович рассказал *о том дне* и много, и ла всю душу — слезы пряча в дыме папирос, которые он прикуривал одну от другой.

…Замужняя сестра жила на окраине Збышина, метрах в трехстах от леса, и он, молодой партизан, зашел к ней на рассвете, винтовку припрятав на опушке.

Сестра готовила завтрак, а Иван прилег на кровати и забавлялся с малыми племянниками. И тут зашли полицаи. Спросили, нет ли партизан. Они были не местные и его не знали. Приказали идти на собрание. (Зловещее «собрание»! Почти всюду каратели начинали с этого…) Съели приготовленное не для них и ушли.

Хозяйка, взяв малышей, пошла, куда было приказано, а Иван, на всякий случай, залез на сеновал. Начал смотреть сквозь щели в щите.

Тревога, страшное предчувствие начались тогда, когда сестру, которая приостановилась с детьми у калитки, трое немцев, что шли по улице, прикладами и с руганью погнали на то собрание… Сами они зашли в ее хату, разбушевали там все (ему было слышно), а потом пришли и в сарай. Иван закопался у самой стены в кострицу. Но они только корову выгнали на двор, погоняли кур и ушли.

«…И в этот момент, — рассказывает Иван Максимович, — в деревне началась страшная стрельба…»

Юноша понял, что стреляют людей… И произошло снова то удивительное, о чем мы слышали от многих, — о самой несоответствующей ужасающей ситуации человека клонило ко сну. «Начинаю дремать, засыпать начинаю — но тут послышался шум, запахло дымом… Выглянув через щель, он увидел, что все постройки вокруг подожжены, все горит — хата, истопка, сеновал. „Пускай он, сарай, хорошо загорится, — подумал он, — тогда я вылезу, тогда немцев близко не будет“. Как ни закутывался в пальто — припекало. Соскочил с сеновала и — во двор».

«…Что ж мне делать? Бежать в воротца — там горит истопка. Справа горит хата. А между сеновалом и хатой, метрах так в

десяти, частокол стоит, и притом метра три высоты. Ну, во-первых, это горит и другое горит — может сбить меня огнем. Ну, меня это не испугало. Меня испугало то, что я подымусь на три метра и немцы увидят меня. Думаю, лечь посреди двора — постройка густая, я не выдержу… Ну, какая-то просто интуиция. В этом сарае было трое дверей. Я вышел из одних и в другие вошел. Л все горит надо мной. Потом я в третьи двери — гляжу: дырка! Под стену дырка! Кто ее выкопал, эту дырку — то ли собаки, то ли люди для спасения?.. „Ну, думаю, я спасен!..“

Сарай загорелся. И я стою там. Ну, знаете, когда свечка горит, так по краям жарко, а в середине — нет. Горит хлев кругом меня, а я стою. И когда мне уже невозможно было стоять, меня припекать начало, я и полез под стену. А там было жито. Уже прятало человека. А впереди стояло Левоново гумно, моей сестры деверя. Я так решил, что я вот доползу до того гумна, а там, где бульба посажена, — по борозде в лес. Там у меня винтовка и — я ушел!..

Не дополз метров пятнадцати до этого гумна, гляжу: три немца и станковый пулемет!.. Меня магической силой перевернуло назад к горящему сараю. И я в борозду лег. И думаю так: „Найдут — черт их бери, — пусть стреляют! Сзади…“ А тут тот сарай — р-р-р-р! — обвалился. Сгорел и опрокинулся, обвалился. Я еще ближе, но так, чтоб не совсем пекло. И лежу. И тут… Такую деталь надо, видимо, рассказать? И тут — свинья! И начинает крутиться вокруг меня, може, потому, что видит: живой человек. Я думаю: „Боже ж мой, немцы ж стоят! Они примут не из-за меня, а из-за свиньи и, значит, обнаружат!..“ так, лежа, песку взял и вот так! *(Показывает, как бросал.)* Она и отошлась.

Стрельба к этому моменту уже утихла. Часов семь вечера. А я все лежу. Слышу: машины загудели и ушли на Чичевичи… И тут два выстрела! Выстрелов не было давновато, а тут два выстрела. Я думаю: „Еще кого-то нашли…“

А это, как я позже узнал, убили соседку мою, Барановскую Алену, и дочь ее, четырнадцати лет, которые тоже лежали в жите. А немцы их нашли и убили.

Прошло еще часа два после этих двух выстрелов. И тут еще один!

Я думаю: „Неужели еще кого-то нашли и убили?..“»

Этим последним выстрелом убит был отец Ивана.

Старик, ему было шестьдесят семь лет — прятался целый день на опушке, вдвоем со взрослым племянником. Как тот ни уговаривал идти дальше в лес, дядька не мог оторваться от стрельбы и огня, где остались все, осталось все его. Когда

стрельба утихла, а потом и машины ушли из Збышина, он вышел из лесу и пошел в деревню. И столкнулся с конными полицаями. Последними…

Тот выстрел — последний в Збышине — Иван услышал, но по кому он — узнал значительно позже…

«…В полночь я поднялся, вышел на улицу, и тут меня охватил животный страх. Винтовка стоит в трехстах метрах отсюда, в кустах, а я боюсь идти в лес… Думаю, не пойду я в лес, а пойду на другой конец деревни, где наша хата. А по улице я тоже боюсь идти. Через забор перескочил, задами пошел.

Иду я — и зацепился. Узнал: лежит свекор моей сестры. Дальше — гляжу: лежит его жена. Иду в конец, где наша хата. А там один выкопал себе блиндаж. Думаю: може, кто-нибудь там спрятался…

Лежат ручники, знаете, наволочки — кругом этого блиндажа. Я понял, что тут живых людей быть не может — это уже выгребли немцы все. Я еще голову туда ткнул и окликнул. Слышу: пахнет пороховым газом. Значит, они бросали туда гранаты.

И тут я, значит, дальше пошел.

А там колхозный двор был, четыре сарая. Так три сгорели, а один уцелел. А дальше, к речке, мой батька посеет просо. Я об этом знал. Вижу: лежат женщины, четыре Женщины — одна за одной. По борозде лежат, убитые. Я, значит, думаю: може, там — мама… Уже темно, по одежи я определил, что матери моей тут нема. Гляжу — п мужчина лежит убитый. Подбежал я, думаю: батька! Нет, это лежит мой дядя.

В нашем дворе все сгорело, а осталась истопка. Там у нас бревно лежало. Я сел, посидел маленько и думаю: „Что ж мне дальше делать?“ А в деревне уже ничего нема, единственный лает Антонов пес. По голосу его узнал. Пошел я потом к нашей Ветрянке. Речка такая у нас.

Сел на берегу, ноги спустил. А потом слышу, что по речушке кто-то: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп… Переходит речку! „Ну, думаю, живой человек!..“ Я через эту речку. А старуха, что шла, увидела и удирать. Я молодой, а ей годов семьдесят было — я ее догнал, и она меня крестит:

— А голубок ты мой!..

— Где вы были? — спрашиваю.

— А в кустах, говорит, сидела. Кругом меня ходили немцы и не увидели. И я жива осталась.

Я ее за руку… В тот момент, знаете, если б кот живой был — и то другое настроение, а тут — живой человек!.. Я за руку старуху, и пошли мы в лес.

Там есть так называемый Антонов ельник. И я по силуэтам вижу: люди появились. Я этой бабке сказал лечь, а сам присел и окликнул:

— Кто идет?

Я как крикнул — все в лес! Ну, я думаю, значит, свои. Если б это полицейские, так они б затворами начали клацать. Я поднялся:

— Хлопцы, я такой-то, не утекайте!

Они остановились, встретились мы. Там был и зять этой старухи. Я говорю ему:

— Вот что, Тихон, ты бери старуху и иди в лес. А мы, хлопцы, пойдемте в деревню. А може, где кто раненный, Да подберем, да возьмем.

Послушались они меня, как командира какого. И мы так идем, значит, по речке. Ну, речка, как правило, идет юзом. Люди удирали по речке, а она у нас такая, как говорят, петух перейдет. И вот лежит вначале Василь Янов. Туловище на берегу, на песочке, а другая половина в Речке. Мы его вытащили на берег. Идем дальше по речке — лежит Борис Стасев. И у него, значит, две булочки хлеба было: он хватанул с собой. Ну, а мы ведь целый день не ели! Ну, мы этот хлеб тут же разломали. Ну, пошли так в конец деревни. Приходим в конец, и мне показалось, что моей матери голос что-то говорит…

— Стоп, хлопцы, — говорю я.

Слышу: точно, мать моя говорит. Я их бросил и, как мальчишка, побежал туда…

Прибежал — они все стоят около нашей истопки. Стоит наша Катя (еще теперь жива), Вольга (померла уже) и — мать моя… И стоит дядька мой Захар (он, правда помер уже в пятьдесят седьмом году). У него ранена вот так рука и вот так нога. Стоит и весь дрожит.

— Мама, и ты, Катя, идите, вот там хата цела, не сгорела. Замочите мочею…

Другого выхода нема. Я знал, что это все-таки профилактика.

Пошли они в хату, мать порвала рубашку, сделали все, перевязывают дядьку. А я тут вспомнил, что видел около одного кожух. И говорю, что побегу возьму его, а то дядька весь дрожит.

Так я через забор перескочил, а там у нас такая… называется полудрабинка, навес. И я так по силуэтам вижу: люди там! Шевелятся под той драбинкой. Я прибегаю туда — сидит Игнатиха Варька, ей под тот момент было тоже под семьдесят, и Пилипиха, слепая.

— Чего вы тут?

— А сыночек наш, а немцы тут походили и сказали: „Нехай

живут — Советскому Союзу на расплод будет!..“ — И говорят старухи: — А вон там Миша раненный лежит. Може, он, детки, еще живой.

Я пошел. Ночь, темно, но нашел. Неживой. Тогда я побежал, кожух тот взял, забрал этих старух. А они не хочут идти.

— А детки, а куда ж мы пойдем? Нас уже не поубивали, так уже и не побьют.

Пока я пришел, Захару раны перевязали уже.

По дороге в лес дядька мне рассказал, как он уцелел. Их, мужчин, загнали в гумно, а женщин — в Скирмандову хату. Когда, значит, запалили гумно, мужчины выломали ворота и — кто утек, значит, утек, если убили, значит, убили, остался в гумне — сгорел в гумне… Дядька Захар, значит, когда загорелось гумно и сломали ворота, он также выскочил. На нем загорелась фуфайка. Он лег в жите, фуфайку снял и в рядом стоящий двор побежал. А там стояла, просто по-нашему говоря, бочка, и он в эту бочку залез и сидит. Пришел немец — зирк! — сидит. Р-р-раз туда! И он, как сидел в бочке, так ему руку и ногу пробило. А немец поджег гумно. Ну, а дядька все-таки живой. Он тогда повернулся боком, бочку перевернул и покатился с бочкой. И в речку, под корягу. И так он там сидел в воде до полуночи, раненный. Вот он поэтому так и трясся…

Из того гумна, где мужчин закрыли жечь, многие вырвались. А женщины из дома — только две. Скирманд Соня. Это в ее хате женщин палили. И Вольга такая была. Мы ее, раненную, также в лагерь потом взяли. И Данилу Воробьева нашли. Этот Данила был сапожник. И у него были сапоги. Он, правда, немного хромал. Полицейский говорит ему:

— Снимай сапоги!

— Нет, говорит, не сниму. Убьешь — тогда снимешь.

— Убью! — говорит тот.

— Ну на, стреляй!

Он ему — р-раз, тут же и выстрелил. Пробил ему легкое. Мать моя потом его вылечила. Она в больнице работала, разбиралась. И лечила его. Семью его всю уничтожили: и детей, и женку…

Мой батька…

Мне сказали, что он лежит убитый, и сказали, где. Ну, я, значит, туда и пошел…

У него такая борода была — красивая, рыжая борода. Еще я был малый, когда он, помню, побрился, так мы, все дети, закричали на него, чтоб он не брился… С бородою он был симпатичный такой. Борода у него золотистая была…

Ему сюда, в затылок, как дали, так всю челюсть, всю бороду и

сорвало…

Я побежал в деревню, надел, значит, обгоревшую лопату, пришел туда, выломал палку, насадил так-сяк, выкопал, значит, ямочку, снял с себя пальто, завернул его и похоронил. Поклялся я над ним, поплакал с мамой, и пошли мы…

Когда мы пришли туда, где жгли женщин, — это было так страшно… Куча людей!..

Мама начала искать дочку, мою сестру.

А я еще держался, пока отца хоронил, а когда подошли уже сюда, где женщин жгли, мае стало плохо…

— Мама, — сказал я, — искать не будем.

И мы пошли туда, где жгли мужчин. Что осталось в памяти на всю жизнь, так это сын моей двоюродной сестры. Там овин был, дак он залез в печку в овине и там сгорел. Ноги торчат оттуда, вы понимаете, обгоревшие…

Моей родни погибло в тот день двадцать пять душ. А всех в Збышине убили двести девяносто шесть.

Вопрос: — А какую причину они придумали, что говорили, когда согнали людей?

— Ничего не говорили. Причина была, я думаю, только та, что это — советские люди…»

2

«Мы обязаны уничтожать население, — говорил Гитлер, — это входит в нашу миссию охраны населения германского… Если у меня спросят, что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц…»[31]

Выполняя этот «план», фашисты рассчитывали таким образом получить и спокойный тыл. Кого не убьют, не сожгут, тот замрет от ужаса. Провели возле ног каждого черту: пошевелишься — смерть тебе, и близким, и всей деревне, а если это в городе — всей улице.

Однако вскоре после «победных» реляций о том, сколько уничтожено партизан (тех самых збышинских или хвойненских детей, женщин), пошли в ставку фюрера совсем иные.

Фон Клюге: «А здесь в тылу у меня повсюду партизаны, которые все еще не только не разбиты, но все более усиливаются… А 400 этих проклятых диверсий на железной дороге!»[32]

«Тем лучше», — сказал Гитлер в июле 1941 года, впервые услышав про советских партизан; он рассчитывал, что под видом борьбы с партизанами удобно будет выполнять тот самый «Генеральный план „Ост“». В 1942, а тем более в 1943 и 1944 годах, когда фашисты теряли последнюю веру в победный исход войны, а в Белоруссии почти не осталось у них действующих железных дорог, — тут уже Гитлер не считал, что «тем лучше». Заранее запланированное уничтожение народов Советского Союза все более приобретало характер мести — садистской мести женщинам, детям за то, что советские люди не пожелали покориться и в самых трагических условиях продолжали борьбу.

1255 боевых партизанских отрядов — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что, мол, белорусы «наиболее безобидные» из всех славян и тут можно будет устроиться в полной безопасности — устроить «заповедник» для людей, для целых народов. Был ведь такой замысел — всю Белоруссию превратить во всеевропейский концлагерь, где бы прошли «особую обработку» (в газовых камерах, печах крематориев, у могильных ям) те народы Европы, которые «мешали» фашистской Германии расширяться на север, на запад, на юг, на восток…

Вот как это сформулировал ближайший подручный Гитлера «теоретик» Розенберг за два дня до нападения на Советский Союз:

«Непосредственно к этой границе *(перед тем речь шла о*

*будущей судьбе Прибалтики. — **Авторы.**)* примыкает белорусская — как центр сосредоточения всех социально опасных элементов, который будет содержаться подобно заповеднику»[33].

Но для начала, как уже говорилось, планировали «выселить» (истребить) 75 процентов белорусов — чтобы спокойнее было работать в том «заповеднике».

И это делалось: рассказы в нашей книге — именно о Деревнях, которые были убиты, о районах, выжженных вместе с людьми.

Но за судьбой этих деревень, этих людей нужно видеть и другое: сотни тысяч детей, женщин, престарелых и немощных жителей наших деревень и городов, людей которых спасала и спасла от истребления всенародная партизанская армия, уводя жителей в леса, за фронт, создавая во вражеском тылу советские районы, защищая и атакуя..

Полумиллионною свору фашистских убийц и грабителей поглотила огненная партизанская земля..

Если фашисты не сумели, не смогли, «обезлюдив» Белоруссию, создать тот громадный «заповедник»-концлагерь для народов Европы, то не потому, что они раздумали или расхотели. Поднявшись на священную борьбу, советский народ, народные мстители — партизаны, Советская Армия сломали и этот гитлеровский план.

ВЕЛИКАЯ ГАРОЖА

За славным житом — спокойная деревня, которая имела, имеет и должна иметь право на мирную, трудовую тишину.

Давновато дождя не было, а позавчера и вчера он расщедрился. Теперь погожее предвечерье. А в лесу, что синеется за житом и за деревней, пошли понемногу первые июньские сыроежки.

Двор, в который мы зашли, аккуратный, ровно поросший чистенькой травой. Много дров, сложенных в стожок. У крыльца бабуля чистит грибы. Сама в резиновых сапожках, еще мокрых: только что из лесу вернулась. Тут оно и пришло, открытие ежегодной радости: после дождя — грибы. И хорошая зацепка для разговора

Марии Змитровне Потапейке семьдесят второй год, хоть с виду столько бы не дал. Подвижная, приветливо веселая. И возвращать ее в давнее, в страшное — не хочется. Да ей и самой неохота. Вот помрачнела сразу…

«Раненько я печь топлю, блины пеку, ну, а хлопок был у нас, сын, дак он побежал на улицу — уже играться к соседям. Уже бежал он туда, бежал — ой, что-то по улице стреляют, пули свистят!.. Ну, дак мы закричали на него:

— Вот тебе надо бежать, сиди тихонько! Там вдут — може, партизаны, може, немцы, кто ж их знает!..

Ну, идут по селу, идут — немцы, видим, что немцы!.. Тут колодезь был, они поставили пулемет — коров уже с того конца гонят, гонят, гонят.

Мой — на меня:

— Подои.

Надо б идти поциркать, да боюсь. Он:

— А чего бояться! Иди, а то вот заберут корову. Ну, я пошла, циркаю, циркаю…

Вопрос: — Подоить напоследок?

— Ага. Дою. Стреляют. Стреляют по дворам, стреляют. К соседу вот сюда подошли уже, стреляют. Я бросила доить и иду. Только вышла, вот тут встретила — бегут! Во двор бегут, бегут немцы. И спрашивают, есть ли корова, куры есть ли, гуси, кони, овечки — все. Ну, больше ничего у нас не было, только корова еще была, куры еще были… Конь был, дак мы спрятали, спрятан был.

Вопрос: — В лесу?

— Ага, в лесу. Ну, я говорю:

— Корова есть, куры есть, больше ничего. Вернули меня, чтоб я корову выгнала. Я выгнала им корову. Тогда иду, а они бегут за мной, в хату, бегут. Ну, вбежали и нас во двор гонят, ага, к коменданту. Ну, а мы детей уже оставили, говорим:

— Детки, побудьте в хате, а мы, може, одни сходим.

Ну, мы пошли, а немцы побежали и повыгоняли детей из хаты, и они снова к нам пришли. Мы уже идем по улице, и идет немец. Один, да два еще… Идут, халаты в крови — и… Встретили нас, спрашивают:

— Партизаны были? Ну, мы говорим:

— Были. Что ж, были.

— Сколько?

— Четыре было подводы.

— А что брали?

— Все брали, что им надо. И хлеб, и картошку, и мясо.

Тогда комендант отсюда, с этого конца, подошел и на него: „Гер-гер-гер“. И сказал: коров уже гнать, уже коров в Осиповичи гнать.

Пошел мужик мой. И дочка. Но она видит, что я не иду, дак и она вернулась. Говорю:

— Почему ты вернулась, почему не бежала с отцом? Он там где-нибудь спрячется, и ты б спряталась. А пойдем туда, дак там пожгут, поубивают нас.

Они и, вправду, построили девочек особо и нас особо. Девочек — коров гнать. И спрашивают:

— Партизаны были? Первого спросили. Он говорит:

— Не было, не видел.

Раз не видел, дак немец его за шиворот… Он дитятко на руках держал. За шиворот и — под сарай, в снег, в сугроб, и убил.

Вопрос: — И ребенка убил?

— Ну, и ребенок там с ним, и ребенка. Ага. Потом жена уже с ребенком старшим за ручку и: „э-э-э!..“ — заголосила, заголосила. Он и ее туда, и убил. А мальчик около меня стоял — такой вот мальчик…

Вопрос: — Их мальчик?

— Ага. Рванулся бежать к ним. А я за него, говорю:

— Не беги, стой, стой!

Он, правда, стал, стоит. И теперь живет где-то в городе, бог его знает. Потапейка его фамилия. А звать как — забыла…»

Мы беседуем в светлой, чистой кухне. У окна тихо стоят две городские внучки, гости на каникулах, одна — подросток, другая — еще дитя. И дед сидит, Кастусь **Карпович**, хозяин. Он вернулся из сельмага, еще когда мы были с бабулей во дворе. От калитки

приветствовал нас Веселым: «Здорово, хлопцы-протопопцы!..» Теперь вот он слушает, молчит, а потом и сам начинает:

«…Это Новый год был, если по старому стилю, в сорок третьем году.

Раненько приехали какие-то и тянут пулемет, — вот тут колодезь был, — все в белых халатах.

Мы сидим в хате. Печка — железная, жестяночка. Четверо детей у меня, малых: самая большая девочка ходила в шестой класс. А то все малые были. Ага. И слышим: стреляют с того конца. Коровы бегут по улице… Ага, а потом вот здесь, на углу, мой дядька жил родной, батькин брат. И вот этот дядька выгнал корову сюда на улицу. Он — раз, застрелил!..

Вопрос: — А вы это видите?

— Ну, в окно мы видим. Ага. Женка дядькина гвалту наделала. И женку застрелил тут. Потом — двух девок. И девок обеих застрелил. Тут же в воротах. Я и говорю, что это людей бьют. Ага. А потом они в другую хату. Только зашли — в хате стреляют. Ну, а мы сидим так. Потом и в третью зашли — тоже стреляют… Ну, все!

А потом — раз — приехала легковая машина. Вылазит один, уже без халата. Ну, офицер, „комендант“ они называли его. Ну, тут они все прибежали уже, собрались, дак он им скомандовал, чтоб не убивать уже, значит, остальных людей. А согнать в одно место.

Они прибежали ко мне и говорят:

— Идите к коменданту. А я говорю:

— А что — с детьми, брать мне детей?

Дак он махнул рукой: как хочешь, хочешь — бери, хочешь — не. Они знают, что все равно это… Ну, мы собрались с бабой и пошли.

Я говорю:

— Вы, детки, сидите, грейтесь у печки, мы придем, тогда заберем вас…»

Дальше старик, повторяя рассказанное женой, говорит, как тот немецкий комендант допрашивал его, бывают ли тут партизаны, и не застрелил, как застрелил того соседа, который сказал, что партизан не видел.

«…Дак немец мне, — дальше рассказывает дед, — приказал гнать коров в тот конец деревни.

— А там, — говорит немец, — мы еще людей наберем и погоним всех коров в Осиповичи, потому что тут партизанский

лагерь, вы тут снабжаете партизан. А деревню мы вашу унистожим.

Так вот сказал. И я погнал этих коров.

А там моя сестра жила. Забежал я в хату к сестре. Забежал: убитые все дотла!.. Свекровь, она, муж и дитенок, человек четыре души.

Они приходят, гады, и командуют: „Ложись тогда вот так — в голову каждому стреляют, вот, поубивают, все…“

А кто, так и остались. Вот и Неверовичева напротив — хлопец был на печи, постилкой накрылся, убили сестру, убили мать и отца, а он остался, и теперь живой. Он в Бобруйске работает. И в том конце так же это было…»

Этой семье и еще некоторым повезло. Сорвав зло, каратели сказали недобитым:

— Можете ехать в Татарку, в Замошье, в Осиповичи… А если тут кого изловим — значит, будем убивать. А деревню сожжем всю.

И сожгли.

Кастусь Потапейка запряг коня, побрал детей и переехал в Замошье.

Мы в другой хате.

Марии Герасимовне Михайлик было тогда, в январе 1943 года, восемнадцать лет. И ей тоже удалось спастись. Однако же… Но лучше пусть расскажет она сама.

«…Было темно. Они окружили село и давай стрелять. Мама говорит:

— Дочушка, стреляют, вставай! Я говорю:

— А что, партизаны? Она отвечает:

— Партизаны.

Посматриваем мы в окно. Идут в белых халатах. Мать говорит:

— Поотставали, а теперь стреляют. Потому что ночью они ж были у нас, партизаны. Думаем, что ищут они один другого. Мама говорит:

— Сходи воды.

Я иду воды в колодезь, а они — это немцы — вернули назад:

— Ком в хату! Я вернулась.

— Мама, они не пустили воды. Идите вы. Маму тоже вернули.

А начали они бить с естого во конца. Я говорю:

— Мама, да там же что-то горит уже.

— Ну что ж, — говорит она, — горит. Иди корову подои, а то

коров забирают, курей бьют.

Ну, я пошла, подоила корову. Тогда мама говорит:

— Курей бьют. Помани в хату курей.

Ну, и сидим в хате. Пришел племянник мой. Спрашивает:

— Были у вас партизаны? Мама говорит:

— Были, дала им повечерять, хлеба, молока дала, и ушли.

Разговариваем. А тогда она говорит:

— Детки мои, глядите, Прохора ж у нас убивают!..

Это по соседству, через окно мама видит. Еще сестра моя с дочечкой была у нас. Мама говорит:

— Глядите!..

А там три выстрела — и девочки на истопку полезли.

Ну, и тут же к нам пришли. Мы стоим все около печки. Вот так рученьки посжимали, а печечка горит. Ну, пришли… Высокий, высокий пришел, в очках. Вот, кажется, я и теперь его вижу, узнала б. Как пришел, так хату и раскрывает. За меня:

— Иди корову выпущай! А брата — на улицу.

Пошла я корову выпускать. А она ж не идет. Тоже боится, корова, аж на стену лезет. Я во двор из хлева вышла, а он меня как швырнет — дак я и полетела. Ручкой автомата ворсанул. Два раза. Первый раз я не полетела, дак он в другой раз.

Мама из хаты выходит. Мама как вышла, маму он и шахнул — всю вот тут шею продырявил, и все вот это отвалилось. И мать моя тут же и легла.

Он и ушел. Еще мне вот так ногой дал, и нас на улицу — корову гнать. Я эту корову на улицу вытурила. А там старик один, — он помер уже, — стоял… Корова стояла, а он так вот корову обнял… А его так били, так били!..

А я своему брату:

— Мой братка, говорю, мой братка, все поскрывались, а мы, говорю, вот и попадомся…

Вопрос: — А старик тот корову обнял, чтоб не вести?

— Не, его сильно били, он на корову обвалился и стоял. А тут коровы идут, кони ржут, — тоскливо, страшно было… Говорю:

— Не спрятались, и все наше и пропало, браточка. Погибнем мы.

Ну, и стоим, куда ж идти, стоим среди улицы. Нема нигде никого — ну, ни души! Всех уже перебили.

Подходим вот сюда, на край, на краю стоим. А тут немцы лежат с этими пулеметами. Нам некуда. И идут они к нам.

— Ну, говорю, братка, погибнем мы. Давай утекать, чтоб утекающих нас, чем так…

Они пришли и говорят:

— Не удирайте, а то поубиваем. Погоните коров и поедете в

Германию.

И другой подошел, тоже по-нашему разговаривал!

— Сколько вам лет?

Я говорю, что восемнадцать, а брату — четырнадцать…

А я вышла, правду вам сказать, только галоши на мне были, так вот, на босую ногу, и так вот — голая. Ничего на мне не было. Я говорю:

— Ну, давай убегать, Иван!.. — своему брату.

А в хате, что напротив, у них там деток было никак Семь или восемь. Дак там крику! Так кричат, так кричат — слышно!..

Ну, все — бежим! Ну, и побежали в лес, через чащу по болоту. А снег — вот так, до пояса. В болото влезла уже на ногах у меня ничего нет. Л они по нас — так дают, так дают, вы поверите… Но пуля в нас ни разочку не попала!..

Мы легли в этот снег, полежали, потом встали и сидели в лесу до вечера, пока не смерклось.

Нашли место партизанское: там они, видимо, ночевали — жарок еще был, еще висели веревочки. Он те веревочки взял, что партизаны оставили, а у него лапти были и онучи, дак он и мои обмотал ноги. А за ночь у меня ноги вот такие были, обморозила. Вот поглядите — и сегодня пальцев нема… Мы там побыли, переночевали. Я уже идти не могу… Брат мне две палки выломал…»

За славным житом — спокойная деревня… А в деревне этой убили в тот снежный день 297 человек.

ДИТЯ БЕЖИТ БОРОЗДОЮ

С этой женщиной мы встретились случайно. Бывший партизан, инвалид, и уже бухгалтер тоже бывший, на пенсии, Роман Драгун, посоветоваться с которым подсказали нам в райкоме партии, отнесся к делу серьезно. Бросил руководить семейным рытьем колодца, помылся, переоделся и, тяжело управляясь с протезом и клюкой, подсел в наш «газик». Оттуда, с зеленой и укромной станции Копцевичи, мы направились в его родные места, в западный уголок Петриковщины[34]. Управившись там, домой мы возвращались в сумерки. И тогда наш проводник вспомнил еще одного — в деревне Слобода. «Може, и он расскажет».

Его знакомый, Адам Стракач, тоже бывший партизан, сам не видел того, что *происходило* в его родных Березняках (в Слободу он переехал после войны). Из четырехсот односельчан, убитых карателями в ноябре 1942 года, чудом спаслось несколько человек. И среди них — Адамова сестра Алена. Живет и она в Слободе, через несколько хат…

Алена Ивановна Булава намного старше своего брата. Уже совсем малоподвижная, немощная старушка, добрых За семьдесят. Это мы сначала только почувствовали по ее усталому голосу, по непритворному кряхтенью. В хате был сумеречный час, хозяйка отдыхала, прилегши на кровати еще не раздевшись. Энергичный Адам Иванович включил свет и сказал ей, что надо, вот, чтоб она рассказала, что было тогда в Березняках, а раз надо, то надо.

Старуха встала и, уразумев, что к чему, исподволь настроилась, начала.

«…У меня и голова все болит, а еще я и сильно недослышу…

Ну, как оно было. Там же наших всех людей побили. Там на другой день людей столько лежало… А волки как попривыкали, так людей ловили потом. Людей попривыкали есть…

Ну, окружили нас кругом, всю деревню. А я в то время в хате была. Вышла из хаты — не видела, что тут немец с кукардой стоит. Он наставил винтовку — вот так вот на меня. А этот мой хлопчик маленький, что на руках у меня был, Сашка, меня за шею да:

— Ой, мамко, убьют нас!.. А я говорю:

— Не, не, сынок, пан не будет бить, не, не!..

Как я так сказала, так он, правда, и винтовку опустил. Да на меня показывает:

— Домой!

Вошла я в хату да своей девке говорю:

— Евочка, нас поубивают.

— А что делать, мамо?

У меня ж еще и тот мальчик был, Колька. Уже был, кажется, в третьем или в четвертом классе. Колька говорит:

— Мамко, я побегу в мох. А я говорю:

— Если можно… А може, не проскочишь, сынок?

А мы не видим, что они там сидят, в касках. Понадевали эти каски, как пни какие-нибудь, и не видно их. Хлопчик мой, еще бы чуть-чуть, так и прорвался бы. Хотел, бедненький, проскочить, а они его — раз! — ив грудь, сюда вот. Только крикнул он: „Мамко!..“

Так где там — материнское сердце! Выскочила я — да к нему. И Евка моя выскочила. А я за это дитя, за Сашку своего, да прижала к себе. Так он меня — раз! — в руку ранил И хотел еще раз, а Евка уцепилась за меня и говорит:

— Мамко, пусть нас вместе убьют. Пускай и меня убьют с вами!..

А я хотела упасть, а потом думаю: „А как же девка моя! И дитя ж на руках…“

Он хотел в Евку попасть, да еще раз — мне в руку. И сюда вот. Так у меня рука опустилась. И дитя я пустила. Побежало малое. А Евка — за мною. Я говорю ей: „Падай со мной!“ И вот меня уже снова ранили, а в девочку не попали. Вот сюда меня ранили, а пуля тут вот выскочила. Уже у меня увяло все, я и сама упала. Упала да говорю девочке: „А тебя ранили?“ Говорит, что не ранили. А из меня кровь — аж тивкает, так льется. Жилу тут мне, видите, перебили. Так я говорю:

— Падай вместе со мною. А будешь лежать — не дергайся. Упади и лежи на месте. А то, може, я и живая не буду, а ты — лежи. И смотри — как-нибудь под берег.

А уже вижу, что хлопчик мой, Колька, лежит неживой..

А этот, что маленький был, побежал бороздкою. Сашка. А пахота была высокая, дак они и не попадали в этого хлопчика. А пули разрывные летят. А хлопчик все равно живой, все равно бежит бороздою.

А там женщина ползла рвом. Да так вот она: „Иди сюда!..“ Она за него да в ту канаву. Остался Сашка с той женщиной…

А я лежу. И Евка за мною лежит. А из меня кровь идет. А они ходят по двору и что-то лопочут. Повыпускали моих коров, две было, овечек повыгоняли на улицу, свиней. А я лежу, да так вот посматриваю. А они подожгли мою хату и пошли к соседу… А сосед тот стал на колени и просится. А они ему в грудь — раз!.. А

я лежу да сама себе Думаю: „Ну, все“. Мое дитя побежало, а я не знаю, живое ли оно там или неживое… А потом, когда я уже вижу, что горит, что головешки летят на меня, дак я взялась как-нибудь вставать. Я на одном колене, на одном колене — поползла в ту канаву, где хлопчик мой там с молодицею.

Та молодица испугалась и поползла. Я говорю: „Хоть руку ты мне перевяжи!“ А она — поползла…

Евка моя тоже тогда утекала и где-то голая в стогу ночевала. Выскубла дырку да залезла в середину, в стог, и там спряталась. Потом партизаны пришли и кликали, може, кто живой, чтоб отозвался, а люди боялись откликнуться. На другой уже день моя девочка вылезла из стога и пошла…

Лежу я в той канаве, а тут бегут еще две, это Катеринины девочки.

— Ох, ох, тетенька, уже нашу мамку убили, и братика убили! А мы только вдвоем остались, две девочки!..

А у меня в глазах темно. Говорю я:

— Донька, ползите вот этою вот канавою да в мох. Може, останетесь. Когда я уже не буду говорить, то вы посидите, пока немцы уедут, так, може, кто тогда отзовется, так, може, как куда-нибудь зайдете.

Они побежали в тот мох, тем ровцом. А я — уже с тем малым дитем, с Сашкой моим. На одном колене вскочила — и я в ту канаву. Вскочила — потемнело в глазах, поползла в тот мох. Близенько от хаты мох был. Заползла в тот мох, лежу. И они, те девочки, легли в корчах…

Уже мы там слышим: люди визжат, кричат — уже там людей убивают!.. У нас молодежи много было. И, може, ни одного не осталось. Ни молодежи, ни девочек, всех побили. Боже мой, дети плачут!.. Страшно было, — если бы вы слыхали. Ну, просто страх!.. Некоторых в хаты загоняли, а нас просто так убивали, окружили и так били — на нашей улице. А маленькое дитя… Это Катино, — взяли да убили Катю, а дитятко еще живое. Оно ползало, а они взяли да штыком животик ему распарывают. А оно, бедненькое, ползает по той по матери, еще живое, кишечки повылезли. А оно ползает…

Хлопчика моего, Колька что был, в сенцы втянули, и он там сгорел. Косточки только лежали. Как я пришла из больницы, то уже — никого… И там я его косточки в сенцах нашла. Хороший был малец…

Вопрос: — А это кто были, немцы или полиция?

— Полицейские были и эти, немцы, с этими ихними кукардами. Окружили деревню так, что сидели один около одного, один около одного…

Вопрос: — А вы, может, про то еще, как вы в канаве лежали?

— Лежала, у меня маленький хлопчик, хочет плакать, а я говорю: „Не плачь, а то и тебя убьют“. Не плачет. Лежат они, бедные… Катины девочки и мой. Потом у меня чуть вот так повеселело, уже слышу — утихли те, в селе. Я за детей да это привела их к канаве. Стала в воду и ногою их попереводила на ту сторону, а то вода посередине бежит. Ногою поперетаскивала. Потемнело у меня в глазах…

Дубики пришли, меня забрали. Уже как неживую. Уже тогда я лежала раненная, так меня один человек подобрал и повез в больницу.

Если б не Еремиха, так меня там убили б. На станции еще. И моего хлопчика…

Маленький остался живой, и теперь живет. В Гомеле. Я тогда его на руках держала. Еще, как его батька шел в армию, а я его провожала, так на руках малыша держала. И батька нес его на руках, маленького. Такой пацанок — и остался живой. Били, так по нему били, что, поверьте, пули разрывные горят!.. Я еще чувствовала немного, так посматриваю и думаю: „Ну, все!..“

А оно, бедненькое, катилось по этой борозде. Пахота высокая, а оно маленькое…

Всех нас почти поубивали, это вот только я, раненная, осталась. Да и то не знаю, как я осталась. От меня люди убегали, это в больнице той.

Сдается, лежу, и сдается, хлопчик мой кричит. Слышно — кричит!.. Подхватиться хочу, а не могу — крылья падают. Хочу подхватиться — возьму упаду. Так они, что в больнице лежат, глядят на меня да боятся, убегают от меня. Бабка там одна лежала, так она мало была ранена, так она, когда я с койки упаду, придет да возьмет меня, Да на койку. Она не боялась. Есть тогда нечего было, — тогда ж был немец, — а я лежала так, на соломе. Да платочек только. На мне ж не было ничего — как из хаты выскочила, так и была…

Вопрос: — А как вы попали в ту больницу? И что это за Еремиха?

— Как я попала? Там составы стояли на станции, когда меня тот дядька вез, и без пропуска не пропускали никого. Меня ж везет этот человек, а я раненная лежу И этот хлопчик около меня маленький, Сашка, который остался живой. Так меня хотят в комендатуру. Я думаю: „Ну, все“… Кричат они:

— Подымайся, бабо! А человек тот говорит:

— Она не подымется, она больная.

А там бабушка была старенькая, что из немцев, которые тут давно остались. Она померла уже. И вот та бабушка идет. А она

была со мною знакомая, ночевала у меня не раз. Бедная была, ходила, то краску продает, то что-нибудь. Я с нее ничего не брала, а так дам картошки или чего. Жили ж мы тогда хорошо. Так она у меня и ночует. Заглянула она в воз и говорит:

— Кто это тебя, Аленка? Какая ж ты несчастливая?!

Да на меня упала, да стала голосить, обняла меня да стала целовать. Целует и плачет. А он спрашивает у нее, немец, по-немецки:

— Кто это?

А она говорит:

— Это моя родня, моя фамилия[35].

Она сама из немцев, осталась еще в когдатошнюю войну. Он работал на заводе, мужик ее. Работал на заводе каким-то старшим и остался тут жить. А она по-немецки говорила. Так она упала на меня и говорит: „Это моя фамилия!..“ Поговорили они по-немецки, и она говорит:

— Пускай ко мне везут.

Правда, она и повезла меня. Я обомлевшая была. А как немножко что хорошо увижу, так я ей руки целую и говорю:

— Мамко, спасай меня!..

— А что ж мне с вами делать! — говорит она. — Что мне с вами делать?

А мой это хлопчик маленький придет да в руки ее целует:

— Ах, тетенька, спасайте мою мамку!

Маленький был, а — бедненький — целует в руки.

Она побежала и позвала Козловского, перевязать меня. А у меня это кровь кругом, да застыла она, да мне уже так делается, что и не могу я. А Козловский говорит: „Помойте ее“. Она, правда, затопила ночью печку, помыла меня, переодела во все свое и положила.

На другой день рано прибежал тот немец проверять меня, у нее ли я. А она поставила кровать около печки и положила меня около печки. Он пришел, посмотрел, поговорил с нею. Она говорит:

— Она совсем никуда не годна, может, и помрет. Так они взяли меня, и завез меня один человек в больницу, в Петриков. И уже я лежала в том Петрикове. А дети мои остались там, у человека…

Вопрос: — А что было с вами после?

— Что было? Я работала на ферме, когда уже наши пришли, и получала премировку. И сколько ж лет я работала! И в Мозырь меня вызывали. Где я не была! Я и в сельсовете была, — меня ж после войны членом сельсовета выбрали… Приедут, заберут меня легковушкой.

Стали мы там делить добро на сирот. Ну, я и думаю, что как мне плохо, то и другому так же это плохо. Один говорит, что которое дитя от тех, что за немца были, — то оно другое. А это ж все равно наши дети, а то, что мать его и батька невесть где, то что ж оно, дитятко, виновато. Я взяла да вступилась там за одну, потому что они бедные, ничего у них не было, а их, детей, двое. Я и говорю:

— Им надо дать хотя бы что-нибудь, ну, хоть тело прикрыть. Потому что дети — есть дети, детей жалко, они не виноваты. Я заступалась, и за детей я всегда буду заступаться. За что же им страдать? Они наши, государственные дети. Они у нас воспитываются, у нас растут, они нам и будут.

И я благодарю, что лягу и сплю спокойно. Не то что которые: „Дай, дай!..“ А я довольна, что лягу спать да переночую спокойно. И благодарю я нашему государству, нашим бойцам, что нас освободили и что у меня осталось хоть немножко деток. Уже и внучки наши полягут поспят, и сама я лягу, добрые люди, да посплю…

А так же я, хлопчики, не спала в хате. Когда при немцах еще.

Забрали меня, правда, партизаны в лес. Сяду я на кочке да и причитаю: „За что меня так наказало? За что я так страдаю?..“ Позавелись у меня эти на ранах, извиняйте, черви. Возьму я их так пальцами, повыгребаю, да возьму так чем-нибудь перевяжу. Ведь ходуном ходят, так и слыхать, как они ходят по мне, по руке. Что же, знаете, живая кровь. А лес, а мошкара эта! Нападает же, невозможно переночевать. И бинтов же нема. Тряпочкой какой-нибудь завяжешь…

Потом пришла наша армия, да поставили орудия, да будут это по Петрикове бить, немцев из Петрикова выгонять. Приходит ко мне один военный и говорит:

— Что вы так, бабушка, сидите с детками?

— Сижу, говорю, куда деться?

— А чего это у вас… такой курень?

— Потому что некому настоящего сделать. Моего человека нема. Другие люди то с дедами, то с отцами. А у меня был этот больший хлопец, дак и того нема, в партизанах.

— Знаете что, — говорит он, — будет бой, и мы вас отсюда вывезем.

И, правда, приехала подвода, забрали моих детей, да забрали меня, да завезли куда-то туда под Буйновичи. На дворе там какая-то истопочка стояла в лесу, и сидели мы в той истопочке. Ну, что же, есть нечего, дети малые, — что делать? Там военные стояли раньше, и там курени, и в тех куренях мелкие картошки, которыми они коней кормили. Пойдет моя девочка да насобирает

тех картошек, да в той землянке мы уже как-нибудь спроворим те картошки. А потом нас еще дальше отбросили, это как бились за Петриков. Куда-то нас аж под Украину туда.

Там мы уже так и пробыли, пока нас совсем не освободили. У людей мы там питались. Люди были в куренях, ни одной хаты не было.

А потом пришло, что те, которые из-под Петрикова, чтоб ехали домой. Пошла я к тому начальству, да говорю, что у меня малые дети, как же я? Да там же две реки, одна и другая, нам надо перебираться, а я не могу. Дети мои попростуживались, да у девочки нога нарвала, и хлопчик маленький этот…

И они сказали:

— Мы завтра, тетенька, за вами подводу пришлем. Прислали они назавтра, а эти петриковцы, — известно, мужчины, — посбегались да понаносили своих клунков на ту подводу и не пускают меня. А он спрашивает фамилию, тот человек, и говорит, что он с места не тронется, пока ему не скажут, где та женщина, за которой он приехал.

— Она была раненная и у нее двое детей, что ж она с ними сделает? Двое деток у нее, одно малое, а другое немного побольше. Ее надо отвезти.

Поснимали они те клунки, да взяли меня, да еще одну там вдову, да это подвезли нас сюда. Который вез, это был не солдат, а просто сельсоветом назначенный. Нас везли так — от сельсовета до сельсовета: в каждом сельсовете назначали подводу. И довезли нас так до речки, а через речку лодкой перевозили — уже военные.

Тоже пришла — ни хаты, и некуда деться, хоть ты иди в свет. Правда, тут еще одной молодицы хата осталась, дак мы пособирались в ту хату.

А потом начали люди хаты строить. А я иду да плачу. А он, какой-то из Петрнкова, спрашивает:

— Чего вы плачете?

Как чего? Кто жив, так тот строится, а я не знаю, куда иду. И детки мои. Нема ни хаты… А он говорит:

— Знаете что, не плачьте. Хату как-нибудь сделаем. Мы дадим вам лесу, в кредит.

Правда, что и говорить, дали мне этого лесу, выписали и выделили подводу. И так это в кредит давали, а потом я оплатила. И вот эту хатинку сделала…

А детки выросли, тот в армию, тот туда — порасходились.

Вот и кончено уже…

А теперь я уже, хлопчики, не иду никуда, я двор не могу перейти. Ноги болят, и недослышу я, уже совсем овеем больная.

Уже никуда негодна. Уже я и коровки не держу.

Но я довольна, что, вот, и мои детки ходят, и внучки ходят и учатся, и бесплатно, и куда ты теперь ни повсюду наши, всюду ты вольный и никого не боишься. При своих людях я что хочешь скажу. А немец, если б он побыл тут немного, дак выкатил бы всех, ни одной души не осталось бы. Это только благодаря нашим бойцам да нашим руководителям, что они его отсюда как-то выковыряли. Я уже говорила им, детям, и своим и чужим: „Детки, за эту власть стойте, как за стену, беритесь, смотрите, и слушайте, и делайте, и правильно все делайте, потому что это не жизнь, а цветы“. Правда, правда!

Вопрос: — А вы учились немного, Алена Ивановна?

— Не, я совсем неученая…»

Пока мы беседовали вечером, в хате нам, время от времени, мешала — казалось, что нарочно, — бабулина гостья, внучка, взрослая дочь той самой Евки, что уцелела и замужем далековато. Гостья собиралась куда-то, ходила то из хаты, то в хату, а потом и не пошла никуда и не растолковать было девчине, что ни стука дверьми, ни топота каблучков нам на магнитофонную ленту — сквозь бабушкины слова — не надо.

Назавтра раненько, когда мы приехали в Слободу из Петрикова снова и попросили Алену Ивановну на лавочку перед хатой, мешали нам петухи, собака и воробьи. Прямо жалко, что в нашей бумажной передаче бабушкиного рассказа не осталось этих «помех». На магнитофонной ленте они, понятно, есть, — то кукареканье раз за разом, такое обычное и необычное: то ленивое, на всякий случай, позвякивание собаки на соседском дворе, через улицу, обеспокоенной присутствием нашего «газика» около их плетня; то сытое чириканье воробьев в росной солнечной листве вишняка. А уже и на магнитофонной ленте нету ни солнца, ни росы, ни запахов богатого, спелого лета. Такого не уловит, не передаст как следует и фотоаппарат.

Потому что мы приехали сюда еще раз, чтоб прежде всего снять бабусю Алену. Для старухи, которая все еще хозяйка, было уже не рано: она уже копалась во дворе. А внучку, молоденькую учительницу, бабусе пришлось будить. Разбудила. И сама приоделась, и Вале сказала принарядиться. Опять то же, народное: надо так надо. Пожалуй, что и совсем не думая или хоть не слишком задумываясь — а увидит она когда-нибудь те снимки или не увидит, будет знать или не будет, что ж там они, эти люди, в той своей книге напишу.

Бабуся — из тех будто суровых с виду, однако справедливых и добрых женщин, неутомимых работниц, от которых жизнь

светлее. Об этом говорит и вид ее, выражение глаз, суровое, мудрое и доброе, глаз, таких уже усталых, которые так близко смотрели в глаза смерти…

Сколько раз умирает мать, у которой на глазах убивают детей?

Ну, а Валя, она оказалась утром веселой девчиной, которая просто не знает цены, значения, содержания того, что пережили ее самые близкие, не знает, какое отношение имеет то страшное к ее молодости.

Нам было немного тревожно, что вчерашний рассказ Алены Ивановны мы могли, чего доброго, записать не очень удачно, а, с другой стороны, просто хотелось, чтобы старуха рассказала, уточнила, прояснила то да се на свежую голову. Мы попросили ее осторожно. Бабуся, возможно, и не спала совсем, растревоженная поздно вечером, или спала не так и не столько, как обычно, по согласилась она и рассказала, увлекшись, все еще раз — и, в самом деле, более стройно и точно. Два рассказа ее, снятые с магнитофона на бумагу, сведены нами в один, с нужным сохранением всего главного.

Последнее, что нам сказала Алена Ивановна, не было ответом на наш какой-нибудь вопрос. Это был голос ее души, очищенной страданиями, короткое и ясное решение горького, настойчивого раздумья. Маленький мальчик, который — под обстрелом взрослых, отлично вооруженных и обученных убивать — бежал, катился глубокой бороздой, вновь, который уже раз за тридцать лет вернулся в сердце матери, ожил перед ее глазами…

«…Я это подумаю, так мне страшно…

Я жила в те войны, как те войны были. Уже немолодая. Ну, то свиней берут, то что… От зверя, так хоть удерешь, на сосенку какую, что ли. А это ж человек. Человек человека найдет, где учует.

Ой, что уж это! — это же не война была, а прямо так… Ну, тот, что на фронте, ну, того человека убьют, — дак он лее воевал, ведь правда? А дитя то бедное? Хлопчик, он же, бедный, нигде не был. Также убивали… Это дитя маленькое бежит, — за что ж его? Оно ж маленькое, оно ж дитя, оно ж катилось, как то яблочко… А они — бьют. Искры скачут!..

Что это, что это за такое было у них — я не знаю.

Это звери были, а не люди. Это не люди были, это — звери были..»

…ТЯЖЕЛО МНЕ БЫЛО ПОД ЗЕМЛЕЙ

«**Иванова Акулина Семеновна**, 1908, белоруска, отношение к семье — мать. Проколот язык 2 раза, съела песку горсть и бита в голову, но выжила и вылезла сама из ямы, где была».

Это — из «Списка погибших семей от руки германского фашизма жителей д. Рудня, Руднянского сельсовета» Подписано «Комиссар парт, отряда им. Чапаева Дроздов 8 VIII 42». Примечание, сделанное через четверть столетня «Подлинник списка в партархиве ЦК КПБ, фонд 3904, вязка 1, дело 1, опись 1, лист 15».

Нами этот документ замечен в фондах «Музея народной славы» в Россонах Витебской области.

«…Допрашивали, били их там. Они все иссиненные были Убили большего мальчика, потом младшего на Руках, потом ее — третью. А из ямы она вылезла сама Почувствовала, что немного песку наверху, почувствовала, что она вылезет, и стала ногами шевелить, шевелить — и выползла из ямы Но дальше она идти никуда Не могла Так и лежала около ямы. Она боялась, что, може, немцы в деревне, да она уже и не могла идти. Потом привели ее к нам, положили на пол. Рвоты у нее стали такие сильные: просто зелень и песок…

А на другую ночь обратно немцы вернулись к нам Экспедиция явилась. А у нее сознание потеряно, она стала кричать… Дождь такой был в ту ночь! Собралось в нашу хату полно людей. Она кричит без памяти: „Ай-ай-ай!“ А мама и я успокаиваем ее, что не кричи — кругов немцы. Зажимаем ей рот.

А немцы вокруг хаты — только каски лязгают по стенам. Дождь льет такой, что жутко. И мы не можем выйти во двор. И они, сволочи, не просятся в хату. Ни один не постучал. Так тихонько стоят, слышим только: „Гар, гар, гар!“ И касками по стенкам ляпают…»

(Из рассказа **Алены Григорьевны Жарченко**, родственницы Акулины Ивановой. Деревня Рудня Российского района.)

Здесь был найден сегодняшний адрес воскресшей женщины: деревня Бараново близ Полоцка.

С крыльца большого и уже старого деревянного многоквартирного дома видать широкую зеленую долину, густо, еще не высоко поросшую ольшаником и лозняком. В чащобе

угадывается вода — речушка или просто мокрая лощина.

— У вас тут много соловьев.

Хоть уже июнь, а соловьи тут, на зеленой да озерной Витебщине, дружно преследуют нас в каждом районе, от деревни до деревни.

— Чего-чего, а этого хватает, — отвечает женщина. В дом инвалидов, что размещается недалеко отсюда, ей, санитарке, позвонили из района. Акулина Семеновна сегодня выходная, встретила нас на стежке далековато от дома, в котором живет.

В тесной чистой комнатушке одинокой женщины — швейная машина, кровать, шкаф, столик, большое зеркало. Пяти человекам — не повернуться. «Садитесь здесь вот, у меня на кровати чистенько». Но сидит только один, с магнитофоном у столика. Стоит и хозяйка, хоть ей как раз и присесть бы на краешке своей пышной постели.

Рассказывает женщина, слезы будто не осмеливаются показаться. Даже как деток стреляли, она говорит почти что сдержанно.

«…А муж мой был в отряде. Мы молоко собирали, возили в отряд. И как раз вернулись из отряда. Все мы носили молоко партизанам. Отвезли и приехали домой. И только я начала печку топить — сейчас прибегает Щедров, сосед, и будет говорить: „Немцы идут?“ Тут я скорей из хаты что-нибудь вынесла, а тут и началась стрельба.

А они обошли кругом по леску, по опушке, эти немцы, и началась стрельба. А мы тогда из лесу да к разъезду. Сели там, полежали, и сейчас немцы нас там окружили. Взяли и поставили.

— Вот, говорят, вот, коли ваши мужья не в партизанах, дак по вас партизаны будут стрелять, а если в партизанах — дак по вас стрелять не будут.

Партизаны стихли. Там пулеметы ихние попортились, что ли. Стихли стрелять. Немцы нас и погнали…

Вопрос: — А вас они где, вы говорили, поставили?

— Тут, где наш разъезд. И вот так поставили, на обмежек, при дороге. Чтоб партизаны видели. А сами стоят. И Полторенко. Обнялся он, поцеловался с тем, у которого кокарда большая… Полторенко кто такой? Он издох недавно. Который нас продал немцам. Наш, путевой бывший обходчик.

И вот погнали нас в Рудню. И загнали в байню. И сидели мы там.

Стали допрашивать. И вот, кого допросят, выведут туда и начнут сечь. Секут в Осиповой хате. Там и сестра моя была. Сестру мою поймали назавтра в поле и привели. И коров

пригнали всех, забрали. Одну допросили, Другую допросили и пустили. Ну, думаем, пустят всех. Нам из байни в оконце видать. А потом побежали за ними и их вернули. Тут Дюбенчиху вызвали. Каждую семью отдельно. И секли плетями. Дюбенчиху вызвали, Шарпенчиху вызвали, Быховцову вызвали… Каждую семью отдельно. И — нет. Вызовут — и нет… И мне пришлось с ребятками. Вызвали.

Вопрос: — Сколько лет было вашим детям?

— Мальчик был один с тридцать третьего года, второй — с тридцать седьмого. Ну, и вот как только вызвали туда, в хату, так сразу:

— Говори, где твой муж!.. — Я говорю:

— Взят по первой мобилизации.

— Говори, партизанская морда! Где ты была сегодня?

— Нигде, говорю, ребятам есть готовила, белье стирала. Нигде не была.

— Говори сейчас же!..

Цап за волосы — об землю. Начал лупить. Принесли банку песку, большую такую, сухого.

— Ешь, говорит, партизанская собачья морда!

На стол насыпали. И этот песок ела я. Сухой, не лезет. Там и навоз, и все. Никак не съем. И все ж ела — задыхалась, дышать нечем. Все съела. Щелочка там была. Раздвинувши стол, а там песок. Он как начал лупить по голове плеткой.

— Вылижи, собачья морда, этот песок! Языком вылизала. Тогда:

— Высунь язык! На стол!

Я так стою, а он как мотанет голову за волосы, вытянул язык и большой иглой начал колоть. Прямо обомлело все, не чувствую ничего. Тогда — волосы… Положили… Один накрутит и другой накрутит волосы — как дернут, как дернут!.. Вырвали все волосы из головы. Тогда положили, один стал на голову, другой на ноги и стали сечь плетками. Секли, секли… Они б засекли до смерти, так, как и сестру, и Дюбенчиху… Дак принесли им есть. Хлеб, намазанный маслом, и котелочки такие. Они сгребли эту еду и пошли на улицу.

А немец и потащил нас в хлев. Аж туда притащил и показывает — накрыл дерюгой-тряпичницей и показывает: не подымайся. А сам пошел и нет его, и нет. Приводит коня. Конь большущий такой. Начали его водить по людям, топтать. Ребят — этим конем… Офицер привел, переводчик. Немец.

Еще люди будут говорить:

— Вы неправильно делаете… господин переводчик!

— Почему, говорит, неправильно?

— По первой мобилизации взят мой… А что вы нас так казните?..

Потом переводчик начал смотреть, как кто лежит — кто живой. Уже было поздненько так. А этим полицаям — как уже они издевались над нами!.. Перво-наперво взяли Выховцову Лиду и потащили. И мальчика штыком пробили. И прямо в яму — и выстрелили. Ну, а потом Шарпенчиху. Тогда Дюбенкину семью. А Дюбенкина девчонка была — звали Яниной, шестнадцать лет ей было. Пришел немец, офицер, и будет говорить:

— Если со мной согласишься — будешь жить, а не согласишься — убьем.

А она:

— Бейте! — За мать загреблась, уже мертвую. — Я никуда не пойду!..

Вот тогда их повели к яме и расстреляли.

И вот мальчик этот больший идет… А я уже не слы5 шала ногами, или я по земле иду, или по небу. Вся горю, иссечена вся, волосы все вырваны, язык распух. Ведут к яме. А больший мальчик:

— Дяденьки, не стреляйте!

И меньший… На руках несла… Не помню больше ничего… Очутилась в яме. Только блеснуло, огонь так… Старшего мальчика первым стрельнул, меня тогда, а тогда младшего. Ну вот зарыли — не помню ничего, а слышу — песок вначале шу-шу, шу-шу, шу-шу… Песок начали кидать. Поползли муравьи в рот, в нос. Тяжело мне было под землей. Они закопали, слышно: дух-дух, дух-дух — пошли…

Это я тогда помнила вроде бы. А как вылезла и отползла, вот так, как до этого домика, — ничего не помню. Помню, что вылезла: „Поползу топиться в речку“. Это я помню. А тогда уже, как свалилась, подниму голову — не могу. Я ж не знала, что я прострелена. Не помню ничего. Говорят, что прострелена: вот, в затылок выстрелено, а пуля вышедши… Привозили этого… врача из-за фронта, на Селявский аэродром. Ага. Я на девятый день пришла к памяти только. Мне рассказывала это, у кого я лежала, — Белькова. Ну, вот. Это немцы поехали — партизаны сюда. А я отползла, легла, и так крови, говорят люди, так нашло… В крови в этой и лежала. Слышу: дух-дух — кто-то заговорил. Из Сосней, там жил такой. Вашень ихняя фамилия, Вашнёвы. Прибежал старик и будет говорить:

— Какая-то баба лежит, женщина убитая. Семеновна! Колхозники, сюды!

Прибежали. А я услышала его голос, поднялась вот Так назад — ударилась, полилась кровь изо рта, из ушей — всюду. Они

меня подхватили на тряпичницу, понесли к Бельковым в хату.

Это потом уже — врача. Мой прибежал из отряда, вызвал. Врач этот приехал, песок выкачал из меня. И рвало, и песок шел. Он все выкачал — и песок, и воду… Раны эти мои на языке помазал, тогда сюда, рану эту… Приходили медсестры из отряда, чтоб загноения не было в ране. А в голове у меня все — бом-бом-бом… Никак. А он приехал потом, распер этот череп, и на мозговой оболочке была кровь, какой-то ложечкой доставал он эту кровь. Как достал кровь из мозговой оболочки…

Вопрос: — Врач из-за фронта прилетел?

— В Селявщину, на аэродром. Они меня хотели везти за фронт. А хирург говорит:

— Чтобы вы спаслись, тут надо ведро маку и меду вместе. Мак тереть, толочь и тереть с медом и есть. Вы кровью совсем сошли. Вы тогда поправитесь и встанете. А если не будете этого употреблять… За фронтом вам этого не дадут. Война.

Вот. Так я и поправлялась. Принесло мне население ведро маку за один день, а мед свой был, пчелы свои были. Вот так. Я только на девятый день пришла к памяти, стала есть это, и на пятый, месяц только стала ходить. Вот…»

Потом она нас угощала, снова тихая и добрая. И шофера вышла позвала Закрепление добрых чувств встречи — может, единственной в нашей, всех нас вместе, жизни.

Около крыльца, перед зеленой долиной, цвела сирень. А соловьев, когда мы вышли, не было слышно. Может, что самый полдень, солнце совсем разогнало щедрый после вчерашнего дождя туман, а может, и потому, что все же середина июня, а го и просто случайность, передышка у них.

А случайность это или закономерность — то, что выжила, воскресла она, Акулина Семеновна Иванова? На беду палачам, против которых после свидетельствовала на двух процессах? На радость людям, которые любят добро, — на необычную, жутковатую радость?..

ПОЦЕЛОВАТЬ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ…

1

Любовь Семеновна Иванова. Семьдесят пять лет. Горбачево Россонского района Витебской области.

«В партизанах мужик мой не был, он был на фронте. Это мне надо сюда говорить? *(Показывает на микрофон)* Просто говорить и все? Я и буду просто говорить.

Было такое время, что пришел ворог в деревню Так мы плакали да горевали, но жили на месте, а уже как ворог пришел, дак мы с Лидой — у меня такая подружка была — в лес пошли В лесу скитались Она — учительница У нее двое детей было, а у меня один Витя.

А тут собирали, стреляли, вешали.

Когда я из беженцев пришла, дак на моей хате было написано „Партизанский, бандитский дом“. Во, мой сынок, так было написано. Женя, мой старший сын, пришел из партизан — топором вырубал — нельзя было стереть, а некрасиво было написано на хате, у порога собирали тут людей, стреляли…

У брата моего шесть душ взяли — брата, невестку и три ихних дочки, и внучонка. У меня была одна сестра, и ее взяли. Тут они уже распоряжались, и стреляли, и жгли.

Тут во яма была, и там яма была. Сами себе люди копали ямы. А потом автоматом провели.

Семьдесят человек было там. Когда мы из лесу вернулись, то выкопали их, перевезли на кладбище.

Вопрос; — А как вы по лесу с подругой вашей, с детьми вашими ходили?

— Ходили, сынок мой, ходили… Все расскажу. Канашонки от нас недалеко. Прибегает мой хлопец старший. Вечером. Ему только пошел шестнадцатый годок, и его в партизаны приняли. Говорит:

— Мама, немец в Канашонки пришел!..

Он теперь похоронен аж в Алитусе. И звали его Женя. Женя Иванов Егорович. Дошел он аж до Алитуса, и там убили его. Я уже два раза на могилу ездила…

Ну, а тогда сказал сынок мой:

— Мама, немец в Канашонках!

Тряпки мы свои собрали. Запряг он коня и завез в лес, в болото, Мы с подругой Лидой землянку выкопали, в землянке этой неделю сидели. А с харчами-то как? У нас была картошка закопана. А снег же был! Ночью ходили мы картошку ту из ямы доставать. Варили ее там. А потом собрались ночью, пошли

проведать в деревню. Никого нема. Мы вдвоем пришли с Лидой в деревню. Ребят у нее двое, и у меня — один мой, Витя. Детей в землянке оставили, а сами пошли. Ходим по деревне. Никогошеньки нема, только один… Ну, как это? И по-нашему, и по-вашему — бык. Большой, большой бык, и с цепью. С цепи сорвался. Поглядела я в хлев, там у меня оставались овечки. Никого нема. Хата — цела. Мы поглядели и пошли. Ну, а завтра, решили, пойдем еще раз домой. Уже с детьми. Никого нет — не будет немцев.

Переспали мы ночь в землянке. Какой там сон на сырой земельке? У нас же там ничего не было. От, може, тряпка была какая. А раненько выбрались и домой.

У нее там хата была, такая маленькая. Фельдшерская вошебойка была, а она, Лида, потом приехала из Витебска и там жила. И супу наварили мы какого-то. А потом глядим: снег белый-белый, и видно, что люди так идут — как темная хмара, человек от человека, как вот от этой стенки до этой. Ехали дорогой, а потом тут у нас озеро, да и по озеру идут — плотно-плотно!..

А мы только что вошли в хату и уселись. Если б нас застали там, в лесу, в землянке — так бы нам и все было.

Мы как сидели в хате, так и суп наш и все осталось. А ребята эти голодные. Мы уже и есть не хотели. И Входит полицай. А у нее были галоши, мокрые, положила на загнеток просушить. Он галоши берет и за пазуху. Мы ничего не говорим. Ага. За пазуху положил, а тут сейчас входит немец.

— Матке, матке, матке!.. Партизан у вас есть?

— Нет у нас партизана.

— А вы, — говорит он чисто на русский язык, — вы уже прочищенные?

А мы сидим и трясемся: и у нее сын в отряде, и у меня…

Так они в лес и ушли от нас.

А этот полицай испугался, как немец пришел. Запахнул немного эти галоши. А мы уже молчим.

Потом глядим в окно — оттудочка едут наши люди. На возах с детьми бабы, старики… Они уже это прочищенные. Идут, идут… И кони, и коровы, и люди идут. А я говорю:

— Ну, Лида Ивановна, и мы пойдем вместе.

Мой хлопчик так заболел, кровавым поносом. Нужна горячая еда, а он не мог без горячей. Так ослабел. А ейные, Лидины, здоровее ребяты. Держу я этого своего за руку и не знаю, что с ним делать… Тут идет одна, Анюта Степаниха. Она где-то там в Латвии живет теперь. А я веду малого и говорю:

— Анютка, возьми моего Витю. Може, моя жизнь тут

останется. А я, говорю, пойду, куда мои глазы глядят. Люди прочищенные идут, и мы сзади за ними пойдем, как прочищенные. Лида идет с ребятами своими, а мой валится…

А у нее, у той Анюты, значит, дочка была, девка годов шестнадцать. И этот мой партизан, Женя мой, и эта девка — они, как в школу ходили, то они подруживали. Это Клавдя она, дай бог ей много лет жить и сегодня! Как я так сказала ее матери, то мать ничего не сказала, а Клавдя эта подошла, моего Витю за руку и повела в хату. У него кровавый понос был, уже он идти не может…

А снег!.. А куда ж идти? Неизвестно. А я подымусь — Да об землю: дитя — один глаз был во лбу, да и тот здесь остался… Она, правда, моя подружка Лида, меня под Руку:

— Как-нибудь шагу прибавь, как-нибудь шагу прибавь!..

И мы сюда вот… Отсюда улица как раз, той улицей нашей и — на большак. Оттуда немцы едут и едут на конях. И шкафы, и свиней, и овец везут из-под Старины. Старина горит, и Кулешово горит — все, все горит!.. А мы отсюда уже напротив плывем.

А из нашей деревни да был полицай. Ну, не полицай, по он тоже был не советский человек. Я только его и боялась. Так меня тут никто не знает, а он знает. Ну, думаю, если уже он встретит меня, то мне не жить…

А уже надо идти. Не-е, чем уже тут попадать в руки совсем, на какую висельницу, то лучше идти. Идем мы. Идем вдвоем. У нее ребяты с нею, и мы идем. Она меня под руку подвела немного, потому что я уже не могла: от того, что ребенка оставила… А густо-густо кони так идут, один за одним, сани за санями. Которые люди идут, которые едут. Коров ведут. А нас на сани никто не берет. А я уже сани подпихиваю — участница!.. *(Смеется.)* А Лидиных ребят на сани тоже не берут… А немцы, а полицаи напротив нам едут да едут. Они все едут, густо-густо, а мы напротив… Приехали туда, под Байдино под наше, нас останавливают:

— Что, вы — прочищенные?

— Прочищенные.

— У вас нет партизан?

— Нет.

— Ну, то езжайте.

Повернули мы. Они отсюда, а мы — так в деревню. А сугробы! А снег!.. Выехали на озеро. Мария Колдубей нам в лицо говорит:

— Из-за вас нас застрелят. Вы с нами не ездите. Они поехали на ту сторону, а мы — сами незнаем куда… С этой молодицей, и двое ребят уже. Ну что ж. На мне был полушубок, а на голове —

так уже, знаете, без памяти — белая простыня. А снег!.. Я говорю:

— Ну, Лида Ивановна, останемся мы тут в снегу в этом!.

Уже вечереет. Подошли под Веруселимку, сели. А девочка эта спать хочет. Мальцу было лет двенадцать, а девочке — лет десять. Сели мы так вдвоем, с ней рядом. Тогда эту девчонку… А она только что ее переобула, сняла какие-то там валенки, а ботиночки обула. Я эту девчонку — голову к себе притулила, а она — ноги. И тогда этот мальчик сел в кучечку. Простыней — я сняла с головы — накрылись. А мы это пришли к озеру, надо через озеро, лес у нас тут недалеко. Ну, и сидим. Сидим. Эта девчонка дремлет, а она ее под бока бьет все. А, знаете, — на снегу и не простудились…

Встали потом — пойдем через озеро. Все мокрые, а потом обмерзли, идешь, и шумит все на тебе. Она за руку эту девочку, а мальчишка идет. Через озеро прошли — там лесок неширокий, а там — лесник живет. Пойдем к леснику к этому уже. Идем по лесу, а немцы как кинут ракету — видно-видно! — стоим на месте. А потемнеет — дальше идем.

Пришли, а тут уже байня его недалеко, пойдем в ту байню, потому что в хате, може, немцы, мы ж не знаем. Стояли, стояли — уже совсем стемнело. В байню пошли. А сами — все мокрое. Господи, не надо и говорить, какое горе!.. *(Плачет, а соседка, чтоб успокоить ее, спрашивает: „А в чью же байню?“ — „В чью же, — отвечает она, — в лесникову“.)* Глядим, лежит охапка дров. А я и спичек купила, летом, в троицу еще, и так в пиджак зашила. А это ж уже когда было — зимой, и все я эту коробочку носила. И затопить байню нам как раз, дрова есть. И как раз в окно лесниковой хаты — наши двери. „Ну что ж, — говорим, — если только немцы, а мы затопим, то уже ж недалеко…“ Но так дал бог, что не было у них немцев. У лесника. Ну вот — затопили. Я эти двери закрываю. Ребята на земле позаснули. Дрова не горят. Я глазы испортила, глазы мои дым ест. А дрова эти только тлели. Немного они грели эту байню. Дрова истлели, и дырочку мы такую оставили, чтобы шел дым. Ну, потом ребят на полок с земли перетащили, она около них, а я так на каменку, она тепленькая была, легла на каменку, вся мокрая, и заснули мы.

Ну, а назавтра, дал бог, что снежком обкидало эту байню. Надо ж уже нам вставать, идти к этому человеку. Я говорю:

— Лида Ивановна, если немцев нет, то мы дырочку эту откроем — и видно будет, что следов нет, что они не ходили.

Сидели, сидели, глядели, глядели — нет… *(Плачет.)*

Ну, пойдем. Правда, немцев нема. Там Анюта в сенях сидела, этого мужчины сестра… *(Плачет.)* Налили нам миску Щей и картошки. Може, три дня не евши были. Какой-то горох был:

Лида немного гороху взяла, ребята там жевали.

А в Скарбунах уже они поубивали баб. И уехали из Скарбунов. А у меня глазы саднят, слезятся, не вижу ничего. Пришли мы в Скарбуны. А там девки плачут: молодых не убивали, а только старух поубивали. Тогда попросила я мыла. Мне дали, и я промыла глазы. Пошли мы уже в Вератино. Пришли в Вератино — у брата моего только так вот шатаются ставни. В хату я вошла, а там — никого, пусто: всех поубивали… Ой!..

Ну, что ж… А у меня ж, мой сынок, сердце бьется: один ребенок, глаз во лбу, и тот остался там… Витя. Теперь я увидела б его — поцеловала б только — и все… И не страх… мне… *(Плачет.)*

А ейные ребяты с нею.

И я пошла одна. Иду и не знаю, куда иду… Иду в Горбачево. Пришла, встречаю одного человека. Он говорит:

— Не иди, Семеновна, там теперь как раз „пурим“[36] идет. Никак не иди. Попадешь, там теперь самая расправа идет…

Пришла я в сосняк и стою. А что ж я выстою?..

Потом сестру свою встретила. Сестра моя родная, умерши уже. Я ей сказала, в какой хате мой хлопчик. Тогда она пошла, взяла хлопчика и опять назад. И так, дал бог, что немец ничего, — как стоял часовой, так ничего ей не сказал, и она прошла мимо. Как увидела я сыночка — ну, теперь все!..

И этот сынок у меня один. А тот, что был в отряде, — того убили. А этот в Ковалях прорабом работает. *(Плачет.)* Иванов Виктор Егорович…»

2

Алена Халимовна Бондарчук. Шестьдесят два года. Алексйчи Хойницкого района Гомельской области.

«…Догнали меня на своем огороде. А приехали они, мои дорогенькие, часов в одиннадцать. У меня было дитя маленькое, хлопчик был. Оно себе спит, а девочка старшенькая присматривала его. Я хотела малого грудью покормить. Потом схватила дитя и побежала. Иду я, а тут соседка моя со своим свекром едет и кричит мне: „Алена, Длена!..“ А уже немцы едут, Машины гудят. Начали люди бежать, и я вижу, вижу: в конце села загорелась хата. Я побежала туда, и свекор мой за мной. А дети мои старшие дома были. Иду я, а машинка такая, серенькая, идет, и в ней два немца в черцых шапках сидят. Около дуба они повернули, въехали в деревню, остановились и побежали. Потом вижу я: на кого-то они винтовки понаставляли. Дак я и закричала:

— Стась, убивают!..

Вопрос: — А деревню они окружили?

— Мамка моя, я ничего не видела. Видела только тех двух. Видела я только, как они винтовки понаставляли.

А мои детки маленькие — все ко мне. Людские дети, говорили люди, позаснули, а мои — ко мне. У меня хлопчик был один полгода, а другой — года три, и еще соседский один, и я с ними ползу, а потом как оглянусь — дак немцы идут за мной. Винтовки понаставляли, идут, идут… Хотелось мне в коноплю доползти. А пули свистят: сюда-туда, сюда-туда… Хлопчик мой старший упал и кричит:

— Ах, мамо, мамо, вон у вас кровь!..

И я уже вижу, что я лежу в песке, и во рту у меня песку много, а потом вижу, что хлопчика ранили, и шапочка с него слетела. И вижу я, что он розовенький был, а уже его губочки желтые-желтые, и говорить не может. А младший, как я с ним упала, дак услышала, как в грудках его захрипело. Прохрипело — и все. Уже и нема его…

А эти пули все свистят. Меня ранили, когда я ползла, дак неизвестно, которая пуля. Сроду я такого не видала, как они — шусь-шусь, сюда-туда кругом меня, а откуда они — я не вижу. Потому что я ползла. А как голову подниму, дак вижу, что те двое идут за мной и все стреляют…

А дальше уже — все: и я не поднялась, и хлопчики мои покончались. Подошел он ко мне, взял меня за руку выше локтя — голова моя приподнялась, — ляп об землю, и кровь из меня

течет. И они зиркнули на меня и ушли.

Приподнялась я только, чтоб хлопчика моего через борозду поцеловать, а я уже не в силах…

И вот, вижу я все это — все равно как сегодня, хоть сколько времени уже прошло — как он лежит и шапочка его свалилась…

Слышу я, что хата горит, трещит огонь. Все село уже горело. Потом слышу: соседка маме моей кричит:

— Бабо, они вон туда побежали!

И мама моя ко мне прибежала. Бежит уже она и голосит. А я уже сознания никакого больше не знала.

Потом мать моя и сестры мои говорили, как я его через борозду поцеловать хотела, но никак не могу, не поднялася… Только помню, как меня везли на возу по бороздам, как меня трясло. А они еще говорят, что я сама на воз залезла, потому что они забирали меня, мои братья и мать, и детей моих подобрали. Тут еще одна женщина говорит, что как везли меня с детками, да вон как кровь текла..

А баба одна говорила, что как убивали, дак моя девочка старшая очень просилась:

— А не убивайте, не убивайте меня, у меня ж батьки пет!..

Она была с тридцатого года, двенадцать годков. А было у меня тогда детей четверо, а свекор был пятый, моего хозяина батька, а я уже шестая. Детей всех поубивали, а свекра и меня ранили Они меня за малым богом не убили Я это не знаю, как я не захлебнулась: духу уже у меня не было. Так страшко было, так страшко!.. Особенно, как близко, а он еще подошел да за руку взял меня. Не знаю, за какую руку, може, за етую, потому что я вот так с хлопчиком ползла..

Тогда ж все люди боялись: как немцы в село, дак люди все — из села!..

А у меня, мои дорогенькие, только череп пробили… Одна рана и теперь еще не заживает. Тогда — целый год кости выходили.

Братья мои сделали мне хатку, а потом, как мужик с фронта пришел, дак еще больше построек добавил.

И уже я вам, мои дорогенькие ничего вам больше не могу рассказать. Я неграмотная, а после того, как в меня стреляли, я уже и все растеряла. Это только что у меня хозяин хороший, дак я так уже. После войны у меня еще трое деток. Разошлись дети по свету, а мы с дедом живем. Дед мой уехал сегодня, дома нема.

Вопрос: — А сколько людей убили в ваших Алексичах?

— Я вам, мамка моя, не могу рассказать. Люди рассказывают, что бытто душ семьсот…»

АКЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ЭКСПЕДИЦИЯ…

Гродненщина, если приехать сюда с Витебщины или с Полесья, выглядит краем полевым, обжитым. Лесные угодья сохранились здесь только вдоль Немана и его притоков. Неманскую Березу обняла Налибокская пуща, а Щара притулила к правому берегу Липичанскую. Уже от самого Слонима вдоль этого берега тянутся, где тонкой лентой, а где и широкими полосами, дубовые рощи. Дальше от русла дубняк смешивается с елью и сосною, сбивается в ладные боры, которые только на подступах к селениям рассыпаются мелкими рощицами или, сойдя на болота, вязнут там и, став карликовыми березниками да сосенниками, чахнут в зарослях багульника-дурнопьяна.

Селений здесь мало, разве что где-нибудь над самой речкой приютилась у берега деревенька с многозначительным названием Великая Воля, давнишняя приманка Для крепостных крестьян, для беспокойных бунтарских душ, которых нестерпимо мозолило помещичье ярмо и которых тянуло спрятаться от панской опеки в эту лесную глухомань. Заманчивые слова Великая Воля, Малая Воля вдруг снижаются в заземленных названиях деревенек Копти, Гародки, Голынка… Своевольница Щара привыкла выбрасывать сюда, направо, желтый песок да рыжий шлак. Намыла песчаных кос — вон на десятки километров — целые пустыни, кое-где поросшие низким кряжистым сосенником. Наносы урожайного ила и глины оседали слева, потому левый берег Щары издавна густо заселен, досмотрен — луг да поле, деревни, поселки, фермы. Будто кто натряс вдоль долины этих селений. Хаты и клубы, школы, сельмаги, единоличные сарайчики, погребки, амбарчики и колхозные коровники, свинарники, парки машин, мастерские, склады. Скромное, как старая сказка, индивидуальное жилье крестьян; масштабное по размерам страны и эпохи общественное колхозно-совхозное строительство.

Василевичи, Павловичи, Низ, Остров… В свое время это были естественно вписанные в пейзаж зеленые селения. На околицах и на развилках дорог стояли тут богатыри-дубы, липы и клены — посланцы языческих священных рощ, парламентеры в извечной войне между двумя богами — Полевиком и Лесовиком. Сегодня эти деревни застраиваются аккуратно, по плану.

В этих местах жил и работал на рубеже прошлого и нашего веков всемирно известный фольклорист Михаил Федоровский. Из таких сел, как Дубравка, Трахимовичи, Василевичи, Павловичи, Низ, он черпал большим ковшом народные белорусские песни, сказки, поверья и поговорки, что составили семь объемистых

томов труда «Lud bialoruski», украсили славянскую фольклористику.

Земля здесь холмистая. Поодаль от речки, где на километр, а где и на два, и на три, напрямик через пригорки и долины, бежит дорога. От самого Слонима… неизвестно докуда, наверно, до батьки-Немана, куда-то под Орлю. Человеку, который будет ехать на автомобиле по этой дороге, может иногда казаться, что он видит Щару с птичьего полета, так поразит его необычно извилистый желоб, каким его выгуляла себе за века эта озорница.

На каждом пригорке хочется постоять и полюбоваться, как хорошо и гармонично могут жить и творить человек и природа, если творят они согласно законам разума, совести, красоты.

Дорога не знает здесь отдыха. И вечером, и ночью ей надо нести вахту жизни — считать муки, радости и надежды заботливого дня, того, что уходит, и того, что должен родиться. Дорога, как лента какого-то циклопического магнитофона, проскальзывает между скатами грузовиков, которые движутся один за другим ив. Слонима с деревни на ночлег. И записываются на ленте-дороге события дня. Пишут на этой ленте протекторы автомашин, мотоциклов и тракторов, пишут ободья скрипучего воза, на котором старый колхозный сторож подвозит зеленый корм к колхозной ферме, пишут и писклявые колесики детской коляски, которую счастливая молодуха в белых туфельках выкатила на деревенскую улицу этим тихим предвечерьем первый раз в жизни.

…Зимой 1942 года здесь, над Щарою, вверх и вниз от Слонима, случилось такое, что дорога — свидетель этих событий — перестала понимать, по какому она идет свету и в какой свет ведет: на тот или на этот… Даже если бы случилось чудо, если бы обрела дорога дар речи, не смогла бы вразумительно рассказать нам об этом. Она спрашивала б у нас объяснения причин так, как спрашивают люди — свидетели событий, те, чьи голоса мы записали, а потом сняли с настоящей ленты настоящего магнитофона, чтобы подать их буквами и словами.

«…Как, говорите, для меня начинался день? Они пришли к нам в субботу, немцы. Называлось — это акция против партизан…»

Рассказывает **Петр Иосифович Савчиц** в деревне Гародки:

«…Приезжают немцы. И сразу оцепили деревню: поставили тут пулемет, потом и там поставили — кругом оцепили. Ходит староста с немцами и зазывает идти на проверку паспортов. И надо только обязательно забрать из дому семейный список. Ведь

тогда так было, что над дверями должен быть список семьи. Начали люди сходиться туда, куда они указали. Они вынесли стол, скамейку поставили. Проверять, значит.

Я сам подошел также. И забыл этот список, холера его знает. Говорю старосте:

— Список забыл.

А немец говорит по-польски:

— Нех иде пшинесе[37].

Пришел я домой, взял этот список. На столе стоял табак в консервной банке. Взял с собою. Сто лет бабка моя, она оставалась на койке. Кручу я папиросу и говорю:

— Бабо, наверно, убьют нас?

А она мне:

— Внучек, беги в лес!

Ей-богу. А как ты пойдешь? Если я пойду, дак они тех поубивают там…

Пришел я туда, а это оцепление, что было там, начало сходиться. Как начало оно сходиться, дак весь молодежь — фюк! — наутек. Остались одни старые. Дак немец вышел и говорит по-польски:

— Что вы, глупые? Чего вы утекаете? Кто вас убивать будет? Контроль идет.

А Старостин брат говорит:

— А може, мы еще хуже наделаем. Идите сюда, назад.

И начали возвращаться.

Как начали возвращаться — этот немец берет у людей паспорта и несет на стол. Раскатали лист на столе и что-то там карандашом черкает, на бумаге. А кто там знает, что.

Немец, когда забрал все наши паспорта, спросил у старосты по-польски:

— Чи бэндон вольнэ мешканя до пшэноцованя?

— Бэндон.[38]

Как только он сказал это „бэндон“, дак… немец быстро отступил назад два шага, а солдаты начали бить по всем — и по людям и по старосте. У немцев так было договорено между собой. Вместо команды.

Была одна такая молящая калечка, упала на колени, давай креститься, петь. Ничего не помогло…

Я успел выбежать, добежать до речки и вдоль берега пополз. Ранили меня — метров сто пятьдесят отбежался. А жену убили Отец и сестра также там остались на месте, убитые…»

В деревнях Боровики, Окуниново, что около Слонима вверх по Щаре, они провели ту же «акцию» иначе, выборочно. На

окуниновских хуторах уничтожение людей началось, когда еще и партизанские отряды не успели организоваться.

Житель Окунинова **Иван Игнатович Рубец** вспоминает:

«…Начали с того конца, вот как вы ехали, от Слонима, и согнали всех в этот конец деревни. Ходили по хатам, искали, где кто спрятан, даже были старики и женщины, которые не могли идти — их добивали в хате…

Тут один был какой-то… не могу сказать вам, русский или немец, или поляк — ну, конечно, он был в немецком. И вот он спрашивал у населения:

— Може, кто в Германии есть у вас? Може, кто поставку сдал немцам?

И так он несколько семей взял да отпустил. Понимаете? Из этой толпы.

Потом из Бытеня приперся на легковой машине какой-то эсэсовец. Такой рослый, здоровый мужчина. Прекратил — никого никуда. Никаких ни бумажек, ни справок.

Нас отогнали метров, може, на семьдесят от дороги к саду. И перво-наперво положили двоих: одного старика и другого… был оставшийся военнопленный. Их много было в деревне. Не примак, а не было куда деться гражданину. Здоровый такой, до времени работал у кузнеца молотобойцем. Они с краю как-то, наш старик и этот военнопленный, стояли. Взяли положили их на землю и пристрелили тут.

Когда пристрелили, то толпа посмотрела, какое дело — и кинулась кто куда. Но тут кругом сада и кругом деревни сидели засады, пулеметы стояли.

Куда б ты ни пошел, тебя всюду встречало.

Кто утекал — никто не утек.

Я держал дитя, около двух лет было девочке. Меня ранило в руку, сюда вот. Ребенок у меня из рук выпал. Я отбежал метров, може, каких семь-восемь. Такая есть там яма стародавняя. Я упал в эту яму. И вместе упала Девка из Окунинова, да так плотно легла, и я не знал: она живая или нет. Я спросил:

— Маруся, ты жива? А она:

— Жива!

— Молчи тогда, молчи! Если жива — не шевелись. А с этой стороны другая легла, тоже самостоятельная девка. Я не знал, что и она живая. Если б знал, то упредил бы тоже. Когда это все притихло… Они ходили, добивали. Вот подходят к нам. Подходит он и ногой в бок ей как дал. Она стерпела… На меня наступил и пошел к этой. Эту стукнул девчину — она подхватилась:

— А, говорит, паночку, я вам что-то скажу!

— А, ты скажешь!

И матом на нее. Русским матом. И ей из пистолета — в лоб. И пошел дальше.

Наутро приехали немцы, собрали тех, что были ими выпущены, и заставили копать могилу и всех — свезти в яму и засыпать землей.

А вот хутора у нас были, то годом раньше они там людей не расстреливали, а сгоняли одну-две семьи в помещение и поджигали. Жгли живьем. Сколько было хуторов, дак они всех и попалили. По всем хуторам одновременно.

У нас это было двадцать второго декабря сорок второго, а хутора палили зимой сорок первого…»

О трагедии деревушки Боровики мы услышали от **Марии Григорьевны Кулак**, памятливой и разговорчивой женщины, которая с точностью судебного протокола обрисовала все: и отбор, и расстрел, и собственную уверенность, что мучиться ей довелось за то, что она еще при панской власти, еще подростком полюбила комсомол, Советскую власть, которая была там, где-то далеко, за польско-советской границей, и тогда, в подполье, прятала Сергея Притыцкого[39].

«…Ну, рано встали — видим: окружены, некуда утекать. Сидим в хате, начали они ходить по хатам, выгонять на собрание. Зашли и сказали:

— С малютками! Все с малютками!

Ну что ж, мы собираемся и идем на то собрание.

А нас ставят тут вот, где теперь могила, всех в ряд. И проходит и спрашивает:

— Где монж?[40]

Ну, некоторые говорят: „Вот, стоит“. Дошло до меня, а он, мой Антон, пошел к сестре, за семь километров, пошел молотить жито. А у меня четыре месяца было ребенку. Я так и говорю.

— Когда? — спрашивает он по-польски.

— Вчера, — говорю я (он пошел третьего дня, а я говорю: вчера).

Но нет, не выкинули меня из этого ряда. А потом вызвали активистов, которые за Советскую власть были. Активистов — с семьею, всех.

— Переходите на ту сторону! Дошла до меня очередь.

— Активист Кулак Антон Романович! С родней переходи!

Перехожу я туда с тем дитем. Стою. К партизанским семьям нас всех присоединяют. А пулеметы так стоят все! Те люди — как заплакали! Всякими голосками, как пчелы Они — как косанули!

Все!..

Как косанули по нам, я успела наклониться, и она скользанула. А на мне такой ватник был толстый. Порвало мне пулей ватник и так мясо закатило, что рукой не накрыть. Чтоб еще чуть — дак она б у меня сюда вышла, пуля. Я лежу живая, и дитя живое. А я так зажимаю его лицом, а оно кричит. Чувствую, что удушаю, сердце болит. И я живая, и дитя живое… Пущу вольнее, оно закричит.

А потом постреляли третью группу.

Что ж, ходит, подымает, которые, може, еще не кончились… А они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, что дитя кричит, а на меня он не подумал, что я живая: волосы у меня понесло и платок, и тут кровь… В дитя это бахнул, и мне пальцы прострелил. Как держала я его за головку, так и мои пальцы он прострелил. И дитя стихло, кровь на меня, чувствую, свищет па лицо…

А около меня лежала его, Антонова, сестра. Еще хрипела Он ее поднимал. Она села, и так он ее дострелил. И пошел от меня — дальше и дальше, и все достреливал.

Ну, встала я. Стали люди подходить, те, посторонние, не расстрелянные. Глядят: лежат люди пострелянные. Стали плакать некоторые. Тогда я давай подыматься. Поднимаюсь — и не вылезти: вся завалена, вся в крови…

И маму мою убили, и сестру убили, всех, всю мою родню. А на утро что? Переночевали — как корчи. А я зашла в одну хату, мне немного закрыли эту рану, перевязали да говорят:

— Иди, Марья, а то через тебя и нас немцы убьют. Ну, то я из этой хаты в другую иду на ночь. Ночь переночую, говорят:

— Иди уже в третью хату, а то, говорят, мы боимся.

Так я три ночи проходила, а на четвертую он пришел, и уже я это… И завез он меня в больницу, в Слоним.

Завезли меня. Что ж говорить тем немцам в больнице?

Но завезли такой кусок сала, жбан меду, дак они ра-ады, и положили. Как только приехала, а они меня, раз-два, раздели, руки перевязали, плечо забинтовали — и в больницу.

Лежу одну неделю, другую неделю, и все приезжают в больницу и все допрашивают, кто какой.

Ночью забирают и расстреливают. Страшно, страшно!.. Страх меня взял, и я наказываю: „Приезжай, забирай!“

Дойдет, думаю, очередь и до меня уже.

Он приехал.

Еще перед той ночью, что я ночевала, привезли девчину из Голынки. И в больницу приехали ее брать — расстреливать. Но как-то ей связь сказала, и она утекла из, больницы. Ой, как

поднялась та больница уже! На ту дежурную!.. Хотели ее повесить или застрелить, что она упустила, чтоб та утекла.

А потом, на другую ночь, лежал военный раненый, наш военный. Он все ко мне приходил, расспрашивал. А я боюсь говорить. Но он — ну, ни шагу от меня. Все: „Тетка, так как там партизаны?“ А я ему говорю, а сама боюсь, ведь кто его знает…

А потом я приехала додому, и он приходит: утек тоже. Дали ему все — и сапоги к больнице принесли, и ушел из больницы. Через две недели приходит он:

— Ну вот, а я, говорит, уже в партизанах!

Приехала я из той больницы — ни топить, ни варить, ни одеться. Завез меня Антон к сестре, за семь километров, и была я там до самого апреля месяца, там лежала.

Вместе со мной тогда убили восемьдесят шесть человек…»

Деревня Василевичи. Партизан тут не было. Их стоянки были на правом, лесистом берегу Щары, а сюда, на густо заселенное левобережье, они приходили только ночами, как в зону действий и обеспечения. Добираться до партизан, вступать с ними в бой оккупантам было непросто. Тут, как и в других местах, они пустили в ход дьявольскую тактику: обвинить во всем население, вбить клин между мирными жителями и партизанами.

Оккупанты приказали по всем щаровским селам под угрозой смерти не пускать партизан в хаты, не давать есть, не разговаривать с ними. Но разве может мать не пустить в хату сына, жена — мужа, сестра — брата дан просто — своего человека? Не может, разумеется, пока не перестал человек быть человеком. Таким образом, оккупанты создали ситуацию, в которой все люди становились виноватыми только потому и только за то, что они — люди.

Послушаем, как тут проходила кровавая «акция».

Рассказывает **Мария Федоровна Сосновская**:

«…Ну, вот это перед колядами приехали до нас сюда убивать нас, в среду. Когда это было — я не знаю, я неграмотная.

Мы сидели в хате все. Мой муж поехал в город, повез — еще мы были должны — поставку. А две старших Дочки пошли до соседа с куделею, прясть. А я с этими, меньшими хлопцами, была дома. У меня это было шестеро детей, а я сама — седьмая. Дети младшие забавляются, а немец пришел в хату…

Не знаю я, немец он или не немец, но в немецкой одежде.

— Здравствуйте! А где хозяин? — Поехал в город.

— Ну, то собирайтесь на собрание. А я говорю:

— На какое собрание?

— Будете видеть, какое. А я говорю:

— Мои детки малые, босые, голые, холодно им будет.

Потому что бедно мы жили. Дети малые: одному три года, этому вот — пять лет, и те поприходили девчатки, уже все собрались, семь человек в хате. Ну, я за этого, завернула, несу. А того, меньшего, что три года, старшая девочка несла.

А он говорит:

— Замыкайте халупу и все выходите.

Ну, мы все собрались и пошли. И привели нас под Адама, к мосту. И сюда всех выгоняли. И мы стояли, може, полдня. Аж холодно стало. Дети начали дрожать, плакать. Тут — едет такси из города. А полномоченный был в городе. И Экарт. Это полномоченный и Экарт приехали на такси.

Мы стоим на этой стороне моста, от Адама, а такси стало на той стороне. Сразу повылезли они, и Экарт будет спрашивать:

— Полномоченный, какие это люди? Что ты собрал всех?

А он:

— У-у-у! Вшистки[41] бандиты!

Мои детки маленькие — „бандиты“. А Экарт опять будет спрашивать:

— А где ж те полицейские пострадавшие, сожженные партизанами?

— А-а-а, Сонечка, — будет кричать староста — иди сюда!

А там другую, третью… вызвал что-то человек пять полицейских семей…

А что ж с нами делать? Хотели нас загнать в Адамово гумно, пожечь. Открыли гумно то, поглядели, что там полно хлеба еще немолоченного и сена, — не поместятся, почти двести человек. Старые, малые, хлопцы, девчата — все вместе, кто только был дома. Не поместятся. Закрыли гумно. А полномоченный говорит:

— Их на цмэнтаж[42] гоните, там убивать, на цмэнтаже. И погнали нас всех, как овечек, во двор. Закрыли.

Кругом немцы нас обступили. Начали нас по десять человек все выгонять.

Я — семь душ — шла в три очереди. Сразу меня с хлопчиком — я его на руках несу. А после в другую очередь два человека, и третью — тоже. Со мною все не шли, потому что все люди вертелись там, плакали, волосы рвали…

И тогда погнали нас на моглицы[43].

А я его под себя, замотала и упала на него *(показывает на взрослого сына, сидящего рядом)*. Когда начали стрелять. Чувствую: уже моей ноги нема, ранена уже нога. А я уже… Чувствую: кровь кап-кап-кап…

И паспорт я показывала, что ни в чем мы не виноваты.

Невзрослая семья еще.

И это ему пуля через ухо и через шею, три раны. И чувствую, как кровь кап-кап-кап… И паспорт мой весь был в крови.

Ну вот, нас перебили, после — других гнали. Стали, постояли, говорит:

— Вшистким капут. Постояли, покурили и ушли.

Ям они не копали. Прямо пригонят десять человек, положат на землю… И мы ложимся… Понятно: чтоб человек не видел эти пули. Этак все в голову, в голову…

Когда моих детей поубивали потом — я уже не видела и не слышала, потому что не подымалась.

Всех перебили, только одна женщина… Детей ее побили, она видит, что их побили, а сама скинула валенки и бегом в Поречье. Те уже не гнались за нею и не убили. Но все равно сохла, сохла она и померла.

А тогда уже назавтра посгоняли подводы, мужчин, выкопали яму такую велькую, как бурт, и тогда все эти трупы постаскивали и позакрывали. Не из нашей деревни мужчины, воробьевские и рязановские. У нас не было подвод. Наши которые мужчины были, то они поехали на вывозку в лес. Только женщины были дома…»

Говорят, что близость судеб делает людей душевно похожими. Если это правда, то сын Марии Федоровны Сосновской, Сосновский Александр Антонович, — неплохая иллюстрация такой закономерности. Сходство их настолько заметное, что начинаешь думать, что, может, тогда, на кладбище, когда мать второй раз подарила Саше жизнь, может, тогда и приобрел он это удивительное сходство. Оно — ив прямоте характера, и в манере говорить напрямик, словно идти по пахоте с тяжелою ношею на плечах. А шаги направлены все к ней, к матери. Даже теперь, через тридцать лет после того.

«…Тогда мне было пять лет. Я помню, как мы сидели с братом маленьким в хате. Зашел немец — мы попугались. Да к матери подхватились вдвоем. Он постоял, сказал матери собираться…»

А там, на кладбище, во время расстрела, когда мать заслонила Сашу собой, мальчика словно волной накрыло испокон вечное ощущение материнской опеки, чувство безопасности у ее груди. Саша припоминает:

«…А я все матери своей:

— Додому, говорю, пойдем.

А мать возьмет меня за руку, сожмет:. — Лежи, не отзывайся.

Когда всех перебили, пошли в деревню те немцы. Давай по хатам ходить, кур брать, поросенков, начали грабить. Слышно было нам на кладбище, как они грабили тут все.

Ну, а как уехали, мы все встали. Холодно было. Я раздетый был вот так. Мать с большей девочки пальтишко сняла, это, я его надел, оставил мать и бегом домой. Прибежал, сел на дворе и жду — придет мать…

Уже немцев нема, немцы уехали в город, село пустое, только двери скрипят — ветер расходился, прямо страшно так…

Ну, я сидел, стемнело уже, а мать не дошла до своей хаты, а к матери своей зашла. А там, в той хате, соседка была, лет восьмидесяти старушка, дак мама скрашивает:

— Може, видели, как хлопчик какой-нибудь тут бежал?

— Видела, говорит, бежал какой-то.

— Идите, бабка, его приведите. Пришла бабка, за руку меня тянет:

— Пойдем до нас… — А я упираюсь, не хочу идти. Говорю:

— Откройте мне, я пойду в нашу хату. Ну, а она меня за руку и повела туда.

Две недели мы там так лежали, никакой перевязки, ничего. Боялись ехать к доктору: убивали нас немцы и опять к ним ехать, — добьют, страшно все-таки. А потом все-таки решили: так не так — а надо ехать.

Поехали. В Слоним, туда в больницу батька отвез. Месяц мы лежали в больнице. А врачи эти в больнице ничего не знали, допытываются: „Где вы были, на фронте?“ Деревню нашу не сожгли, а в Слониме не знали, что нас постреляли.

Месяц мы пролежали в больнице и снова додому пришли…»

Спасла мать Сашу Сосновского. И вырос он сильным и управным, стал трактористом в родном колхозе «Савецкая Беларусь». Высокий, здоровый, с бесхитростной прямотой в голубых глазах. Только между густыми бровями затаена какая-то растерянность: он, как и мать, силится и никак не может ответить на вопрос: почему такое произошло с ними? Рассказывая, он словно бы все время спрашивает…

Вот и соседка Сосновских, **Тэкля Петровна Герасимчик**, бьется над этим вопросом:

«…Тут я и родилась, тут я и замуж вышла. И расскажу я то самое… В тысяча девятьсот сорок втором году, шестнадцатого декабря, была среда. Я вытопила печь, все это… покормила детей

и стала мести хату. А муж был в гумне, веял то ли ячмень, то ли овес. Ну вот, приходит немец в хату:

— Цурик, цурик!..

— Куда, пане?

— Туда, на собрание.

— Одной мне? — спрашиваю.

— Не, и детей бери. Киндер, киндер!..

Ну и что… у меня было три годика хлопчику. Я замотала так его, накрыла. Погнал он нас. Пригнал к мосту. И мужа погнал из гумна. Муж вперед пошел, а я уже с детьми за ним. С нами была Гануся и Маруся Моисеева, две старушки. Пригнали сюда под мост, около Адама Герасимчика. Окружили нас, поставили нас во дворе. Хотели сначала в сарай, чтоб сожечь живых, но тут уже им нельзя было никак: полно было наложено, только один ток пустовал, с одной стороны сено, а с другой — жито немолоченное…

Ну, и все дожидались этого старосту-людоеда. Приехал он из города на такси, с тем начальником-немцем. Давай говорить:

— Где тут твои спалённые люди?

Ну, стоял его зять с семьей, он за зятя:

— Вот, это мои. Больше я никого не хочу.

Я с дитем на руках, держала хлопчика, дитя обхватило мою шею и не дало мне никуда оглянуться:

— Мамочка, мамочка, не бросай меня. Будем вместе, нас немец постреляет вместе.

Три годика было.

— Не, говорю, сынок, не брошу, не брошу тебя. Муж мой взял его у меня, а он:

— Не, я к мамке, к мамке!

И мой свекор стоял, восемьдесят лет, в той самой группе. И деверь, и золовка с маленьким, и я с дитем. Это нас гнали всех. А дитя это вцепилось прямо как клещ. Погнали. Пригнали на кладбище и говорят: „Падай!“ Я тут упала с дитем, а муж мой побежал утекать за реку. И еще один старичок, Малец. Побежали они, вдвоем. Этот старичок был полегче, перебежал, а мой муж — не знаю, или он завалился в реку… Добежал до пего немец, в него все стрелял, и убил там его. И он лежал там три дня. Я на кладбище лежала, не слышала, стреляли ли кого, у меня сердце забилось, не знаю, не помню…

Я после уже очнулась — никого нема, только вокруг трупы лежат… Я подняла голову — ой, уже не вижу ничего на один глаз, мне все тут запухло. Пуля тут во подала и через глаз вышла. Я поднялась, снова упала, вижу: дитя лежит неживое. Я говорю ему: „Костик, Костяк“, а *он ничего, уже неживой*. Тут свекор убитый,

тут золовка лежит. Невестка убитая с дитем. Я поднялась и снова упала…

А уже вечереет. А моего свекра дом около кладбища на хуторе стоит. Я поднялась все-таки, подержалась за кустик немного. Все на мне заскорузло, в крови. Бросила то одеяльце, в котором дитя было завернуто, и поползла. Приползла я к дому этому, вползла в дом — никого нема. Я легла тут на кровать, лежала, лежала, уже мне — все шумит… А потом входит в хату… А я думаю, что это заходит меня убивать. А это ж приходит Катерина Хатунчик ко мне просто к кровати. И ее детей трое убили. А она пошла корове как раз давать, так и осталась. А Любу, невестку ее, с детками вместе убили. Теперь она мне говорит:

— Ты жива?

— Жива, — отвечаю.

— Пойдем, — говорит она, — я тебя отведу в свою хату.

Подняла она меня, под руку взяла, укрыла меня дерюжкой и повела меня в свой дом. Я тут упала около дома своего и лежала — нигде никого нема. После она все-таки меня подняла и отвела меня в Попадичкову хату. А там жил Старостин зять. Открывает она хату и ведет меня туда. А они кричат:

— А куда ты ее ведешь?

А я все помню, только не вижу ничего вот этим глазом, запухло все. А мать его старая говорит:

— Во, чтоб за нее еще и нас побили.

Она померла. Если б она жила, дак я б ей в глаза сказала. Они собрались да из той хаты ушли, а я осталась одна. Лежу. Темно уже, никого нигде, тишина… А потом открывают хату, и входит Малашка, и мне этак:

— Ты живая?

— Живая, — отвечаю.

— Пойдем, я тебя к себе отнесу…

Меня взяла в дерюжку и занесла Герасимова Маланья в свою хату. Она меня всю ночь, это, глядела. И муж ее Миколай. Помер уже он.

А она еще есть, жива.

А наутро и этот староста приехал. А этот староста был Мала шин деверь.

— А что, — говорит он, — живая, осталась еще… А ему говорят:

— Ну, и живая. И нехай живет.

И еще остались у меня две дочки и сынок. Сыну было семь лет, и он был у сестры. Так и остался. Одна дочка, Таня, с которой я теперь живу, утекла. Под печку спряталась с теткой.

Четыре раза приходили в хату их искать, а они под печкой картошкой пригреблись…

А наутро приехала моя сестра, забрала меня и повезла в больницу. А вышла из больницы, так надо было работать. С детками я так и работала понемногу. Ходила, обвязавши голову. И теперь она еще болит, двадцать восемь лет прошло, а она все болит…

И работала я, и поставки все сдавала, и радовалась, что хоть Советская власть пришла и что хоть лягу да сплю спокойно…»

Тэкля Герасимчик заботливая, вдумчивая женщина. В сегодняшних условиях из таких выходят хорошие учительницы, восдитательницы молодежи. Ее заботит дойти до конца, до корней, до причин… Тэкля Петровна была свидетелем обвинения на суде над фашистскими злодеями и их помощниками. На том суде оправдывался староста: «Не я вас убивал, это акция убивала…»

Тэкля Петровна сказала настойчиво, твердо:

— Не акция била, а вы!

Девушка в поэзии всех народов мира выступает как существо нежной чистоты. Белорусская песня воплощает ее в образе белой березки, калины в цвету, розы в утренней росе.

А вот две девичьих судьбы, опаленные огнем смерти. Мария Скок из Павлович и Евгения Бардун из Низа. Мария в то время уже заневестилась, а Евгения была еще ребенком, как и Саша Сосновский.

Мария Михайловна Скок начинает свой рассказ рассуждениями.

Есть в ее речи нотки гордости Есть и высокое понимание нерушимости той связи партизан с народом, которая тогда была. Есть и глубокое понимание того, что трагедия села не может быть объяснена борьбой оккупантов против партизан. Сегодня, уже опытный человек она понимает, что все дело в коренной ненормальности, бесчеловечности фашизма.

«…Партизанам помогали. И знали, что до добра не доведет. Но боролись…

Ну что… Нас созвали паспорта менять. Говорят „Идите паспорта менять“. Туда, где крест стоял.

И до этого несколько раз приезжали. И на колени ставили нас, и пугали. И били из пулеметов поверху, и под расстрел ставили, и поджигали, и говорили: „Зарубите себе на носу, что вам от этого не поздоровится“. В конце концов приехали и

говорят: „Идите паспорта проверять“. Пошли с паспортами. Которые помоложе мужчины, тех в сторонку.

А женщин с детьми…

Была изба-пятистенка, нас согнали туда, поставили патрулей и в сенях, и под окнами, с гранатами. И давай по восемь, по десять человек выгонять. И там расстреливать.

Во — этак вот: за одну руку держит, подведет к яме и в затылок бьет… Там у них четверо человек было, которые расстреливали, позасучены до сих пор рукава и держат ливальверы в руках. Одежа на ком была лучшая, дак они снимали и в кучу сбрасывали. С живых еще, до расстрела. Подведет к яме и — в затылок. Сто два человека со мной было в той могиле. Из ста двух человек одна. Меня сразу… как выстрелили, то я упала и без чувствия была, а после пришла в сознание… Дак они во — в ладоши!..

Вечерело уже. Если бы это под низом, дак где бы я там встала, а то наверху лежала.

Порасстреливали и в ладоши похлопали.

— Вот, говорят, капут вам!

Я это помню уже. Я уже в себя пришла. Видать, они еще хотели гранаты бросать, но потом что-то полопотали и Ушли.

Ой, что было визгу, стону!.. Так много живых людей задохнулось. Но не было их кому раскопать. И просили: и „спасайте нас!“, и „спасите нас!“, но не было кому.

А еще и до расстрела издевались: и вилами кололи, и ногами топтали, и били — ой!.. Дети малые были, дак по живым ногами ходили… А некоторые знали, что немцы яйца любят, несет которое дитя ему яичек да просит, чтоб не убили. А он как даст ему ногою, дак оно и перекувыркнется — и с ногами по нему пошел.

У меня самой четыре брата убили и мать. Залезли под печь, спрятались. Каждому смерть страшна очевидная. Дак они искололи вилами так, что негде было иголкой ткнуть. Под печкой. Это уже доставали оттуда, а не хотела эта детвора вылезать.

Меня и саму вилами искололи. А потом погнали расстреливать. И вот я лежала до двух часов ночи. В этой могиле. Я помню — одну тетку стащила на край, другую стащила, и сама… Я ранена была, у меня крови уже налилось полную запазуху, аж до пояса, и сама ослабела — что от страха, а что — целый день…

Сколько утекали, сколько хоронились!.. Мало когда дома бывали. А на ту беду — дак дома остались.

Ну… А теперь я боюсь вставать. Вылезу из этой могилы,

поползаю, поползаю, поползаю кругом и снова влезу, на эти мертвые лягу. А душно! Сколько народу! Воздух такой тяжелый, кровь та кипит, как в котле. Думаю я, где ж те немцы? Боюсь вставать. Сползу и опять лягу на эти мертвые.

А потом — пойду, что будет! Пошла, пошла этими кустиками к Щаре. Думаю: „Пойду утоплюсь, лишь бы они не издевались. Все равно“.

Один хлопчик, годков ему, може, шесть — встал, и знал он, припомнил, куда это батьку погнали, — в другую хату пошел. А они встретили его, в картофельную яму завели… Весь в крови, раненный, а они в картофельную яму завели и добили. А девочка сидела — мать убили, а она — четыре годика — сидела и все просила:

— Мама, хватит спать, вставай, идем додому!

И тоже расстреляли.

Думаю: „Пойду и утоплюсь, лишь бы я не видела этих, их, и ихней смерти“.

Пошла. Мне кажется, что иду я, иду… Шла, шла, так ослабела, что зашла аж в Кабаки: вон там деревня, по-за рекой. Зашла, и мне стало — кругом, кругом Щара. Я куда ни кинусь, в какую сторону — кругом Щара. Уже в голове закружение стало.

И думаю: „Пойду топиться“. И полезла, полезла и перешла на ту сторону Щары, и помню, что я не утопилась. В какое место попала и как шла? Вроде я на колени становилась и ползла… В колючую проволоку впуталась. Выпутывалась, выпутывалась, еле из той проволоки вылезла…

Зашла я в эту деревню Кабаки, а уже ослабела, не могу. А там, где кустик, где столбик — мне кажется, что это уже немец стоит.

А там на выгоне один домик стоит. „Зайду, думаю, приоткрою двери, спрошу, нет ли немцев…“ Зашла я, гляжу: белье висит. Думаю: и тут поубивали. Я приоткрыла двери, спрашиваю:

— Немцев у вас нема? А хозяин говорит:

— Нема.

А как увидели, что я вся в крови, растрепана, наделали крику. Вошла в хату. И пошел один дядька искать по селу, може, где йоду, бинта.

Пошел тот дядька, принес бинта и йоду. А я так напиталась этого духу тяжелого, что рвало, рвало… Он мне стакан водки дал. Выпила — ничего не помогло. Папиросу дал — ничего. А я вся мокрая, мокрая — во, по ушки, и вся в крови. И боятся дети меня.

Дали матрасик какой-то, детский, я у порога легла. Как мне лежать — вся мокрая, вся в крови. Встала в три часа ночи, ушла.

Ушла. Облава шла, а мне надо через большак идти. Зашла я аж в Мельники, на хутора. Подошла к одной хатке. Так уже ослабела и села на завалинке. Встала тетка рано, я подошла:

— Нема у вас, тетка, немцев? Говорит:

— Нема. Ну, иди в хату.

Я пошла, а они спрашивают:

— Что, это у вас, може, выбили?

А я боюсь говорить… Посидела я немного в хате и Ушла.

Пошла я в лес. Такая мокрая, и холод, и так ослабела — под елочкой задремала. Задремала и — немцы идут! Там лесок небольшой. А забирали молодежь они в Германию тогда. И немцы разговаривают. А там три дядьки, такие вот, как я, бегали, хоронились. И они тоже услышали немецкий разговор, тоже бегут. И слышу я что трескотня, думаю: „Немцы!“ Они с той стороны идут, а я с этой горушки, и бегом, и к этому самому дядьке в гумно. Прибежала во двор, а этот дядька говорит:

— Куда тебя деть? Все равно будет — и тебя расстреляют, и меня. Закрою я тебя в гумне, говорит, уже если найдут — убьют, если зажгут — сгоришь, а може, счастье будет — то останешься.

А там у него гороху накладено вровень с балкою, и так вот отстал от стены, и я под самый низ за тот горох залезла. И уже слышу: немцы по двору ходят, уже, как гусаки, гогочут вокруг этого гумна. А потом двери открываются. У этого дядьки самогонка стояла, целая бутыль, выгнана, на току. Брата его в Германию забирали: он пришел, взял эту самогонку, пошел, угостил их, с собой им дал — брата выкупил. И уехали они, не трясли. Так я и осталась.

Осталась. Посидела до вечера, в лес ушла. Целую неделю под корчом в лесу сидела, голодная. Заболела этой… дизентерией. Ползала на четвереньках две недели.

Мать мою и одного брата, что в школе был, застрелили из винтовки, а троих тут, на улице. Пятьдесят пять человек на улице убили, еще и гранаты кидали на них.

Пока немцы не отступили, то мы никогда дома не были…

Теперь у меня трое детей. Сын в колхозе трактористом, два года учился в Слониме. А дочка вышла замуж и в Слониме живет…»

Дородная, улыбчивая, Мария Скок в отличие от некоторых наших рассказчиц долго входила в тему, останавливалась, набирая духу или утирая слезу. Ее добродушное лицо посветлело только тогда, когда мы, застегнув футляр магнитофона, поинтересовались ее детьми и похвалили в самом деле очень милую ее невестку. Мы и сфотографировали их обеих, таких

разных судьбами, родных женщин.

С **Евгенией Адамовной Бардун** в деревне Низ нас заочно познакомил дед Левон Сидорович Ализар, к которому мы заехали раньше, чем к ней.

Сначала Левон Сидорович рассказывал нам про одного местного прислужника фашистов.

«А-а, — брезгливо тянул старик, — тот, что продал нашу деревню? Полицай!.. Он всю жизнь свою таким был. Он и при панской Польше вроде занимался политикой — и сюды и туды… Раз подложил он одному хлопцу красный флак… над дверями в сенях заткнул под стреху, чтоб виден был, этот флак. И хлопец тот через него четыре года при Польше в тюрьме сидел. Провокатор был…»

Добродушный, медлительный дед Ализар никак не может подобрать нужных слов, чтоб объяснить такое.

Каратели отделили мужчин помоложе от женщин, стариков и детей, приказали им собрать харчи и лопаты, начертили, где копать яму.

Те отказались. Тогда им приказали запрячь лошадей и на возах повезли «тот молодежь», мужчин от шестнадцати до сорока лет в Слоним, для отправки в Германию. А старших мужчин, всех женщин и детей согнали в одну хату и выводили небольшими группами за гумно и расстреливали из пистолетов в затылок, — каждый немец-конвоир своего подконвойного…

Уже вначале дед Ализар говорил да удивленно посматривал на магнитофон, а когда дошел до того провокатора-полицая Белявского, недоумение его возросло. В голосе рассказчика было: и вправду, люди добрые, невозможно нормальному человеку добиться толку в поступках выродка. Разве с ума сойти самому… Да и вообще нелегко сегодня передать нормальным людям, что Делалось в тот, принесенный врагом, сумасшедший день, когда и сам он, Левон Сидорович, недостреленный, едва Уцелел.

Деду Левону мешают внуки, а впрочем, может, они выручают его, отвлекают от тяжелых воспоминаний.

Их целых трое у него на присмотре в страдную пору косовицы. Три маленьких анархиста завели в хате свой порядок. Обороняясь от шалунов, дед, видать, поубирал все украшения и вообще все предметы, которые можно достать рукою, разбить, сломать, сбросить. И чистая горница Ализаровой хаты выглядит какой-то пустой и необжитой: две сосновые лавки тянутся вдоль стен, как два луча от красного угла, в котором высоко под потолком висит одинокий образок богоматери с таким же

постреленком на руках, как меньшой дедов внук. Лавки изрезаны ножиками, подолбаны топором, покромсаны гвоздями, ножки их расшатаны, поодаль от лавок стоит стол, которого меньше коснулась самодеятельность голопузых. А дед как будто и не видит здесь непорядка. Когда дошло дело до фотографирования, он с детской улыбкой попросил:

— Ас внуками можно?..

Выйдя с нами на улицу, он показал рукой на север, в другой конец деревни, и сказал:

— Там, слева, около магазина, новый хороший дом. То это — Евгении Бардун.

— Видать, муж плотник?

— Нема мужика. Только дети. А хату колхоз помог сделать.

Мы не застали Евгении Адамовны дома: она была на работе, на сенокосе за Щарой. На третий день, в воскресенье, также довелось ждать ее с того сенованья до самого обеда.

Увидев нас во дворе, хозяйка подошла с граблями на плече. Невысокая, ладная, она была б даже по-своему красивая, если бы не излишне широкие от неженского труда плечи.

Услышав, зачем мы пожаловали к ней, Евгения села на траву и расплакалась…

«…Сначала вошли немцы в хату, — заговорила она. — Забрали батьку. Батька наш был больной, дак как-то отпросился: „Отпустите, я хворый желудком“. И они его отпустили. И сказал тогда полицман немецкий — он жил в том конце деревни, — что никуда вы не уходите, будут паспорта у вас проверять, и все. У нас девчата еще все малые были, никого в партизанах не было, только батька помогал танк вытаскивать партизанам из реки. Ну, батька и боялся, что он, значит, вытаскивал „Советам“ танк этот, боялся, что немцы подозревают и могут его убить.

Потом заходят в хату полицман и немец и выгоняют. И согнали в одну хату, а много нас было, половину села согнали.

И начали выводить.

Сразу трех мужчин, а потом и батьку уже во второй тройке вывели. Просто пришел немец и „драй, драй“ на пальцах показывает. Сами люди выходили, ведь куда ж ты денешься, он гранату показывает — выходи…

Ну и батька вышел со второй тройкой. Мать поглядела… что батьку повели уже, а детки малые… она за свою семью и нас, малых, повела за отцом.

Повела за ним… Старшие две сестры были у меня, а мать несла маленького. Дитя. Было ему год. А сестра уже несла другого, два года мальчику было.

Доводили нас до сарая. Тогда я забежала как-то наперед сестре. Немец ей в затылок выстрелил, а она меня с ног сбила, и я так осталась. Она на меня упала так вот — от шеи до пояса, а на ноги — других людей куча навалилась. Люди до меня все доходили, их стреляли, они на меня валились. А голова моя была сверху, не под людьми, и так я и уцелела. И уже когда тут побили, дак стали бить на другом конце деревни. А я уже лежу.

Осталось три хлопца раненных, мои ровесники раненные, в трупах. Я подняла голову, они плачут, раненные, кровь течет из них. И я заговорила с ними, чуть голову приподняла. Но не встала, мне было невозможно встать: на мне трупы большие лежали. Я отозвалась, и тут летит немец. Долетел до них и из винтовки просто подобивал.

И как раз батьке моему на ногу стал, раненный, что лежал. И тогда еще стоял. Видать, и меня он заметил, что я еще живая… И как я не отозвалась в тот момент?

Лежала я, лежала — уже стемнело. Он меня не добил. А гак, если кто живой был, то всех подобивал. Дети малые под трупами задохнулись. Одна девочка была, то отец потом нигде на ней раны не нашел.

Потом уже гудят машины, едут немцы… Я уже в обморок упала… Немцы уже стали отъезжать, визжат свиньи, куры кричат, они уже ловят. И слышу — кто-то подошел к трупам и говорит… Мужчина один из села подходит и говорит:

— Кто живой — вставайте, немцы уехали! Батька мой узнал его по голосу, поднялся и говорит:

— Ну, я живой.

И еще один мужчина, Левон Ализар. Дак батька говорит ему:

— Ты иди домой, возьми хлеба, а я еще погляжу семью свою…

И он начал смотреть. Говорит:

— Все мои дети есть, одной только девочки нема, шесть лет, но она не могла убежать, она еще дитя. Стал он оглядывать, и я отозвалась. Дак мне уже ноги людьми отдавило, все кости… Людей стреляют, а мне пуля костей не зацепит, только мясо повырывает. Кости на ногах видны были, просто не могла ходить совсем.

Ну, и батька мой обомлел над этой грудой.

И тут прибегает тот Ализар. Батьку трясли, меня подняли из той груды и понесли в лес. Я вся в крови, как поставят меня на снег, дак ноги мои все шатаются, мне же их передавили, груда большая лежала на мне.

Занесли в лес. Там хутора эти были, а люди поудирали в лес. Сидели, костер разводили.

Увидели, что мы все в крови, что меня несут в крови, какого-то ребенка… Они все поутекали.

И стал их уже звать батька мой, что мы люди свои. Так что меня уже обсушили. И батька меня отослал в Тальковщину, под Слонимом, там у меня тетка была. Ну что, они меня там неделю прятали. Эти раны все поразгноились. Страшно, лечиться не было чем…

Батька мой пожил немного, а потом после войны от ран тех и помер, гангрена подпала в ногу.

А я так и осталась. Мне тогда, как убивали, шесть лет было, седьмой…»

Деревня Великая Воля находится в низовье Щары, которая течет здесь с юга на север. От Великой Воли до Окунинова больше сотни километров, это расстояние указывает на масштабы того злодеяния, которое, согласно словам Петра Савчица из Гародков, называлось у фашистов «акцией против партизан». В фашистских отчетах акция эта называлась «Гамбург».

В Великой Воле уцелело пять человек взрослых и четверо детей. Один из уцелевших взрослых — **Иван Иосифович Павочка**.

Этот рассудительный и добрый по натуре человек уже не однажды рассказывал людям о злодеяниях оккупантов. Его показания включены в акт «Государственной Комиссии Козловщинского района Гродненской области по установлению и расследованию злодеяний оккупантов в 1941–1944 годах» и опубликованы в отдельной книге. Там запротоколированы общий ход событий и обстоятельства злодеяния. Иван Иосифович отметил тогда, что 16 января 1942 года по приказу немецкого офицера, по фамилии Сзук, был согнан весь крестьянский скот из деревни Великая Воля в местечко Козловщину. Вскоре в деревню ворвался другой карательный отряд фашистов, который согнал всех жителей в одно место и разделил их на две группы, одну группу — 156 человек, среди которых находились свидетель, его жена и двое детей, каратели пригнали к карьеру, из которого раньше, до войны, брали песок на строительство моста через Щару. Каратели приказали людям лечь и расстреливали их из пулемета.

«Первая пулеметная очередь, — говорит Иван Павочка, — прошла по головам лежащих, и был смертельно ранен мой сын Михаил, а мне пуля на левой руке оторвала средний палец, а безымянный и мизинец раздробила. Мой сын успел сказать: „Папа, мне больно“ — и скончался»[44].

Из второй группы, в сто тридцать человек, уцелевшие

рассказывали, что их отделяли по двенадцать, гнали в лес и там расстреливали.

Рассказав по нашей просьбе жуткую историю заново, Иван Иосифович согласился даже отвести нас к месту Расстрела и показал, как он в тот зимний день лежал тут под пулеметным огнем.

Теперешний рассказ его мы передаем со всей точностью.

Как и многие другие уцелевшие жители «огненных деревень», Иван Иосифович начал рассказ с рассуждений о фашистской версии — «борьбы против партизан».

«…Немцы собрали большую силу на леса. Партизанам они ничего не сделали. И с этой всей ненавистью нападали на местное население.

Мы утекали в лес. Зима была. С детьми. Ну, в лесу — не место: мороз был, холодно. Пошли мы в деревню Копти. Заехали немцы и говорят: „Идите домой“. Ну, мы, понятно, вынуждены были идти, потому что там все оставили: и коней и коров.

Пришли мы домой, сидим, видим — идут.

Сосед мой говорит:

— День добрый пану. А они:

— День добрый, пане бандит.

Разграбили они все наше, забрали всю нашу скотину. И человек пятнадцать увели с собой в обоз.

Сидим мы. Никого нема. И не успели оглянуться, как нагрянули немцы снова. В каждую хату заходит немец, наказывает нам, чтоб каждый на три дня харчей брал. „Мы вас вывезем“. Кто успел что взять, а кто и не успел.

Снег лежал, а одного старика вели босого, без рубашки и без шапки.

Поставили тут нас всех на колени. Нас били прикладами и пинали ногами… И вдруг послышался грохот тяжелых машин. Пришло девять машин, а в машинах полно немцев. Но человек, може, двадцать, а може, и больше. Молодые немцы, на головы надвинуты каски.

Из одной машины вылез офицер, дал команду, и нас повели под сильным конвоем. С правой стороны ехали машины, а с левой — шли немцы.

Не доходя до того места, остановили, и трое немцев пошли с пулеметом. Поставили пулемет на пригорочке, двое там остались, а третий вернулся и махнул рукою.

Привели нас в лощину, перед тем пулеметом, и сказали ложиться. Мы ложились кто с кем. Ну, я лег с семилетним хлопчиком, держал его на руке, прислонивши, а жена — с

трехлетней дочкой. Когда мы легли — шапка с меня свалилась, и я ее на голову больше не надевал.

Немцы от нас отошли… Ага! Немцы отошли в сторону и залегли кругом. А этот немец, пулемет которого на пригорочке стоял, взял этот пулемет и подошел к нам метров на двадцать. Там была яма, где немецкая бомба упала. Влез он в эту яму, стал на колени и поставил на краю ямы пулемет. Потом немцы отошли от нас, и он протянул первую очередь по нашим головам.

Я как лежал на левом боку, так мне вот так по пальцам, а хлопчику в голову. И он еще успел только сказать:

— Ой, папа, болит! А я говорю:

— Тихо, Мишка, не будет болеть. Больше он не отозвался.

Пять очередей выпустили. Мне попало в правую ногу, опалило мне подошву и так прорезало ногу. Сильно у меня болело. Шевелю — шевелится, но боль нестерпимая. Все равно как крапивою мне кто по пальцам.

После стали добивать, кто стонал. Все мое лицо было залито кровью, и очень из меня дух гнало. Подошел немец, ногой мне ударил в голову, голова моя так закачалась, но глаз я не открыл.

Стали сами засыпать землею. Земля была мерзлая, глыбы эти, песок. Поободрали мне лицо…

А за плечами у меня лежал, — годов, може, ему шестнадцать, — хлопец. Он никуда ранен не был. Подхватился на ноги, просит:

— Паночки, не убивайте меня! Убили мою мать и сестер, пустите меня живого.

Они что-то по-немецки, что-то между собой поговорили, раздался выстрел из пистолета, и он мертвый упал на меня.

Песку немного насыпали, и я стал задыхаться. Думаю, буду вылазить, нехай добивают, очень тяжело задыхаться. Весь мокрый, как из речки. Раз приподнялся, потом другой раз, и уже я без сознания. Потом как-то напрягся — ну, тогда я был сильный, молодой, — приподнялся, те комья раздвинулись, и мне стало легче Дышать.

И лежу я, слушаю. Не слышно, чтоб кидали… Сколько лежал — не знаю. Потом еще пошевелился, высунул лицо и слышу — уже в том конце выстрелы слышно. Полежал я, пока стемнело. На ноги не подымался и говорю:

— Вставайте, кто живой. Немцев уже нема ушли.

Никто не отозвался. Нас было тут, в этом конце деревни, сто пятьдесят душ, а только я один остался… Порвал на себе рубашку, обмотал рану и пошел в лес…

В лесу я пролежал трое суток. „Ну, думаю, пойду в деревню Копти, если убьют — кто-нибудь землею присыплет, а то как в

лесу умру — то звери кости только будут таскать“. Пришел я рано в деревню Копти и не узнал ее — она для меня уже переменилась, совсем другою стала. Знаю я, что тут Копти, собаки лают из Малой Воли, а Коптей не узнаю. Постоял я и опять пошел.

Потом нашел я наших, которые поутекали из Козловшины, встретились мы с ними. Пришли мы с соседом в Копти, и там я уже остановился.

Лег я у Виктора Косача и пролежал шесть дней. Потом Копоть Алексей, который служил когда-то в польской армии санитаром, сделал мне перевязку…»

Прошло больше двадцати пяти лет между тем первым, запротоколированным, и этим, записанным на магнитофонную ленту, рассказом Ивана Павочки, но время не стерло в памяти рассказчика огненных и свинцовых следов. В рассказе 1971 года Иван Иосифович рассуждает о том, что каратели, мол, не смогли разбить партизан и «с этой ненавистью» взялись мстить мирным жителям. В те дни он не мог, конечно, знать, что 11 ноября 1942 года главное командование фашистской армии издало специальный секретный документ «Инструкция по обращению с бандитами и их пособниками», в 83 пункте которого рекомендовалось: «В обращении с бандитами и их добровольными пособниками проявлять крайнюю жестокость… Сама жестокость мер и страх перед ожидаемым наказанием должны удерживать население от помощи и содействия бандам»[45]. Вслед за этой инструкцией начальник генштаба вермахта Кейтель издал приказ. В пункте перром этого приказа он написал, что придерживаться международных соглашений и принятых обычаев ведения войны — не надо. «Эта борьба не имеет больше ничего общего с солдатским рыцарством или положениями Женевской конвенции… Войска правомочны и обязаны без всяких ограничений использовать в этой борьбе любые средства, в том числе против женщин и детей, лишь бы это привело к успеху»[46]. Второй пункт: «Ни один немец, участвующий в борьбе с бандами партизан, не должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности или к военно-полевому суду…»[47]

Ивану Павочке, опытному пожилому человеку, интуиция подсказала правильно — карателям заранее прощалось все. Они оказались неспособными к борьбе против партизан и под видом партизан убивали женщин, детей, стариков.

В архивах сохранилось «Сообщение № 28 полиции безопасности и СД о результатах карательных экспедиций „Гамбург“ и „Альтона“ в районе Барановичской и Брестской

областей от 22 января 1943 года». Непосредственные заправилы карателей выхвалялись перед высшими инстанциями своими «подвигами», выдавали убитых мирных жителей за партизан. Вот два отрывка из «Сообщения»:

> «…Операция „Гамбург“ в районе гор. Слонима.
>
> Эта операция была одной из наиболее успешных операций, проведенных до сих пор в Белоруссии. Данные разведывательной команды полиции безопасности и СД были такие точные, что удалось обнаружить каждый лагерь. В многочисленных боях было убито 1676 партизан. Далее было расстреляно по подозрению в связи с партизанами 1510 чел. Были захвачены многочисленные трофеи, в том числе 4 броневика и 8 противотанковых ружей, огромное количество скота и зерна. В населенных пунктах, расположенных в районе операции, кроме того, было Уничтожено 2658 евреев и 30 цыган. Потери немцев составили 7 убитых и 18 раненых.
>
> Операция „Альтона“ в районе Коссова — Бытеня.
>
> Эта операция была проведена с целью разгрома прорвавшегося на юг после операции „Гамбург“ большого партизанского отряда… Партизаны потеряли убитыми 97 чел. Далее в этом районе было расстреляно 785 чел. по подозрению в принадлежности к партизанам, 126 евреев и 24 цыгана. Захвачены значительные трофеи: скот и продовольствие. Оружия и боеприпасов захвачено незначительное количество»[48].

На самом деле в районе Слонима каратели даже не столкнулись с партизанским отрядом. Они набросились на близлежащие мирные деревни.

ЗВЕРЬ ОХОТИТСЯ НА ЧЕЛОВЕКА

«…Идешь, идешь, идешь, идешь, слышишь, тут треснет, так ты в другую сторону. А они в лесу ловили, по болоту… По грязи идешь, по пояс, барахтаешься, чебохаешься, а бо-о!.. Не дай божечка! Говорили:

— Будем раз в день есть, только бы из болота вылезти…»

(Из рассказа **Ганны Григорьевны Тарасевич**. Иканы Борисовского района Минской области.)

Человека гонят, выживают из деревни, из города — в лес. Потом идут на охоту. На женщин, на детей охотятся,

Звери идут облавой на людей.

Рассказывает **Ганна Павловна Бурак**. Лисна Верхнедвинского района на Витебщине.

«…В лесу мы там с неделю просидели. Муж говорит: — Поедем мы ближе к дому. Там один сосед, говорит, переехавши, дак они в деревню ходят, картошки приносят, зерна приносят, мелют, болтушку варят, лепешки пекут Вот и мы, говорит, поедем туда.

Ну что я, я ж одна не упрусь, что я сделаю одна с двоими детьми? Ну вот, приехали — наложили воз сена, повез он, и дочка поехала с ним.

— Я, говорит, пойду домой, може, принесу картошки!

Ну вот, они поехали, а я осталась так с детьми своими. Приехал, последний воз сена наложили. Он мне говорит:

— Нехай ребяты едут со мной, а то последнее будем забирать, дак некуда буде им сесть…

Там и кадушки были с жирами, там все было. И некуда будет сесть. А по озеру идти — уже было верховодье по льду, вода большая.

— Ноги, говорит, замочат, а где они тогда будут сушить, негде будет сушить.

Ну, а я думаю: неужели ж он чтобы хуже хочет? Я взяла этих ребят, усадила ему на сено, они и поехали. Он говорит:

— Приедем, сгрузим, а тогда или я, или Клавдя к тебе приедем.

Ну, вот они и поехали, а я осталась. Жду, жду, жду — их нетути. И солнце зашло — все нет, и темно стало — все их нет. Я уже — в панику, плачу. Что уже, значит, давно нетути, что уже их нет. Пошла к соседу, стала рассказывать. Они говорят:

— Ясно, что их нет, уже их немцы уловили, там бы они не

сидели.

Ну и вот, утром, чуть свет, прибегает этот мой старший хлопчик ко мне. И говорит:

— Мамка, нас немцы уловили. И дедушку уловили, говорит, и Витю, и там, говорит, Кузьму с ребятами уловили, старуху одну… А я это пришел, потому что нашли двух коров и приказали одну корову мне вести, а другую — другой девочке. Ну, я, говорит он, думаю: „Буду вести эту корову до болота, а тогда, говорит, за сани привяжу, а сам — в лес“. Едем тихонечко, привязал за сани, а немец назад не глядит. Привязал эту корову — и ходу в кусты, и побежал. И эта девочка побежала за мною.

Побежал, говорит, под дерево и повалился, и лег… Отец мой был глухой, а меньший хлопчик говорит ему:

— Дедушка, а нашего Шуры уже нетути. И плачет. А немец говорит:

— Не плачь, говорит, мальчик, завтра будет и Шура вместе, и мамка будет, все будете вместе…

Ну и вот, говорит, он очередь из автомата пустил, этот немец, как раз в ту сторону, где мы лежали, в то дерево. Если б, говорит, на одну четверть ниже, он бы, говорит, убил бы меня. Две пули попали в ту сосну.

Ну, тогда они уже постреляли и поехали, а он, хлопчик, знал, что там на острове двое мужчин копали землянку себе, ну, вот он и побежал туда: може, их там найду, говорит. Прибегает туда, а они, говорит, коней выпрягли, покуривают в преспокойности. А я как закричу им, говорит:

— А, дядечки, скорей будем утекать! Уже немцы, говорит, уловили и повезли и дедушку, и Кузьму, и ребят!..

А они скоренько запрягли, один, говорит, дядька взял меня к себе на сани, в ноги ущемил, и, как могли только эти кони бежать, так они их гнали. Выскочили на озеро. Уже на середине озера, и немцы с этими людьми на озеро выехали и начали из пулемета по ним стрелять. Но они уже их не доставали, только этими осколками, льдом обсыпали их. Тогда они выехали к берегу, поставили автомат… не, пулемет, и стали по ним стрелять. Но уже их не доставали, они уже далеко были. Ну и вот, они уже тогда поехали к нам, и так вот он уже ко мне пришел и рассказал, что там случилось.

Тогда я соседям говорю:

— Ну, раз их уже сегодня уловили, то завтра нас уловят. Они сюда придут.

Ну, и так получилось. На зорьке они пришли к нам, эти немцы.

Нас много там собралось. Ну, не могли никак вопрос решить.

Один говорит:

— Поедем за озеро, за Лиснянское. А другой говорит:

— Не!..

Вопрос: — Это вы так говорите?

— Соседи. Там же много было, може, сотни две. Ну, и тогда уже они так довалтузились, и уже солнце стало всходить, уже на озеро не выедешь: видно, немцы все равно убьют. И тут слышим из-за горы шорох какой-то. Изморозь большая была и шорох большой. А людей много, не добиться толку никак.

Кричат:

— Тише, тише! Хоть узнать, какой звук!

Вот тогда несколько хлопчиков побежали на гору, и я в том числе побежала на гору, и мой хлопчик, этот больший, побежал со мною. Ну, человек нас десять и побежало. Только мы на гору взбежали — и тут, под нами такой густой, густой сосняк. И тут немцы. Идут из-под горы. Мы тогда закричали и руками замахали этим, что уже немцы, немцы… И они как стояли под горой, так и пустились вдоль болота. А мы по горе побежали. И вот мы по горе бежали, а уж немцы — их штуки три бежало за нами. По-русски уже кричали, по матушке на нас, и стреляли, а мы все бежали. На мне был полушубок надет, я расшпилилася, и полы эти махались, и пуля попала мне в полу, разрывная. Тут вырвало клок. Я тогда полушубок сняла и кинула. Все равно я с ним никуда не убегу. И у кого были там какие котомки за плечами с сухарями — все покидали. И побежали — в чем стоим. Прибежали к одному озеру и говорим:

— Или по болоту обегать, или через озеро? А я говорю:

— Не, побежим лучше прямиком через озеро. Пока будем путаться — тут они нас и настигнут.

Вопрос: — А как называлось озеро?

— Карасино. Вот. Так перебежали мы уже это озеро. Я первая побежала, и за мною все побежали. Вышли на проталину. Это дело было перед пасхой, проталины были. Стоим. Обтираемся, потому что с нас пот льется со всех. И вдруг нам наперед едут немцы на паре коней. А куда ж нам деваться? Вперед идти — тут лес редкий совсем, они нас тут убьют. Назад идти — там стреляют и люди кричат, жгут, дым столбом идет. Прямо страх невозможный! Куды деваться? И вдруг, глядим — лежит от пас так вот елка лохматая, заваленная в болото. Я говорю одному мальцу:

— Давай под эту макушку ляжем, ты с одной стороны, а я — с другой.

А эти уже мальчишки, которые были… Во, такой ельничек был, дак они его подняли и под низ полезли, и там сидели. А мы

с тем мальцем — под верхушкой: он с одной стороны лег, а я — с другой. Одна только кофта была оставшись у меня, притом красная, и платок на голове теплый был. Я сняла платок с головы и накрыла так плечи, чтоб не видно было, что красное. И руки голые, и голова голая, и коленки голые. Чулки съехали, некогда было подтянуть. И так в снег легла, в этом снегу я лежала… И целый день мы отлежали. И вот они, когда подъехали к нам, эти немцы, — остановились. Ну, мы говорим, теперь тут будет наша смерть… Слезли с саней и начали глядеть, есть ли следы. Хорошо, что никуда мы с этой проталины не сбежали. Поглядели, поглядели — нетути нигде следов обратно, погаркали по-своему, вытащили папиросы, закурили, запахло ихними этими сигаретами, и сели на поле: от нас, може, метров триста отъехали и сделали засаду. Коней выпрягли, огонь развели, выстрел дали. А мы лежим, ни с места, никуда нельзя сойти. И они нам видны. Ну, и вот мы лежали целый день. Как не стреляют, — тогда мороз начинает у нас пробегать по спине, как только выстрелят — так сразу жарко-жарко станет, что кипятком кто-нибудь обварит. Ну, и вот так лежали полный день, пока солнце. Солнце зашло. Тогда они коней запрягли, выстрел дали и подались. А мы тогда уже полежали с полчаса, встали, и руки — что грабли, и ноги уже — просто движения нетути!.. В снегу отлежать босыми-голыми ногами…

Ну, и мы тогда пойдем уже этих ребят собирать. Стали этих ребят собирать, стали кричать им. Которые близко были, те поприбегали, а мой как сбежал — обратно, назад, через озеро, прибился к чужим людям, и он уже там и был. Я стала кричать на всю голову. На меня кричат:

— Не кричи, а то придут немцы и всех поубивают!

— Нехай идут — мне уже все равно жизнь не интересна, я уже, говорю, одна осталась. Нехай, говорю, идут.

Ну, и они не услышали, не пришли к нам.

А мы пойдем уже тогда обратно, поглядём, где они уже это нас… Где кинули мы своих коней, повозки. Выводим уже тогда по следу, след в след.

Да. Тогда на гору взошли, слышим — в болоте какой-то шорох. Захрустел этот хворост. Мы опять поразбегались по лесу, куда кто. Слушаем. Слышим — говорят по-русски.

— Это, говорим, наши.

Тогда обратно в кучу туда, в болото. А там с Великого Села три человека… Один — из нашей деревни, а два с великого Села, что близ Освеи, такой Семен есть с сыном. Ну, тогда мы пришли к ним, поговорили, как кто откуда уже шел, а про еду ж — и не толкуем. Двое суток ничего во рту не было. И ни у кого — ничего.

Этот уже человек говорит, Вельский:

— У меня есть гороху пригоршни две.

Дак он нам по горсточке всем разделил тот горох, ц вот мы тот горох съели и пошли туда, где мы уже бросали все свое. Приходим туда — кони убитые, сани поломанные, подушки все распущенные — белый, белый весь чисто лес! У кого было сало в кадушках — все пооткрыто и этой отравой пересыпано, и бумажки эти с мухами нарисованными на пакетиках, что они уже пересыпаны… А люди все убитые, постащенные в груды, облитые бензином и так горят, как настоящие дрова, аж скворчит — когда горят! Ну, и вот, мы тогда там побыли…

Вопрос: — А люди это из вашей деревни?

— Отовсюду были, со всего сельсовета были съехавшись. Вот. И все там погибли. Ну, вот, тогда мы уже идем — пойдем ближе к дому. Идем один за одним — это вслед, человек десять, и слова ни один никому не говорит. Надо остановиться — тогда я за тебя возьмусь, а ты за другого, за третьего — так все и останавливаемся. Послушаем — нигде ничего не слыхать. Тогда толкнешь один другого по очереди, так и пошли. Такой страх был, так мы не могли говорить, что столько людей лежит и все горят…»

И это, *такое* — не дни, не месяцы, а годами.

Ганна Бурак продолжает свой горький рассказ.

«…Ну вот, побежали в лес. Завязался большой бой. Уже нам деваться некуда было. Немцы отступали. Мы тогда…

Вопрос: — Это когда приближался фронт?

— Немцы отступали, наши наступали на них. Это уже в сорок четвертом было. Ну, вот нам деваться некуда, и мы тогда побежали в озеро. Такое глубокое, илистое. Мы влезли в это озеро и за кочки эти, за папоротник держались и лежали в этом… Ну, аж по горло в воде были. И к нам как привяжутся лягушки! Такие большие, страшные — не отбиться. Возьмешь в руку — ка-ак бросишь ее от себя подальше. Минут пять нет, обратно приползает к тебе, „ква-ква“ — кричит. Мы опять ее откинем. Вот так лежали до вечера, в этом озере.

Тогда уже услышали, что машины идут, и наше радио говорит. Мы засмеялись, рады стали — наши поехали! Наше радио говорит!

Вылезли из этого озера и пошли, пошли в деревню Малашково. Там не узнать — был песок желтый, а стал черный от этих, от снарядов. Ну, тогда пришли из Малашкова на Залугу. С горы мы уже наблюдали, что в Лисне делается. Тут большое

движение по большаку шло, а какое — мы не знаем. Ну, и около болота была рожь посеяна. Мужчины говорят:

— Надо идти поглядеть, чьи следы, — немецкие или наши.

Пошли, поглядели и говорят:

— Это немцы.

Это уже наши их погнали. И пошли мы. Договорились, чтоб по одной колее идти, чтоб не попасть на мину. Немного отошли от этой деревни — лежит немец убитый.

— Ага, говорим, попался хоть один!..

Стоим мы на этой, на горе. Ой, спутала!.. Подходим мы это уже сюда, к Лисне, где пилорама, там стояла кухня наших красноармейцев. Они нас увидели — прибежали, нас обнимают, целуют, и мы их целуем и плачем, рады, что уже своих увидели. А они говорят, что мы, говорят, идем от самого Невля и нигде, говорят, не видели гражданского человека, кроме военных. Говорим, что мы тоже не из этой деревни, мы девять километров отсюда. Из этой деревни еще ни одного человека не было, все в полоне, которые живые были. Ну, и вот они нас тут чаем напоили, накормили, по шинели нам дали, по рубашке по вязаной немецкой дали…

Ну, их там было побито, этих немцев, что страшно. Шла „катюша“, по ним как ударила, дак они без памяти в озеро. И в озере было много, дак жара была, лето. Мы их тогда подбирали уже на месте и закапывали, чтоб не было никакого заражения…»

А жителей деревни Городец Быховского района, что на Могилевщине, звери ловили, используя свои «охотничьи хитрики», страшные и издевательские. О том рассказывает **Мария Гавриловна Ковалева**. Она спаслась. И еще несколько человек.

А четыреста шестьдесят женщин, детей звери тогда настигли…

«…Ну вот, мы были в лесу. Как только немцы в село дак тогда — темная хмара — люди в лес убегают. А однажды все выбрались туда. Тут Клёнье спалили, Студенку спалили — ну ж, люди боятся. Ну, и побежали все в лес: и детей, и курей, и свиней, и всех туда…»

Тем более, что деревню Городец фашисты уже пытались убить — еще в 1943 году. Тогда партизаны спасли. Об этом нам рассказывали в Городце женщины. А как оно было точно, мы узнали в хате колхозного бригадира **Петра Исаковича Артемова** — бывшего партизана. Живет он в Студенке.

Партизаны 425-го партизанского полка, когда им сообщили

связные, что в Городце всех людей загнали в несколько хат и собираются жечь, бросились туда. Партизаны уже знали, сколько немцев и полицаев, где посты: «и потому не надо было рассредотачиваться по деревне». А командовал батальоном как раз местный житель Платон Максимович Цагельников. «Немцев — кого убили, кто удрал». Прибежали к тем хатам с заколоченными окнами, дверьми. Люди сначала боялись откликаться. А вдруг всё еще немцы, полицаи в Городце, может, их это голоса…

Тогда спасли, спаслись. Но, уже испытав такое, жители Городца по второй тревоге сразу перебрались в лес.

«…Живем там, — продолжает свой рассказ Мария Гавриловна Ковалева, — в Городец же ходим бульбу копать. Взять что-нибудь, хлеба испечь. Хаты ж стояли. На жерновах где-то намелешь и придешь ночью в Городец, испечешь и — ношу назад, в лес. Ну, и так вот… Тут одного изловили:

— Где люди?

— Где ж люди — в лесу.

Он и привел туда. Ну, как привел, они давай брать баб. Некоторые поутекали, а некоторых — побрали. Ну и в Городец. И Замошье, и Гуту, и Селибу, и беженцев. Беж€нцы тут смоленские и всякие… А мой хозяин утек, и я утекла. Ну, утекла, в болоте посидели… И, словом, немцы дали коня сестре моей и — иди. Она привела детей в хату мою. Еще одни там были… И немцы говорят:

— Езжайте, забирайте одежу.

Все ж ведь там, одежа там поостава́лась, только детей забрали, коров пригнали в Городец. А они, наши, кричат… Раева эта:

— Лени-ик, иди домой! И я тоже выхожу.

— Ну, вот, Манька, — говорит моя сестра, — поедем домой, мы в хате уже, печь истопила, детям картошки напекла, детей спать уложила.

Ну, мы едем, одежу взвалили, едем. Ага, холодно было: на покрова, осень. Ну, и мы едем домой, сейчас, как выезжаем — тут уже люди стоят. Людей вывели уже. Тех, что заперты были: побрали их, привезли, раньше, чем нас, тех людей. Как только мы подъехали, они нашего коня забрали — и сюда, во двор, к хозяину. А нас — в этот табун. А моя сестра:

— Ай, пан, а киндеры? Киндеры, а боже ж мой, а где мои киндеры?!.

А они в хате. Подводит ее к нам, к нашей хате:

— Быстро, быстро!

Немец так. А женщина, что ездила по одежу, это, кричит… Четверо или пятеро у нее было детей. Она кричит:

— Ма-а-ама, веди детей!

Мать ее вывела детей — она из хаты, и моя сестра в хату, а сестрины дети на печи спят. И он прикрыл дверь и повел нас.

Вопрос: — А сестра осталась в хате, с детьми?

— Ага. И еще некоторые женщины остались в хате. Ну, ладно. Прогнали в конец села. Сюда вот, как едешь, во, из Быхова, где теперь остановка, сюда пригнали. Сейчас пригнали, ну, и тут поставили. Поставили, ну, и стой тут. Боже ж мой, дети кричат. Ага. Они пошли на другую сторону улицы и сейчас — раз, выстрел. А эти дети: „а-а-а-а!“ — кричат. Дак одна смоленская баба — четверо детей — дак она говорит:

— Деточки, чего вы кричите, помучуть немного, постращають и пустють.

Ну, тут и мы уже, мы уже тут канителимся:

— А бабочки, а любочки, а что делать, куда погонят?

— Никуда не погонят, — заявляет полицейский, — По_ убиваем, попалим. Все вам!

Ну, и тут, во, они еще раз выстрелили. Через выстрел эти люди стали уже канителиться. Они сейчас заворачивают:

— Ком, рус, ком, ком, ком в хату!

Вогнали нас сюда, в хату эту. Там, правда, в этой хате, пола не было. Тогда, как бомбежка была, дак выдирали полы, этот пол и все это. Думали: „Поедем в лес и отсидимся, а война кончится, дак приедем, дак хоть землянку какую из тех досок сделать“. Пола там не было. Ну, и нас — сюда. И очередь — р-р-р-р!.. Из пулемета в двери. Кого убили, кого ранили. Дверь заколачивают и поджигают дом этот.

Там один говорит:

— Тетка Манька, ходи, во тутка светится. Ямка такая, картошку ссыпали.

— Светится! Дай-ка мы будем драть эту землю.

А я уже ранена. Мне уже некуда. Вся вот так в крови. Босая. Покрова, снежок уже, босая и вся уже вот так в крови, голая ж! А боже ж мой! Давай мы так колупать, давай. Темновато тут было — сумерки.

— Лезь, чего не лезешь!

Я полезла. Вылезла. И он за мной. Дак я уже как вылезла, поползла в ямки — там когда-то кирпич делали. Дак я ямками и там на огород, там — двор, я — туда. Боже ж мой — собака!.. Ну, раз собака — я на огород и поползком, поползком… Стожок стоял — я под этот стожок рачком. И уже у меня все… Во тут вырвало кусок, и теперь рана есть та. Ну, и лежу, думаю… Лежу и вдруг

слышу — пулемет катится: тр-тр-тр! И немцы. Думаю, ну все. Оттуда вылезла, а тут помирать уже буду. Я слышу, кричит Мархвочка та:

— Лю-ди! Идите домо-ой, паны-ы зовут!

Вопрос: — Это они заставили кричать?

— Заставили. Взяли и повели. И приказали: „Зови всех людей!“ И она кричит:

— Люди! Идите домой, паны зовут!..»

На это дело, чтоб лучше загнать, выманить из лесу, затравить людей, у зверья были и свои собаки — полицейские. Их люди так и прозвали — «бобиками».

Рассказывает **Вольга Павловна Громович** из Клинников Докшицкого района Витебской области:

«… Мы все собрались и поехали в лес. В лесу сидели там. Тогда понаехали эти немцы. Тут один был полицейский из нашей деревни. Двое было их. Сейчас они прискочили… Знали, где мы схоронились.

Прискочили:

— Езжайте домой, вас никто трогать не будет. Не сидите в лесу. Они вас трогать не будут, только те будут убивать семьи, которые в партизанах. А этих никого не будут убивать.

Это Харченок был, Кастусь, он помер уже… Войнич Макар был. Это они нас агитировали, чтобы мы домой приехали. Если бы мы в лесу были, то, може, и остались бы. Но они от нас не отстали, пока мы домой не собрались.

Приехали мы домой, а тут уже немцы наехали в нашу деревню. Тут уже у нас было двое в партизанах. Дак сразу их семьи забрали. А нас это не трогали еще.

Сидят девчата, собравшись, на улице. Тут пришел „народник“[49] и спрашивает:

— Тут Сушко Юлия есть?

Никто ничего — молчат. Тогда она сама говорит:

— Есть.

— Ах, это вы?

— Я.

Так она сама. Ихних погнали родителей, дак она не хотела одна оставаться.

— Выходи!

А тогда еще спрашивает:

— А Сушко Зося?

— Есть.

Девки уже большие. Всю они ночку пересидели в том Дворе, а

вот раненько, часов в пять, гонят их. Как раз около нашей хаты, сюда, на луг. А там гумно стояло. Как Раз мамин родной брат забран был. Мама моя, как только увидела — так вся и обомлела.

— Мамочка, — говорю я, — нам всем так будет. Ну что ж, поубивают — ничего не сделаешь. Гады нашли, то побьют уже…

Повели их туда, где постройка стояла, загнали в ту постройку. Сначала убили их, а потом запалили эту постройку. Из автомата. Только три раза провели.

В то утро они как раз и выбрались от нас.

Пошел „народник“ по лошадь. А там моя тетка была. Били ее и не добили. Она в положении была. Живая еще была. Около купели[50] там лежала. „Народник“ этот пришел за лошадью, а она говорит:

— Детки мои, за что ж вы меня били, за что ж вы нас били? Мы ж люди бедные, что ж мы так попали? Мы ж горевали, жить хочем, за что ж так побили? Ай-яй-яй! Семейку мою всю перебили, и мужа убили. Добейте вы уже и меня, чтоб я на этом свете не была.

Вот так… Так во…

И тот „бобик“ — а немцы еще не уехали — пошел заявил, и один пришел, добил ее. Тетю мою.

Убили, коней позапрягали, собрались и поехали.

А мы уже тогда пошли смотреть, где кто есть. Може, где кто жив.

Живого никого не оказалось. Только одна она была выползла, и ее убили.

Воду мы носили… Известно же, горят люди! Гасили мы их. Одежу кое-какую собирали, на кладбище занесли их и похоронили.

Вот и все.

Мой тэта тоже на огороде был.

Взяли сундук большой, собрали, что от них осталось, в тот сундук — и на кладбище завезли…»

Человек, на которого обрушился фашистский «новый порядок», обживает лес. Роет и обживает норы, спасаясь от зверья в мундирах.

Рассказывает **Зинаида Ивановна Путронок** из деревни Борковичи Верхнедвинского района Витебской области.

«…В лесу мы построили землянки. И жили там до экспедиции. Когда началась экспедиция зимой, то часть партизан пошла. Мы же остались. Три семьи нас жили в болоте, пока шла экспедиция. Экспедиция рядом шла, но нам как раз удалось…

Только мы зашли в болото и выпал снег. Это как раз перед Новым годом было. В сорок третьем, видать, зимой. Скот мы не брали. Только нас было четверо: мать и три сестры. Там еще две семьи. Три семьи нас. Без скота ушли в это болото. Снег прошел — следы завеяло, и экспедиция рядом шла ночью. Помню, Новый год встречали немцы, стреляли, салют давали в двенадцать часов. Новый год. И мы все — и разговоры слышали, и выстрелы, все слышали, но уцелели. Немцы не догадались. А кто вез на конях и скот гнали, тех всех экспедиция догнала и расстреляла. Мы после вышли, когда все утихло, прошли по лесу — жуткая была картина. Мы прошли до своих землянок — лежали трупы, кони, коровы пострелянные — жуткая картина была.

Вторая экспедиция шла летом. Это, по-моему, уже в сорок четвертом. Летом, уже мы сидели в тайниках. Пришел из партизанского отряда Орловский, помню его фамилию, выступил перед населением и рассказал, как строить эти тайники. Построили мы тайники. Каждая семья строила себе тайник. Чтоб можно было только сесть всей семьей. Срезали дерн аккуратненько. Очертишь так вот квадрат. Дерн клали, песок весь выкапывали, чтоб можно было сесть, яму такую выкапывали. В корзины песок, относили далеко и под мох прятали. Немцы уже знали, что такие тайники существуют, и когда шла экспедиция — они искали. Это всё мы тщательно маскировали: песок, накладывали досок толстых, чтоб не прогибалось, и назад ровненько дерн складывали. Все как было — снова на эти доски. Потом по дерну хвоей засыпали. Точно — как вокруг лес растет. И устраивали, чтоб дышать можно было. Под большое дерево, около большого дерева выкопать, а под корни, чтоб просвет был, несколько их. Когда сидишь, чтоб воздуху немножко — дышать. Там же долго сидеть нельзя было, только тот момент, когда пройдет экспедиция. Потом вылезешь из этого тайника — человек желтый, желтый, в общем — головокружение. В земле, полностью в земле.

Вторая экспедиция когда шла, у нас был тайник. И Кухаренок такой жил, и Чагак. Они из Боркович. Удравши были от немцев в партизанскую зону. Шел этот Кухаренок по лесу и как раз наткнулся на немецкую цепь, на экспедицию, на самых на немцев напоролся И растерялся, ну, и назад, бегом в свой лагерь, А немцу только засмеялись, потому что они знали, что со всех сторон все оцеплено, три цепи шли.

Он сразу как прибежал — замахал: „Немцы идут!“ Мы тут костер погасили, который был… Землянка у нас наверху была, когда открыто жили. И мы сразу все в тайник. Как только в свои тайники залезли… Такую дверку делали на завесах, палочкой

подпирали, и влазили туда. Ляжешь и ногами туда всунешься… Все в тайники влезли, и тогда за эту палочку возьмешь и опустишь.

Пришли немцы, землянку взорвали. Мы разговор слышали немецкий, вещи какие были — они разбросали. Прошли по самому нашему тайнику — хруп-хруп-хруп, веточки под ногами у них…

Мы эти тайники делали так тщательно, что было нас там три семьи, все знали приблизительно, где чей тайник, а бывало, сами не могли найти, чтоб поднять эту дверку. Один у другого.

И вот Кухаренок, когда прошла эта экспедиция, он первый вылез из тайника и решил прийти, дать нам сигнал, что немцы ушли. И знал, где наш тайник, и не нашел. Слышим, он ходит, зовет нас по фамилии, вызывает, что немцы, значит, прошли, а мы не верим: а вдруг немцы заставили его показать наш тайник. А потом приподняли дверку, посмотрели сквозь щель, что это Кухаренок один, никаких немцев нема — и мы вылезли сами.

А Чагак не успел тайник сделать полностью, он его замаскировал, а дверку эту на завесах, через которую надо в тайник лезть, он не успел сделать. Поэтому они вскочили в тайник все, елочку взяли в руки, сели в эту… Ну, человеку только чтоб сесть… И елочку берут. И держали. Дак они ни живые ни мертвые сидели, все видели через эти ветки. Сидят и видят, как немец дошел, почти уже вот-вот ногой наступит, остановился, посмотрел. Они уже изготовившись были: если немец наступит, он обвалится в ихнюю яму, дак они какие-то там веревки подготовили, чтоб сразу ему рот закрыть, чтоб он и не крикнул, и не пискнул…

Так мы две экспедиции в лесу и просидели…

Как Красная Армия пришла, дак все взрослые побежали от радости, а нас, детей, оставили, а мы сидим и не знаем, что делать. Празднуют там взрослые, солдаты говорят, что много прошли, а только тут мирное население встретили. Все было всюду сожжено.

Часа через два взрослые возвратились и нам, детям, объявили, что нас освободили — пора выходить из лесу…»

Охотятся на людей, убивают целые деревни, и вдруг… Девочка, лежа среди трупов в своей хате, слышит:

— О, пахнет хлеб в печке! Доставай его, а то я голодный, как зверь!

«Как зверь!..» Говорит, но сам еще, должно быть, считает, что только аппетит у него «звериный». А сам он человек, даже — «сверхчеловек».

Тот, кого со зверьем нельзя сравнивать, — обидишь лесного зверя.

И снова — вслед за огненной людской памятью — вернемся в то жуткое прошлое, которое звери-охотники в фашистских мундирах хотели сделать нашим будущим. Повседневной реальностью готовы были сделать для миллионов людей.

Рассказывает **Ганна Андреевна Яцкевич**, Кондратовичи Логойского района Минской области:

«…Был мой, а теперь его нема, моего человека. Он прятался с хлопчиком малым. Пришел домой, лег спать. Дождь пошел. А я пошла картошки из ямы достала, — это недалеко. Вылезла из ямы, поглядела — нигде никого нема…

А тут был мужик один, инвалид, едет он конно и говорит:

— Бросай картошку, говорит, мы уже окружены.

Я вскочила в хату да говорю ему… Он спал, а малое Дитя с ним, хлопчик, теперь он уже в армии. Был в армии, а теперь уже отслужил, дома. Дак я к нему, из люльки схватила, да такой платок большой был — на него, обернула. А потом еще была девочка, и старший хлопчик, и муж еще. Они прятались с лошадью, дак теперь на печь залезли, отогрелись уже. Говорю им, что слазьте с печи, что мы уже окружены. Он соскочил с печи. И этот хлопчик, старший. И кинулись мы в эту сторону — будем прятаться где-то. А тут уже окруженные мы…

Оттуда мы уже в свою квартиру пришли. Что ж будем делать, где прятаться? Еще сосед пришел один:

— Что ж будете делать?

Не знаешь, куда уже кидаться, уже окружены. Пришла соседка, тоже спрашивает, что мы делать будем.

— Ничего, — говорю.

Затопила печь, поставила горшок картошки… А зачем она мне?.. Уже без памяти я. И ушли они, сосед с соседкой. Взяли „машинку“[51] — и пошли — тоже в печи разжигать.

Потом муж глядит в окно — так на деревню, а потом говорит:

— Ну, баба, будем утекать: уже идут немцы оттуда и гонят народ.

Тогда мы в эту сторону… Было еще окно приставлено, дак он вынул то окно — кулаком вот так выбил, да этого хлопчика малого… Сам вылез, а потом этого хлопчика малого взял и перед собой… Тут сад был большой, школьный, дак он в этот сад. А я еще поглядела через окно — их уже никого нема, хата раскрыта… И пошли мы в этот сад, чтобы потом в лес. Он выглянул да говорит:

— Никуда уже, в лес уже никак. Уже хата горит. Ну, куда

деваться? И там уже немцы стоят, где я брала картошку, при этой яме. И тут немцы, и там немцы. Дак он и будет говорить, мой муж:

— Нема нам уже куда утекать…

Лозина была такая большая, и маленькие отросточки этой лозины. И мы — туда вчетвером: двое хлопчиков и этот маленький, дак мы его качаем на руках, чтоб он не плакал. А старший вот так ничком, согнувшись, около нас. А девочка старшая, та — от нас… Тут жито было. Хотела в лог, дак по ней выстрелили, и она — в жито.

Сидим в этом кусте, уже вчетвером. Мы вот так сидим в этой лозине, а вот так недалечко — стежка. И по этой стежке немцы идут. И вот так автоматы несут, но глядят туда, в лес. Мы сидим под ногами… Я говорю:

— Будем утекать? А он говорит:

— Не показывайся.

А трава большая, вот так, по пояс, и мы сидим так.

Я не помнила ничего. Школу жгли уже, людей убивали — ну, не помнила я ничего, что это жгут, убивают… Он еще помнил, мужчина, дак он еще больше немного…

Младший хлопчик давай плакать… Уже вокруг нас хаты горят, за дымом мы не видим ничего, а этот хлопчик давай плакать:

— Кашки!

Хозяин мой говорит:

— Не будет места тут нам.

Этот, старший, пополз по траве — дал ему крыжовника. Такой вот, как теперь, зеленый, завязь, нашморгая ему и говорит:

— На, ешь! Заткнись только!

Он, этот хлопчик, крыжовник тот ест, съел весь да плачет. Известно ж, натощак.

Ну, а уже тут пожгли кругом, около нас, и уже на том конце горит, и стреляют там, и все.

Он вышел, немножко поглядел, говорит:

— Не место нам тут. Дитя плачет. Давай в лог туда с ним.

Я его перекинула вот так через плечи и пошла в тот лог. А тогда уже — там Мощенка горит, уже дым. Я тогда лесом — вот так, а тогда — и там крапужина, канавка такая есть на горе — в эту канавку с этим дитем… А тут уже я не знаю, кто где. Он искал старшей девочки — по житу, всюду… Коня убили нашего, он нашел в жите. А эта девчинёха уже бежала из жита… Там сестра, в другой деревне, дак она бежит и плачет… А тогда вышла женщина и говорит:

— Не плачь, девочка: мама тут вот с дитем.

Я ее оставила там, а сама прибежала поглядеть, что тут. Скотину угнали, все угнали. А корова была еще только отелилась, дак она утекала с поля. Я и думала, что она так и от них, от немцев, убежит. Дак я вышла на пригорок, гляжу…

А он говорит:

— Не гляди ты на корову! Давай куда пойдем на ночь.

— Ну, куда ж пойдем — пойдем туда, где дитя. Пошли мы, переночевали в этой деревне, назад пришли — ну, что ж делать, нема чего ни есть, ничего ж нема. Тут еще картошка была, дак мы взяли картошки будем варить.

Только стали варить на этом погорелище — оттуда немец ползет, из хвойничка… Мужик мой поглядел и говорит:

— Не место тут, будем бросать эту картошку…

И ушли мы. А еще я спрятала, было, молока кувшинчик в дрова. И они не сгорели, эти дрова. Мы за этот кувшинчик — в жито, и этому хлопчику дали. Он и голову мыл, и ел, все там! *(Смеется.)* Дитя! Чтоб хоть не плакал. Ну, и посидели так до вечера. А тогда уже вечером… Деревня тут, три километра. Дак он говорит:

— Темнеет. Пойдем мы в эту деревню, там, може, пустят ночевать.

Там мы уже ночевали, в той деревне. А они тут еще и назавтра… Еще две хаты не спалили, ожидали, что соберутся люди еще. Ну, кто ж пойдет в эту хату? Никто не пошел. Назавтра те пришли, тут и стреляли, брали и свиней, и курей еще ловили, и хаты эти две спалили тогда…»

Послушайте еще **Алену Ильиничну Батуру** из Засовья Логойского района.

«…Между собой они ничего не говорили. Только с матерью. Спрашивали, где сыны…

Пошли в другую хату, к соседу. А я осталась одна. Что ж мне делать? Слезла я с этой печи. Так, слышу, выстрел у соседа. Мама лежит вот так, убитая. Кровь фонтаном бьет. Брат и сестра убитые на койке, фонтаном кровь бьет. Что ж мне делать? К жизни я еще стремилась. Судьба такая на свете. Я тогда открыла погреб, дощечки две, залезла в погреб этот и закрылась сама с собою. Когда я туда залазила, то увидела, что одна хата горит… Наверно, будут и эту жечь. Дымом мне будет хуже душиться — лучше пусть они меня выстрелом! Давай вылезу. А как я залазила в этот погреб, то мама лежала вот так, убитая, на полу, а у меня была блузка белая, то она затекла кровью. Плечи затекли кровью. Я и не видела, после осмотрелась уже. Я вылезла и выползла в

огород. Так вот две грядки были, мама бураков посадила там. Я в борозду влезла, ничком легла, распласталась — нехай тут уже… Слышу, они там у соседа строчат… Хотела бы, чтоб земля провалилась, да чтоб этак поглубже. После слышу: идут жечь нашу хату.

— Вот, говорят, наверно, удирала, в огороде убили.

Слышу я это, слышу, а не повернусь, не могу… Как они будут вот так стрелять… Я ж видела, как маму убивали… Не повернусь, ни головы не поверну — убивайте и что хотите! Лежу, лежу так… Они пошли, хату подпалили. Хата горит, на меня искры… Мне уже трудно. Искры сыплются. Где уже кофточка сухая, она тлеет. Я возьму так вот земли — и так во облегчу. Посыплю — и легко мне. Чувствую — тут уже около пояса мне печет, тлеет. Я опять этой рукою… А они, вот, занялись соседями, пошли к соседям хату жечь. Ой, как трудно, тяже ло! Слышу — они говорят, и по-нашему, и гергечут всяк… Никак мне не выползти. А после они в третью хату пошли, убивать. Потом я — так вот, так вот, как говорят — по-пластунски, локтями, локтями, как змея какая, выкатилась из этих гряд, вкатилась туда, где картошка посажена. И лежу в разоре, тоже в борозде. Выстрелы. Пули — тив-тив-тив! Деревня горит, бревна валятся, искрит… Ой, конец свету. Я думала, что я уже осталась на свете одна. Конец свету, а я одна, что я буду одна делать? Мне страшно уже одной жить… Я думаю, что и во всех деревнях так, и уже конец свету, и больше народу не будет. И свету не будет.

Лежала я, лежала, пока это все не погорело. После уже, когда солнце повернуло за полдень, села я уже. Тихо стало — ни пули не свистят, ничего… Гляжу, а Амлишево, другая деревня, горит. Все, думаю я, конец всему… Что мне делать? А еще, вот, деревня Горелое — не горит. Думаю: пойду я туда, там люди есть. Собралась и пошла. Шла по деревне, босая, голая, в крови эти, плечи, у меня были… Туда, за речкой, это Горелое. Минула я деревню свою… Вся деревня горит, эти трупы шкварчат, горят синим огнем — люди горят. Поглядишь — и мне уже одна путь: иду в эту деревню уцелевшую…

Оглянусь я — за мной дядька бежит. Как я оглянусь — он рукою махнет и махнет, а я — еще, я — еще!.. А дядька этот за мной. Он бежит, а мне кажется, что немец в комбинезоне. За куст спряталась. А уже обессилела, не могу… Со страху, со всего тамака… За куст заслонилась — ну, тут уже меня убьют… Глаза так вот закрыла и сижу…

Подходит этот дядька.

— Кто это? — говорит.

Гляжу — знакомый, Неверка Владя.

— Ай, — говорит он, — как ты одна осталась? Уцепилась я за него, а он:

— Тихо, не плачь. И я только с женкой остался, всю семью убили. И мать убили. А я через окно утек. Пойдем на Амлишево, на болото.

А то Амлишево горит… Все сгорело, а амлишевцы в болоте сидят. А моя тетя была в Амлишеве. Я рада этому дядьке: что еще на свете человек есть! Да еще подсказывает, что еще и тетя моя есть, в болоте сидит…

И пошла я с тем человеком туда, в болото. Пришла, правда, тетю свою нашла с семьею, и стали мы уже…

Ой, ой, как уже трудно было…

Уже в болоте я осмотрелась, что все мои плечи в крови — уже от мамы и от брата, от сестры… С кровати капало, лилось. Мамина кровь меня и спасла, только мамина кровь.

Если б не эта кровь на мне, то и могли бы они меня полоснуть.

Жила я одна, одна, а потом замуж вышла, и замуж мой плохой — мужик жуликоватый, меня бросил, детей бросил, трое детей, три девочки. И я борюсь, их учу, добиваюсь. Правда, первая замуж вышла, десять классов кончила и замуж вышла — ради меня вышла:

— Мама, говорит, будем младших учить. Я тебе буду помогать под старость.

Хорошая она, в Лонве живет. Одна в техникуме, а меньшая — восемь кончила и тоже хочет учиться. Осталась я одна — из-под пуль вышла, из той крови, дак нехай хоть дети мои живут, чтоб они в люди вышли…»

Рассказывает **Вольга Фоминична Гайдаш** из деревни Первомайск Речицкого района Гомельской области:

«…Четырнадцатого мая сорок третьего года немцы спалили нашу деревню. Мужа моего взяли партизаны-ковпаковцы осенью сорок второго года, и две недели спустя мы переехали в лес. За Ковпаком у нас пошло человек восемьдесят. В лесу мы, партизанские семьи, сидели всю зиму. После нам пришли, сказали:

— Кто у Ковпака, то вы не бойтесь, вас расстреливать не будут.

Сказали это нам свои люди, а людям — немцы. Ну, мы и поприезжали додому. Я тоже в лесу с конем была. Переночевала я у брата, а потом приходит мать моя, свекровь. И говорит, что приходили из полиции и говорили, чтобы я дома была завтра, в

десять часов, и чтоб никуда не уходила.

Ну, мне страшно стало, что гоняются за мной.

Зарезала овцу. В лес удирать снова собираюсь… Луплю ту овцу в одиннадцать часов.

Приходят, стучатся вечером. Свету тогда не было, коптилка.

Они постучались, я испугалась, растерялася.

У меня детей было трое: сын с тридцать пятого года и дочка с тридцать седьмого, а младшенькая — с тридцать девятого. Та сидит около меня, а мне деваться некуда. А еще боялась потому, что они гонялись за одежей моего хозяина: у него были сапоги хромовые и кожанка. Забрать хотели у меня.

Страх мне стал. А тут подпечье у нас, куда кур загоняют. Свекровь пошла открывать сени, а я — под ту печь, потому что боялась. А дети, старшие, что были на печи, не увидели, где я. А младшенькая сидела.

А мать говорит:

— Вот была только что, а куда девалась, не знаю. Она думала, что я за нею выскочила во двор, она и не видела, что я под печь спряталась…

— Ну, дак скажи ей, чтоб она завтра в десять была дома.

Они уехали, а я тогда коня запрягла, мясо то, овцу необлупленную, на телегу — ив лес. Двое детей со мной поехали, а младшенькая с бабкой осталась. Мать не пустила ее. Она и так в том лесу намерзлась. Назавтра в Десять часов они приехали, забрали мать мою и дитя. Она еще им песенки пела, маленькая… Четыре года девочке было. И тут ее расстреляли вместе со всеми. Тринадцать душ тогда убили, старых женщин и детей…

А в мае месяце, тринадцатого, приехали к нам в лес и сказали… Мы там в лесу сидели, старик пахал, дак они того старика позвали и сказали:

— Кто в лесу сидит — объяви им, чтоб ехали домой Кто в лесу — постреляем.

И по лесу они походили, кого захватили в куренях — постреляли: детей малых и стариков. Люди перепугались: собрались все, поехали в деревню ночью. Прямо как обоз шел из того леса. Утром пришли домой.

Тут старик такой ходит и говорит:

— Кто партизанские, то мы не будем из-за них, из-за партизанских семей, хорониться в лесу…

Ну, я — партизанская семья, мне уже надо молчать. Пришла я к соседу, он друг наш был, и спрашиваю:

— Что будем, Брель, делать? А он говорит:

— Кто куда хочет, а моя семья невинная, не буду я отвечать за кого-то.

Его с семьей тогда забрали, и он, и дети его — все погорели.

Ну, стали угонять скотину, телят. Людей посгоняли. Тут одна старуха осталась, тоже партизанская семья. Она из села прибежала сюда, на наш край, Халиха эта. Я спрашиваю:

— Тетка, партизанские семьи сгоняют отдельно или всех людей вместе?

А она говорит:

— Всех сгоняют в сараи, в хаты, кто партизанская семья, а кто и не партизанская.

Ну, я стою с детьми на улице. Около хаты своей. У дверей стою. Прогнали они одну кучу, прогнали другую. Сестры моей дочь была в Германии, дак сестра письма держит, а я у нее спрашиваю:

— Куда ты, Татьяна, пойдешь? А она говорит:

— Ты прячься, а я пойду туда: у меня письмо есть, дак, може, в Германию меня заберут?

Дочка ее была в Германии, а две дома были, а сын был в партизанах. Она думала, что ее письма те спасут. Их там в хаты позагоняли, а я, где стояла, стою, жду. У меня такая думка была: взяла и выпила я хорошо, и думаю, чтоб убивали нас на ходу. И детей так настрополила:

— Сынок и донька, будем утекать, чтоб так стреляли нас.

Немцы телят везут по улице, а потом только трое идут и женщин гонят, бабушек. Один, такой молодой, видно, чистый немец. Подходит ко мне. А мой пацан… Шапка на нем — шлем такой был, пуп сверху. Красноармейская. Дак немец за тот пуп взял, шапку поднял над его головой, потом опять надел. Ручонка хлопчикова у меня в этой руке, а дочки — в этой. Немец с него снова снял и снова надел шапку. А тогда, в третий раз, его вот так под мышки подхватил и поднял. И мне, вот, кажется, что он кинет и убьет его. Поставил. Опять ту шапку поднял й опять опустил.

Дак я тогда говорю:

— Пан, я пойду ребенка своего возьму.

У меня уже тогда ребенка не было, но мне так в уме мелькнуло. Дак он засмеялся и говорит:

— Иди!

Сам собрался и ушел. Дак мы во двор в свой. Ну, в хату зашли — нечего брать. А я думала, что он стережет и убьет нас. Кошка была с котятами за печкой. Я ту кошку с котятами замотала в платок и выношу во двор.

Этот мой сын поглядел и говорит:

— Мама, уже нема никого, поехали. Давай острогу поставим в колодезь и попрячемся.

Поставили мы острогу, влезли дети, и я влезла, и так меня

видно.

— Не, так мы пропадем, дети!

Выскочили мы на огород. Там у нас блиндаж был. А в том блиндаже уже соседка сидит, четыре души. И тут еще женщина бежит с детками, и у нее на руках — маленькое дитятко. И та — туда. Стали кричать те дети. Ну, мы и вылезли оттуда. Вылезла я со своими детьми, вижу: бегут за этой женщиной вдогонку втроем. Немцы. Бегут — ну, мне уже некуда деваться. Я в борозду — вот так. И дети мои в борозду между грядами попадали. Они в тот блиндаж, выгнали ту женщину, две дочки у нее, и была там женщина чужая. Избили их и погнали 5, Деревню. А в деревне уже стонет земля, горит, кричат!.. Так все — прямо аж тоскливо лежать. Тот хлопчик утек назад в блиндаж, думал, что я в блиндаже. И соседа Другого утек. Ну, они в блиндаж не полезли, потому что я им сказала, чтоб шли в борозду, потому что из блиндажа повыгоняют. Они в борозде полегли. Моих двое и… Всех пятеро нас в борозде. Перебежали через нас. Кошка ж та с котятами лежит около меня, и кукла, что я собиралась в Германию. Яички, сала кусок и хлеба ломоть. Они тут мою куклу ногой подбили и, значиться побежали. Я сама себе думаю: „Или они подумали, что мы убитые?“ Они пробежали. Потом опять бегут, хаты жгут, хлевы уже, сараи наши. Горит уже деревня. Уже дым. Тут у меня в головах стог соломы стоит, и я уже растерялась, как он стал ту солому поджигать зажигалкой… На мне та тужурка-кожанка и сапоги хромовые, потому что подумала я: сгорю сама и все на мне сгорит! Я растерялась, а дети спят — мои двое и чужие. Мои руки вот так позаложены за голову были, дак рука упала. Он на мою руку наступил, перешел… И собрались они, и ушли. Солому запалили. А дети лежат — позасыпали. Только уже как солома загорелась, и хлев наш загорелся, и полымя стало припекать — дети горят: и рубашки на них, и волосы горят. Мой уже весь обгорел хлопчик, кричит:

— Ой, мама! Я не могу уже лежать! — А я ему говорю:

— Лежи!

А тут шляшок, вот эта улочка наша, около школы. Мы туда повернули, дак по нас бьют, стреляют, нули сыплются, как боб. Мы опять там лежали, этот мой хлопец встал… Тут такие от буртов ямки, дак я их туда попереносила.

Уже солнце заходило. Вечер. Тихий такой. Шулы[52] стоят — горят, а мне все кажется, что это немцы стоят. Попереходила я сюда, а тут у меня на дворе конь стоит. Только сухари у меня украдены с воза.

Я уже тогда, вечером, пошла искать, кто в лесу остался живой…

Хлопчику моему было восемь, а девочке шесть, седьмой год. А младшенькую расстреляли, я вам говорила.

Что она им пела, дак слыхала женщина, соседка. Она была, видела, как и на подводу садилась свекровь моя, и прощалась. А младшенькая, четыре годика было, сказала:

— Дяди, не берите меня с бабулей, я вам спою песенку, которая „Пасею агурочкі“[53].

Она спела им, стоя на подоконнике, и они ее забрали и застрелили…»

ЧИНГИСХАН С ТЕЛЕГРАФАМИ

«…Я буду так рассказывать. Мы жили: свекор, свекровь и золовка. У золовки уже дети были, и у меня дети были. Свекор запряг коня и нас отвез в лес. А свекровь осталась, одна-одной в хате. Сама она осталась, потому как была уже старая и немощная.

Поехал свекор из лесу поглядеть, а ее уже в хате нема…

А они взяли ее да вбросили в колодезь, небольшой такой был Живую. Только у нее была вот тут, в голове, дырка пробита, как она головой упала. И тогда, какое было у нас в хате тряпье — все в тот колодец покидали: и постилки, и польта, и подушки, — все на нее покидали в колодезь. И такое было бревно дубовое, дак они им сверху те тряпки притиснули, чтоб они не всплыли. А тогда была повозка такая, два катка по два колеса, дак они перевернули одну пару колес и всадили туда, в колодезь, а тогда взяли землей замуровали — нигде ничего не видно, одно колесо только торчит…

Три недели пролежала, как один день. В воскресенье ее вбросили, и в воскресенье мы ее откопали…»

(**Ганна Микитовна Капшай**. Погулянка Речицкого района Гомельской области.)

«…Это было рано, их еще немцы стреляли в постелях. Одного, Денисова Макара, семнадцать раз стреляли — в ноги, в руки, пока это насмерть убили. И всех остальных стреляли не сразу. Убивали — чтоб больше мучился…»

(**Алина Егоровна Степанова**. Ровное Шумилинского района Витебской области.)

«…Маму мою, мою свекровку, перехватил в окне. И как начал обухом бить!.. Она испугалась, под печку забилась и там сидела до самого вечера. А потом в окно полезла, удирать. А он — обухом. Топором, обухом в плечи. Она завалится, поднимется, а он — снова…»

(**Устинья Артемовна Волкова**. Жары Ушачского района Витебской области.)

«…Меня три раза на ступу клали. Спина моя была черная, как котел. Видели люди. Ну, такая была ступа, как раньше крупу толкли. А они ту ступу перевернули, тебя грудью на нее положат, а руки назад, накрест, и держали, и тебя били. Три раза клали и били. „Где партизаны?“ Загнали нас в хату. Передо мною шесть человек убили. Что они ни делали! На ступу положат, головой к

порогу. Вырезали тело… Железо раскаляли и прикладывали… Шесть человек убили передо мной. Годов по пятнадцать-шестнадцать. „Партизаны! Вы нам спать не даете!“ И били…

Я чуть живая была. А когда уже опомнилась, гляжу — разбегаются люди, хаты горят…»

(**Мария Алексеевна Гладыш**. Мосар Ушачского района Витебской области.)

«…Из нашей деревни уловили девушку. Они над нею надругались. На кладбище потом нашли ее. Уже неживая лежит и конфета… в зубах… А другую убили в саду.

Вот так лежит — навзничь, присыпана, — после мы осмотрели. Платье все порвано на ней…»

(**Ганна Захаровна Дядёла**. Видоки Верхнедвинского района Витебской области.)

Бабусе, которая это рассказывала, за восемьдесят лет, она лежала в кровати, уже совсем немощная. Дочь ее Барбара Ясюкевич (в хате примак) и соседка Наталья Подгайская, которые хорошо помнят те дни, уточнили шепотом про ту конфету… Бабуся не смогла сказать: или по душевной деликатности, или из-за уважения к памяти бедной мученицы.

«…Как она кричала! Все млели. Тут же вот, в байне, был такой большой гвозд, сантиметров, може, двадцать. Дак они взяли тот гвозд да ей в грудь… Самокованным гвоздом — в грудь…

А тетку мою на штыках подняли…»

(**Ганна Прокоповна Грибовская**. Латыгово Верхнедвинского района Витебской области.)

«…А еще и до расстрела издевались: и вилами кололи, и ногами топтали, и били — ой!.. Дети малые были, дак по живым ногами ходили… А некоторые знали, что немцы яйца любят, несет которое дитя ему яичек да просит, чтоб не убили. А он как даст ему ногою, дак оно и перекувыркнется — и с ногами по нему пошел…»

(**Мария Михайловна Скок**. Павловичи Слонимского района Гродненской области.)

Тут вспомним еще и рассказ Акулины Ивановой[54] о том, как фашистскому офицеру мало было своими ногами душить положенных в хлеву на навозе детей, женщин и стариков, и он привел коня…

Примитивное, ручное зверство — извечная кровавая работа нелюдей.

А было оно, зверство, в новом, усовершенствованном виде, оснащенное современной техникой. Были мины.

Рассказывает бабуся **Акушевич, Александра Наумовна**, из деревни Столпище Кировского района Могилевской области:

«…Там было человек двести из разных деревень. В камере. Со мной две девочки было, племянницы. А наши самолеты налетели. Дак они нас и заминировали. Постреляли и заминировали.

А я была неубитая. Ранена в обе ноги. В одну попало, и эту переломало. Дак я притворилась как убитая. Так вытянулась. Кровь на мне — тех, что убиты…

Один нас стрелял из автомата, а другой светил. А потом поглядели, что все убитые, и принес это… И кладет… А я думала, это, може, какая бляха, — я ж не знала, что это мина.

Ну, мы уже лежим. И еще со мной было две, тоже не убитые: одна женщина и моя племянница, младшенькая. Женщина встала и говорит:

— Знаешь, они отступают! А я говорю:

— Лежите молча. Будем молчать. Дак она на чердак залезла.

Ну, а я уже лежала, пока наши пришли.

Слышу — двери открыли. Открыли, поглядели и пошли. Это уже наши — красные. Я стала ойкать, стала звать. Одна женщина с ними была, она через порог голову — и говорит:

— Ой, оечки! Женщина живая!.. Мамаша, не становитесь на провод, у вас тут заминировано!..

Они на порог взошли, заплакали. Наши уже. А я девочку разбудила, которая живая, младшую. Она спала. Пять годочков ей было. Наши ее позвали:

— Доченька, иди к нам! А она:

— Отойдите, немцы! Вы мою мамку убили, я к вам не пойду.

Дак солдаты ее взяли как-то через мину. Мина ж лежит!.. Я только слышу, что они говорят это. Лежу и трясусь. Они говорят:

— Подай, мамаша, руки и скинь битых с себя. Как же я их скину!..

Один взялся за меня, а тот взялся за этого, а третий снова за этого — и давай тянуть. Как потянет, дак эта нога, что переломана, — в эту мину, в этот провод. Как в провод, дак эта мина — хлоп! Разорвалась. Тех всех и поранило троих. А я уже кричу:

— Ноги поотрывало!

Я воды прошу, а он говорит:

— Воды нету.

Они ее отравили, немцы.

— Нет, мамаша, — говорит мне, поглядевши, — ваши ножки целы.

Перевязали меня, и тех солдат, и нас повезли…»

Было радио. Оно не только координировало работу карателей, как средство связи, — оно их тогда и веселило.

В деревне Святая Воля Ивацевичского района Брестской области **Авдотья Ивановна Ермолович**, в войну дитя, а теперь сама уже мать, даже вдова с малыми неслухами, рассказывала нам про такое веселье. Женщина плакала, вспоминая, как они, несколько малышей, спрятались в деревянном срубе пустого, почти доверху засыпанного колодца, обросшего высоким быльняком, и слышали крик, и плач, и стрельбу — наверху, в деревне, где остались их мамы, бабушки, братики и сестрички, которые сами еще не умели удирать.

Немцы включили в своей машине радио, оно гремело какой-то музыкой, орало какие-то песни, и дети слышали через это веселье не все. Не все они также видели. Быструю Дянку, как называли Авдотью Ивановну сызмальства, подсадили по стенке колодезного сруба, и она видела, — она до сих пор видит, — как немцы, одних людей постреляв, мыли в большой бадье руки, вытирали их белыми ручниками, а потом снова начинали расстреливать. А радио их веселило…

Были самолеты.

О поединке старенькой, немощной женщины с боевым самолетом «люфтваффе» рассказывала нам **Зинаида Ивановна Путронок**, секретарь сельсовета в деревне Борковичи Верхнедвинского района Витебской области. Тогда ей было девять лет и жила она в родной деревне Волки, где произошел тот поединок.

«…Не успели мы до этого леса доехать, как налетела вторая партия самолетов и начали жечь хаты. Какой-то жидкостью. Ворошилова бабуся… Ее сын теперь в Миорском районе проживает. А тогда был на фронте. Семья большая была. Было семеро детей… Она осталась одна и до последнего свою хату защищала. Они три раза поджигали, а она все песком три раза тушила… Ну, потом она уже не смогла. Низко-низенько самолет спустился и подпалил. И она уже была обгоревши, сил не было, и она пошла. У нас называлася такая старосека — лес. А деревню всю нашу спалили…»

В деревне Лозки Калинковичского района Гомельской области убито 476 человек. Там против стариков, детей, женщин и всех других невооруженных, мирных людей был использован бронепоезд. 22 июня 1942 года. Это было очень удобно: лесная деревня растянулась у самой железной дороги, на автоматный выстрел от нее.

Рассказывает **Катерина Даниловна Крот**:

«…Ну, я в тот день… У меня сестра была и батька, матери не было. Жили втроем… Не могу я рассказывать… *(Плачет.)*

Тогда я с сестрой была на работе. Стрел открылся. Слышим — поезд идет, стрел открылся. Мы пришли домой…

Вот характер — говорить не могу…»

Когда-то, можно догадываться, волевая и энергичная, она прикусывает губу и умолкает, чтоб не расплакаться снова.

Хозяйка хаты, в которой мы сидим, **Вольга Иосифовна Века**, немного старше рассказчицы, сама пережила тот жуткий «стрел». Кроме военного горя, одного для всей деревни, есть у нее еще и недавнее, уже только свое: погиб молодой единственный сын. Электромонтер. Тянули высоковольтную линию, и на него «упал столб». Фото веселого, бравого парня увеличено вместе с давнишним фото матери, когда она, Вольга Иосифовна, и сама была молодая, веселая. Этот сдвоенный портрет, будто снимок счастливой пары или, еще более похоже, дружных сестры и младшего брата, висит в простенке под белым, вышитым ручником. Умудренная давним и новым горем женщина, хозяйка, стоит около своей холодной, белой кафельной печки, заложив за спину руки, и на плач подруги, что в гости пришла из другой деревни, где замужем, негромко, однако во всю глубину понимания, говорит:

— Ты не плачь. Потерпи. Надо терпеть.

О, как же он это умеет, наш народ!..

Подруга успокаивается понемногу и уже говорит снова.

«…Там этот конец, где людей били, уже горел полностью. Уже деревню жгли с поезда. Нас на улицу повыходило, може, человек пятьдесят, и говорим:

— Девки, давайте в лес!

А сестра моя говорит, что не пойдет. Потому что говорили люди раньше, что и с самолета будут стрелять, и всяк страшили, а не стреляли…

И вот собрали нас и ведут прямо в тот огонь. Мы просимся, а они нас через улицу ведут во двор, и уже там хлев подпаливают.

И так мне хочется, и так же мне хочется утечь!.. Один раз я попробовала. Жито было посеяно около самой улицы, дак я хотела туда, а немец заметил, крикнул и винтовку наставил. И я пошла. Идем, идем, а там, где уже они жгли, сильно много немцев видать. Дошли мы до середины, где уже мы жили, семья наша, а тут стояла хата несгоревшая и огороженная, как и надо. И подружка шла со мною. Дак она говорит:

— Давай сюда удирать!

А на эту сторону ветер клонил, дак все погорело, и садов не осталось. А иду я, може, метров десять впереди А потом вот так оглянулась назад. Та девушка побежала сюда, а я сюда. Те два немца — они меня не заметили, и третий не заметил. Я и побежала во двор, а там уже в картошку, в жито и — поползла. А тех всех повели.

Я отползла так, може, метров сто от деревни и лежу в жите, думаю: „Что ж они там будут с ними делать?“ Правда, я далековато была от них, оттуда, где их там жгли, — метров, може, четыреста, а може, и больше. Лежу я и слушаю, а их там из автоматов — та-та-та-та — строчат, строчат из автоматов, как завели уже в хату. Лежу я, лежу, а потом вижу — горят уже хаты, и деревню всю осветило. Видно стало, а уже темнеть собиралось.

А поезд так и ходил по пути: сюды-туды, сюды-туды. Как он бил по селу! Из пулеметов да из всего. Аж то жито косит!..

А я в борозде лежу. Потому что я слышала, что мужчины говорят, как на войне, в ямку надо. Лежу я к пути головою, а поезд, кажется, катится в ногах. Так перепугалась, что не чувствую ничего. Лежала я, лежала, уже темнеет. Слышу: машины погудели на Василевичи. И поезд ушел. Тот, что стрелял.

Я тогда в жите встала, вернулась на свою усадьбу и позвала, може, где кто есть. А никто не отзывается, только скот ревет, да коты мяукают, да собаки лают… Куда ж деваться, куда идти?.. Пойду я заберу то барахло, что бросила, и пойду в лес.

Подхожу я туда — добро уже лежит, а людей нема, и уже темнеет. Встретила двоюродную сестру, и она сказала мне, что людей пожгли…»

Бронепоезд — техника боевая, только приспособленная для убийства мирного населения.

Была и техника специальная.

С ее работой, точнее — со следами этой работы мы познакомились в деревне Костюковичи, километрах в тридцати от Мозыря, вверх по Припяти.

Рассказывает молодой, чернявый мужчина в тельняшке под расстегнутой рубашкой. Припятский бакенщик **Андрей**

Афанасьевич Казак, в хате которого мы сразу здесь остановились.

«…Мне восемь лет было. Я помню так: подошли машины к нам, напротив, где вот мы живем, в центре. Подошла машина с халабудой, с фургоном таким. Стала. Там это, в этой халабуде, находилась бочка. Каждый подходил, да по кружке пили чего-то. Там и немцы, и полицаи были. Наверно, водку.

Народ согнали весь и начали сгонять на берег.

Мы малые были, нас матка за руки держала… Матка что-то сказала на одного полицая. Он винтовку наставил и хотел: мол, я тебя прикончу! Тут мы начали голосить.

Ну, мы в тот список не попали, где быдто партизанские семьи. Потому мы остались. Нас вывезли отсюда.

А когда мы потом вернулись в село, чтоб накопать картошки или жито свое сжать, — все тут было спалено.

Потом начали колодези смотреть: это уже было после войны. Немцы людей в душегубках травили на берегу, а потом привозили и сбрасывали в колодези. Тут четыре таких колодезя. Душегубка — машина специальная была, закрытая, и газом отравливали…

Немцы сначала людям сказали, что будут привозить малых детей, сирот, чтоб у нас они, в Костюковичах, жили. Дак мы думали, когда они приехали, что это они везут тех детей. А они не детей нам везли, а приехали да нас загубили…»

Больше помнит **Дарья Нестеровна Гусак**, *тогда* уже взрослая.

Люди из села были выгнаны на берег Припяти, что и тогда спокойно плыла себе в свою вечность по раздолью зеленой долины, внизу от Костюкович и далековато, если ходить на реку пешком.

«…Нас, партизанские семьи, — рассказывает Дарья Нестеровна, — поставили на берегу отдельно. Мужчин и женщин отдельно. Еще у меня сестра была, с двадцать четвертого года. Мать попросила одного полицая:

— Мой дороженький, ты моих этих девок забери куда-нибудь, все равно нам уже могила.

Дак он нас двоих взял туда, где собирали отправлять в Германию.

Как мы уже шли, дак видели: разбирали в деревне колодези, уже готовили их на людей… А эти душегубки, знаете, еще только подъехали. Такие они, как вот ездят наподобие кузни у нас. Из МТС. Только у этих цвет темно-зеленый, а там, как бы вам

сказать, салатовый. Их две было: одна на берегу, а другая тут, подъехавши, к колодезю.

Они, знаете что, сидели на берегу, мужчины, их посадили в ряд по шесть человек… То один еще оглянулся так, — это Гриша Адамовский, — а немец подошел и прикладом как даст сюда, по шее, дак он вот так повесил голову, и кровь пошла из носа, изо рта. И он больше не поднял головы.

У меня мать и отец остались там…»

Некий Иван Рачицкий, черная душа, перед войною ловкий приспособленец, что залез было, если брать по его масштабам, довольно высоко, помогал карателям распознавать в толпе костюковичевцев партизанские семьи и тех, кого он считал помощниками партизан.

«…Дак одних оставляли, а других выводили, — рассказывает еще одна тетка, постарше, **Дарья Миновна Карась**. — А тех, которых оставили, а потом убили, — тем говорили, что их повезут катерами. Только их не повезли катерами, а четыре колодезя напихали. Вот в этом одни женщины, в этом одни детки. Там два колодца — одни мужчины… Они поделили их.

Как приезжала наша комиссия, русская, раскапывали. Дак тут одни мужчины. Голые, голые! Раздевали их.

Отец один пришел, сына своего узнал, он наверху был, и похоронил на кладбище. Целенькие все были, непосгорбленные и ничего. Словом — они травили. Если бы кидали живьем, дак человек корчился бы, гнулся бы в воде, а то они целенькие, ровненькие. Лежали, как их побросали, так и лежали…»

Каратели старались, чтоб их работа была «чистой», чтоб ее в деревне тогда никто, кроме их самих, не видел. На берегу Припяти людей сажали в те «салатовые автобусы», в каждом из которых помещалось до шестидесяти человек[55], в дороге до деревни люди удушались выхлопным газом, около колодцев их хозяйственно раздевали и голых бросали вглубь. Все делалось настолько исправно и тихо, что те, кто оставался тем временем около реки, сидя на земле лицом от деревни, ничего не видели и не слышали. Те же, кто был в тот день осужден не на смерть, а только на временное изгнание из родной деревни или на вывоз в Неметчину, были уже выгнаны и вывезены из Костюкович. И все же видела Дарья Гусак, когда ее гнали мимо, как готовили для людей колодцы, видела и тот «салатовый автобус»… Видела, однако не знала, что тут к чему, и разобралась более-менее только после, значительно позже, когда над теми карателями,

которым не удалось удрать или замести следы, состоялся суд, и на суде том побывали люди из Костюкович.

Определение «Чингисхан с телеграфами» принадлежит А. И. Герцену. Символ бесчеловечности виделся ему в середине минувшего столетия вооруженным уже не только саблями да луками, но и телеграфами, пароходами, железными дорогами, ружьями Минье и ракетами Конгрева…

Уничтожая мирное население, фашистские чингисханы разных рангов пользовались и методами своих предшественников, и новой, совершенной техникой. Были у них автоматы, мины, автомобили, радио, бронепоезда, самолеты и суперновинка — их изобретение — Sonderwagen или Gaswagen — душегубка, передвижная помощница концлагерных газовых камер.

Альберт Шпеер, министр вооружения и военной промышленности третьего рейха, отсидев двадцать лет, отмеренных ему на Нюрнбергском процессе, написал «Воспоминания». В этой книге про своего друга и фюрера он говорит так:

«Гитлер был первым, кто сумел применить технологию для целей массового преступления»[56].

Сколько мук, сколько ужасающей античеловечности стоит за словами этого компетентного свидетельства!..

«СЕЛЕКЦИЯ»

Приходит очередной эшелон с «переселенцами» с Балкан или с Востока, людей выгружают, грабят их вещи в казну рейха, самих гонят колоннами в лагерь и, построив, выбирают, разводят: кого сразу в крематорий, в огонь, а кому еще, пока голод не съел их мускулы, работать на пользу фашистской Германии.

«Селекция» — так это называлось в освенцимах и майданеках.

Цели, которые фашизм осуществлял на фабриках смерти, в концлагерях, реализовались также и в белорусских деревнях. И тут — с одной стороны, массовое уничтожение «ненужного» населения, а с другой — охота на рабов, ловля людей для работы в Германии.

«Селекция», отбор: кого убить сразу, сжечь сегодня, на месте, а кого завтра — тяжелым трудом, голодом в Германий. Цели — те же, что и в лагерях смерти Только приемы, методы — приспособленные к условиям, когда жертвы, люди не окружены колючей проволокой, когда вокруг поле, кусты, партизанский лес…

Стефа Петровна Коваленя. Осово Солигорского района Минской области.

«…Война была, мои милые. Мужчины спасалися, а мы бабы, думали, что мы будем жить, что это мужчинам надо спасаться. Я вижу, что очень едут подводы. Говорю:

— Ты утекай, а я буду с детками.

А он и сбежал, спрятался. Дальше едут, приехали, окружили, оцепили — уже нам некуда. Забрали нас. У меня шестеро детей было. Больная лежу. Меня пришли и выгоняют. А у меня дитятко грудное было, маленькое. И все детки дробненькие. Один теперь живет, а те погорели. Забрали нас, повели в гумно.

Зашла я туда, а хозяин там — поймали, завернули где-то…

Отсюда нас погнали в Забродье. Забродских попалили раньше, мы не видели. Загнали нас в сарай. Взяли они этих людей и ставят. Которые с детками — тех в одну сторону, а этих, которые свободные, здоровейшие — тех в другую. Дак тех погнали, а нас — там гуменце было такое — нас туда. А те, которые здоровейшие были, говорят:

— Зачем нам дожидаться, чтоб нас побили, уничтожали, давайте двери сломаем. Дак кого убьют, а кто утекет.

А они, должно быть, услыхали, какой-то переводчик там был. Они сейчас двери открыли:

— Кто желающий на работу?

Ну, эти вышли. А я куда с детками пойду, детки у меня дробненькие. Сама негожая была.

Переночевали мы там с детками. И они чуть свет давай нас разводить. Человек по десять. Берут и ведут. А куды — мы не знаем. И видим, повели в ту сторону и там загорелось. А они идут по нас. Они заведут, да побьют, да поджигают. Ну, и меня с детками завели. Моего брата женку с детками. Моего батьку… Тоже этак… *(Долго плачет.)* Пулемет у каждого… Идут и стреляют… Мы так попадали, лежим, лежим… Я будто в яму какую залезла — не слышно. Нас они сразу не подпаливали. Меня в ногу ранило, а я ничего не чувствовала. Меня будто кто подымал, подымал вверх… Нема никого. Я подняла голову. Ой, в хате они еще! Я обратно так упала. Потом ходят и один одному:

— Ну что, всех побили? — А другой говорит:

— Алес, всех.

Лежала я, а они походили, походили, ушли. Они ушли, я встала, нашла братову женку, так за голову — подергала, подергала: „Авдотья! Авдотья!“ — она не отзывается. Поглядела, что они все неживые лежат. Что мне делать? Страшно сидеть, гореть живой. А из меня кровь течет. Думаю, все равно ж меня поймают. А еще снег был. Дотащилась туда, за хату. Вышла туда — за корчики, поползла на четвереньках. Кровь… Думаю, все равно ж меня поймают. А деревню подпалили, это Забродье. А потом прибилась на болото немного, там со мной девочка была. Ее мать и всех детей убили, а она осталась. Горохова Ивана дочка. Мы с нею — в стог, немного выдергали, да посадились, а ноги мои замерзли, в ботиночках сидела в той воде. Утром сидим мы, я ж никуда не годна, ослабела, нога раненая. Анюта говорит:

— Пойдем. А я говорю:

— Дитятко, иди куда хочешь. Мне нельзя. Я, говорю, погибну тута.

Вижу, перед нами стог загорелся. Вижу, а они едут мимо нас. Обоз. Девочка:

— Ой, утекаемте! А я говорю:

— Не, поздно.

Мы, как те гуси, пообщипались и сидим в стогу, как на том свете…»

«Забродских попалили раньше, мы не видели», — говорит Стефа Коваленя. И там тоже была «селекция». Кто молодой, здоровый, тех погнали с собой. А остальных…

Ганна Ивановна Берникович видела, что и как было в Забродье.

Это та самая «девочка Анюта», с которой вместе спасалась Стефа Коваленя.

«…Тогда я еще в четвертый класс ходила. Привели „ас в сарай и поставили на колени. На колени постановились. Потом:

— Ложитесь!

Полегли ничком.

Да у меня два брата было, один у матери иа руках был, а другой, старшенький, дак я около себя посадила.“ И две сестры у меня было тоже, так они около матери сидели. Дак я там как лежала — слышно, что стреляли и все… И вышли… Ну, я забрызганная лежала. Так я чувствую, из матери налилось крови на меня. Голова моя вся мокрая была. Потом этот от меня братика все отталкивал. *(Плачет.)* Дак я за руку его подтащила… Я лежала, пока принесли солому. Лежу и думаю: „Во, это ж поубивали, и убитые все знают“. Лежу и сама себе так думаю… В общем, убитый человек, а знает… Слышу — солома зашелестела. Лежу и подергиваюсь — ничего не болит. Думаю, это ж ничего и не болит. Убитый человек, и все знает. Потом они подожгли. Я лежала, пока мне руку не припекло. Одежда стала гореть на плечах. Руку как припекло, я подхватилась и выбежала во двор.

Открыла глаза, поглядела — горит все кругом. Побегала, побегала, думаю, куда бежать, что делать. Немцы ж еще тут — убьют. Я в истопку. Гляжу немец. Подошел, набрал какого-то сена. А мне видно в щелочку. Кинул под стреху. Стреха загорелась. Только я во двор выскочила — шухнула стреха, упала. Все! Я побежала в лес.

Там я обгасилась вся: в снег легла — еще снег был. Потом я поднялась, вижу: какой-то человек идет ко мне.

Подошел ко мне, спросил, что, как. Я рассказала.

— Ты, говорит, посиди, девочка, тут, а я приду вечером, тебя заберу.

Где ж я буду тут сидеть? Ночь уже обнимает. Не, думаю я, пойду. Я знаю свое сено там, на болоте — и в стог. Пошла. Пошла я, там поплакала. *(Плачет.)* Сижу и плачу. После из Осова — женщина. Подошла и говорит:

— Я думала, тут много людей.

Ее ранило в ногу. Переночевали мы с ней в стогу. Есть же хочется, голодные. Я говорю:

— Пошли, у нас сало закопанное есть.

Раскопали сало, смотрим: немцы в том селе, в Красном Озере. Пошли мы в другой стог, в чужой. Рано проснулись. Та женщина говорит мне:

— Ты, говорит, спишь? Не спи, посмотри: впереди стога

горят.

Встала я — правда, горят. Кругом по болоту горят…»

О таком же — **Мария Семеновна Журавская**. Жилин Брод Слуцкого района Минской области:

«…Я живу в этом конце, а мама живет в том конце. И тогда я с ребенком пошла к маме. Може, мы пряли хам, може, что другое — я уже и забыла. Сидим и слышим — стреляют… А нам и не в голове, что там стреляют. А потом говорю я:

— Пойду я додому…

Я пошла додому. А мой хозяин дрова пилит на дворе. И говорим мы: чего это там так стреляют?.. А потом глядим: через поле идет цепь немцев. Нам уже было некуда утекать… Може, мы и могли б утечь, но человек же думает: „Мы же не виноваты. Что ж они нас душить будут или бить“. А моего ребенка не было, у мамы был он. Как пошли они по деревне, так сразу зашли и к нам, хозяина, Павлика моего, вроде бы забрали… Не, не тогда забрали, вру я уже. Дитя принесли хлопцы мне, мои братья. В том конце брали молодых в Германию, так моя мама говорит:

— Несите вы Мане дитя, а то и ее заберут. Потому что я молодая еще была, с 1922 года.

И вот пришли они Павлика забирать в Германию. Мы с его матерью плачем, просим, чтоб не забирали. А немец мне… Я уже семь классов кончила, и уже немного понимаю, что они говорят по-немецки. Чтоб и я, говорит, дитя оставила с матерью, а сама в Германию, и тогда будет „гут“. Как мы ни просили с мамой, как мы ни плакали, все равно забрали Павлика и погнали на Деревню. Потом вышла я… Был оттепельный, теплый День, я это дитя укутала и вышла. Встречаю знакомого полицая и говорю ему:

— Федя, что это будут делать?

— А я ничего не знаю.

Я иду, все равно иду. Павлика гонят, и я сзади иду. И еще раз спрашиваю у полицая, а он еще раз говорит, что ничего не знает. Свой парень, может, меня и провожал не раз. А потом говорит:

— Если хочешь, дак гони коров.

По третьему разу только мне сказал. Стали нас сгонять в одну хату, к Костику Тихону. Пришла я и говорю своему мужу и дядьке:

— Наверно, будут что-то с нами делать. Потому что мне Барановский сказал, чтоб гнали коров…

Это теперь уже люди живут роскошно, а тогда ж, известно, как было. Штаны латаные. Павлик говорит:

— В Германию повезут, так ты хоть беги штаны мне лучшие возьми.

Я и побежала, мы недалеко от Тихонов жили, наискосок.

— И табаку возьми, и еды возьми.

Мы согласились с его матерью, что дитя у нее побудет. Мать говорит:

— Если вы так останетесь, то и будете жить. А он говорит:

— Я никуда не пойду, все равно утеку. Это мой хозяин.

И мы так бегали, бегали, то табаку, то того, и Дитя мое осталось в разрыве. Я бежать, а немец как крикнет: „Альт!“ — так я вернулась, и дитя это взяла на руки.

Его погнали уже, а меня оставляют с ребенком. Посчитали людей, и меня посчитали. Стою я вот так около дверей, а он у меня — ребенка из рук, немец, и отдал другой. Это была Яся Карповича тетка. А меня — за двери:

— В Германию, будет „гут“.

Погнали мы тех коров. Снегу много было. А мы не идем по дороге, а сбоку. И так я уже устала, так устала. А Павлик говорит:

— Баба, хоть и не можешь, а шевелись. Сейчас дойдем до леса.

Дошли до моста, а тут эти танки… Или эти машины идут… И видим — подводы едут по Переходам, а какие подводы — мы не знаем. Може, немцы, може, кто там, черт его знает. Тут дальше мужчины стали присматриваться, еще двое с нами шло… Я ж и говорю, что тогда никакая хвороба не брала. Може, два километра человек босой по снегу шел. А теперь чуть что — и уже… А потом увидели, что это свои на подводе. Пошли мы, поглядели, что нема нигде ничего — и кинулись в лес…

А потом я зашла на мамин двор. Я ж знаю, сколько душ надо чтоб было. Сколько человечьих огарков. А поглядели — нема. Батьку-то мы вроде видели, что его забрали с конем, а моя мама — я ж не знала где.

У Костика Тихона в хате лишнее дитя было убито и сожжено. Може, это и мое? Може, его Костиковы дети куда под печь затащили, или куда?..»

Алена Казимировна Каминская. Тихань Слуцкого района Минской области.

«…Снегу было много, мороз был большой. А потом шел карательный отряд. Остановился у нас в Тихани. Потом пошли на Гандарево, на Красную Сторонку, Левище, Подстарево, Старево… Пожгли, поубивали, скот забрали. Людей в Германию забрали молодых. А старых поубивали. И детей.

Ну, что они еще делали?..

Человек их двенадцать или десять зашли к нам. Халаты — в крови. Бабы спрашивали старые у них:

— Что вы делали так?

— Гусям головы отсекали, — говорят они. Во, так они говорили.

Ну, нас вызвали на улицу, тиханцев, построили так в ряд, наставили с одной стороны пулемет на нас, с другой стороны — пулемет. И шел офицер с немцем и отбирал молодых в Германию. А мы так с детьми остались в этом ряду. Потом приказали нам собрать: подушечку, одеяло, на три дня еды, и полицаев поставили в калитках, чтоб эти уже не заходили, кого в Германию отобрали. Ну, мы так вынесли им на улицу еду, все собрали. Их погнали, молодых, в Германию. Забрали скот.

А эти десять или двенадцать немцев заехали в Лазарев Бор. Поехали туда, глядим — горит. Стрельбы наделали. Там людям сказали, что если встретят немцев со столом, хорошо встретят, дак они жечь не будут. Они их встретили столом уже, аккуратно. Они все забрали, тот стол перевернули, а людей позагоняли в хаты, сожгли, а скот забрали. Молодых тоже в Германию отобрали и погнали…»

Вот так всю Беларусь хотели превратить в лагерь смерти. Только вместо колючей проволоки — «оцепление»; цепи карателей со всех сторон; набитые людьми хаты, амбары, сараи — это уже «деревенские крематории». И называлось оно не по-лагерному, не «редакцией», а всего только: «сход», «собрание», «проверка паспортов»…

Ирина Ивановна Лопатка. Лочин Осиповичского района Могилевской области.

«…Ну, а тогда ходит этот немец и — на улицу! Гонит на улицу. Всех, до одной души, на улицу. Ну, мы, правда… Я девочку за руку, и булка хлеба лежала на шкафчике — я за эту булку, под мышку — и на улицу. Мы ж думали, построят и снова, може, отпустят.

А они построили в ряды, в три ряда и погнали на колхозный двор. Там снова построили в два ряда… в три ряда также. Всех, всех! Всех повыгоняли: из бани, из магазина, из клуба — всех, всех. А потом ходят и выбирают. Вот поглядит в глаза и — за плечо или за руку вытащит. И вытащит, в другой ряд ставит.

Дак я девочке говорю:

— Налечка, беги к бабушке и стой. А мы с Катей утечем.

Так звали брата жену. И у нее трое детей. Уже намерение было, что нас на Погорелое погонят, а там большой лес, дак я говорю:

— Мы утечем. Лесом будут гнать, дак мы утечем.

Уже село горит. Дверь у нас открытая в хате, дак наложили соломы, натаскали немцы, и уже из дверей полыхает огонь. И тогда они погнали нас. А эта девочка моя плачет:

— Не хочу.

Стала около бабушки и стоит уже, плачет. Полицай идет.

— Чего ты, девочка, плачешь?

— К маме хочу.

— А где твоя мама? Иди к маме.

Она прибежала, я ее за руку, и командуют нам:

— Вперед!

Погнали нас. А этот вот, старый был, наш сосед, дак он не может идти, дак они его палкой, палкой! Потом одна старуха была. И ту — палкой. И девка, може, девятнадцати-двадцати годов, дак она под ельником лежала, спряталась. Дня два там лежала. А тогда весна холодная была, в мае, что ли. Это уже последний год был. Дак они к той девке и поспихивали всех, а мы их уже не видели. Ну, а нам скомандовали:

— Вперед!

А всех, кого повытаскивали из рядов, — назад, в село. В дом их погнали, и в сенцы. И еще в два дома…

А когда вернулись из лесу те, что были в лесу, дак они уже горели. Дак они багры брали… Они их тут поворачивали — узнавали, каждый своего. Хоронили потом. Вот тут памятник стоит. Много, много — може, дома четыре заполнили!..

А нас гнали на Погорелое сначала, семей десять с детьми. Потом прошу девок:

— Девки, утеките которая. Партизаны ж не все пропадут, хоть скажете, кто живой, а кто…

Боялись, никто не утек. Девчат несколько там шло с нами. И никто тогда, никто не утек. Тогда нас в Буду загнали и закрыли в сарай. А мужчин отделили и в истопке заперли. Дак мужчин там много было, а помещение малое, дышать было нечем, дак они потолок подняли. Ну, а нас загнали в сарай, все ночевали. Ну, а назавтра выгнали и снова построили, и снова так же выбирали. Еще наших семь женщин с детьми выбрали.

Вопрос: — Что-нибудь спрашивали или просто так: посмотрит и выбирает?

— Так вот посмотрит и за руку вытащит или за воротник вытащит — а остальных уже погонят в Лапичи. Дак многие сами просят. Тут у нас одна женщина была, уже старая, дак она

говорит:

— Паночек, я уже старая, не дойду в Лапичи.

Сама в огонь… А какую насильно вытащит — черт их знает! Я не знаю, как они узнавали…»

Куда, в какую шеренгу проситься, люди не знают. И многие — сами в ту, которую как раз осудили на смерть, на сожжение. А палачам вон как весело играть «в кошки-мышки»: ну, ну, бабка, гори, если сама напросилась!

«Дак тех в истопку загнали, а нас повели в Лапичи. Их сначала в истопку загнали. После, говорили, погнали в Полядки и там сожгли. Семь женщин с детьми. А одна девочка большая была и с ней четверо младших, дак она тоже сама просится, говорит:

— Паночек, я не донесу.

— Одно с ней было маленькое.

— Ну, дак становись тут!..

И ее, ту девочку с детьми, тоже загнали и спалили… Не знала и попросилась…»

Это они любили — повеселиться, «трудясь». В Збышине Кировского района убили всех, кого нашли, а в живых оставили двух стареньких женщин по семидесяти лет, а одна еще и слепая была: «Нехай живут — Советскому Союзу на расплод будет!..» Это их так опьяняло — власть над жизнью и смертью людей, целых семей, целых деревень. Шурупчики огромной бесчеловечной машины, механические исполнители воли «высших», тут они тешили свою душу властью над другими — чувствовали себя «арийскими богами», что сами себе выбирают человеческие жертвы.

Другой район, другая деревня, другой рассказ…

«…Сидели мы в той хате, може, два часа, а може, и больше. В крайней хате. А потом уже двое идут. Один переводчик, а другой такой высокий немец. Нахрамывал на правую ногу. Палка у него была. Держит палку эту резиновую… Ну, знаете… Как открыли хату — стали в дверях и смотрят. Поглядели, поглядели, семьи полицейских сразу вычитали и вывели. Ихнее родство. А нам уже всем, значит, положено погибать… Ну, там у нас был по неделе староста. Один человек был старостой, другой был старостой, третий… И тут он подошел и стал просить:

— Отпустите меня с семьей…

Он как будто бы им служил. Може, они его и отпустили б, но тут жена подходит и говорит:

— Паночки, отпустите, нас партизаны сегодня обидели — кабанчика забрали…

Немец говорит:

— Дак что — ты партизанам кабана отдала! Палкой ударил по голове, в первую очередь забрали и повели их… Повели, а куда повели, никто ж не знает. Подходит другой человек:

— Отпустите меня. Комендант — мой сродственник. В Старобине.

Долго он им что-то говорил, а им терпения нема, им уже охота бить, а он все говорит. Опять они палкой по голове, и этого забрали, и семью, и тоже повели…

А моя девочка стоит, старшая… У меня четверо было детей, а беременна я была уже пятым. Подбегает она:

— Папочка, всех людей ведут, все просят, а ты не просишь… Хоть бы ты, папка, попросил! Эта ж вот хата будет гореть — будут наши глазки выскакивать… А ты, папочка, никого не просишь…

А батька говорит:

— Дочка, активу своему вон как дали, а нам уже и бог велел погибать.

— Ну, папочка, ну, попроси!.. И к этому переводчику…

Она еще и в школу не ходила, маленькая была. А этот переводчик поглядит, поглядит на людей… А моя все просит:

— Папочка, попроси!..

Правда, муж подошел да и говорит:

— Господин переводчик, я хочу о чем-то вас спросить.

Милые мои, я ж говорю — или это судьба такая, или что.

— Я, — говорит мой, — человек нездешний, приезжий, специалист по найму, кузнец. А если жить буду, то пользу хоть какую дам, какой вам интерес, что вы меня убьете…

Он что-то погергечет тому немцу, а тот зиркнул глазами и говорит:

— А много у тебя киндеров? Мой говорит:

— Вот стоят.

Ну, говорит:

— Кузнец, все равно ты ж один день только поживешь.

А мой говорит:

— Старая пословица: кто тонет, тот и за бритву ухватится Хорошо и пять секунд пожить.

То, мои милые, бил людей, визжал, а то, видите, как утих…

— Ну, говорит, бери свою жену, детей и иди!

То ли судьба такая, то ли кто счастливый из детей?.. Когда мы шли из хаты, дак он говорит:

— У них много киндеров — в коровник. Много детей — жалко выпустить…»

Мария Ефимовна Маголина, от которой мы в деревне Заглинное Солигорского района Минской области услышали эту историю, все ж, схитрив назавтра, спасла своих детей. В коровник они не попали, а после войны и еще пятерых родила: она — и теперь еще женщина моложавая — Мать-героиня.

Но, видите, как тот «с палкой» рассуждает и чувствует: как раз как и положено фашисту. Не детей пожалеет, а пожалеет, что их «много» у этого кузнеца, которого он хотел отпустить: может, сгодятся его мастеровитые руки. А у человека, оказывается, вон сколько детей! «Биологический потенциал»… Нет, «в коровник», в огонь их!

Да что там о кузнеце говорить, они вон и старосту, который им служил, и того убивают заодно со всей деревней — по той же причине: детей слишком много!

Это уже в другом месте — в Разлитье Борисовского района Минской области, о чем рассказывала **Анастасья Дмитриевна Шило**.

«…А старшина наш… или староста — черт его знает — дак этот хотел с ними ехать. А они плюнули на него и не взяли: детей много… Старосту первого и убили. Левона…»

Если и были чувства у этих фашистских «сверхскотов», так «чувства-наоборот».

Но наступает час расплаты и тогда…

На Витебщине было: еще один такой — так же поделил деревню на «нужных рейху» и «ненужных», на живых и мертвых, и вез уже на машинах «немецких рабов», а тут остановилась колонна, крик: «Партизаны!» И сзади и спереди. Дак этот «бог» — бац и лежит! Вывалился из кабины, потерял сознание. Сразу забыл, что он какой-то там «сверх», что смерть — его «добрая подруга». Это ведь не чужая смерть, а своя!..

К другим расплата пришла позже. Главный «селекционер» Розенберг вместе с фюрером планировал миллионные смерти хладнокровно — а когда самому пришлось, когда петлю увидел, так этот сверхчеловек — сразу в обморок! Всякие слова о «приказах сверху» и о своей незначительности, мизерности, солдатском послушании — также были потом. А пока что:

«…А тут уже в эту деревню немцы заходят. Мы идем домой, а тут уже по дворам ходят немцы. Только я прибежала домой, а уже гонят на собрание. Гонят на собрание, спрашивают, сколько лет, а у меня мачеха была. Она говорит:

— Она еще малая девочка…

Выгоняют из хаты всех на собрание. Подошли мы туда, уже из села…

Один был картавый малец. И он голосит, и бабы голосят все, дак он ругается, камень схватил и — на этих, на полицаев… И полицай один:

— Во — дурак, а хочет жить!.. И матом на него.

Подогнали нас в конец деревни и хотели кидать в яму. Яма была силосная. Но они говорят:

— Погоним дальше.

И погнали нас до речки, а начали отбирать: которых в Германию, а которых…

Отобрали нас несколько человек, а тех погнали убивать уже…

Нас, молодых уже, погнали назад в деревню. Ходят все, разговаривают. Мы стоим на дворе там на одном. И там две бабы спрятались… это баба и два пацана. Правда, они… немцы настоящие. Не разговаривают. Там разговаривают дальше, а они по-немецки. Вот я-то слово помню теперь, как я слыхала:

— Ком раус! Ком раус!

А они сидят под кроватью, эти бабы. А они их вытаскивают. С детьми: два мальчика и две женщины. Вытаскивают они их вон, и мы стоим это на дворе. Немцы Стоят около нас, чтоб мы не поутекали. Ах!.. Тогда выгнали их во двор и только слышим — пок! А это дети: „ай-яй-яй!..“ Пок! — второй раз, и эти опять в крик. И четыре раза выстрелили и убили их… И убили их, а нас всю молодежь, которую оставили, погнали…»

Рассказывала **Мария Федоровна Верховодка**. Иканы Борисовского района.

Из той же деревни — **Тимофей Микитович Тарасевич**.

«…Моя хата была около кладбища. Жену с детьми забрали и убили там. А я в подводы, возчиком поехал. Приехал домой, а тут уже все убитые. Когда убивали, я тут не был. Нас было человек пятнадцать в подводах. Приехали, а вся груда эта — убитые и сожженные… Все чисто побили, никого не осталось. Где ж люди? Пошли искать, а они так во: как горели, локтями в землю, так волосы обгорели, а головы — как капуста, белые кочаны.

Сот около семи убили. Тут еще немцы дорогу расчищали, что партизаны лесом завалили, взяли из Горелого пятьдесят мужчин да потом и их застрелили, — они шли домой и зашли сюда, дак они их переняли и побили. Которые утекали, дак и на поле побили. После находили по кустам.

Потом ехали из Плещениц чужие возчики, и тех переняли, и

тех сюда, побили…»

Так уж втянулись в дело, что и про «селекцию» забыли. Так и пошли бы. По всей Земле…

БЕЗЫСХОДНОЕ ГОРЕ

Шли дожди. В конторе совхоза «Ухвала» Крупского района Минской области нам сказали, что, пока не подсохнет, в деревню Узнажь доехать нельзя Однако мы не могли отказаться от этого маршрута Положились на опыт Саши Пехоты, который уже около двух недель возил нас на облисполкомовском «газике», преодолевая трудности, где сноровкой, а где понятным в партизанском сыне энтузиазмом.

Как только мы свернули с гравийки и начали углубляться в лес, стадо ясно, что люди нас предупреждали не случайно На первом километре лесной дороги стоял скособоченный трактор, перекошенной трубой зовя на помощь Безнадежно увяз транспорт с хлебом. Буханки, прикрытые брезентом, стерегла молодая, румяная магазинщица.

— До Узнажи далеко?

— Ой, на том конце света. Не доедете, дядечки. Вернитесь лучше.

А дождь лил и лил, ровный, тихий, спорый, как осенью. Даже, когда ненадолго прояснялось и сквозь кудель облаков проглядывало солнце, с неба все равно капало

Линовали, объехав загуменьями, большую, хорошо расстроенную деревню со свойским названием Гумны. Дальше снова пошли леса, болота, гати, грязные броды. И, наконец, — поляна, как многоцветная домотканая постилка — зеленая тимофеевка с рыжими пятнами отцветшего щавеля. На поляне — Узнажь. Деревня серая, плоховато застроенная по здешнему лесному краю, где строительный материал под руками. Может, что дождь, но Узнажь показалась нам непохожею на другие восстановленные деревни, где обычно люди стараются строиться с размахом, и этим утверждая свою живучесть. Не было здесь зеленых насаждений, улица выглядела не в меру широкой и пустой.

В третьем от начала дворе слышалось оживление: человек, к которому мы приехали, **Петра Владимирович Саковец**, ставил телевизионную антенну. Помогали ему двое парней в куртках-болоньях. Мы попросили Петру Владимировича уделить нам немного времени.

«…Это было в сорок втором году. Осенью. Уже картошку копали…

Ну, я был в Ложках. Пас там. Пришел домой. Стали ехать партизаны по селу и кричать: „Немцы едут, утекайте!“ Я тогда

побежал сюда, в деревню, в Ложки деревню…»

Петра Саковец рассказывает о побегах, что часто повторялись. Оказывается, беда случилась не тогда, не в тот раз. Мужчины из Узнажи часто удирали вот так, по сигналу партизан или по тревоге, которую подымали сами жители. Удирали в соседнюю деревню, что еще глубже в лесу. И память рассказчика, тогда еще пастушка, все те страхи и побеги смешала в одно. «Тот раз» выделился только вражеским обманом. А обман в народе помнят особенно.

«…Они тогда собрали не всех людей, — припоминает рассказчик. — Они сказали, немцы: „Кого где в лесу поймаем — будем расстреливать, а если дома — так нет“. Бабы пошли, своих мужиков посзывали всех. Тогда они снова ночью наекали. Их в сарай закрыли и давай расстреливать. Ну, вот…»

«Ну вот» — часто мы слышали его от мужчин, от женщин — там, где человеческого языка не хватало, чтоб высказать бездну ужаса.

Петрова жена **Ганна Ефимовна** родом из тех Ложков, куда пастушок удирал прятаться. Она принадлежит к тому типу деревенских женщин, у которых годы и невзгоды не разрушают здоровой красоты. Морщины, что легли на ее лице, как бы подсвеченном светлыми, густыми волосами, только прибавили ему выразительности. Она намного старше мужа, но с виду кажется даже моложе его. И память на события у нее свежее, и рассказ живее, хоть и Ганну Ефимовну тоже не назовешь излишне разговорчивой.

«…И пришли мы в этот день, когда немцы Узнажь оцепили, вот в это болото, к самому берегу, в клюкву. Втроем: две девушки и женщина. Из Ложков мы, совсем из другой деревни.

Слышим: уже немцы лопочут на берегу. Пошли они уже по лесу кругом. А в лесу землянки были вот тут, на берегу. Там сидели с детьми. Узнажские. Этот самый *(показывает на мужа)*… Батька его — девять детей было и всех привел в землянку. Вот мы слышим: немцы лопочут. Мы тогда — ходу домой. Только мы прибежали туда, домой… С километр мы бежали туда по болоту. И так эти пацаны сыплют уже за нами, бегут. Вот этот Петя, Ганна и там была еще одна… Говорят…

— Уже немцы оцепили Узнажь и не знаем, что… Будут убивать…

Это было под вечер, часов около пяти. Потом ночь переночевали, слышим рано: крик тут, коровы ревут. Баба одна

была, Макариха, — кричит что-то… Ну, что ж такое? Надо ж подползти людям, послушать. Мужчины, старшие, из Ложков, поползли по болоту, по багульнику. Послушали. Говорят:

— Расстреливают!

Крик, плач — все кипит там. Переждали мы этот День, сутки эти. Все это успокоилось — надо же сходить поглядеть, что там такое. Подошли мужчины туда, поглядели. Тихо, только летают черные грачи стадом, кричат… Никого нет. И коровы ходят еще. Несколько коров…

Вот. И уже тогда мальчуганы эти побежали поглядеть: уже никого не было, выехали все. Валялись тут еще… Партизан убитый был, около землянки лежал, говорили.

Потом к этой могиле подошли. Пуня тут была колхозная. Они их запирали… К яме этой вели… К яме вели, раздевали, голых, бедных!.. И кожушки лежат вот. Кто в чем ходил, то валяется. В яму дожили и убивали. И немножечко землей присыпали.

Вот лично был мой брат, приходил глядеть сюда. Дак говорит:

— Лучиночкой постучишь — сантиметра на два только земли было на них. Прямо еще шевелилась эта земля…

Это на другой день только ходили они. Никого не было. Коты только вякают. Коров несколько ходило…

А потом через несколько дней… Зажгли эту деревню Она горела… А его хата — вот этого *(показывает на мужа),* его батьки хата, дак та стояла. Его батьки брат был в Неманице, он услышал и пришел сюда, когда деревню не жгли еще. И говорит:

— Давай этого мальца хату на бревна раскидаем. Може, когда что кому останется.

Взяли ее, раскидали, дак она бревнами валялась, пока этот хлопец — он же малый был еще тогда — вырос, и уже (смеется) поженились мы. Уже в пятидесятом году сложили это гнилье, и сенечки какие-то немного поновей примазали, и сидим. А теперь вот новую строим.

Вопрос: — Скажите, сколько тут убили людей?

— Триста шестьдесят душ… Тут было… Хлопцы были, хлопцы! А девки!.. Я еще сама что поплакала… Хлопцы ж были такие!.. Наши еще… А это что уже мне? *(Показывает на мужа.)* На восемь годов моложе. Ну, ничего. Пока копаемся. Такой уже жизни хорошей-то нема, но между собою хорошо живем…»

Каратели хотели здесь, в Узнажи, создать впечатление, что уничтожают только тех, кто связан с партизанами. «Связанными» оказались все, а наиболее, известно, мужчины.

В поселке Ухвала остались свидетели того, более

выразительного, деления на «связанных» и «несвязанных»

Мария Викторовна Лукашевич, заведующая столовой на местном торфозаводе, рассказала нам, что ее, подростка, каратели тоже допрашивали, как связную партизан. Потом они выгнали всех жителей Ухвалы на пустырь за селом и гоняли шеренга за шеренгой — протаптывали щлях для себя, очищали дорогу от партизанских мин. Взрыва не было.

Потом приказали всем сесть на корточки, избили одного старика, который уже не мог так сидеть, и начали выбирать «виноватых», «связанных».

«…У моей двоюродной сестры, — говорит Мария Викторовна, — был муж, коммунист, даже не муж, а брат мужа, не сам он, они сразу: за него и повели. А хлопчик был, Витя, одиннадцать годов. Дед и бабуля говорят:

— Иди к нам.

А тот батька говорит:

— Не. Где я, там и он.

Так вот и побрали людей, вельми невинных людей, и поставили их на левую сторону.

А нам сказали расходиться.

Когда мы отходили, все они кричали: „Прощайте, прощайте!“

Ну, мы шли без памяти…

…Там было сто пятьдесят человек. Яма была глубокая — колодезь старый без воды…»

…Над Мстижем светило солнце. Щедрое летнее солнце отражалось от побеленных заборов и стен, от голубых с желтыми каемками ставен, похожих на крылья сказочных бабочек.

Мстиж — это собирательное название двух деревень на Борисовщине Минской области, просто Мстиж и Мстиж-Волоки, из которых образовалось своеобразное местечко.

На развилке дорог, около здания сельсовета возвышается обелиск-памятник на братской могиле мстижских мужчин, расстрелянных в октябре 1942 года.

Об этом нам прежде всего рассказал дед **Александр Феликсович Лисичонок**. Ему удалось в тот страшный день заранее удрать в лес. Память у Александра Феликсовича притупляется, однако как-то умно и последовательно, как усыхают ветви у старого дуба — обламываются более мелкие веточки, а стержень твердеет.

«…Тут было так. Из-за фронта ехал партизанский отряд. И вот они расположились тут ночевать, в нашей деревне. Эго было в

субботу вечером. У меня как раз остановились переночевать две партизанки. Они хозяйку попросили, чтоб она им приготовила. „Мы завтра в семь часов уедем“. Но были они и назавтра, уже и полдень прошел.

У меня сын был в отряде и зять был в отряде. А брат мой жил на другой стороне. В его хате партизаны вливались в этот самый отряд. Присягу принимали. Местные и неместные. Как раз это дело было уже в обед. А как ушли они — на Мстиж напали немцы.

Мой еще один сын, было ему тринадцать лет только. Он теперь трактористом работает. Он мне рассказывал, что немцы гоняли тогда всех мужчин, на улице посадили их и чтоб никто даже ничем не пошевелил. Сидели. А у одного ребенок был маленький, он там с ребенком что-то, значит, дак его сразу и убили. За то, что пошевелился. А ребенка бросили…

Ну, а потом уже всех мужчин погнали туда, где у нас ларек стоял, где теперь наша мастерская, швейная там, сапожная. Этот ларек набили всеми людьми, живыми еще. А которые не вместились — еще в сельсовет, где теперь памятник стоит.

Туда загнали в сарай и всех остальных мужчин.

Тут пекарня была, дак из того ларька людей по одному выводили и стреляли там, в подвале.

А тех — подожгли…»

Потом мы слушали непосредственных свидетелей трагедии, мстижских женщин, — взволнованные, временами похожие на голошение, женские воспоминания. Бабуси и тетки собрались на лавке около хаты, сошлись будто на поминки или на траурное собрание, чтоб еще раз совместно перебрать в памяти все события того черного дня.

Сначала говорила одна **Ядвига Яковлевна Глот**.

«…В воскресенье рано хлеб партизанам у нас собирали. А потом я позавтракала и пошла на поле с моей старшей. Коноплю пошла я расстилать. И тогда мы стелем и видим: идут два партизана. Шли в село… А потом дочка говорит:

— Мамо, глянь, чего это люди так бегут.

Когда я глядь — бегут уже по огородам, по загуменью. Народ этот весь.

— Ай, — говорю я, — дочка, там уже у нас, може, немцы.

Мы кинули ту пеньку и побежали.

И бежали мы. Собака была около меня. Бежим, а уже там вот, недалеко, цепь идет. И люди уже валятся. Уже убивают людей. Я говорю:

— Ну, дочка, убьют нас.

А у меня трое детей осталось дома. Мальчик и две девочки.

— И детей поубивают, и нас поубивают тута… Но, правда, не… Только собаку мою убили около нас.

Я говорю:

— Ну, собаку убили и нас убьют.

Не, нас пропустили — как раз вот тут, около тока. Я на той стороне жила, там моя хата была, где теперь огород. Я прибегаю на двор, а мои дети под забором сидят. Тогда я говорю:

— А батька где?

Когда я из дому уходила, дак мой брат с ним сидел и его сестра.

Они, говорят, побежали в лес. Дети мои так говорят.

Я в хату вошла и сижу уже с детьми. Один приходит. Автомат наставил.

— Где муж?

А я говорю:

— Там, где и вы.

Так я ему говорю. А он:

— А почему мальчику только год? (Маленький был У меня.) Почему киндэр малый?

А я говорю:

— Что, только с мужем можно, а без мужа нет? А он:

— О-о, матка!

Ну, и он тогда в хату зашел. Обошел, обошел, а потом говорит:

— Воды!

А я думала, что „вон!“ Я тогда хватаю детей, выхожу вон, а он говорит:

— Не, матка, воды дайте рэнки[57] мыть.

Ну, я тогда воды в таз налила, полотенце повесила. Он руки помыл. И тогда ведет меня в другую половину за перегородку, чтоб я кровать постелила. О, холера! Ещё чего!.. А это они раненого принесли в хату. А это врач, видать, был. Потому что он же перевязку ему делал. Тому немцу. Тогда я ему постелила. Правда, он сказал убрать все чистое, покрывало с кровати, только простыню я оставила. Они положили, перевязали. И сейчас его понесли на носилках опять…

Ну, а я вижу: горит уже Андреев ток. А тогда давай уже из хаты выносить — тряпки какие, одежу. Сюда — а сад.

А тогда уже меня за детьми не пускают в хату. Я стала просить, что у меня ж дети малые в хате. Они меня пустили. Я этих троих детей взяла и вышла на улицу.

Ну, тут мужчин в один ряд поставили, а баб — в другой.

Мужчин впереди погнали, а нас позади уже. Некоторые попрятались, а мы…

Мужчин погнали в одну сторону, а нас — в магазин заперли. И сидели мы там с воскресенья до среды. А в среду уже рано самолет прилетел и нас уже выпустил. Пришли домой.

Ну, что пришли — когда уже все побито, сожжено…

Вопрос: — А как вышли, так что вы тогда видели?

— Ай-яй-яй! Как мы только вышли, дак один через одного летели. Сами не знали, куда нам бежать. Вы знаете, сидели с воскресенья до среды. Не пили и не ели. А дети малые. Я ж не знаю, год моему малышу был или еще нет. Он теперь живет в Пинске, мой сын.

Вопрос: — А потом вы пошли на то место, где мужчин убили?

— Доставали мы их. Кто кого узнает, тот того и достанет. Мы своего брата достали только вот так — от поясницы по колени…»

Убиты мужчины, хозяева, отцы, братья, мужья, сыновья…

Говорят об этом, подключившись к разговору, Катерина Глот и Барбара Барбуха. Первая — сдержанно-рассудительная, а вторая — тихая, задумчивая по натуре — та, которая долго сидела, как бы ничего не слыша, с опущенной и подпертой ладонями головою. Теперь они говорят чуть ли не разом, дополняя одна другую. Говорят о том, как тогда было с мужчинами.

«…Как их загнали, — говорит **Катерина Осиповна Глот**, — то мы ж не заметили, как загнали… В воскресенье нас заперли, а в понедельник приходит туда немец и переводчик, и вот переводчик говорит:

— Скажите, где какие партизанские семьи? Ну, все молчат.

— Кто скажет, того мы отпустим домой. Не будет сидеть. Будет живой.

Кто ж это, говорите, выдаст?..

Почему? Авдотьина Манька и еще одна пошли показывать эти партизанские семьи. Перво-наперво к моей сестре во двор.

— Вот, говорят, ее мужик и три сына в партизанах… Ну, и что… Там были лужи крови… Ее избили. А после ее привели и партизанку избитую привели с нею. Мою сестру как пырнули, дак она и полетела. А потом подошла ко мне и говорит:

— Не признавайся ж, что ты моя сестра, а то и меня убьют, и тебя убьют.

Ну, дак она так в уголке сидела, а я в другом во с детьми сидела… И партизанка около нее сидела… А потом не убили, не вывели ее, а вместе нас всех выпустили. Ну что ж, она пришла и, може, месяца два или три побыла да и померла. Избили совсем…»

«Они бы нас сожгли, — говорит **Барбара Семеновна Барбуха**, — но вот раньше освободили нас, самолет приехал, в среду прилетел, спустился во около магазина, где продуктовый. Это немецкий был самолет. Вылезли два человека и идут сюда. Пришли, и стал один рассказывать. Этот говорит, немец, а переводчик будет говорить:

— Вот благодарите во этого начальника: он вас освобождает А так бы вас сегодня уже не было.

А старушка одна, старенькая, вот этой женщины свекровь *(показывает),* как он сказал спасибовать, дак она бух на колени, да хотела ему руку, видать, поцеловать — бог ее знает, что этой старухе… Мы уже свету не видели… А он ей… как держал такую палку, дак он этой старухе — палкой. Этот освободитель. Тогда она, эта бабка, чуть поднялась, старая. И люди бежали через нее. Боже, боже!..»

Марта Васильевна Лашкевич, бабуся годов под восемьдесят, припоминает предсмертный час своего мужа:

«…Он шел посмотреть коней, и с мальчиком. Сына моего того нету, в армию пошел и не вернулся. Батька говорит:

— Ты малый, а я старый, нас с тобой трогать не будут, давай пойдем коня приведем.

А они уже окружили деревню. А потом говорит:

— Не, сынок, мы уже не пройдем, видать, погляди, как уже нас окружили.

А мальчик во, немножко больше этой девочки был.

— Вернемся, — говорит батька, — домой. А потом к соседу зашли и говорит:

— Знаете, може, уже мы погибнем теперь. Нас окружили в кружок.

А сейчас входит немец и говорит:

— Вон!

Этих мужчин. Там мужчин человека три собралось. Мужчин этих на улицу. Как поставили они их, дак он, батька, этому мальчику говорит:

— Иди ты, сынок, домой, иди в хату. Меня, говорит, убьют.

А этот мальчик еще побежал аж вон — за село, а потом он вернулся и попал в этот магазин. Это уже с нами. И там сидело пятеро детей, и еще эта моя золовка. И это уже нас выпустили.

А муж мой в огонь попал как раз. Часть их поубивали, а часть сожгли…»

Таких деревень, где каратели уничтожали только мужчин, очень немного встретилось нам в тех районах, где мы побывали. Обычно убивали сначала мужчин, а вслед за ними — все остальное население. Но были и **другие** «варианты»…

В деревне Осово на Кличевщине Могилевской области живут **Анастасья Змитровна** и **Миколай Федосович Голоцевичи**. Он — тихий, прилежный портной, она — расторопная и энергичная хозяйка дома. От них первых мы услышали рассказ о трагедии их родной деревни Летин, из которой они переселились сюда, в Осово, после войны. Мужчина как мужчина: начал говорить, как для протокола, сухо и скупо. Жена перехватила инициативу. Семейная пара живет, видать, так дружно, что у них нет проблемы, кому говорить, кому слушать: думают одно, а высказывает тот, кто первый успеет.

Мы и подаем этот семейный рассказ, как записали: рассказывали то муж, то жена вперемешку.

«… — Значит, приехали, — начинает муж, — деревню оцепили и заходят в каждую хату и сейчас же и поджигают…

Перебивает жена:

— Выселяли всех на выгон. Все из квартиры, кто сумел, вынес, а кто не сумел — не вынес.

Вот мы сидим на выгоне и глядим. Они очень хорошились, на себя глядели, что красиво на них лежит одежа. Так они на себя поглядывали… А говорят они — не понятно, что они говорят. Вот когда немец говорит, дак понятно, что это немец. А то он не может ни по-немецки, ни по-русски.

Ну, вот мы там сидим, думаем, что они будут с нами Делать. Они поставили вокруг нас пулеметы, так во всех этих четырех углах, оцепивши нас. И мы сидим. Потом они сказали так:

— Идите, женщины, домой и двенадцатилетние ребята. Идите домой и гоните ваших курей, гусей, свиней, коров. Тогда мы отпустим ваших отцов.

Отцов они уже вакуируют в школу. Ну, мы и пошли Домой.

А его *(показывает на мужа)* погнали в школу.

Ну, мы, — какой был там скот, конечно, не жалко, хоть бы отпустили хозяина — все это взяли и погнали. Еще наша корова взяла да хотела утечь. Мы ж уже боялись страху, дак мы ее не пустили в лес. А загнали ее туда, прямо, где школа. Думаем, если корова там, дак хозяина отпустят.

Потом же они не пущали. Но он сам как-то сумел, выбрался между коровами.

Мы дома сидим и глядим, что будут делать. Один немец

зашел и говорит:

— Снимите вот эти часы!

Мы взяли их, сняли. Не, не говорит, а просто показывает. И детский матрац еще лежал на полу. Дак он показывает: „И это уберите“. Мы и это взяли и вытащили на двор. Как выносили, дак маятник и все там нарушили.

Некоторые полицейские подходили, повертели их, те часы, покрутили и бросили, не взяли.

Ну, дак мы и сидим на этом дворе и думаем: „Или отпустят этих наших хозяев, или нет?“ А хаты там, деревню, запалили.

Потом подходит один немец, заходит в дом, у нас было три стола в хате, эти все три стола сложил в кучу, чем-то облил и запалил. А потом вышел во двор, с тэй стороны такими пулями выстрелил и с этой стороны, запалил. И дом этот горит. Мы с сыном старшим, Явгенем, — он теперь в Бобруйске живет — стали воду носить, дак они по нас стрелять, и этого хлопца ранили. Он упал. Ну, а я перестала уже носить, заливать дом, когда горел.

Мужчин они вогнали в школу. Ну, и там уже их не стреляли, а запалили школу, в школе они все горели. Которые в окна удирали, они всех стреляли. Школа от нас с полкилометра…

Муж:

— Ну, загнали нас, потом женщин домой отправили. Загнали, кругом оцепили, и стоим там, на замок закрыли. А нас, помоложе, — во двор, коров же надо гнать. Бот нас помоложе и выбрали. Мы подошли к возчику и спрашиваем:

— Что они будут делать? Говорят:

— Ничего мы не знаем, гоните коров, а сами в лес утекайте.

Ну, мы коров к лесу подогнали и бежать, а они — по нас из автомата. Но коров столько — дак они высоко. А мы пригнулись и тут — лес рядом…

Вопрос: — А вы, женщины, пришли потом на то место?

Жена:

— Ну, конечно. Я думаю: „Може, где он горит?“ Я ж не знала. Може, куда утекал, може, где горит.

Так, вытаскивала я некоторых мужчин. Некоторые горят, лежат люди, дак я за него, лохмотья эти разбросаю, да тащу его, чтоб не сгорело тело. Похоронить хотя бы.

Не осталось ни одного, чтоб живой, семьдесят шесть человек сгорело…»

В Лютине женщины сошлись в хату к учительнице-пенсионерке Марии Александровне Пашкевич. Был как раз праздник, удобный день посещения соседей. Сначала, видать,

соседок вело сюда обычное в деревнях любопытство: узнать, что за гости приехали на машине к старой учительнице. Переступали порог веселыми, здоровались, шутя, но, узнав, о чем тут будет речь, помрачневшие, оставались в хате надолго.

Зашли к учительнице Мария Ананич, Вольга Максимчик, Александра Тарелка — женщины средних лет. Пришла и восьмидесятилетняя Вольга Евменовна Голоцевич с пучком лекарственных трав в натруженных старческих руках. Был день Купалы, извечный праздник солнца, расцвета жизни, праздник цветка счастья…

Сначала выговорила свою боль хозяйка, потом присоединялись одна за другой соседки. В конце говорили все вместе: скорбное и страшное женское голошение по мужчинам — отцам, мужьям, братьям.

Мария Александровна Пашкевич.

«…Я работала тут и до войны. У меня была квартира в деревне, сельсовет оплачивал, двадцать пять рублей. У меня трое детей: сын двадцать седьмого года (вот в этом году пойдет на пенсию из армии), дочь двадцать восьмого и еще дочь тридцать седьмого года. Я вдовою осталась в 1937 году. Муж мой… язва желудка у него была. Оперировали его в Рогачеве два раза — умер. При Шлось самой воспитывать детей. Переехала в Лютин.

И слышим уже — села немцы жгут: здесь Орлины, отсюда километров пять. И еще, за рекою. А директор школы говорит:

— Я, вероятно, уеду к матери жить.

— Ну, говорю, мне ж некуда ехать.

И живу я одна в школе, во всей школе: коридор бо-о-льшой! И классы так… И чтоб сказать, что я боялась, так нет. Для меня никакого страху не было. Выйду когда-нибудь на деревню, говорят: там сожгли, там сожгли…

Это было, должна я вам сказать, в 1942 году, видать, в начале апреля. Дети спали. Я проснулась. Гляжу в окно — что-то все на огородах. Вещи. Ну, какие тогда были вещи! Теперь, знаете, народ хорошо живет, а тогда — какие там вещи! Сундуки — вот что. Да… Так я говорю детям:

— Дети, что-то неспокойно в деревне.

Знаете, не успела я так сказать, как слышу: по коридору шах-шах-шах! Идут! И как раз в мой это класс.

— Матка, цурюк!

А я даже, извините, неодетая. И дети были не одевшись.

— Матка, цурюк!

Ну, враг… Надо идти. И смотрю: бегают они уже по деревне,

людей этих всех сгоняют. Согнали всех мужчин, согнали всех этих женщин. И вот, значит, так: поставили мужчин на одну сторону, а женщин — на другую.

Выходит один фашист, молодой. А я тоже — с женщинами. Ничего не взяла, только пальто — на ночную сорочку. И дети — только пальтишки, не надевали костюмов, никаких, не успели. Дети говорят:

— Мамочка, уже конец жизни.

И вот выходит фашист между рядами, молодой, блондин, по-русски очень хорошо разговаривает. Говорит:

— За то, что, значит, вас очень часто навещают партизаны, — и… тут рюмку водки, — значит, мы должны сжечь вашу деревню.

Ну, все мужчины стоят и женщины стоят.

— Ну, вот, — говорит тот, — предлагаю такие вам условия: подгоните сюда короф, — так и говорит, — короф, овец, свиней, значит…

А школа была огорожена.

— Подгоните сюда, тогда мы мужчин выпустим. Попятно?

Ну, жить каждому дорого. Мужчины остались, а женщины — бегом, побежали на деревню, пригнали „короф, овен, свиней“ — все сюда пригнали, на школьный двор. Поставили они часовых, а этих всех мужчин, семьдесят шесть человек, всякий возраст — и средний, и совсем старики, загнали… Это был седьмой класс, вот сюда. И — под замок.

А женщинам говорят:

— Ухотите!

Потом — специально у них эта карательная комиссия или отряд — и каждую эту… каждую халупку бегали и поджигали.

А мне ж некуда идти. Я осталась там, от школы — метров так пять, у сарая. Села я у сарая, и дети мои около меня — мне ж некуда идти. Взять — ничего я с собой не взяла. Только дочка вот эта, двадцать восьмого года, говорит:

— Мама, я сбегаю. Я говорю:

— Не беги. Они подумают, что имеем связь с партизанами.

Потому что они все говорили: „Почему матка одна живет? Где муж?“ Но дочка говорит:

— Мама, я зайду, может, схвачу хоть подушку.

Она взяла три небольших подушечки и выскочила. Сидим.

Значит, три человека по углам давай школу поджигать. Бегают, бегают! А там народ, это ж люди, живые люди!.. Я ж говорю: в истории до сих пор этого не слыхано, чтоб такое зверство. Люди пищат до невозможности. Крик невозможный был.

Все уже вокруг взялось огнем. Один проходит и говорит:

— Гут!

Это значит — хорошо. Нет, не мне говорит, а меж собой. Деревня вся как есть горит. А мы сидим с детьми тут. Это было с утра, может, часов в десять-одиннадцать. А был еще снежок.

— Гут, гут!..

Люди горят, народ кричит. Прямо невозможно, ужас!..

А я сижу… В ушах, в голове — прямо страшно, что Делается… Вижу: один фашист, — конь хороший, высокий такой, но без седла, — едет ко мне. Дети… Мальчик этот худой был такой, тощий, с легкими у него что-то было плохо:

— Мама, нам все теперь будет…

А немец взял эту подушечку и хоть бы слово мне сказал — повернулся и поехал. Довольны уже мои дети. Отъехался этот, другой, вы знаете, едет… Едет другой! Еще одна, знаете, подушка лежит. Другой также взял и поехал. А мне — хоть бы слово сказали…

Ну, а народ этот кричит все!..

Скот они забрали, погнали в Елизово. А в деревне всякие были, совсем престарелые, слабенькие — так они их на ходу так убивали. Много по деревне лежало.

Ну, поехали они. Некоторые люди из деревни стали приходить. И говорят:

— Ну что, Александровна?

А у меня в голове от ужаса, значит, трещит… Потом я сыну говорю:

— Сын, туалеты эти остались. Снимай двери, накрывай, извините, эти дырки, будем тут жить.

Ну, и поселились мы там, в туалетах. День сидим… А колодези все отравленные, есть нечего. Дочка моя ничего и не просит, знаете. Другие так пошли к своим родичам в соседние деревни, а мне так некуда. Сижу я. Ночь переночевали. Назавтра пришли дети ко мне, девочки, ходили во второй и третий класс. Дети директора торфозавода. Кто-то им сказал: „Мария Александровна в туалете живет, не знаю, что с нею делается. Или она уже совсем сознание потеряла, или, говорит, что?“ Приходит директорова, значит, жена и говорит:

— Мария Александровна, докуда вы будете здесь сидеть?

Пригласила она к себе, торфозавод еще целый был, дали они мне угол, принесли поесть.

А в голове, в ушах треск, невыносимый, невыносимый… Ну, а живой же человек… все живет, есть же хочется. Ну, и я — скажу вам правду — по селам ходила. Куда ни приду — знают меня… *(Плачет.)* Люди жалели…»

Мария Трофимовна Ананич.

«…Хлопчик был у меня, десять годов. Я говорю: — Мой хлопчик, будут сгонять, будут нас бить.

Ну и стали нас сгонять. Пришел немец, я стала кроены в хату вносить, жалко ж кросен, дак я за них. А он мне револьвер в грудь и говорит:

— Брось!

Я бросила. Он меня за шею — на выгон. Гонит и за шею вот так, показывает, куда идти. А дитя мое за меня взялось. Приходят на выгон и отец мой и мать, и стали мы вместе. А тут уже вот этот поселочек горит.

Ну что, стоим мы на выгоне. Подошла… Тут молодица одна была, подошла она к полицейскому или к немцу, дак он ее палкой по голове.

Стоял тут Данила такой, на поселке жил, дак говорит:

— Женщины, мужчины, поубивают нас, потому что они уже поразъедались, и поубивают нас тут, на выгоне.

Все в плач, в плач — и бабы, и дети… Мы стоим уже своей семейкой: тата с мамой, я — с хлопчиком. А полицейские показывают:

— В школу, в школу! А женщины домой! — говорят. — Идите, гоните теперь своих коров и что у вас есть, а мы мужчин погоняем и попущаем их домой.

Я говорю:

— Мамочка, гони ты свою корову, а я — свою, може, тэту пустят.

Я пошла себе домой, а она — себе. Ну, и потом тут началась стрельба. Все говорят: „Поубивают мужчин“. Мама прибежала, наделала крику:

— Спалили батьку!..»

Вольга Степановна Максимчик.

«…Мороз, мороз был большой. А нас погнали на выгон. Мужчин — вправо, женщин — влево. Тут были мужчины наши, которые были еще на той войне — понимали по-немецки. Переводчик сказал, что мужчин пожжем, если всех не сгонят.

Ну, что мы? Где гусь какой был, где кура — все половили. У нас, хотя отца и не было, дак хотя б самим живыми быть. Загнали мы и свое. Свинью только, супоросную свинью не загнали. Пришел немец, наставил пистолет:

— Гони!..

Мужчина один говорит:

— Дайте мне этих коров, я погоню.

А мы не отдаем: нас самих расстреляют. Думаем: „Это на кладбище будут нас стрелять“. Собрали этих коров и гоним туда. Курей поприносили… Полицейские отсекают головы курам, и это все — на воз, на воз…

Была тут одна красивая девушка, дак немец схватил — вести ее туда, в школу, где мужчины, где жгли. А другой немец не дал.

А потом запалили и школу…

А хаты сгорели Остались только заборы…

Пошли мы туда — только кости. Чья нога — угадывали, узнавали. Через неделю откапывали, находили: кто — кто…

Вот так мы и остались…»

Александра Антоновна Тарелка.

«…Пятого, это была пасха Нам партизаны передали, что горят соседние Столяры. Ночью прибежали:

— Утекайте, будут жечь Лютин!..

Все всё повыносили и поприходили к кладбищу, говорят:

— Никого нема, будем гулять тут — пасха…

А тут едет из Столяров партизан, Богданович Яков был:

— Утекайте, говорит, уже едут, через речку переправляются, эти немцы и эта полиция.

Мы прибежали, уже слышим, уже, как палки ломают — стреляют! И мы побежали. Видим издалека: горит Лютин.

Прибежали бабы потом, говорят:

— Попалили!..

Мы все порастерянные, плачем: „Что делать?“ Потом ходили, все раскапывали. Нашли: до колена так ножка беленькая, хорошенькая лежала — все глядели мы. Женщина узнала по кальсонам:

— Это, говорит, моя работа самотканая… Это моего, говорит, нога.

Он был бригадиром в колхозе, Ананич Прокоп.

— Это, говорит, моего хозяина нога…»

Вольта Евменовна Голоцевич.

«И сказали:

— Забирайте свое хозяйство и ведите в школу!.

А хозяина в колонну — и на выгон. Он и пошел. Пошел без шапки, без ничего, тогда ж холодно было. За ним немец пошел.

И невестка была с малым ребеночком, дак и колыбельку на выгон взяли…

Поставили мужчин в школу, а мне дали подводу держать. Вот

я и держу. Поставили пулемет около меня. Я и держу коня. Потом, как только кто из окна прыгнет — пулемет туда выстрелит. Человек и ляжет. Человек несколько так…

А я держу коня. Потом он повернул пулемет сюда, дак я и отпустила, не помню уже ничего…

Ну, а потом, когда уже всех спалили, деревня сгорела, все дотла сгорело — ничего не осталось. Ну что, дали мне подводу ту самую.

— Езжай на завод!

И сел со мной пулемет и немец.

И едем.

Дак на мне ничего живого не было. Только так зубами лязгала. Думаю: „Все уже мне будет…“

Приехали к мосту, он забрал коня и как стал стрелять надо мной, дак я не помнила, в какую сторону мне идти. Ну, я все-таки шла, шла и пошла сюда на кладбище.

Пришла. Ну, что ж я тут? Заночевала. Я и не боялась. Я уже и не помню ничего: и холодно, и голодно… И я уже тут и была.

Назавтра встали: нема нигде никого и ничего, все уже.

И так уже и остались горевать: и мучились — и по лесам, и по полям, и всюду. И голые, и голодные, и босые, и всякие…»

Бабуся с травами в руках, что лежат на коленях, смолкла. А младшие только разговорились.

Не успевали мы разобраться, уловить, записать, кто говорит. Так и даем, вперемешку, как они говорили, одна за другой, одна другую перебивая:

«— …Очень много раз нападение было, *очень*!

Еще пришли, обняли всю деревню, какие мужчины были, кто в землянке, всех до одного забрали и снова на завод погнали. Такое уже было горе, что никому такого горя не было…

— Снова хлопца тут убили, трех мужчин убили — это все после того, когда в школе пожгли…

— Сильно нападение было большое на Лютин. Знаете: завод и лес. Нигде ничего не видим. С Биркова, с завода, отовсюду да — на Лютин!.. Деваться некуда было Что припас в хате, какой корж, драник какой отыщешь, да если приготовишь — и то схватят…

— Где ж мы готовили: на огне, на дворе. Не было где ни лечь, ни стать — очень, очень безысходное горе было…

— Отовсюду нападение! Отовсюду — и с завода, и из Заполья, из Биркова — отовсюду. Да все в Лютин, все в Лютин. Очень большое было горе…

— Первые дни, пока поделали эти землянки, — зажгут костры, Степан этот выйдет: „Вставайте, фабрика уже работает“.

Ну, шутят уже, ну, что ж делать? Есть нечего. Кто где какие стрелки щавеля, желуди — все собираем, едим. Босые, ой!..»

В хату старой учительницы пришли дети с букетами цветов. Вместе с женщинами и детьми идем к братской могиле, на бывшее пожарище школы, в которой до войны учились лютинские дети, которая стала потом огнищем жуткой смерти их отцов…

Тихо стоят над могилой березы. Замолкли и дети.

Где-то здесь сидела тогда со своими детьми учительница, почти невменяемая от ужаса, смотрела на страшный огонь, слышала предсмертные крики людей…

Где-то здесь прохаживался с автоматом, грелся у огня тот убийца-фашист, деловито повторяя:

— Гут, гут!..

НОВЫЕ ДЕТИ

1

«…Я в другой группе шла… Те люди — как заплакали! Всякими голосками, как пчелы. Они — как косанули! Все!.. Как косанули по нам, я успела наклониться, и она скользанула… Волосы у меня понесло и платок, и тут кровь… Я лежу живая, и дитя живое. А я так зажимаю его лицом, а оно кричит. Чувствую, что удушаю, сердце болит. И я живая, и дитя живое. Пущу вольнее, оно закричит… А они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, что дитя кричит… В дитя это бахнул и мне пальцы прострелил. И дитя стихло, кровь на меня, чувствую, свищет на лицо…»

(Из рассказа **Марии Григорьевны Кулак**. Боровики Слонимского района Гродненской области)

Стреляя в толпу, били в груди, в головы. Дети, что не на руках, прижимались к ногам, к коленям родителей. Дети — ниже, и их заслоняли. Среди тех, что остались в живых, падали живые в груды мертвых — прежде всего Дети. Сколько их так и зарыто живыми, брошено в кололи, в пламя — живыми…

«…Мужчина один из села подходит и говорит:

— Кто живой — вставайте, немцы уехали!

Батька мой узнал его по голосу, поднялся и говорит:

— Ну, я живой.

…И он начал смотреть. Говорит:

— Все мои дети есть, одной только девочки нема, шесть лет, но она не могла убежать, она еще дитя.

Стал он оглядывать, и я отозвалась. Дак мне уже ноги людьми отдавило, все кости…»

(Из рассказа **Евгении Адамовны Бардун**. Низ Слонимского района Минской области.)

«Есть!» — значит, нету, убитые. Вот так страшно перевернулось все на свете, в жизни того человека.

Нет, не осталось никого из прежней семьи. Со всей деревни (или даже нескольких деревень) остались жить несколько человек, и они снова соединились в семьи. «Мы с ним побрались, поженились сиротами», — говорит Вольга Минич о себе и своем теперешнем муже, у которого в Хвойне тоже всех сожгли.

Так и у Вольги и Микиты Гайдашей из деревни Первомайск Речицкого района…

У Александра Зауэра из Булкова Октябрьского района…

И снова — дети. Если молодыми еще сошлись.

Иван Рубец (Окуниново Слонимского района). «Шестеро было — шестеро и есть…»

А зачастую даже и больше, чем было, чем отняла война, смерть, лютость врага.

Некоторые, нет, многие подчеркивают сами, напоминают нам (или себе — снова и снова), что, вот, было у него, у них было столько детей, как и теперь столько же — даже больше.

Хотелось всех «вернуть» — и сыновей и дочерей…

Когда мы слушали этих людей, видели это тревожное отцовское или материнское новое счастье — святое их счастье! — , понятно, не спрашивали, можно ли «вернуть»…

Однако все время помнилось:

«…восстанавливает бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их — господи: „Дак как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы?“»

Это из Достоевского, из «Братьев Карамазовых».

И это век минувший, девятнадцатый — тоже не мирный. Но в наш век такое испытали миллионы матерей, отцов. Это, такое читаешь в глазах, на лицах, в голосе стольких сельчан!..

Эти мучительные, «достоевские» мысли, проблемы стали вдруг горькой повседневностью…

Первая мировая война: процент мирного населения от всех убитых — 13;

Вторая мировая война — около 70;

Корея — 84;

Вьетнам — около 90.

Это подсчитано американским профессором Куимси Райтом[58].

Да, жизнеспособность, стихийная сила народа — как это важно! Люди, о которых здесь идет речь, не просто «возвращают» себе детей. Они возвращают жизни жизнь.

Однако чего нет у них, у этих людей, так это беспамятства. Ни в голосе, ни в глазах, когда рассказывают они про сегодняшний свой день, про «новых» детей.

Может, прав в чем-то и старец Зосима, когда высказывает надежду (но и неуверенность) Достоевского:

Вспоминая тех, разве можно быть совсем счастливым?.. «Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость…»

И в этом — правда человеческая.

И ее вычитываешь из глаз, читаешь на лицах людей. Но и другое так же — то, что глубже. Что высказал, даже выкричал, как нестерпимую боль — не тихим голосом Зосимы, а криком Ивана Карамазова — певец белорусского Деревенского люда, наш романист Кузьма Чорны. Потому что здесь уже век XX, его масштабы. Здесь судьба Целого народа. И боль, муки людей совсем реальных, Таких близких памяти, сердцу.

«Ксендз с амвона рассказывал, как бог испытывал веру Иова. Он наслал всякие несчастья… Он знал, что это бог его так карает, однако не перестал молиться богу и славил бога, и не возроптал на бога. Бог за это вернул ему все… и дети у него другие родились, как раз столько сколько было тех, что умерли. И это же тысячи лет говорится людям, и неужели никто не подумал ни разу, что нельзя так говорить человеку, потому что это великая неправда… Если бы я завел другую семью и если бы снова вернулась ко мне моя жизнь — и чтоб дом новый, и чтоб хлеб свой, и чтоб снова сын маленький выбегал мне навстречу, так в доме я могу, в другом, жить, на коне я могу и другом ездить. А дитя мое — оно ж жило, смотрело на свет, знало, что я его отец! Дитя будет другое, но не то, которое испытало муку, и мука эта осталась на веки вечные, потому что она была и *никто уже не сделает так, что ее не было*».

Слышишь это в самых тихих голосах людей! Ко всему миру обращенное…

Прасковья Адамовна Орловская из деревни Городище Логойского района Минской области.

«…Соня первая была, Миша, Ванька и Леник был. Лешку было девять месяцев, младшему, а Соне, видать, уже годков было тринадцать. Старшей. И Мише было девять лет.

Подойду я детей будить, а он: „Не трогай“. Не знаем, что делать. И там горит, и там горит — всюду горит… А уже бегут и к нам в белых халатах, а ночь — видная. Ай, что ж мы будем делать? А у нас в хате да был старый пол, и эти половицы прогибаются. Дак мы с ним говорим, а только они в хату, дак он скоренько да в ту яму. А я стою. Уже не будут же они меня трогать. Один в пороге с винтовкой стоит, а другой подошел так вот и говорит:

— Огонь зажигай!

Правда, они сами, кажется, зажгли эту коптилочку маленькую… А это мое маленькое, девять месяцев, что в колыбели, проснулся и стал плакать. Я подошла, взяла его на

руки. Взяла это дитя. А я — как стояла, в этом пинжачке… Да зимой. Хорошо, что взяла платок, такой вот был пеньковый, большой. Дак я его прижала к себе. Эта Соня, старшая, проснулась. Я и мигнула: „Соня, иди ты со мной“. А те разоспались, никак не разбужу их. И подойти к ним боюсь.

А меня уже так тянет за порог — ну, уже не могу…

Вышла ж я в сенцы с этим дитём… Не могу… Этот пропустил, что стоял… Не могу в хату вернуться — всю трясет… Я дальше еще, во двор — никто не бежит за мной. Я за хлев еще… А потом слышу уже — горит хата, и выстрелы, и все уже там. Трещит и горит. Сижу я в этих кустах, близенько около хаты. Ой, ой, ой — не могу ж я выдержать, трясет всю… Слышу — Соня моя плачет за хлевом… Живая выскочила из хаты…

Выскочила я в эти кусты, а там соседка, Стефка. Да говорит:

— И моего же Гришку убили, и дитя убили!.. Хорошо, что ты уже хоть с этим дитём осталась. А у меня ж так никого нема!..

Иду я… Там такая баня была. Иду я к этой бане, гляжу — тогда и мой уже вылез из ямы, говорит, что хата загорелась, а он вылез из ямы, потушил эту хату, и детей положил в эту яму — Мишу и Ваньку. Убили. И Соня ранена была. Они все лежали на кровати. Они как сказали: „Ложись!“, дак она с печи соскочила и легла. И через нее только пуля прошла, она и теперь больная.

А они огляделись, что наша хата потухла, и обратно до этой хаты, и подпалили. Хата гудит прямо, дак он тогда выскочил из той ямы, где забитых хлопчиков положил, и через окно. Тогда он пошел… И я туда прибежала с дитём… Тут мне собрали кто что — кто платок с головы скинул, кто какую одежину — я то дитя завернула. Иду ж я уже в Селец. А тут муж говорит, что еще ж и наша Соня жива. Я и сама слышала, что она плакала, но нигде ж не найду я тогда… Пришла я в Селец, а моя Соня в Сельце. Люди ж боялись тоже: она заперта в хате сидит.

— Мамочка, я ж ранена.

— Что ж делать с тобою? Куда ты ранена?

— А я ж не знаю. Я ж бежала голая и босая. Я ж бежала в Селец и все обморозила, в одной рубашечке бежала. Я ж отморозила и руки и ноги. Меня обмотали, и я тут лежу. Осмотрели, что я ранена, дак с окон сорвали занавески, перевязали меня… Мамочка, езжайте куда-нибудь, а меня потом заберете. Тут же никого нема.

Ну, я, правда, поехала в Прудище, мне помогли там.

А мой муж поехал в Веснино, там моя родня. Назавтра мы собрались… Приехали мы в Веснино, а тогда и туда наехали они. Там одного забирали в полицию. А я же как в том страхе была, дак я тоже утекала. Эту мою девочку Соню, привезли партизаны в

Веснино, до моей родни! Распухши такая, бедная, рада, что меня увидела. Мы с нею поплакали…

А тут сразу наехали они. И тут места нема. Я это за девочку, за хлопца маленького, Леника, замотала его в постилку, как побежала — дак повалилась на лед и это дитя убила… А боже мой миленький, а что ж мне делать уже! Не могу жить — сама дитя убила! Еще и теперь не могу жить, как вспомню… Несла я потом, несла, а развернули ту постилку — неживое дитя!.. Хоть ты сама ложись да помирай…

Да как-то вот осталась жива и сама до сих пор живу. А как вспомню — дак зачем я живу?..»

Степанида Михайловна Дардынская. Жилин Брод Слуцкого района Минской области.

«…Ну, и давай забирать все имущество. Позабирали это все. И мужчин там, женщин, которые помоложе — вроде это уже гнать скот и все остальное. А потом — в каждую хату и давай убивать. У меня шестеро детей было, но они не то что дети — и двадцать седьмого года и старше. Старший сын стал говорить, он был в военном бушлате, он говорит:

— Мама, идут нас бить.

Пока я глянула в окно, дак они уже на кухне. Трое пришло уже убивать. Дети младшие ко мне, а я ему говорю:

— Хоть бы ты скрылся куда, а то заберут в Германию.

А они как влетели, дак на его: „Партизан!“ — да к нему, а другой — ко мне. Дак я, когда убивал моего сына, дак я вот так глянула на него, на сына… И девочка у меня на руках, дак он в меня стрелял, не попал уже в голову, дак вот здесь пуля прошла и вот где засела. И девочка у меня, три года, была на руках. Дак я не знаю, или я ее задушила, когда упала, но я уже не чувствовала больше ничего никакого. Стали дети кричать, стал он стрелять в этого старшего хлопца, да в меня — дак я уже помню тогда… Пришла в себя, поглядела на этих детей по хате — известно, убитые. Посидела да опять легла Да Уже лежала- Крови было много в хате. Они приходят в хату обратно. Те или не те — я уже не знаю. О чем-то полопотали и ушли. Они, наверное, не заметили, что я живая, они б добили. Выползла я в садик да и села у хаты. Известно, и кровь из меня льется… Потом пришли они в хату да чем-то как стукнули — уже и горит хата. Я сидела, сидела, уже и крыша бросается на меня, и голова моя обгорела, и одежа моя горела. И некуда мне деваться. Уже — никого, тишина. Думаю, може, где кто остался. Иду, дак мальчишечка лежит убитый на поле, утекал. Это Болесев мальчишечка, а потом —

Кривоносое мальчишечка, раненный. Да говорит:

— Теточка, спасайте меня. Я говорю:

— Дитятко мое, я и сама не могу, у меня кровь льется, зубы повыбиты. Говорю, полежи, може, я кого увижу.

А за речкой, глянула, — их, как овец, стоит, этих немцев. Дак они как стали по мне стрелять из пулеметов. Дак я упаду, кажется — я так уже утекаю. А я на одном месте все. Упаду в эту воду, в речку, да там и пробыла, пока стемнело. Наши мужчины этого мальчика подобрали и в подвал положили. Он там и помер. А некоторые живьем дети горели, которые поменьше — не стреляли. Ой, я и не припомню, сколько нас побили в наших Переходах. Я тогда там жила. Все и погибли. Не там побили, дак в партизанах они перемололись, то на фронте. И деревни совсем нема…»

Надея Александровна Неглюй. Красная Сторонка Слуцкого района Минской области.

«.. А они окружили деревню и нас уже никуда не пускают. А мужчин взяли скот гнать. Которые молодые были. Женщин ни одной не взяли, только мужчин. Мужчины собираются скот гнать, а мы уже знаем, что с нами будет…

Я прибежала в свою хату. Я уже боялась куда-нибудь от детей бежать, у меня четверо детей. Чтоб меня уже где-нибудь па улице не убили, а около детей. Ну, и так сидим мы. Эти мужчины уже ходят, скот повыгоняли И этих мужчин отправляли уже из деревни. А мы в той хате остались. Ну, и они входят. Походили, походили походили.

А мы говорим:

— Паночки, что вы делать будете с нами? Убивайте нас, только детей наших не бейте. Повыбрасывайте во двор, и все.

А мороз был, зима такая была. Ну, а они что — говорят по-своему, не узнаешь, что они говорят. А потом ушли. Пришли опять. Скомандовали — мы попадали на пол. Тогда ж матрацы были, дак они из этих матрацов повытрясли солому на пол, чтоб она горела, эта солома… Мы так попадали — девочка моя так вот, у меня в головах, а мальчик — так вот. А старший мой — дальше, и все плакал: „За что нас будут убивать?..“ Плакали, кричали…

Эти немцы придут в хату, а мы на коленца постанем и просим, чтоб наших детей не убивали. За что их убивать, что они вам виноваты? Старшему мальчику было двенадцать лет. А младшей девочке было пять, самой младшей. Ну, а они все равно ничего нам, не понимают, смеются… А потом входят убивать…

Один вынимает наган, а другой из автомата. Мы попадали, и начали они нас бить лежачих…»

2

Если ехать с юга на городок Копыль — вокруг черноземное раздолье Слутчины! — издалека видишь две деревни: одна вдоль другой, смотрят одна на другую с пригорков. Великие Прусы и Малые Прусы…

При въезде в Великие Прусы на черном поле белеют высокие плиты памятника, издалека видные. Фамилии, что выбиты на тех плитах — десятки раз одна и та же фамилия повторяется и только имена другие, — в сегодняшних Великих Прусах звучат редко. Не только семьи, но и корни целых крестьянских родов были уничтоженье

Среди совсем новых фамилий сегодняшних жителеи деревни все еще, однако, держится и та, которую смерть, много раз повторив, записала на тех огромных плитах. Живет в Великих Прусах Мария Федоровна Кот. Летом здесь живет. На зиму — как птицы перелетные — она и тихий дедок Иван Сильвестрович разлетаются. Она — в Минск, к своему сыну, а он — в Копыль, к своей дочке.

Они, как и многие, о ком мы рассказываем, уже не молодые «сиротами сошлись»: стали жить вместе после того, как убили их семьи. Но сын, но дочка — их счастье! — остались у нее, у него.

Каждую весну, как из перелета, возвращаются старик и старуха в свой садик, на свой огород, под родную крышу Великих Прусов.

Хоть и вон какая страшная память под той крышей живет — внезапно громом будит ночью, волком бросается под ноги, когда пойдет человек по улице среди старых деревьев, около давних колодцев…

Прежде чем приехать к Марии Федоровне Кот — уже знакомой нам, — мы побывали у ее младшей подруги в Копыле и записали то, что Мария Николаевна Нагорная рассказала нам в просторном и тихом помещении детской библиотеки, которой она заведует.

То, что происходило в Великих Прусах, две этих женщины видели, пережили каждая по-своему, Мария Федоровна в самом пекле была — все время в деревне, Мария Николаевна — вместе с теми, кто прятался в недалеком лесу: вблизи видели, слышали, перестрадали то убийство деревни, соседей, семей. Память обеих женщин как-то особенно правдиво и жутко углубляет одна другую: как зеркала, поставленные одно напротив другого.

«…Ну, мой день, 26 сентября 1942 года, — говорит,

вспоминает **Мария Нагорная**, — начался с того, что мама меня разбудила часов в семь утра и говорит:

— Беги скоренько до сестры и скажи, что немцы едут.

Первым же делом за своих хватаются. А ее муж был в партизанах. Дети маленькие. Ну, я и побежала.

…У нас по соседству был один человек, Пупейка. Он теперь в Минске живет, пенсионер. А тогда он жил в Прусах. Из нашей деревни было много интеллигенции — Учителя, инженеры, врачи. И вот поприбегали назад в свою деревню, когда война началась. Его родители там Жили, и он там жил в войну. И он намного выше стоял всех остальных нас, пруслян, понимал все… По профессии он был экономист или бухгалтер, я уже хорошо не помню. Там у нас гараж стоял, за селом, дак он каждое утро выходил, влезал на вышку и просматривал территорию, околицу, — как там немцы, едут или не едут. А дорога эта, что из Тимкович до Копыля, хорошо просматривается. С той вышки.

Дак вот, в то утро, — рассказывали люди, — он влез на ту вышку, посмотрел и увидел большую переправу на этой дороге Тимковичи — Копыль. И видит, что между Прусами Великими и Малыми немцы окапываются уже. Он вернулся в село и эту тревогу всем передал. Немцы едут из-под Тимкович! Еще ж надо было и говорить, откуда едут: чтоб знать, куда удирать. Прусляне были всегда начеку, потому что очень часто приходилось удирать. По той причине, что много было в партизанах. Почти из каждой хаты был кто-то в лесу. Люди боялись, особенно уже те, чьи были в партизанах…»

Копыль, дорога из Тимкович… Дальше, как писал Кузьма Чорны, в «говоре людей слыхать Несвиж, Слуцак». С этими местами связано языковое богатство крупнейшего белорусского прозаика, так же, как и богатство народных характеров в его романах, разнообразие типов крестьян — тяговитых, щедрых, скромных и сердечных… Такими особенно виделись они, когда война и фашизм разлучили писателя с родными местами. Повествуя о мужественных земляках-партизанах, которые сражаются с жестоким и беспощадным «железным зверем», тяжело больной Кузьма Чорны все время жил в Москве мыслями и тревогами: а что там, а как оно там, где остались все его «прототипы» — его народ?

«Вчера ночью сообщили в сводке, что взяли Тимковичи, Великую Раевку, Жаволки, — читаем запись от 2 июля 1944 года в „Дневнике“ Кузьмы Чорного, — родные мои места. Как моя душа рвется туда! Она всегда там. Там живут все мои персонажи… Все дороги, пейзажи, деревья, хаты, человеческие натуры, о которых

когда-нибудь писал. Говоря о Скипьевском Перебродье, я думаю о Скипьеве около Тимкович, между лесами Скнпьевщиной и Лиходеевщиной, милое Малое Селите, красотой которого восхищалась моя мать-покойница».

Что только не пережили, чего только не повидали эти люди и эти места, особенно дорогие Кузьме Чорному чего только не познали все наши деревни, поселки, города — кому-то обязательно близкие, родные — за долгие, долгие ночи, что были, как день, от пожаров, и дни, что были черные от горя-беды!

Вон каким черным и долгим видится сентябрьский день Великих Прусов в памяти двух женщин со Слутчины.

Мария Нагорная.

«…Ну, я и побежала. Прибегаю туда, сразу не в хату, а в гумно. Отец мой молотил там, потому что у сестры ж некому. Молотил и собирался ехать сеять. Я прибежала туда и говорю:

— Папа, надо удирать!

Уже было достаточно сказать, что надо удирать, и люди собирались и удирали. Как я сказала, дак он сразу и бросил веять, закрыл гумно и со мною в хату. А сестра разжигает в печи: дрова положены и соломку подпихивает… Дети повставали уже. Как я только вбежала в хату, дак она говорит:

— Что, опять удирать? Я говорю:

— Опять.

— Ну, — сказала она, — дак и беги додому, потому что нам ближе к лесу.

Я выскочила на улицу. И отец со мною. По дороге встречаем ее старшего сына. Ему было только десять годков тогда. А он приехал из ночного, коня водил пасти. Коня привел к деду, потому что дед же работает на коне, и сам уже бежал домой. Ну, мы ему это сообщили, что немцы из-под Малых Прус едут — он сразу к лесу. Прибежала я домой, вижу — дома уже никого нема, все на огороде, направляются к лесу. Мама говорит:

— Скорей давайте, а то уже все люди поутекали. Я жду вас.

И мы все побежали. Прибежали туда и сначала не прятались далеко. Не знали, что еще и в лесу надо прятаться. На краю стоим и смотрим. Кто еще бежит, кто рке хочет назад идти… Мы все ждем, ждем… Може, уже часов одиннадцать было — нема моей сестры, не прибегала она. Ни дети, ни она. Ну, мама говорит:

— Пойду. Почему ж она не пришла? Не успела, что ли? Пойду, погляжу.

Сердце ж матери не выдерживает. И она вернулась в село. К дочке. Не оказалось ее. А по соседству с ними жила как раз вот

эта Мария Федоровна Кот, о которой вы спрашиваете. И оказалось, что они не в лес поудирали, а в кусты — там, на другом конце деревни, были кусты болотные. Все люди с того конца в основном туда удрали. И вот эта Кот вернулась, ну, знаете, посмотреть хозяйство или что. Потому что так же побросали все, как кого где что встретило. Она вернулась, а мама моя идет в те кусты, чтоб это забрать семью в лес, к нам. А Кот говорит:

— Чего тебе идти? Дети там себе гуляют…

А к этому времени уже очень стали стрелять по лесу из минометов. А лес же большой, тянется от Прус на Кокорицы, на Потейки… Мама выбежала-таки за село, чтоб в те кусты попасть, и думает, что стреляют по лесу, и, правда, — в кустах будет спокойнее. Вернулась она назад селом и к лесу направляется. Встретила Станевича. Молодой парень, потом он стал партизаном, а в этот момент еще в селе был. Брат его был в партизанах. Дак он говорит:

— Чего ты, тетка, бежишь? Не надо удирать. Вон уже из-под Степур партизаны идут.

Потому что как они на горку поднялись, дак видят, что от Степур идут цепью… Мать старая, неопытная, а все-таки разглядела — видела ж она партизан, и сын же свой был в партизанах, дак она и говорит:

— Ну, Петрок, какие ж эта партизаны, они ж все в касках! Где ж те партизаны касок наберутся?

— И то правда!

У нас до лесу метров сто — сто пятьдесят. Дак она уже ползла, потому что такая уже стрельба открылась. И от Малых Прус, и со Степур — кругом! Весь выгон простреливали, нельзя было идти во весь рост. Прибежала в лес, уже ж чтоб нас как искать. А люди ж уже один другого держатся. Уже стали отходить от края, да уже дальше в лес, а там есть такой ров большой и над рвом молодые елки, застилают ров, дак мы уже в тот ров попрятались. Все люди. Вот мама уже пробирается к тому рву. Встретила одну девчонку, соседку нашу, спрятавшуюся, и говорит:

— Чего это ты, Вольга, так хоронишься? А та говорит:

— Хоронитесь и вы, тетка, немцы уже ходят по дорогам.

Пришла, нашла нас. Потом целый день ничего не знаем Мужчины залезут на высокое дерево, посмотрят. Тихо. Никто не знает, что делается в селе, и выходить — никто не выходит, потому что видно, что есть немцы, выгоняют скот… А что больше делают — неизвестно…»

Мария Кот.

«…Так оцепили — человек от человека — четыре метра, так вот шли. Подошли к нам:

— Поднимайся!

Подняли всех с того картофляника, винтовки понаставив… И погнали нас к дороге, что из Тимкович на Степуры На дороге посажали, и приходит один, помню, карта на грудях, овчарка эта. Конечно ж, какой-то начальник уже немецкий. А мы сидим, ждем, что будут там убивать. Дак не. Начальник сказал, что идите домой и лошадей с поля домой забирайте. Кто ж тех лошадей поведет, на черта они, если мы уже знаем, что убивать будут. Ну, и пришли все домой. Правда, кто сумел, у кого какой дотик был, дак тот спрятался. А нам куда? Я уже потопала, потопала, — куда ж деваться? А пополудни я вышла на улицу — невозможно! Пули летают уже. Уже они приходят — „яек“! Уже они видят, что нема тут партизан, а сами кругом деревни окопались. Некуда людям деваться.

— Пойдем в эту глинобитку.

У нас глинобитка была, дядька один сделал, дак мы говорим, что пули там не будут доставать… Она была за гумнами, за селом, далековато от построек. Немцам видно, что это глинобитка и что люди шевелятся. И давай пулять в эту глинобитку. Все окна повыбивали. А мы уже за стенками, человек, може, нас двадцать пять было, а може, и больше. И раненые были, две — Саша Дорошкевичева и Маня. А потом они приходят под вечер. Уже солнышко стало закатываться. Приходят и: „Выходи!“ — наделали крику. Мы вышли. Они думали, може, партизаны. Видят — одни бабы и дети…

— Вороти назад!

Мы и вернулись назад.

— Ложись! Паспорта! Деньги!

Эти женщины:

— А паночки, а дорогие!..

А они: „Ложись!“ — и все. И — стрелять из автоматов. Там печь была, и печка, и стол стоял. Попадали. Правда, я упала под стол со своею семьею, а другие туда попадали, туда, дальше, за печку. И вот они нас перестрочили. Младшенькая моя:

— Ой, мамочка!..

Глянула я — а ей сюда попало, в переносицу. Только захрапела. А другой, старшей — что вот эта, на фотографии — ее и не услышала, как убили. Один прострочил и пошел тому помогать, за печку. Я взяла так вот и глянула.

Женщина не дает отодвинуть кровать, там дети ее, а он бьет

ее наганом по голове. А он кроватью толчет тех детей, тех людей. Ведь не сразу же все скончались. Хрипят, стонут эти люди. Дети, те пищат, господи!..

Глянула я, а он заметил, что я живая. Дак он, что сделал: подошел и ругнул меня хорошенько. Тут же надо мною. С наганом. Синий-синий наган! — вот я вижу, как огнем, огнем меня по лицу. Я лежу в детях своих, а он все мне… порох этот… и пули все — шух, шух — бьют. Стрелял, сколько уже ему хотелось, бил из того нагана. Потом за ногу меня и потянул по крови среди хаты, по крови, что люди там… Потянул, и сам уже посвистел, посвистел в хате и ушел!

Вышел из хаты, а глинобитка эта была черепицею крыта, ее трудно было поджечь. А в сенях тот дядька сено сложил, потому что не имел сарая. Дак он то сено поджигает. Поджигают сено и все свистят там, говорят, и ругаются, и всяко…

А потом мой хлопец поднялся. Этот, что теперь поехал куда-то на курорт, говорил, — мой Жорж. Подал голос и идет к порогу. Я думаю: може, это обратно тот немец? Я уже не гляжу, лежу в этой крови… Потом слышу: шлепает, пошел к порогу… Дай же я погляжу, кто там шлепает. Глянула, а это ж мой хлопец! Дак я говорю:

— Жоржик, куда же ты, дитятко мое? А он говорит:

— Мама, а вы живые? Хотел — нехай и меня!..

— Живая, дитя мое… Иди, дитятко, ложись на это самое место. Може, оно счастливое, може, мы и останемся.

Он пришел и лег на том месте, где лежал. Може, через минутку… услышали все ж таки они! Влетает один в хату. И кричит:

— Поднимайсь!

Три раза крикнул так, но он нас не поворачивал. А там люди хрипят, доходят… Ну, невозможно терпеть! Побегал, и в печь, и под печь глянул, шкафчик стоял — и в шкафчик поглядел… Гранату под печь кинул… Посвистел, посвистел и ушел…»[59]

Мария Нагорная.

«…Стало уже вечереть, солнце садиться начало… Не зашло еще, но уже село. Ну, мужчины, решили: „Пошли!“ Посмотреть, что там делается. Собралось несколько человек. И я пошла с ними: отец же пошел, дак и я пошла с ними. Выходим на самый уже край, а тут буквально метров за десять — немцы… Зажгли спичку — прикуривали, что ли. Еще не темно было, но в лесу сумерки. И мы тогда снова как бросились назад — врассыпную бросились, кто куда. Одни мы, свои, втроем остались: отец, мать

и я. И потеряли этого племянника даже моего.

Вопрос: — А немцы стреляли по вас?

— Стреляли. Они ж в лес боялись идти, а думали, что, може, это партизаны. Но они за нами не побежали, а только обстреляли. А мы спрятались и сидим, да уже одни, никого больше не нашли. Уже и хорошо стемнело, уже и зарево стало гореть. И столько страху, такой треск почему-то, что нам все кажется: кто-то едет на железном ходу… А никто не едет. Оказалось, что это горят дома, от черепицы…»

Мария Кот.

«…А они там жгли, сколько им хотелось, и зажгли все-таки, крыша все-таки загорелась, хоть и черепицею крыта. А сами ушли. Сгорело это дерево, что под черепицей было, и упала эта крыша… Так этот мой хлопец говорит — Мама, а мы сгорим…

А стекла нема в окнах, одни рамы. Повыбивали. А я говорю:

— Ну, куда ж мы денемся? Они ж все еще свистят. Еще стоят поодаль, им там можно еще стоять. Потом сгорела эта крыша, упала, а мы лежим. И не слышно, что они кричали или свистели около этой глинобитки. А потолок это — тресь, тресь, трещит… Ну, что ж, думаю, не убили, то покалечит, как упадет, и кончено будет. Встала я и говорю:

— Ну, теперь утекаем! Утекаем, вылазим! Поднялась я с этой земли, а так вот кровать стояла под окном. Я это стукнула в ту раму и гляжу. Слышим, что где-то кричат, стреляют, люди пищат… И так, и так! А около нас нема никого, тишина.

— Утекаем теперь!

Жора вылез, а я схватила младшую, ей было девять лет… Взяла, поднесла на эту кровать, положила, сама перелезла через нее… Горит и на ней платье, и на мне горит… Вытаскиваю эту девочку. Замчала в ту яму, где там глинобитку делали, положила… И опять же лезу по тому самому огню — за старшей… Это ж, думаю: как упадет потолок — дак уже сгорит! Мало что поубивали, а то ж еще и сгорит!.. Влезла я обратно, вскарабкалась в это окно. Достала старшую. Она была рослая, не такая малая, как я. Дочка! Ей тогда было уже годов семнадцать… Потянула, подняла. Так оно такое молодое, мя-гкое! Еще теплое дитя, колышется — я ж ее не подниму! А все ж таки набралась силы такой, что подняла. Подтянула ее до кровати, потом на кровать, на подоконник, сама через нее — и снова стянула. Говорю:

— Жоржик, помоги ты мне ее… Говорит:

— Не помогу, мама, я раненный. Я ж вам ничего не помогу.

Я ее затянула в ямку да — листьями… Лопухи там такие разрослись осенью… Прикрыла я их, минуточку передохнула. И мне так страшно там — невозможно! А уже так смеркалось. Уже было погорело: там они раньше подожгли…

— Теперь, говорю, утекаем!..

Там забора кусочек было и картофляник, — проползли мы ползком туда уже. А слышно — около нас людей нема, — а там пищат, кричат! Господи! Кому руки повыкручивали да ноги… Этой Вольке Ворчаковой, как мы ропорим, дак ей содрали всю кожу — ну, как калошу! Да руку выкрутили — так мучили…

А мы утекали. Я еще этак руками разгребла в бороздах картофляника землю, положила хлопца, этого Жоржа, под испод, а сама к нему на ноги, как-то голову положила, и полегли мы… Немного полежали, и так идет машина к этой глинобитке… Нельзя же проехать по селу, горит, дак они шли около этой глинобитки. Ехали. Д уже темно. Открыли борта и пошли с батарейками искать, где кто что выносил. Несут и все — швырь в кузов, а мы лежим… А свиньи, беда на них, чувствуют, что мы лежим, да все — рюх, рюх… Лежу и думаю: если заметят да подойдут — убьют!.. Посветили батарейками, ну не дальше, как вот до стола, но нас не заметили. Пособирали, сколько им чего надо, и уехали…»

Мария Нагорная.

«…В полночь мы вышли. Старшие, они ж волнуются и за скотину, что там оставили, коровы не доены целый день, это ж тоже нехорошо. Пошли. Входим в село. Ничего, тихо. Дошли до своего двора, где горит хата. Корова тоже на своем участке: и скотина чувствует опасность. В огороде стоит. Мать хотела подоить ее. А тут бегут люди снова. Еще ж не знаем мы, что побили людей… Бегут люди из села, те, что оказались там раньше… И один, Березовский, говорит:

— На черта вам те коровы! Немцы ж еще в селе, а вы тут с коровами!..

Снова мы бросаем все и бежим в лес. В этом конце от леса немцев не было, а в том — были.

И вот тогда в лес прибежал Ковальчук. Он был там, в деревне, когда убивали, и он многое рассказал. Не все, но что он видел. Он не знал, что уже всех побили, а думал, что только некоторых…»

Мария Кот.

«…И так я уже обессилела, что ничего не могу. В голове

шумит — ничего не слышу… А потом слышу уже — крик, плач… Это уже кто остался где да вышел поглядеть на трупы… Плакали люди. Кто из лесу пришел… Ночь. Это как они уже уехали. Лежим мы, ведь кто его знает, чего они плачут… Потом хотела я подняться, но шаталась, шаталась… Возьму и упаду. Этот хлопец видит, что я не встану — он меня за руку, поднял, я постояла, прошли мы немного, може, шагов десять, я снова упала. Упала, он меня поднял, и говорю уже:

— Доведи ты меня.

А уже глаза послипались землей и кровью, а я не вижу ничего, так позамазывала уже, как разгребала землю… Он меня перевел через улицу: там ровок есть, дак промыть хоть глаза, чтоб видела, куда идти. Вот я промыла эти глаза уже, промыла, а все в крови, вся одежа на мне в крови. Он меня довел к тому ровку… Дак уже ж утекают люди. Бежит Волька Удовинева, что ходила, все партизанам из Минска доставляла… С сестрою своей Маней. Дак они:

— Тетечка, милая!..

Дак я говорю, что нас из семьи только двое осталось, да и то раненный Жорж.

— Перевяжите его.

А чем же я, когда у меня все в крови. И говорят они — Тетя, утекайте, потому что в Прусках[60], говорили, у Свентоховского, что будут опять приезжать!

А тут стоит из Прусок дядька, родственник наш, — прибежали уже меня глядеть… А невестку мою уже свиньи едят, обгрызли… А моя одна родственница говорит:

— Пойдем, перенесем ее куда-нибудь в яму…»

Мария Нагорная.

«…Дождались мы утра. Стало виднеть. Люди все потихоньку, потихоньку собираются на край и выходят из лесу. Утром их, немцев, не стало. Выехали. Набрали, что им надо, скотину и где какое добро у людей, и уехали

Выходим мы на выгон, а тут и партизаны явились Двое. Видать, в разведку. На конях… А еще не знают всей трагедии, что всех это людей побили.

Теперь уже кинулись все в село, на свои участки — кто где есть живой или нема. Помню, что идем и встречаем своего племянника, внука материна. Бежит он. Оказывается, побыл уже на своем участке. Плачет… *(Плачет.)* Побежали мы туда. Правда, лежит на улице…

Обгоревшая такая… Люди обгорелые такие, страшные!

Нельзя рассказать, не видевши…

Ну, и все. Осталось в селе четыре хаты. И два-три гумна, може, не больше.

Партизаны — когда появились — сказали, что опасно тут, надо и остальным прятаться. Так оно и получилось, мы ушли. Ни коней, ни коров. Пешком пошли мы до Рудного, через речку…

Была у нас такая женщина, Нюша Сологубова. Молодая, одна, мать-одиночка, с девочкой маленькой. Она была еще живая. И вот рассказывают, что каким-то чудом остался один клуб. Хата просто была такая. Нюша была раненная, просила очень пить, дак кто-то из людей занесли ее в этот клуб. Ведь не думали, что немцы приедут снова допаливать. И вот они приехали. И дитятко было тоже живое. Кинули это дитя в колодезь… А ее самую кололи — страшно! И зажгли уже хату…

А мы в Рудном поле, под стогом живем. А потом мама говорит, что надо как-то в Прусы добираться — там же люди валяются. И дочка ее.

— Пойду я, — говорит.

А отец… Такое нервное потрясение у него, лежит, трясется. Больной. А мать пошла в Прусы, и с нею пошла еще племянница, моя двоюродная сестра. Чтоб уже смелей. Она из другого села, из Огородников. Приходят они туда, а немцы снова приехали, побыли в воскресенье, а теперь и во вторник приехали. Все вывозили, что могли вывезти. Немцы снова! И им некуда деваться, они кинулись к лесу, добежали под гору, а там люпин, чья-то полоска Тогда ж полоски были, подавали полоски людям всем Дак они в тот люпин и спрятались. А под вечер немцы уехали.

Приехали партизаны — собирать эти кости, где что осталось Мама рассказывает, что один такой, Янковский, считал, считал людей… Где тут сосчитаешь, если все пораспадались, одни косточки… Он только сказал: запомните, кто живой останется, что в этой могиле пятьсот человек. Это кого собрали, а кроме того похоронили, Кто где кого нашел.

И наших: выкопали в саду яму и всех уже закопали — сестру, и двое ее детей, и тетка еще, она жила у нее… Ольга звали, Гулицкая. Так она рассказала то. Приходят. Одна она в хате. Стреляют. Упала.

— Упала, — говорит она, — и лежу, а чувствую, что только прострелена, не мертвая, живая… Гляжу в окно А хата еще не слышно, чтоб горела. Где ж они поворачиваются? Гляжу в окно… Еще посмотрела в зеркало — страшная, вся в крови… Снова легла на то самое место.

А в ее хату загнали еще двух хлопцев, прусских, с улицы

загнали в хату. Ее в зале били, а их уже на кухне. Так уже страшно они кончались, хрипели. Може, что молодые? А потом заходят и к ней в залу. Може, хотели поиздеваться… За ногу ее потянули в огонь. Пока что горит только хлев. Дак они решили именно теперь, в эту минуту кинуть ее в огонь. За ногу и потянули, говорит. Голова болтается. Все, говорит, стараюсь, чтоб тем боком, где не ранена. Ведь у нее была прострелена шея и голова так вот… Приволокли к хлеву. Близко ж не подойдут, огонь же — это не костер. Раскачали, один за руку, другой за ногу — и туда. И все-таки в огонь ее не докинули. Рядом она упала. А за дымом им не видать. Пообожглась она. Но отползла в огород, в картошку, на себя земли, сего-того, и так вот осталась жить… Годов десять, как она померла. В Минске. А сын ее живет, работает на тракторном.

Вопрос: — А сын был тогда с нею?

— Дети поутекали. Ведь утекали так, как кто мог — дети себе, родители себе. Такая паника была. И к Степурам утекали, и к Скипьеву, только к Малым Прусам не утекали: думали, что немцы с одной стороны идут. А они со всех четырех сторон окружили. Потому что там не просматривалось: то кусты, то… Кто куда утекал, то всех и половили. В руки им прибежали. Был один выход — в лес. Почему? Потому что они лес окружили не от села, а дальше, лесок остался в оцеплении.

Мало там людей, нас спряталось… Теперь у нас в Прусах не прусляне, а все наезжие…»

Память людей, которая записана на белых среди черного поля плитах близ Великих Прусов; огненная память войны, что собрана в этой книге; память народная обо всем, что принесла и оставила на земле и в людях война, — это и мука, и тревога, но и надежда на то, что наконец на пропитавшейся кровью и слезами «от коры До центра» (Ф. Достоевский) планете мир не будет всего только подготовкой к новой «кровавой бане».

НЕ МОГУ… НЕ УМЕЮ…

И ужас, и скорбь вдруг возвращались из дали военных лет, и женщина как-то сжималась, умолкала или плакала…

У одних мы просили прощения и еще раз исподволь возвращали их к необходимости рассказать.

А иных не осмеливались больше беспокоить — это старых, немощных.

Таких случаев было немало.

Не меньше случалось и такого, что и старуха, и которая помоложе говорила по скромности меньше, чем могла бы, а то и в самом деле не умела. Одна даже с этого начала:

— Кабы это умел да все ловко рассказал!..

Однако и в этих «немощных» да «неумелых» коротеньких рассказах есть то, что таит в себе большое, глубокое жизненное содержание…

Ефросинья Егоровна Макеева, 94 года. Ровное Шумилинского района Витебской области.

Ее как раз забирали из участковой больницы в Козьмах. Пришел колхозный «газик» — за нею и за молоденькой мамой; старушку белые сестры и санитарки вывели под руки, а молодой подали в машину «конверт» с ее первенцем.

По совету врача, мы не тревожили бабусю здесь, решив заехать к ней домой, попозже.

Часа через три, побывав в других деревнях, мы заехали в Ровное. Ефросинья Егоровна сидела на солнышке перед хатой, а около ног ее попискивала, поклевывала стайка цыплят.

Вот весь ее рассказ:

«…Забрали всех, выгнали из хаты нас, погнали туда за Дрожаки, в лес. Прямо на мины, всей деревней. А потом — в пуню. Семьи уже выбирали партизанские. И моего взяли хозяина и повели. Ну, я слышу, что уже выстрелили недалеко. Дак я крикнула, а мне по голове *(плачет)* как дал плетью. Казак.

А потом домой отправили. Только по одному из каждой семьи застрелили. Разули нас всех, все побрали у нас.

Пришли домой — ни ложки, ни котелка, ничего нет, управляйся, баба, как хочешь…

Тогда, через два дня, кажется, она поехала *(показывает на дочь),* еще девки были, кобылешка была коростливая какая-то — собрали этих убитых… Оказалась и моя старшая дочка там.

И тогда трое дочкиных и двое сыновых — пятеро деток под

голым небом было…

Вопрос: — Вы говорите, казаки: что там, казаки были, власовцы?

— Там и казаков, там и немцев полно было…»

Матруна Ефимовна Акулич, 82 года. Прибыловичи Лельчицкого района Гомельской области.

«…Набралась я горя, хлопчики, оттого мне и нема добра…

…Как стали они по мне стрелять, дак я упала. Они меня оглушили, а если б не оглушили, дак и совсем убили б. А то пришли, перевернули и говорят: „Капут!“ Отозваться мне нельзя было. Это ж я в крови лежу так. В ногу меня ранили. Дак я это глазом зирк — они ульи разбивают. Там в саду были ульи, мед…

Полежала я да раком, раком поползла… Там канавка была, она замерзла, а не было снегу. Дак я думаю: „Куда ж мне идти?..“ Насилу, как без памяти, иду. Пришла я к куреням, в лес, а там уже дети оплакивали меня: там сказали, что по мне стреляли.

Потому что я, хлопчики, в село ходила, думала: може, картошки возьму… А мои дети, двое детей, в куренях были. Дак я как вскочила в курень, дак дети — за меня…»

Федора Алексеевна Голик, 77 лет. Апанасковичи Ушачского района Витебской области.

«…У меня уже памяти нет. Я только гомон слышу, а памяти у меня, что говорят, — ничего не слышу.

Что ж я могу сказать? Я только скажу, что родная сестра была, своя кровь, и говорить про нее не могу… Как она лежала под углом и только куры клевали ее кровь…

А у меня был сынок в армии. А другой был — еще только… в школу не ходил, восемь годов было. И три девки было.

И я в хате. Сидела только и в окно глядела, как они, немцы, ехали. Думаю: выйду. Слышу: хлопнули. Это, говорю, ее убили. Сын что был в отряде — за то.

А уже, как Красная Армия шла, дак солдаты спрашивают:

— Мамаша, а рада ли ты, что мы идем?

— Как же не рада, коли и сынок мой где-то в армии.

А они говорят:

— Мамаша, витебских нет. А идем мы только москвичи и сибиряне. Ну, мамаша, если ты довольна, что мы идем, то пусть твои девчатки сядут с нами и пообедают.

А они ж, известно, как девчата, сомневаются. А я говорю:

— Дети, сядьте. Радуйтесь, что Красная Армия пришла и нас

от нечистых вызволила… И так пролили крови своей сколько. Надо жить…»

Мария Илларионовна Кононович, 73 года. Окуненок Слонимского района Гродненской области.

«…Вот так, знаете, рассказываю, и сердце такое тре вожное, что не могу…

Ну, повыгоняли, посгоняли. У меня уже девки были взрослые, трое было. Одной восемнадцать, а другой шестнадцать… Взяла полуведерничек и вышла, а они в три ряда шли, эти паразиты. Задами шли, по улице и там шли. Я уже вышла, как сердце чувствовало мое. Думаю, може, не пойдут. А потом вернули меня:

— Иди, ворочайся назад! Я вернулась в хату, а они:

— Документы, документы! А я уже детям говорю:

— Хоронитесь, хоть где-нибудь.

— Ой, мама, как тебя убьют, куда ж мы поденемся! От мамы — детей… Отнимают…

А муж говорит:

— Ничего так не страшно, как смерть, что уже идет за тобою.

И уже всех повыгоняли, пошли. Все стонали, кричали, маленькие и старые, все…

А я уже в крови вся. Этак вот как-то по брови пуля пролетела, и вот тут пролетела, зубы повыбивала. И лежу. То ногами добивали, толкали ногами. Кто еще не кончился…

Поубивали всех чисто, которые уже бежали. Крови было…

Чтоб не знать вам, сыночки, этого, чтоб уже больше не было…»

Анастасья Ивановна Скрипка, 73 года. Освея Верхнедвинского района Витебской области.

«…Потом нас окружили и выгнали на дорогу. Такая вот была дорога перекрестная: так и так дорога, на эту дорогу выгнали. Какое-то начальство, с такими вот высокими шапками. Ну, вот. Что-то они поговорили между собой. Мы ж ихнего не знаем. А они только говорили: „Партизан капут“. Это мы поняли уже, что партизанские, наверно, семьи побьют. Нас надо расстрелять — это мы поняли.

Ну, вот, нас гнали, гнали по такой бойкой дороге, а потом такая в лес маленькая дорожка. Нам скомандовали влево. Мы, когда повернули все влево, — по нас стали стрелять. Мы все повалились, кто живой, кто неживой.

Меня ранили в ногу. Одна вот тут игла пуля, эта миновала,

только воротник, платок побила, пальто. Одна была в спину — в сухарях осталась. Там я ее нашла. *(Смеется.)* Такую винтовочную, длинную нашла.

Вопрос: — А когда упали, вы чувствовали, что не убиты?

— Не, я упала, а тогда у меня была еще падчерица с ребятами. Мальчишка крикнул. Только — „ай!“ он сказал и упал. Мы ж валились все. Они ж нас сзади стреляли, мы не видели. Головы не подымай. А девчонка сказала: „Мама, меня уже ранили!“ Я рядом шла, я вот так впереди, а она — сзади. А моя падчерица говорит девочке: „Тише!“ А они идут. Думаю: вот уже расстреляют. Но меня не тронули. Значит, я как лежала, так и лежала.

Потом немцы отошли, а мы встали и пошли…»

Вольга Кирилловна Гордеенок, 73 года. Жары Ушачского района Витебской области.

«…В субботу налетели на спящих — дак кто куда утекал.

Как стали бить, гнать тот конец, дак мой с мальцом свалились за печь, и с девочкой за печь схоронился. А я у окна стояла. Тогда гляжу — брата гонят убивать. И я стою у окна, гляжу. Невестку гнали убивать, а потом она как-то назад пошла, а потом опять схватили, погнали…

Загорелась деревня. Я схватила свой сундук с одежой — давай тащить, и кричу на своего:

— Помогай тащить, а то сгорим! А он говорит:

— Буду гореть, лишь бы немцы не убили меня!

Не вылезал. А я схватила сундук, на порог, а там моего мужа сестра бежала и говорит:

— Всех убили, только мы с тобой живые остались. И я повалилась на крыльце. А хата начала гореть.

Тогда я поднялась.

А муж тогда схватил ребят из-за печи да в кусты побежал, утекать.

А прошли первые немцы, дак я думаю: пойду, може откопаю кого. А муж меня догнал, схватил да в баню запер. Выскочил из куста, за меня да в баню вкинул. А я кричу в той бане: „Спасайте!“ И ничего не знаю.

Когда прошли вторые немцы, дак он меня выпустил.

Ну, вот и все. Пережили все.

Вопрос: — У вас тут много убили людей?

— Много. Семьдесят. В один день убили, в яму посгоняли и побили…»

Матруна Васильевна Будник, 72 года. Рудня Октябрьского района Гомельской области.

«…Пришел немец. Я была вдова, и у меня пятеро детей было. Немец рыжий, помню, взял палку да меня в машину гонит с детьми. Гонят.

Бросили в машину и везут туда. Ага, в Озаричский лагерь.

Привезли и посбрасывали.

Дак которые бабы обессилели, дак они пристреливали на дороге. А я иду с детками, а девочка упала — вот Саша, она теперь тут поезд пропускает, тут на дороге, стрелочница. Дак она упала на дороге, а они лошадьми топчут, а они нарочно телегой едут по ней. А она между колесами попала и осталась жить.

Я вытащила ее мокрую-мокрую. Это перед пасхою — вода, снег…

Посадили нас за колючей проволокой. Яму большую выкопали, дак которое дитя ослабеет, потому что не кормили нас там, дак они живых туда кидали. Идем — переступим убитого, идем — переступим мертвого…

Девочка моя — теперь в Витебске, и зять мой там, — дак она просит:

— Мама, дайте питья, питья!..

Я, детки, нагнулась снегу взять, а он меня по плечам прикладом. Дак они:

— Ой, мама! Питья не хочем, не будем просить, только нехай не бьет.

Дети хлеба просят, дак они тогда винтовкой. А если подымешь голову, где он идет — стреляет… И так вот лежали на снегу две недели, не евши.

А потом освободили наши. Такие они, ой, идут, такие молоденькие — не солдаты, а деточки. Они ж, как снаряд падает, не кричат, что „война“, а кричат „мама“. Подрастали. И я сижу, плачу, и они идут. Рады, есть хотят наши дети, дак они в котелок набрали воды и три сухарика вынули мне, в ту воду намочили и дают — детям есть.

А мы, когда увидели, что наши, дак сразу не верили…»

Ганка Михайловна Василевская, 67 лет. Горелое Докшицкого района Витебской области.

«…С того конца стали бить, а я с одной старушкой в хату забежала. Я не добежала до своего дома, а к ней во двор. Она испугалась, старушка, руки дрожат, и хаты не может отомкнуть. Дак я отомкнула, и она вбежала в хату за мной, села около меня,

а я за простыню — под кровать.

Немец подошел, трах — ее убил, а сам отошел и зажег.

И я сижу, горю. А тут кругом полно немцев этих, нельзя выйти уже — все горит.

А потом отошли немцы, я тогда выползла в огород, и дальше, дальше — поползла, и побежала аж в другую деревню…»

Ева Павловна Горб, 66 лет. Пузичи Солигорского района Минской области.

«…Они поехали туда в лес, говорят, окружили там людей, и не пустили их на голое место из лесу выйти. А там было раньше имение, в постройку в ту, в хлев загнали… И я до вечера не знала, что их нема.

Ну, так стал гореть огонь, что до неба столб черный. Уж эти извозчики — всякие есть люди — етот тянет добро людское, что осталось, а другой, из латышей он, мне говорит:

— Ой, молодичка, за что ж ваши люди погибли, и Сгарые, и малые, и с детками, и с колыбельками…

Я не знала, куда я делась, а дальше это слышу…

И всего — я осталась. Семьсот восемьдесят душ спалили в одном хлеве, еще помещичий был хлев.

Из села всего три человека осталось. Да они поумирали уже.

А мы это из поселка…»

Алена Даниловна Лапоть, 62 года. Горелое Локшицкого района Витебской области.

«…Одна я осталась… *(Плачет.)* Я уже забыла шесть раз, как это было…

Семья у нас была… Ну, был еще и отец, и мать, и сестра у меня была. Сестру нашу убили — мы ее не нашли.

Она пошла в другую деревню, в Клинники. Ну, а я осталась. И мы тут с женщиной… Потеруха Марфа была.

И мы с нею вбежали в хату сначала, когда поджигали.

Они ходили по деревне и убивали, в каждую хату захо; дили. Мы вскочили в хату. И еще женщина другая, Потерухи Пилипа женка, и мы в яму вскочили.

Да уже горит хата.

Мы увидели, что горит, — выскочили через окно. Дак эта Потерухина женка осталась тут, у постройки, а мы выскочили в ячмень. Подошел. А мы — лежали одна за другой.

Ее убил на месте, а меня ранил в руку и во через шею I пуля прошла.

Вот и все…»

Параска Ивановна Козик, 60 лет. Бобровичи Ивацевичского района Брестской области.

«…Была беременная. Маленькому три года. А хлопчик, семь годов, сам утек в лес. Пришел в хату немец:

— Матка, дай полотна на онучи. Не взял.

— Матка, дай молока.

— Не пил.

— Матка, сегодня вас будут убивать. — Голая, как была, в одной юбке утекла на хаты.

Они с винтовками за мною.

— Иди туда, где бьют!

А я в ольшаник. Вижу: свекровь убили. Бежала по кобылу. Лезла я под проволоку — зацепилась. Стреля1И — юбку всю мне пожегли. —.

Это, думаю, мне жить.

Немцы ходили — пастушков искали, добивать. Пацанят. Мой хлопчик сидел за корчом.

Я родила в лесу. Сделали мне мужчины будку. Под снегом ночевала. Как родила — два дня не было чего есть. Нашла гриб-козляк, спекла его, дала маленькому в ротик, взял и притих. Если б теперь это, век бы не высидел.

Мужчины будку сделали, кто что принесет. Всю зиму сидела. Его покормлю, а сама так страдала.

В лесу были, пока не кончилась война.

Этот, что там родила, в Телеханах теперь, уже дом себе построил…»

Зинаида Лукьяновна Рута, 55 лет. Освея Верхнедвинского района Витебской области.

«Нас поймали в лесу. Двести пятьдесят человек. Потому что немцы считали: „двести пятьдесят“. Всех вряд выстроили и пустили по нам автомат. Когда автоматы прошли по нам — мы все попадали. У меня дочка на руках — убили. Девочка, два годика было.

Вопрос: — Когда они вас построили, так что-то говорили вам?

— Построили в ряд по четыре человека и пустили автоматы. А когда пустили автоматы, мы все попадали. Я в плечо ранена, в ноге пуля у меня. А дочку убили. Дочку — по второму разу, когда пустили автоматы, дочку — в висок попали. А я сама ранена сюда, эта сторона У меня была вся черная. Опалили, когда из

автоматов Стреляли.

Вопрос: — А как вы потом вышли оттуда? — Ну, я не одна осталась.

У нас тут Скрипка есть. Анастасья. Я была вот так ногой повернута, а она стала меня будить:

— Зина, Зина, вставай! Ты жива или нет?

Я стала в сознание приходить. Встали мы. Когда мы встали, у нас что было… Оставшихся шесть человек. Живых из этих всех. Из шести человек два умерло. Одна уехала на Сибирь…

Вопрос: — Когда вы встали, немцев уже не было?

— Не было. Мы тогда пошли дальше в лес уже. Это ж ночь уже была. Темно ночью.

Мы пошли под куст, переночевали…»

Мария Лаврентьевна Бавтрук, 52 года. Юзефово Верхнедвинского района Витебской области.

«…Кабы это умел да ловко рассказал!..

…Мы стали все идти, бежали, а они стреляли. Которых ранили. Вот и мои ранены тоже были. Мои тетки там были. А тогда уже, в лес забежавши, там уже немцы догнали.

У меня невестка, жена брата, была, у нее — дети. Ну, и немцы сказали вернуться сюда назад во, в деревню.

Вернулись.

Мне было тогда годов, може, восемнадцать. Мы пошли, как молодежь, а они вернулись, их обманули. А мы дальше в лес побежали.

А они вернулись с семьями, у них ребята были. Все наши, деревенские. Ну, а тогда это… Заперли в землянку. Мою невестку, двое ребят у нее было… Тогда загнали за Дежи, там карьеры. Всех этих наших, деревенцев, что были дома. Их раздевали, обливали…

Я свою невестку ходила, искала. И сестра ходила, искала. Двое ребят… Там только лежала одежа снятая. Мы своих узнавали… Я племенников своих одежу узнала. А люди сожжены были. Где кто лежал. А потом их закапывали. Ну, придешь, поглядишь — сожженный человек, и все…

Как по подсчету, то погибло тут сто двадцать пять человек. И рядом вот деревня Кобыльники, там совсем сожгли. Там только два человека, мужчины, были на фронте, остались.

До войны Юзефово большое было. А уже как после экспедиции вернулись, то одна баба да двое ребят, а так все не вернулись, все погибли они…»

Галина Ивановна Черевака, 49 лет. Ясковичи Солигоского района Минской области.

«…Приехал карательный отряд и начали жечь. Как стали жечь, дак мы повыходили во двор. Зажгли вперед свекрову хату. Мы повыходили во двор, а они давай загонять в хату. Эти дети взялись за юбку да так кричат, — так кричат, а они:

— Швек, швек! — в хату, и все. — Вы все партизаны, мы вас всех унистожим!..

На хуторе у нас было три хатки. Со мной было трое детей и мое на руках.

— О, когда, говорю, детки, нам смерть!

Дети кричат, что не дай бог. Потом гнали этот скот весь. Кабан утек. Они давай кабана стрелять. А я ничего не помню, так растерялась. Одна и четверо детей. Ну, давай они кабана стрелять. А свекор, как стали кабана стрелять, дак он упал за забором. А пока они кабана стреляли, мы давай отходить, и в лес вошли.

Детки голые были. Стреляют. Я говорю:

— Детки, падайте.

Они падали.

А на хуторе никого не осталось. Одну мать забрали корову гнать, а ребеночек ее остался. Дак мой старший говорит:

— Мама, давай заберем и его.

Я говорю:

— Бери, если будешь носить.

У меня уже свой был, полтора года, ребенок, на руках. Одному было три года, а хлопчику четыре. Еще одному шесть лет.

А в лесу двух хлопцев увидела. Когда вошла в лес, так рада: где бы какой свежий след увидеть. Я кричу:

— Коля, Адам, вы где больше людей не видели? Под елкой я детей положила, и двое суток мы сидели.

Целые сутки они ничего не просили. А уже на другие сутки стали просить:

— Мама, тетя, мы хочем есть!.. Потом говорят:

— Наша бабушка столько хлеба партизанам пекла, в сенцах лежал. Неужели там нема?..»

Александра Григорьевна Глушанина, 45 лет. Иканы Борисовского района Минской области.

«…А около нее осталась девочка, семь лет. И вот, известно, дитя… Как вскочили, она как стала кричать, дак и девочку добили…

А у нее ноги были больные, она не могла идти, дак они пришли, по ногам постукали и стали накрывать соломою. Натаскали соломы, сами отошли, разожгли на дворе костер, взяли гармошку и стали играть. Стало вечереть.

„Ну, будут жечь…“

Стало вечереть, она тогда подползла к забору, и раздвинула этот забор, и утекла в картошку.

Тут пустили они сыщика, это собаку, овчарку. А она уткнула в кожух лицо, чтоб не дышать…

Прошло несколько минут, и эту овчарку они позвали к себе. Свистнули.

„Ну, я тогда, — говорит она, — поползла в кусты. Темно стало, боюсь лежать в кустах — прямо на обмежке легла и лежу“.

Утром опять стали стрелять. Они стали уже гореловцев бить.

„Зря я отползла от своих людей — тут погибну…“

Но все же это обошло ее, она осталась жива, это — мама моя, Алена Глушанина…»

КОПАЦЕВИЧИ

«Это было 11 февраля 1943 года. Приехали немцы вместе с изменниками убивать людей. У нас была МТС до войны, там жили рабочие, — кого встречали на улице, кого в дому, где кого по пало, там и убивали. МТС эта от нас недалеко. Мы слышали выстрелы. После этого запалили ихние дома. Был дым, и люди поняли, что там убивают людей. Они обстреляти нашу деревню Наши люди, как кто сумел: кто пешком, кто па волах, кто как сумел — ушли в лес Это было под вечер. Часов, може, в пять, може, в четыре. Они пришли сюда. Они походили, поглядели, людей нема, и пошли в лес искать нас.

А у меня ребенок был — третий год уже, сын, сестра двадцать третьего года и мать. Нас они не нашли. Забрали в другой стороне

Сказали этим людям:

— Идите домой, мы приехали на партизан. Если вы будете в лесу, все равно мы вас найдем, будем убивать и сжигать ваши дома. А кто будет дома, будет жить.

Переночевали они, побыли, но люди все равно не верят, не идут. Дак они поехали в Западнюю[61]. Дорог у нас хороших не было. Потом налетели из этой Западней, вернулись — на конях они были — и в каждый дом.

Мы жили в колхозных яслях, нам дали временно. В другую половину дома въехало их четырнадцать человек. Заняли дом, расположились и — никого никуда. Ни из хаты, никуда. И пулеметы вокруг, потому что они уже должно быть, планировали, что будут убивать людей.

Я говорю мужу:

— Утекай! Може, женщин хватать не будут, а мужиков будут брать и убивать.

Он вышел, и его вернули.

Вопрос: — А они с вами не разговаривали?

— Они вошли к нам, у них были гранаты такие, с деревянными ручками, и водка русская, вот, такие соточки. Они сели и начали выпивать. Мужу они говорят:

— Иди выпей! Он говорит:

— Я не хочу. Дак он говорит:

— Глупый, что — русской не хочешь попробовать? Так, по-русски говорит, я вам честно говорю, что по-нашему говорит. А я говорю:

— Иди, а то убьют.

У них было на фуражках — жестянки такие, череп головы.

Знаки такие ихние. Говорили по-русски и по-украински. Выпивали, потом один поставил на голове кружку, а другой из угла бьет по этой кружке.

Вопрос: — Стреляет?

— Стреляет в хате. Я говорю:

— Что вы делаете? Рабенок же боится! Перестали стрелять. Я взяла ведро. А воду мы брали около сарая, где потом убивали. А один подходит — такой хриплый голос:

— Поставь ведро. Я говорю:

— Не поставлю.

— Поставь ведро.

— Не поставлю. — Он за ведро и говорит:

— Пойдем со мной. — Я говорю:

— Я никуда не пойду.

Он за наган:

— Видишь, кто я такой? Как дам, в голова полетит.

Я начала кричать. Мужик выскочил, муж из хаты, говорит:

— Что такое?

Дак он:

— Это твоя жена?

И отпустил.

После этого все они вышли на улицу, кидали эту, гранату. Переночевали, наутро — это было пятнадцатого… Правда, еще скажу. Вечером пришел один из них. Был халат на нем белый, но пятна крови. На этом халате.

И мне говорит:

— Молодая, постирай халат.

Я говорю:

— У нас мыла нема — погорельцы, у нас негде купить…

Дак он говорит:

— Я принесу мыла, постирай мне халат. Мне на завтра нужен он.

Я уже волей-неволей стала стирать этот халат. Постирала халат, повесила над печкой, а он сел возле меня. И говорит:

— Молодая!..

Поглядел и говорит. Я спрашиваю:

— А вы откуда?

— Я — русский.

До какого-то года жил в России, а потом, — забыла куда, — выслали. Говорит:

— Я женатый, но я теперь равнодушно не могу жить с женой, я нервы потерял за войну.

Я спрашиваю:

— Чего ж вы потеряли нервы?

— Да, война. Всем досталось.

Дак я думаю, что он, може, скажет, да спрашиваю:

— А что с нами будет? Дак он:

— Да ничего, партизанов погоняем, а вы останетесь на месте.

Утром забежал, схватил этот халат. Я вам говорю, собирались, как черти! По-быстрому, по-быстрому, обувались, и все что угодно, и выскочили на улицу. И видно, То в сарае — это метров сто было от нас — что стояли ам подводы. И когда они побежали из дому, то возчики моментом вытягивали сани из сарая и коней выводили. Понимаете, это я в окно видела. И мы так поглядели с мужем и говорим, что будут убивать в сарае. Надо утекать. Он говорит:

— Давай, пошли. Я говорю:

— Ты утекай.

Прошли мы за дворами, и он пошел, отошел немного от меня, дак там говорят:

— Хозяин, воротись, а то стрелять буду.

Дак он все равно идет вперед. А я махаю: утекай! А тот опять:

— Воротись, а то убивать буду.

И он вернулся. Вернулись мы в хату, а наш дом, ясли те, стояли напротив улицы, и было видно, что по улице люди идут толпой. Гонят уже, гонят сюда, к нам. Идут толпой — и малые, и большие, и всякие. Нам уже тут деваться некуда. А наш дом еще не занимали. Сестру мою, двадцать третьего года, забрали готовить для них есть, в другой дом. Мы говорим:

— Нет уже спасенья, давай утекать!

Он в окно, дал в раму и мне говорит:

— Я буду пацана нести, а ты — за мной. И только прыгать, а я его так схватила:

— Куда ж ты, кругом посты. Он мне:

— Давай все равно утекать. Нехай лучше в затылок. Я говорю:

— Давай оторвем потолок.

Мы стали на печку, эти доски взорвали, он залез на потолок, я подала дитя и сама вспрыгнула туда, на тот чердак. А мать наша ходит по хате, дак я говорю:

— Мамочка, давайте сюда. Дак она говорит:

— Я не полезу.

И тут уже подходят к дому. Понимаете, поздно разговаривать. Я раз пять повторила. Мы эту дырку закрыли и остались на чердаке. Муж говорит:

— Разве тут спасенье? Спасенья нет. Давай утекать. Я говорю:

— Нема куда утекать.

— Живыми гореть? Или найдут — издеваться будут. Дак я говорю: 1

— Ну что ж, утекай, живи хоть один. Дак он:

— Я буду утекать, знать буду, что ты тут погибла, приду похороню.

Мы с ним попрощались. Он назад в эту дырку, в окно побежал. Бежал минут пять, тихо было, сразу одиночные были выстрелы, а потом автомат. Я думаю: все кончилось, не выпустили. А малого я не дала, он остался со мной. Когда убили всю старую деревню, был перерыв, пока подогнали из новой. Потом подогнали снова этих людей, и снова строчили там эти автоматчики. А я глядела, нагоняла страх на пацана: поднесла его к этой щели и говорю:

— Если ты крикнешь — видишь, как людей убивают, баба наша пошла, тетя наша пошла — и тебя убьют!

Ему третий год был. И он не крикнул.

Перебили и новый поселок. Потом несли какую-то флягу. Не знаю, что в ней было, но факт тот, что этот сарай облили какой-то жидкостью и запалили сарай. И снова вернулись в эти ясли. У соседа мандолина была, и поиграли, и выпивали. Я на чердаке была, а они внизу танцевали, пристукивали. Потом вышел один из них и сказал:

— Запрягай!

И поехали на Заглинное. Не все поехали. И в этот самый день, это шестнадцатого февраля, убили Заглинное. А эти переночевали и по порядку стали жечь деревню, забирать скот и все, что им хотелось. И подошли к яслям. Я думала: утеку ночью. Днем была оттепель, а ночью мороз. И часовые эти как ходят, дак под ногами у них снег хрустит, и слышно. Если б одна я — поползла б, а дитя, думаю, разбужу, оно закричит. Потом подошли они к этим яслям. А ясли были крыты дощечкой. Они Жгли деревню — подойдут и выстрелят зажигательной пулей. А эта дощечка не загорелась. А у нас лежал в коридоре леи, и они в этот лен выстрелили. Дым пошел, и через эту дырку такая дымовая завеса, что я вижу: гореть буду живая. Дак я через дырку — назад в хату, в окно, и когда я удирала в окно, у пацана уже горело пальто.

В лесу я искала людских следов. Я считала, что никто не остался в живых, что всех убили. Я и плакала, я и звала. Мне казалось, что никого уже нема на земле, что все убитые. Сколько я ходила, я и сама не знаю…»

Так убивали, убили одну из полесских деревень — Копацевичи Солигорского района Минской области.

И так помнит о том **Ганна Михайловна Грицевич**.

Когда в Минске судили бывших карателей, которые в составе эсэсовского батальона Дирлевангера убивали, жгли людей в белорусских деревнях, один из этих нелюдей вспоминал, как это у него было «первый раз».

«…В деревне немцы и наши были построены в две шеренги. Как я помню, впереди стояли немцы, а за ними — мы. Офицер через переводчика (фамилию я не помню) приказал, чтобы мы выполняли все распоряжения немецких солдат, а кто не выполнит, тот будет расстрелян. Каждый немец предложил тому, кто стоял позади, идти вместе с ним к хате. У каждой хаты остановились по два человека, немец и наш, тогда офицер подал команду зайти в дома. Я вместе с немцем зашел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было двадцать пять или тридцать дворов. В хату я вошел первым и увидел за столом старика и старуху, годов им было по семьдесят. А рядом с ними сидел парень лет пятнадцати. Немец мне указал: „стреляй“ — рукой на тех, что сидели у стола, показал. Я из своей винтовки сделал три выстрела, в каждого но разу выстрелил. Стрелял я в упор, они упали на пол.

После меня по ним дал автоматную очередь немец и сказал: „Капут“.

„Конец, все!“ — он об убитых сказал, тот фашист. Но как бы и о своем подручном тоже. Потому что и его это был конец. На одного человека стало меньше, на одного карателя-фашиста — больше.

Копацевичи — это была большая деревня.

В сегодняшних Копацевичах — сегодняшняя жизнь.

Только случается, как напоминание — привезут откуда-то бывшего полицая, покажут людям:

— Узнаете?

И к нашему „газику“ в некоторых деревнях подходили, подбегали: „Где они?“, „Кто?“, „Говорили, снова полицаев привезли“.

Прятался он — кто ушел от партизанской пули, от гнева народа, — аж двадцать пять или тридцать лет. На людях и в своей семье жил, но чем же было для него все то, что других радует, что для других — счастье: хорошие дети, жена?.. *Они ведь не знают*!.. Добрый труд, достаток, даже имя, может, и неплохое среди тех, с кем трудится: старается ж перед теми, кто завтра вдруг *узнает*».

Как жжет все это — ужасом!.. Услышат все знакомые и дети его, что он — каратель, убийца детей и женщин…

«…Мы с матерью пошли в эту обору, в этот сарай.

Правда, груда лежит людей, ну, что там, или это люди, или какие мешки — я уже не разбиралась, что там такое лежит.

Одна семья просилась, стояла на коридоре, я это видела. А вторую как раз расстреливали. Мужчина был солидный такой, у него рабенок на руках. Ему как дали — рабенок полетел из рук, а ему — еще раз в затылок, тогда он упал. А те все еще просились в коридоре.

Я все стояла и смотрела. А напротив меня стоял с наганом — один вот так, как вы сидите. Я опустила вот так Руки, а он — отходит, и отходит, и отходит!.. Може, если бы он стрелял, дак он попал бы в меня. Отходит, отходит, я стояла, стояла, а дальше вот так руки (показывает) и упала. Упала, чтоб уже ничего не видеть…»

(Из рассказа жительницы Копацевич **Вольги Степановны Ведерко**.)

На суде один из бывших карателей припомнил, как однажды его родной сын сказал, глядя телефильм: «Я бы сам их!.. Своими руками!..» Про убийц, фашистов сказал. Бывший каратель даже замахнулся тогда на сына. Был очень пьяный — этим жена и дети объясняли непонятное его поведение. А потом узнали…

Многие из подсудимых проклинали тех, у кого когда-то стажировались, кто командовал ими. Своих фюреров — мелких и покрупнее, командиров рот и взводов — Поля и Пляца, Циммерманна и Сальски, батальонных командиров — Зиглинга и Дирлевангера. А выше над всеми ими были полицейский генерал Готтберг и самые главные каратели — Гиммлеры, гитлеры…

Да только и сами-то они, те подсудимые, хотя и исполнители, но не «мелкие», если участвовали в таком. Делали же, вытворяли вместе с теми пляцами да зиглингами вон что!..

Это — из рассказа копацевичского жителя **Кузьмы Лукьяновича Агиевича**.

«— Хозяин?

Я говорю:

— Хозяин.

— А где матка?

— Откуда я знаю, где матка?

— Забирай с собой детей.

Двое детей было, по два года, а одно — шесть месяцев. Хлопчик еще был, восемь лет. Так того жинка отправила за отцом полицейского, сказала ему:

— Може, ты будешь жить, дак хоть мое дитя спаси. Он не сосед, а просто шел по селу, у него такой самый мальчик был, они вместе дружили…

Они как сказали мне: „Забирай детей“, дак я сразу вижу, что это дело к концу подходит. Я говорю, что как же троих детей возьму! Дак они взяли на улице двух женщин, да им по одному дитяти, а я третьего взял — и нас погнали.

Потом по дороге меня один „доброволец“[62] вызвал… А на мне были хромовые сапоги. Вызвал из толпы народа, завел меня в хату, содрал с меня сапоги и дал галоши фабричные, говорит:

— Дойдешь!

И опять вывел в толпу народа.

Загнали нас на площадь, где памятник теперь стоит, и вот на этой площади, значит, отбирали человек по пять, по три, такими партиями, и загоняли в коровник, тут же, рядом. Ага. А в этом коровнике стоял он и расстреливал людей.

Когда попал я тоже в тот хлев, меня там ранило…

Вопрос: — Вас заводят туда, а вы его не видите, того, что стрелять будет?

— Почему нет? Он стоит и командует: „Дальше, дальше!..“

А трупы лежат.

А как только отошел от стены, дак он из автомата — шах!..

Ну, а я как раз пригнулся, и у меня на голове пуля только сорвала кожу. Ну, я упал. Дитя у меня было — дитя убили. А те — я ж не знаю где. И старший мальчик мой ко мне попал, поскольку батьку полицейского тоже туда загнали и расстреляли. Дак мальчик мой ко мне попал и при мне был.

Ну, я лежал…

Лежачему мне попало еще четыре пули. Пять пуль я получил в хлеву. Но кости нигде не побило, только все в мякоть.

Ну, мы полежали, пока это всех перебили людей, а потом они вышли.

Ну, уцелели некоторые подростки. Они, значит, поднялись и говорят:

— Уже нема никого.

Дак голос же мы знаем свой! Я приподнялся. И еще один мужчина поднялся. Говорит:

— Ты жив!

Я говорю:

— Жив.

— Бежать можешь? Я говорю:

— Могу.

Ну, вот мы поднялись и побежали. Босиком. Галоши там остались. Понятно ж, они только насунуты были на йогу. И я

босиком километра три по снегу пробежал. А потом уже женщины за мною бежали и мужчина. И мне женщина одна дала галоши: она была в валенках с галошами, другая — юбку, я ноги обернул, мы пошли Дальше.

И там ночевали.

Нас тогда вышло из хлева девятнадцать человек.

Вопрос: — А сколько там осталось?

— Убили четыреста двадцать шесть человек. Пробовали некоторые мужчины убежать, но их — на ходу…

И они во всем этом счёте…»

Как удивился, испугался один из бывших карателей, когда его привезли в сегодняшние Копацевичи — постаревшего уже, обрюзглого, а его узнал **Миколай Иванович Руденя**.

— Ну что, пришла очередь? — спросил он у карателя. — Помнишь, ты толкал меня к тому немцу, что стрелял, а я тебе сказал: «Дойдет очередь и до тебя!..»

«…По хатам разместились, у которых были малые семьи, и там они жили ночь эту, — рассказывает Миколай Руденя, — у меня в хате не были. У соседа были. У меня они поставили только коней в сарай. А со мной как раз жил брат, с семьею жил, дак они только коней у меня поставили. Та хатка была уже на замке, а у меня было и так полно — две семьи.

Вопрос: — А о чем они вечером говорили с людьми?

— Что они там говорили — не могу я сказать, я туда не заходил. Ну, что они — они посматривали так, чтоб что-нибудь сделать… Чтоб какую девушку молодую поймать… Такие процедуры были, конечно… Делали. Насиловали…

Когда уже затопили женщины все печи готовить завтрак, они начали уже сгонять народ. Предлагали таким способом:

— Будем делать проверку паспортов.

А у нас же тогда паспорта были. Ага. Куда ж тут паспорта, когда с маленькими детьми!.. Уже тут не до паспортов, тут понятное дело.

Зашло ко мне человек шесть. Выгонять из хаты. У меня было три девочки. Одной был седьмой год, другой — третий, и месяц одной девочке было. И отец, семьдесят пять лет, был. Жинка, отец и я. Ну, погнали. Пригнали сюда вот на улицу, где памятник сейчас. У кого обдирали с ног, что хорошее, заводили в помещение и снимали сапоги.

Ну, привели уже сюда в толпу, и, значит, разрешил одному батьке полицейского — сын в полиции был — забрать свое родство из этой толпы. Ну, когда он начал отводить — каждому

охота жить!.. Тут уже стреляют, бьют, плачут в этом сарае… Наотводил он полно.

А они поглядели, что много, — и обратно его в толпу…

Вопрос: — А он и соседей набрал?

— Каждый же просился. Свои люди. Думается, посчитают, что родство, може, и останутся живыми. А они обратно их вернули… Брали по четыре, по пять, по шесть… Так попадало, в общем, что семьями.

Когда уже меня взяли… Отца взяли, уже расстреляли. И когда меня в сарай вели, то один — теперь его поймали и судили — сильно стволом толкнул в плечи. И когда я сказал: „Дойдет очередь до тебя!“ — дак я тогда понял, что русский. По-нашему он мне… А так они все в немецкой форме. В черепах в этих… Ну, карательный отряд. И когда они втолкнули меня в сарай и положили, я попал как раз на отца. И клали так, чтоб голова была сверху. И вот когда они положили — начали стрелять. Мне попало двумя в голову, третья резанула так *(показывает)* — она и сейчас сидит во мне… Я лежал на боку, и глаз левый был у меня открытый: я следил за ними, что из этого будет. Они, когда уже всех побили, начали делать проверку. Многие вот так… Особенно пацанам попало. Плачут:

— Добей!..

Кричат, ругаются — всякое там было. В это время, когда они прошли по проходам, — крови было много, они все измазались в кровь. Один наш попробовал выскочить *(показывает),* вот этого Агиевича Кузьмы небож[63] — и тут же, как поднялся — так его и добили.

Ну, я лежал, меня проверили, вернулись назад, и мне сильно сюда ударил в ногу. Он начал слушать — услышал Дыхание, еще три раза выстрелил, но уже не попал в меня… Выстрелил и опять слушает… Наклонился близенько…

Потом они что-то поговорили, поднесли какую-то флягу с горючим, начали обливать этот сарай, вышли… А часовой стоял с другого конца.

А в это время Кузьма поднялся бежать. Ему хорошо, ему только в мякоть попало. И в это время я поднялся мне бежать нельзя было.

Выскочили мы на улицу, часовой крикнул: „Стой!“ — и выстрелил вверх и сам спрятался.

Ну, мы побежали в лес, я немного прошел, повалился, потом опять встал, добрался до кустов, посидел, поел хлеба немного, потом опять поднялся, попробовал, дошел до подоньев, где стога стояли, и там повалился на старое сено.

И когда уже вот теперешний ее мужик *(показывает на Ганну*

Грищевич) делал разведку, кто где остался, — вот он меня нашел, партизан сделал мне перевязку, забрал в лес, в землянку.

Вопрос: — Так вы теперь напомнили? Тому, который гнал вас…

— Сказал: „Ну что, пришла очередь?“ Ну, что он теперь? Глядит…»

РАЗЛИТЬЕ

Лесная деревушка в Борисовском районе Минской области. Рассказывает **Юлия Федоровна Сушко**, женщина одинокая, шестьдесят три года.

«…Вот они как ехали, — а я в том конце жила, — пять машин, дак часть выгрузилась и побежали по шаше, а часть к лесу побежала.

А я со своей девочкой хотела в кусты. Муж был в партизанах. Только пришел из Финляндии, побыл год, а тут снова война началась, в партизаны взяли…

Хотели мы в жито, а этот немец бежит:

— К старосте, к старосте!

Ну, мы знаем, где староста живет. Я девочку за руку, но не к старосте, а вот — где была колхозная стройка. Но он нас прогнал. Тут стоит поперек улицы, а тут оцепили — по одну сторону с пулеметом и по другую.

Тогда я говорю:

— Бабочки, пойдемте проситься. Подошли мы и говорим:

— Паночки-любочки, неужели вы нас убьете? Мы ж ни в чем не виноваты, что где в партизанах или что..

А они говорят:

— Вас живых будут в огне жечь. Но только мы ничем не поможем.

Или они полицаи, или они украинцы?

— *Кланяйтесь, говорят, коменданту. Падайте в ноги.*

Я спрашиваю:

— Какой комендант? Он говорит:

— Среди народу в плаще стоит.

Мы к тому коменданту:

— Паночек-любочек! Може, нас будут бить? А он как крикнул:

— Вам всем капут!

Приказал раскрыть двери в пуне.

Тут мама моя стояла рядом около пуни. Думаю: „Побегу скажу, что будут живых жечь“. А они пуню раскрыли. Думаю: „Нас будут первых сжигать“.

И тогда стали уже разбегаться, а они стали из пулеметов косить.

И вот я выбежала сюда, за кусты. А меня ранили. Тут во разрывною пулею все вырвало.

Тогда я платком перевязала. И стоят вдвоем немцы. Я:

— Паночки, добейте меня, мне вельми трудно!.. *(Плачет.)*

А они:

— Идь, говорят, в кусты, идь в кусты!

И тогда я еще в горячке иду, а тут девка соседняя мне на ноги упала. Я говорю:

— Волька, я через тебя не переступлю.

А ей в голову как раз… А я — в кусты, а там и моя девочка ко мне прибилась, восемь лет. А другую мою ранили в ногу. Проскочило детей штук пятнадцать и бабы. А всех перебили.

Тогда моя девочка видит, что кровь льется у меня — у этих девочек платки взяла и сразу стала заматывать… Ямку выкопала, мне воды достать…

Вечером пришли еще бабы, их трое осталось…

А потом партизаны меня вынесли. Какой-то армячок был, постелили на носилки и вынесли меня. Партизаны, ага. Положили там, в кустах. Все ж спалили. А комаров!.. Тогда я полежала три дня, и пошли по мне черви. *(Плачет.)* Старик отец приехал с подводой и завез в деревню к себе. И так там лежала. Он пошел йоду, марганцовки принес, и Маньку привезли, которая теперь работает врачом. Двенадцать метров бинта было, дак она сказала чистым бинтом снимать грязь…

Всю родню нашу перебили. Было три сестры… Оставь — платочка на голову не было.

Сорок восемь было хозяйств. Человек сто восемьдесят — всех побили. Осталось четыре бабы и два мужчину. Один в ячмене лег, а другой в колодезь вскочил. Сначала сруб туда опрокинул, с колодезя который, а потом сам на него спрыгнул, чтоб не утонуть. И возчиками которые были. Мой тата старый.

Но они уже все поумирали…

Штыками деток маленьких кололи…

А потом, когда уже наша армия шла, наши в плен их взяли. И берегли. Мы пошли глядеть, дак они сидят около огня, повычесывались… Пленные!

Дак мы говорим:

— А если бы вас в огонь побросал, как вы наших детей бросали!..

Дак они и отодвинулись от огня подальше…»

После в той самой хате, о том же самом рассказывала **Настасья Змитровна Шило**. Семьдесят шесть лет. Высокая, суровая, громкоголосая, как пророчица. Однако рассказывая, нет-нет да и засмеется нервно… И начала с такого смеха — жутковатого.

«…Ха-ха-ха! По порядку, говорите? Я уже баяла этот порядок. Приезжали уже следователи и перед вами…

Ну, как было… Говорили люди, что подорвали машины, пять верст отсюда, а потом убили „народника“ на пути. А мы были в лесу, у реки, они нас, немцы, нашли там. Это как первая блокада была. Этого убитого привезли в деревню и сказали похоронить. Старики сделали гроб и обили белым.

Тогда они постояли около этого гроба и сказали:

— Ляжет вас двести человек.

„Народники“ эти. Я сама стояла. Полно людей на Улице было. Дак я и слыхала, как они говорили. Не совру.

Тут, около Синичина, самолет спустился… Два их служилось, но я уже буду говорить, что один. Брали наших мужчин в возчики. Всех побрали и моего хозяина взяли с детьми. Пятеро ж детей. И ночи я не спала, и день ходила…

Тут они и приехали бить. Я встала. Семь машин их пришло. А тут вздумали, что будут забирать в Германию А мой хлопец один уже взрослый.

Дак я говорю:

— Ну, детки, поехали, видно, погонят уже в Германию или убьют.

Положила старшего среди младших, а сама за ведро и пошла. А бабы, соседки, и будут говорить:

— Вот нам теперь смерть. А я говорю:

— Бабы, не волнуйтесь: в Саёх заняли, а не побили. Вот как я бабам говорила. Они от меня ушли.

А уже меня немец изловил, потому что я шла к сестре, к Мариле. А он догоняет меня и кричит:

— Капут, капут! Тогда я иду, а уже наших согнали. Они вот и плачут некоторые, а мы вот с этой Юлькой. *(Показывает на хозяйку, Юлию Сушко.)* Он стоит, на винтовку оперся… А уже все наши пришли. И дети мои. Пятеро деток ко мне пришло. Я вот так их обхватила — они ж еще маленькие, — а мой хлопчик старший взял и побежал! Утек. Он на кладбище утек. И как-то пробрался, и другого позвал, и утек. Ну, а этих четверо около меня. Юлька эта подошла еще и говорит:

— Пан, или нас убьют?

А я говорю:

— Что ты просишь этого кола? Стоит вот. И ничего не говорит.

И мы отвернулись.

Тогда я смотрю — а уже стоит легковушка, и они, человек шесть, стоят. Да эти плащи большие, да рукавицы черные…

Дак мы вот так подошли, а я думаю: „Не пойду вперед,

убьет“.

А старшина наш *(смеется)*… или староста — черт его знает — дак этот хотел с ними ехать. А они плюнули на него и не взяли: детей много… Старосту первого и убили. Левона.

Он повалился, а я не лезу наперед. Уже гляжу — побежали все, дак и я по полю… Улицей вот так, в жито. И я бежала. И невестка моя бежала. Мы вдвоем с нею. Дак она повалилась и лежит. А я глянула так вот… Но верите ли вы мне? Я ж не вру — я глянула, что она лежит — и я побежала, в забор втиснулась, за сарайчики, и сталась я живая. Три усадьбы перебежала. За хлевами густо были строения.

Тогда я гляжу — а моя девочка, вот этаконькая, бежит! Бежит из того жита.

Уже они реже стреляли. Дак я тогда за эту девочку я а говорю:

— Ай, дочушка, уже ж нам всё! А четверо ж где еще?

Тогда я схватила эту девочку, а с нею, так вот — стеганочку, а сама — в жито. А оно счернело уже, мое дитятко, на меже…

И я перележала в жите с этой девочкой.

Как уже били!.. Ай, били!.. Лес шумел, и земелька стонала, как били! Кто где…

Сколько нас отбежало? Бабы две только. А то все дети. Они пустили из пулеметов в рост, а дети маленькие, и остались. Годиков по пять, по шесть которые.

Я была здоровая, дак я бежала, я б теперь так не побежала…

Вопрос: — А ваши детки?

— А мои детки где-то четверо. Только одна около меня. Младшая самая. Они там, немцы, долго стояли.

Я вот так пододвинулась к меже, чтоб поглядеть, а ока:

— Ай, мамочка, не бросай меня!..

Я пододвинулась — а моя хата по окна горит!.. И уехали они, вижу я. Тогда я побежала и нашла… Кого я нашла? Кристину. У нее на руке девочку убили. Кулю Цыганову нашла. И девочку Шурку. Вот сколько нас.

Побежали мы в лес.

А тогда я шла, детей кликала, а вот эта раненная… *(К хозяйке.)* Ты, Юлька, лежала, а я тебя нашла. Нашла ее, около нее было четверо… А грязь такая!

— Кто там? — говорю я. — Идите ко мне! А они говорят:

— Вы идите к нам!

Известно, маленькие девчатки. Я взяла к ним пришла.

А вот эта Юлька лежит, чуть жива. Я так нагнулась, говорю:

— Ах, Юлечка!

А она взяла да хлип-хлип… А девчонка грязи взяла на нее.

Это там вода такая была — одна грязь. Седьмой годик девочке было, а мать, Юлька эта, станет что попало говорить, дак она воды на нее. Так спасала ее. Выкопала ямку и брала из нее воду. Юлька голая лежала, дак она ей на грудь воды, на лицо…»

Разлитье — деревенька бесперспективная. Так нам сказали на двух уровнях: в сельсовете и в районе.

Предложили теткам из этих печальных хаток перебраться в центр колхоза, гарантировали, как это делается, помощь, а они — не хотят.

Странно?

Не очень.

Лет несколько перед тем на Гродненщине нам случилось встретить нечто подобное. Куда там подобное — курную хату!.. Не в музее или на картине, а в Лидском районе, на территории богатого совхоза «Малое Можейково». Совхоз построил двухэтажный дом, а бабку из курной хаты никак не могли уговорить перейти в квартиру с удобствами. Директор написал ее сыну в Ленинград, на Кировский завод, что совхоз оплатит командировку, лишь бы только парень уговорил мать не упрямиться Целая сказка, если кто недоверчивый… А что же у бабки была за причина не переходить? Старая липа перед окном, а под липой — криничка… Так она, бабка, сама говорила.

Разлитье — какие-то три хаты, сарайчики, заборы, огороды… И роскошное лето такой печали не приукрашивает. Бабулю Настасью Шило дочка забрала было в Казахстан, где она работает бухгалтером, но старуха там не прижилась. Здесь держится, а при ней, как при матери, и Юлия Сушко. Для этой привязанности к родному углу внешних причин особенных нет. Стареют хаты, стареют матери. Над тем колодцем, в котором было спрятался один из двух спасшихся мужчин, сруб снова струхлявел и сам кусками да порохней обваливается в недалекую и подозрительную воду.

«Завтра как раз тридцать лет с того дня», как погиб ее сынок, и она туда пойдет, на ту могилу, и «буду день там плакать»…

Поэтому из Разлитья никуда перебираться не хочет. И от дочери потому вернулась — от того целинного благополучия.

ПАМЯТЬ

Был на Слутчине застенок Подлевише, красивое селеньице, дворы широкие, в садах, как в венках, дома на высоких фундаментах, крытые гонтом. Колхоз тут скоро вобрался в силу, и название деревне дали новое, советское — Красная Сторонка.

Еще в те годы посадил Кондрат Лапец на своей усадьбе березку. Не для пользы, для красоты. И любовался деревцем человек, не подозревая, что скоро оно станет памятником на его могиле.

28 января 1943 года каратели напали на Красную Сторонку, Гандарево, Старево, Лазарев Бор и другие окрестные деревни и деревеньки. Пожгли их, молодежь угнали в Германию, а стариков поубивали. Партизанский связной Иван Лапец, Кондратов сын, пришел на свое пепелище, нашел мертвого отца и, оплакав, похоронил у двора под березой, как издавна хоронили людей, убитых грозой. После войны Иван Кондратович построился на другой стороне улицы, а старое подворье пустует. От той отцовской березы рассеялись деревья-дочери. Они окружили могилу хозяина. Надмогильный камень, поставленный сыном, затерялся среди живых обелисков-берез.

В деревне Казимировка на Мозырщине пожилая, смуглая женщина с большими, как на старинных иконах, глазами, привела нас к серому камню под яблонькой в огороде. Там могила ее семьи, замученной фашистами. О трагической гибели родных и своем случайном спасении Ульяна Казак рассказывала как-то на удивление сдержанной последовательно, хотя предупреждала нас, что находит иногда на нее затмение, забытье. Когда мы фотографировали ее здесь, около яблоньки, женщина стояла спокойно, как бы не видела нас, а потом подняла несколько яблок с муравы и подала нам — угощайтесь. Жутковато выглядело это неожиданное приглашение причаститься к усопшим. Но для нашей душевной собеседницы, крестьянки с сухощавыми, потемневшими от работы руками — все тут было, видать, естественно. Те, что здесь лежат, сажали яблоню, о них она напоминает солнечными плодами.

В свое время довелось нам видеть на брестском Полесье обгоревшие дубы на подворьях бывшей деревни Тупичицы, на берегу Бобровицкого озера. Немного осталось этих деревьев-ветеранов: только те, что росли на отшибе от села, поодаль от пожарища, только они сохранили в толще могучих комлей, под бронею коры, остатки жизненной силы. Им обожгло ветви, огонь выгрыз черные дупла в полуссохших стволах, — они зияют

обугленными проемами, поражают днем, пугают ночью. Эти обугленные ветви-руки, обгоревшие корневища-ноги и стволы-туловища придают силуэтам деревьев выражение трагической величественности…

И все же не только в этом суть.

Тупичицкие дубы стали памятниками не потому, что они соприкасались с огнем и трагической судьбой тех хозяев, что погибли здесь. Памятниками сделано и делает эти молчаливые деревья почитание их живыми, память потомков. Люди, те, что остались, что чудом уцелели, и те, что переехали сюда из близких и далеких сел и хозяйствуют на другом берегу озера в деревне Бобровичи, а также дети их, что родились уже в мирное время, — они почитают тупичицкие дубы, как принято чтить память своих предков. Никто не смеет подойти к дубам-ветеранам с пилой или топором.

Памятники человек создает для людей. А из чего они — не так существенно: из живых, зеленых деревьев или крепкого гранита, бронзы, бетона, или, может, из звучного слова или возвышенной мелодии, которые не хуже, чем гранит, могут сохранить на веки вечные память и мысль о жизни, смерти и бессмертии.

Трогают, пугают и одновременно успокаивают, возвышая душу, памятники-деревья. Нам, людям, видится в них протест земли, голос-крик матери-природы против слепой жестокости. И в этом глубинном протесте — умиротворение нашей души: природа заодно с нами, она против смерти, она — за человечность.

А рядом с памятниками-деревьями человеческие памятники-монументы, мемориальные доски, обелиски, кресты, реквиемы, элегии, эпитафии, народные предания, сказания и воспоминания — все это за жизнь и человеческое достоинство, против смерти и унижения.

Вот на большой поляне, что зарастает сосенником, заблестел на солнце, как белая неожиданность, величественный мемориал. Здесь была деревня Рассоха, одна из многочисленных в Белоруссии, да и тут, в Осиповичском районе Могилевской области не единственная партизанская столица, «лесная Москва». Здесь были хаты, потом — землянки, тут было партизанское кладбище и кладбище мирных людей, убитых врагами во время блокады. Каратели разрушали и землянки, уничтожали и надмогильные знаки, наспех поставленные людьми по своим близким. Когда блокады снимались, те, кто остался в живых, возвращались в Рассоху, восстанавливали могильные холмики и насыпали новые. После войны родственники поставили некоторым из жертв фашистского нашествия бетонные или даже

гранитные обелиски с портретиками на эмали. С этих самодельных, наивно-простеньких обелисков смотрят, улыбаясь, молодые парни и девчата, которым в самый раз сойтись бы в круг, разжечь костер и запеть песню! А вокруг лес, приглушенный сосновый шум.

И, может быть, захотелось заказчикам и исполнителям общего мемориала на месте деревни Рассохи, чтобы советские парни и девушки, партизаны и их подруги, хозяева и хозяйки, которые предоставляли им гостеприимный угол, обмывали и обшивали, кормили их и тревожились за их жизнь, чтобы все они вместе, когда-то такие жизнерадостные, теперь разговаривали с живыми. И они разговаривают. И слушают разговор живых.

Самое выразительное на могильных памятниках — фамилии тех, что погибли. Колонки однофамильцев ца досках мемориалов. Десять, двадцать и сорок одинаковых… Разве можно рядом с этим поставить какую-то надпись? Но это замечается только потом, когда утихает высокое волнение, навеянное этим белым памятником в глухом далеком лесу.

На склоне — ступеньки перед пригорком, над ними на террасе пять квадратных, симметрично расставленных бетонных скрижалей, заполненных барельефами и надписями. На центральной плите два молодых широкоплечих партизана охраняют от врага женщину с мальчиком. В разные стороны смотрят вооруженные люди — враг может появиться отовсюду. У одного юноши рука сжата в кулак… Да, хоть не всегда хватало у партизан сил защитить свои семьи и все население в зонах действия, однако все, что могли, делали — предупреждали, принимали бои, давали убежище уцелевшим, лечили раненых и больных. Было острое чувство обязанности спасать людей, а у населения — чувство единства судьбы со своими хлопцами-партизанами, со своими заступниками и мстителями.

Больше всего, пожалуй, волнуют те случаи, когда человек в своем естественном стремлении почтить память близких, находит общий язык с природой, с ее готовностью быть памятником человеку, который при жизни своей общался с нею каждый день в труде. Литовский скульптор Г. Якубонис глубоко почувствовал силу этой связи трудового человека с природой. Знаменитый мемориал в деревне Пирчупис он сложил из гранитных валунов, взятых прямо с окружающего поля. Поставив пять ярусов гранитных глыб, художник вырубил в них незабываемый образ Матери, литовской крестьянки, простой и величественной в своем горе, мужественной в скорби.

Мать — часто встречающийся образ на братских могилах замученных фашистами людей и у нас в Белоруссии. Это

наиболее выразительная фигура. Она живою связью соединяет протест человека с протестом природы против смерти. И как бы ни был исполнен образ матери — с профессиональным мастерством, в бронзе, граните, мраморе, — как, например, в деревне Засовье на Логойщине или на пожарище деревни Переходы на Слутчине, — или с самодеятельной наивностью и непосредственностью в скромном бетоне, как в Лозках Калинковичского района, — образ этот неизменно волнует самим присутствием на памятном, скорбном месте.

Логойщина. Напротив деревни Жардежи с асфальта Минск — Витебск сворачивает глухой лесной тракт, который ведет в бывшую деревню Дальву. Там, где сосновый бор расступается солнечными полянами, которые когда-то, наверно, были полем, всюду по обе стороны дороги лежат кучи каменьев. Отшлифованные ветрами, они похожи на огромные картофелины. Местность лесистая, затишная. Сосенники, будто роты солдат, что строем спустились с пригорков, как по команде, замерли.

В таком вот чащобнике размещалась когда-то стоянка-укрытие крестьян деревни Дальва. Они скрывались там от фашистов в июне 1944 года.

Если углубиться в здешний бор, то почувствуешь себя как бы внутри гигантского органа, где серебряные трубки — стволы сосен, обросшие мягким, сивым лишайником. Серебрятся комли над сочной зеленью ягодника, а выше человеческого роста серебро переходит в медную красноту. Над всем нависает темный свод густых крон. Кажется, красота, безопасность и уют навсегда сошлись в этих чудесных борочках.

В июне 1944 года сюда приближался фронт, шла блокада. Дальвинцы, предупрежденные партизанами, ушли из деревни в лес. Каратели, выиграв бой на шоссе, хлынули в партизанскую зону…

Об этом нам рассказывает **Миколай Петрович Гирилович**, единственный уцелевший житель Дальвы, сегодняшний радиоинженер, а в те дни — сельский мальчонка.

«…На ночь останавливались, окапывались, а днем шли снова прочесывать лес.

Утром батька повел пасти коня, километра за два от Деревни. Мать разбудила меня подменить его, даже и проводила туда. Отец с матерью пошли домой. Я пасу коня, а через какое-то время послышались выстрелы и взрывы — там, в деревне. Я сперва взялся распутывать коня, — он был спутан железным путом, — так провозился некоторое время, а потом бросил и без коня побежал деревню. И увидел я — догорает дом Василия Кухаренка.

По житу я побежал в свой дом, а гитлеровцы уже садились на машины и отъезжали в направлении Жардежей. Я вбежал в хату. Как только переступил порог — постели разбросаны, ложки лежат на столе разложены. Мне стало страшно. Я поднял крик, стал звать отца и мать но никто не откликался. Я побежал к тому дому, который горел. Огонь перекинулся уже на другие хаты. Я бегал вокруг, кричал, звал на помощь, но нигде никого… Тишина. Только треск огня..

Я тогда побежал назад туда, к коню, распутал его и приехал верхом в деревню. Выгорела почти вся Дальва, только там, где стояли липы, остановился огонь. Поглядел я — нигде никого, и повернул на летнюю стоянку, в то укрытие. Там застал одного человека из Крутой Горы. Тот испугался меня, а потом я окликнул его, оказывается, он из Плещениц убежал от немцев. Мы с ним переночевали в землянке, а назавтра пошли в деревню Становище. Я нашел там родственников, и с этими родственниками мы пришли в Дальву. Тогда я увидел, что на самом деле сожгли всех людей. Увидел сожженных…»

Это было ровно за десять дней до освобождения. Уже с помощью советских солдат жители соседних сел раскопали жуткое пепелище Кухаренковой хаты и нашли в погребе под хатой и под битым кирпичом трупы, а на пепелище — кости сорока четырех жителей Дальвы. Тут был и довоенный председатель колхоза Петр Гирилович с женою, отец уцелевшего тринадцатилетнего Коли.

Братскую могилу тогда наспех огородили жердями, после войны Прусевичскии сельсовет поставил железную ограду, совхоз — обелиск. А теперь, в июне 1973 года, мы увидели, как ставили новый памятник.

На широкой поляне, где когда-то была Дальва, над зеленой, тихой окрестностью поднялась монументальная фигура Матери. С нею — ребенок.

Вдумчиво, сосредоточенно работает автор мемориала, скульптор Владимир Теребун, студент-выпускник Минского театрально-художественного института. Помогают ему девятиклассник из недалекой деревни Околово Толя Янковский и Миколай Гирилович, приехавший на выходной из Минска.

Миколай Петрович рассказывает нам, что инициаторы постройки памятника — комсомольцы Околовской школы и Белорусского государственного комитета по радио и телевидению, где работает и он, Гирилович. Средства на памятник собирал Логойский райком комсомола. Свой вклад в это строительство прислали даже школьники 113 Саратова,

которым довелось быть здесь на экскурсии.

Автор памятника, скромный, неразговорчивый парень, разъяснял нам, что образ Матери не имеет прототипов. Позже, вспоминая этот разговор, мы жалели, что молодой скульптор не встретил на своем пути тетки **Филимени Цвирки** из сожженной деревни Старево на Слутчине. Высокая, с мужественным и открытым взглядом правдолюба, она выглядела как живой памятник, когда не голосила, а на былинный лад славила бывших старевцев:

— А сколько мы тут партизан попокормили, да сколько мы в разведку попоходили. Мы же раньше самые острые бедняки были, да мы же самый первый установили колхоз, нашу Советскую власть. Да было же нам уже и жить хорошо. Да сгубил же тут один в тридцать седьмом году мужиков наших. А сыны ихние, дети наши, сколько в партизанах походили, да сколько ж их, смелых, погибло…

Тетка Филименя речь вела о том, чтобы поставить хороший памятник на могилах партизан и жителей Старева. И не догадывалась, что в этот момент сама она годилась в прототип для такого памятника.

Массовые трагедии обязывают и к массовому народному участию в осмыслении и сохранении их памяти.

Вспоминается литовская деревенька Облинга. Дальва — одна из самых последних советских деревень, уничиженных уже разбитым, отступающим врагом. Облинга бь1ла одним из первых советских селений, жители которого пали от рук фашистских палачей. Это случилось на второй день войны, 23 июня 1941 года. Партизан здесь еще, конечно, не было и в помине.

На страницах книги, написанной западногерманскими военными специалистами в начале 50-х годов, господствует все тот же фашистский миф: «Действия партизан были причиной того, что первоначальная мягкость немцев сменилась ненавистью»[64]. В Облинге не было партизан — туда пришла фашистская ненависть. Был бой перед полуднем 22 июня, вели его с немцами регулярные войска — пограничники и красноармейцы. Но у захватчиков имелась версия о виновниках-партизанах, заранее состряпанная в фашистских фабриках идеологической лжи. «Для других, для заграницы, — доверительно говорил своим подручным Геббельс, — наша пропаганда должна сильно подчеркивать, что Германия желает мирного урегулирования всех существующих проблем… Вину за то, что мирным путем не удалось этого достичь, надо умело сваливать на тех, кто сопротивляется справедливым требованиям Германии»[65].

От советско-германской границы до Облинги двадцать километров. Гитлеровцы вошли в деревню после обеда, а в сумерки начали сгонять людей в деревянные бараки. Погибли все жители деревни — сорок два человека.

Тридцать лет носила в себе эту трагедию народная память. Весной 1972 года народный резчик из Клайпеды Майорас поделился замыслом со своими коллегами, резчиками из Жемайтии и других районов Литвы. И вот летом в колхозе «Восьмое марта» был организован творческий лагерь, съехалось двадцать восемь народных резчиков — увековечить трагедию Облинги. Колхозники окрестных сел подыскали и привезли тридцать толстых дубовых колод, а резчики превратили их в образы. Каждый брал себе задание увековечить одного человека или одну семью. Тридцать дубов-памятников встало из живой человеческой боли, из святой памяти. На склоне кургана Жвягиняй ожили и сошлись крестьяне довоенной Облинги, будто на народный праздник-гулянье, только на лицах недостает праздничной веселости. Обычно расторопный балагур сват Барбшас также не веселит гостей. В трагическом удивлении приподнял он плечи и протянул руки, словно спрашивает: «Почему стало возможно такое?..»

Облинга и Дальва — два рубежа во времени, самое начало и самый конец кровавой оккупации, два рубежа, которыми отмечено осуществление фашистской политики уничтожения советских народов.

Вслед за Гитлером Геббельс цинично заявлял, что «все это мусорище малых народностей, которое еще существует в Европе, должно быть как можно скорее ликвидировано. Целью нашей будущей борьбы должно быть создание единой Европы»[66].

Скорбно-укоризненное выражение на лице литовской женщины, вырубленной в граните Якубонисом, Мать из Пирчуписа и белорусская Мать из Дальвы, созданный скульптором Селихановым образ крестьянина из Хатыни, дубы-скульптуры Облинги и обгоревшие дубы Тупичиц над Бобровицким озером говорят, кричат всем честным людям на земле, предупреждают, взывают к бдительности.

Археологи говорят, что наиболее давние следы первобытного человека — орудия труда и посуда. Однако памятниками общественной жизни людей являются, очевидно, печь и колодец.

И в сожженных врагом деревнях всегда оставались, гак два символа былой, кроваво растоптанной жизни, печь и криница, напоминания о хлебе и воде.

Мы у памятника жертвам фашистского зверства в деревне

Брицаловичи Осиповичского района Могилевской области. Авторы мемориала — молодые скульпторы Крохалев, Андреев и Солятицкий.

На опушке дубравы, за которой струится живописная Свислочь, на пригорке поставлен обелиск. По обе стороны его — шесть мемориальных досок из бетона, от обелиска прямо в село ведет выложенная камнем стежка, на ней — постамент из полевых валунов и на постаменте — мальчик-подросток.

Обелиск напоминает одну из тех кирпичных труб, Что сломанными шерengами стояли в войну на пепелищах сожженных врагом белорусских деревень. Через открытые устья и выбитые вьюшки в черные жерла труб врывался ветер, играл, как на органе, нескончаемый реквием по хозяевам. И слышали этот скорбный реквием уцелевшие люди. Жутко было на душе, ночью им снились замученные родственники, знакомые, соседи, они приходили как привидения, во сне и просили по-человечески предать земле их обгоревшие кости.

Нам, собирателям этих воспоминаний, припоминается деревня Лозовая в Осиповичском районе Могилевской области, где около совхозной фермы женщины работали на закладке сенажа. Две пожилые подруги, уцелевшие от фашистского уничтожения, — **Вольга Григорьевна Гришанович** и **Настасья Фомовна Трепанок**.

«…Придем в лес, — рассказывала Вольга, — наголосимся в лесу, снова на пепелище прибежим — приснилось нам: „Что вы нас не похоронили?..“ Сколько раз прибегали. Раскопаем, раскопаем, найдем, опять эту могилку прикапываем.

…Через год один дед… Ему приснилась жена: „Почему ты меня не похоронишь? — говорит она во сне. — Я ж под печью…“

Народная мораль говорила когда-то, что не найдет покоя на том свете душа, не оплаканная людьми. Вот и теперь, после этой насильственной гибели, старик даже ео сне чувствовал потребность исполнить перед родными и близкими свой человеческий долг.

Оплакивали убитых и хоронили по старинному обычаю. Не находилось у погорельцев часто даже досок на гробы. Клали покойников в шкафы и сундуки, которые уцелели, потому что в них было обычно зарыто от враг» полотно, одежда… Хоронили и без гробов, едва находили постилку или платок, чтоб прикрыть глаза и руки. Так было, о таком мы слышали в разных углах Белоруссии.

И в Хатыни, и в Брицаловичах скульпторы превратили печную

трубу в обелиск, который тревожно напоминает людям об ужасах пережитого.

Обелиск — труба… Высокий, ровный, четырехгранный столб, в середине пустой. А бока — с пробоинами, как в настоящей трубе после пожара. Только пробоины эти образуют узор — стилизованную ветвь лавра. Это вам, мученики, труженики земли-матери, от тех, кому суждено было уцелеть и продолжить жизнь родной деревни, родной земли. Через прорези-листья видать полое нутро обелиска, оно отсвечивает белизною — это необычное жерло трубы. Ночью там загорается электрический свет и лавровые листья светятся, горят на звездном фоне ночного неба.

Две грани обелиска заполнены майоликовыми барельефами, которые лаконичным языком символов говорят о победе жизни над смертью, о красоте человека, занятого извечным трудом земледельца.

Неподалеку от обелиска старая сосна с аистиным гнездом на вершине. Сосна-вековуха засохла. Может, от старости, может — от жгучего горя ее земляков — людей… Аистиное гнездо — как терновый венок мучений, коронует ее порыжелую голову.

Аисты охотно водятся в этих местах — пойма Свислочи. Как раньше, как извечно, учат они круговому облету длинноногих, еще черноногих аистят. А вечерами стоят, подбирая под крыло то одну, то другую натруженную за день ногу. Стоят аистята молча. Эта сосна, гнездо и жители его — продолжение мемориала. Не только сосна, но и дубы, что тянутся от сосны к речке. Дубы на песчаном пригорке растут крупно, дорылись корнями до соков поймы и гонят листву густо, прикрывают густыми гирляндами желтые песчаные бугры и серую бетонную ровнядь массивных мемориальных досок, на которых выбиты все 07б фамилий жертв фашистской расправы. И снова жуткие колонки однофамильцев: Борозна, Борозна, Борозна, Ольховик, Ольховик, Ольховик… Десятки людей одного рода, одного корня…

Стоит поодаль от сосны и трубы-обелиска вылитый из красного бетона мальчик-подросток, один из брицаловичской детворы, которых перед войной щедро наносили в крестьянские хаты аисты. Большая была деревня — больше двухсот дворов, и в каждой хате были дети, много детей…

«…Я только как вошла в этот сарай, — вспоминает уцелевшая жительница Брицалович **Ганна Ивановна Потапейка**, — они крикнули:

— Киндер бросай!..

И те дети шли, взявшись за платье. И чужие, и мои. Четверо ж

моих, а то несла на руках. Как вошли, так они и застрочили…

Стреляли, стреляли. Постреляли, а потом уже хохочут:

— Рус свинья капут!..

И еще постреляют, ногами пинают.

Ну, я и лежу так. Как полетела, так вот и лежу. А кровь же: поразрывало же все…

Потом пошли они в другой сарай, что поперек… Пошли, еще там хохочут, стреляют все там, лопочут.

Идут сюда! Что тут делать? Подымусь?.. Как подымусь, дак кровь — отовсюду… Ну, опять лягу туда. Лежу. Ну, они так пришли, еще кто стонет — повели очередь по нас и ушли. Хляп-хляп — ворота позакрывали и пошли в школу…»

Молодые скульпторы тоже слышали рассказ Ганны Потапейка и рассказы других уцелевших женщин о трагической судьбе детей из Брицалович — жуткие рассказы… Но выбрали из них один. О мальчике, который в январе 1943 года, когда здесь каратели расправлялись с мирными жителями, — вырвался из сарая, где горели люди, и убегал по косогору. Да там и остался, там его настигла пуля…

А художник увековечил мальчишку — застывшим в трагическом недоумении.

Автор памятника Крохалев мог слышать и рассказ **Улиты Кондратовны Ольховик** — рассказ необычный, даже искушающий на мистическую трактовку событий. Исступленная от ужаса, тяжело раненная женщина увидела ночью такое:

«…Вот тут груда людей лежала, — говорит Улита Кондратовна — вот, полный же ж двор, вся ж деревня лежала. И на дворе, и в сарае. И опустился вот этот месяц — низенько, низенько. И стоит на месяце человек. О халате белом… Не то что кто-то мне так говорил, — я сама из сарая видела это. Через щель. И ремнем подпоясанный, шапка зимняя, и в сапогах. На этом месяце стоит. Над убитыми…

Я тогда очень растеряна была. Не знала, куда мне деться. Две дочки расстрелянные, мужа расстреляли, а два хлопчика, не знаю, где они…

На месячике стоял… На самом месячике. А низенько очень круг опустился!.. А он на месяце стоит!.. Вот просто так обыкновенный человек, ремнем подпоясанный, белый халат на нем и штаны черные, в сапогах и шапка зимняя…

Я трое суток сидела в сарае с убитыми. Ну, все равно что убитых людей стерегла. На каждом углу страж стоял. Обойдет вот так кругом сарая и вот так ухо приложит да это слушает, дышат

ли люди… А там, може, кто и живой был, дак уже дошел. Я если б еще одни сутки посидела, дак от воздуха задохнулась бы. Уже так ослабла, пить — трое суток не пивши…

А они из деревни все вывозили на машинах. Я через щель все видела. И грязное белье, и чистое, где что оставалось в хатах…

Ну, а потом уже они, вижу я, собираются ехать — уже облили сарай бензином, запалили. И тогда как-то приоткрылись ворота… Дак я думаю: „Чем мне уже кипеть в этом огне, дак я выйду во двор, нехай в спину стреляют“. Они туда-сюда по двору, а я так вот, через огород — и пошла! Я тогда вспомнила, что говорят: „Если тебя постигнет какое несчастье — иди и не оглядывайся!..“ дак знаете, я вот так, спиной к ним, так вот, в лес Дошла, не оглядываясь. А они на дворе еще туда-сюда бегают.

Ну, там уже пришла я в лес. Рука ранена, дак смяло палец этот, потяну — не отрывается… А там — партизаны уже… Доктор сделала мне перевязку…» *(Плачет.)*

Рассказы уцелевших мучеников с необычайной силой воссоздают жуткую непонятность злодеяний, которые обрушились на мирную деревню.

Еще раз вернемся к рассказу **Ганны Ивановны Потапейка**.

«…Ну, и как уехали они, фашисты, на партизан, да как зашли в землянку — их взорвало. Человек, може, десять… Ну, как взорвало их на тех минах, дак они вернулись, да окружили наше село… Уже не глядели ни на детей, ни на стариков, всех, всех согнали нас. Вот сюда где этот памятник, в сарай нас согнали. Колхозный был сарай, большой… Это вечером было, когда сгоняли, день малый был, дак вечером. Сгоняли нас, а мороз, мороз! Сильный! Как раз же коляды были, самый сильный мороз был, и снег был большой. Утекать — дак очень же трудно утечь. Прямо снег такой, как войдешь, дак и ног не сменишь.

Сидим, сидим, назавтра уже. Рассветает…

— Ну, что, говорят, ну, что будет? Что-то ж не пущают нас. Ну, говорят, это будут выгонять коров да все себе забирать, кур, коров, а тех уже будут гнать, молодежь, дак нас не выпущают, чтоб не плакали матери, да все там…

Это мы так решаем.

Ну, и сидим, поглядываем в окна… Ну, так часа в два — идут. Идут, ну, слава богу: будут нас выпущать! Идут, их много идет, и начальство уже, видим, идет. Ну, пущать будут. Э-э-э, как только открыли сарай — „Идем, идем на улицу!..“ Вышли на улицу, они нас завернули туда на шлях. Ну, как завернули на шлях, уже мы поняли: что-то уже сделают. Уже стали бабы плакать, кричат

уже…

Загнали туда, дак уже видим: и шапки лежат, и сумки те — наших мужчин… Тогда мы уже поняли, что будут и нас… Что-то сделают: сожгут или расстреляют. Уже в окна повставляли пулеметы, в каждое окно.

…Стали они в окно стучаться:

— Дайте нам человека.

Они уже так порасстреливали, что хозяйка была, варила им есть, дак и ту… И нема кому варить им еду. Женщина там с нами была, по-немецки говорила. Вышла она дитём — дак они за ребенка — выкинули, а ее повели. И тогда стали уводить. Человек по двадцать — расстреливать…»

Построить в Брицаловичах памятник-мемориал — эту мысль подал колхозникам их председатель, бывший фронтовик Иван Борозна, младший брат которого командовал партизанским отрядом, что действовал в этих местах.

Отряд состоял преимущественно из брицаловичских парней. Их семьи стали первыми жертвами карателей. Сами они, партизаны, возродили деревню после войны: разобрали обгоревшие трубы, построили новые хаты, поочищали колодцы…

Колодцы сожженных деревень…

Пожалуй, не меньше, чем обелиски-трубы в Хатыни и в Брицаловичах, поразило нас трагической тоскою зрелище колодезного журавля, точнее, одной только сохи от этого журавля, раздвоенной рогатины, торчащей в небо. Соха колодца — единственное, что осталось от деревни Маковье Осиповпчского района.

Остались еще от Маковья выбеленные дождями валуны да несколько одичавших яблонь. Другой колодец, что был на краю деревни, восстановили, над его срубом бездумно раскачивается смычок журавля, позванивая на ветру жестяным ведром. Этот колодец неподалеку от пастушьей хатенки, в которой хозяйствует дед **Антон Миколаевич Павло́вич**, бывший партизан и единственный косвенный свидетель трагедии деревни.

«…Это в самые морозы было, в сорок третьем году, — Рассказывает он. — Утром оцепили деревню. Я из лесу тоже бежал домой. Тут по мне стреляют, а я кинулся в снег, удрал. Я хотел семью забрать в лес. У меня двое деток было. Ну, по мне стали стрелять, и я в лес, и крутился, значит, по лесу… Стояли они три дня. Туда нельзя было никак ткнуться, ткнусь — ракетой осветили, начал стрелять по мне.

Нас уже несколько человек собралось. Пришли — Все тут погорело… Мы на третий день собрали их, хоронили До войны тут сорок четыре двора было.

Я тут сторожую. И сенокос охраняю…»

Старик стоит на большой, засеянной тимофеевкой поляне, которая была когда-то деревней. С таким простым домовитым названием Маковье. В его памяти еще сохраняется картина былой деревни: хаты, дворы, фамилии людей… Стережет Антон Миколаевич миражи своей юности. Рассказывая о старом селе, он в каком-то забытьи показывает пальцем на четыре валуна, описывает дом, который когда-то стоял на этом фундаменте, показывает на три березы среди поляны, говорит о срубе, в котором расстреляли и сожгли жителей Маковья.

На простеньком обелиске в кустах сирени написано, что деревню эту фашисты сожгли 8 января 1943 года, убили более 270 ее жителей, а также людей из других деревень, что уходили от карателей прятаться сюда, в лесную местность.

Из всех, увиденных нами в разных уголках Белоруссии, богатых и скромных памятников, на братских и одиноких могилах с дней оккупации один поразил нас по-особому.

Он стоял в Липичанской пуще, на Гродненщине, около серого, печального хутора Яблонька, который вырос после войны на пожарище, среди огромной, пустынной прогалины. Мы видели тот необычный памятничек летом 1971 года, пока еще его не заменил другой, современный, побогаче. А тот был очень простой, сельский — каменная пирамидка со ржавым чугунным крестом, и стоял он — и в этом его необычность — на низеньком цементированном колодезном кругу…

В колодце засыпана крестьянская семья. Надпись на памятнике, уже к тому времени не очень четкая, говорила, что в глубь эту брошены, — кто знает, или убитые предварительно для большего удобства, или, может, живьем, под страшный плач и крик — Иван Пархач, сорока восьми лет, жена его Агата, сорока семи лет, дочь Зина, восемнадцати лет, сын Михась, шестнадцати, и младшая Мария — четырнадцати… Было это 14 декабря 1942 года. Памятник поставили племянница и зять. Те, кто поселились после на этом горьком подворье, построив хату подальше от колодца.

Взволновал нас даже не так памятник, как человеческий долг поставить его тихо, осторожно, чтоб не нарушить покоя усопших.

В других местах о таком же нам говорили другие памятники и люди.

В деревне Костюковичи Мозырского района — четыре могилы-колодца, в которых похоронены жители деревни, удушенные в «газвагенах», душегубках, которые начиная с 1942 года выпускались в Берлине по заказу Гиммлера. О жутких событиях в Костюковичах нам рассказывали очень немногие уцелевшие жители этой деревни. Теперь могилы-колодцы забетонированы, в ниши вмурованы мраморные доски, на одной из них написано, что здесь лежат дети, на другой — женщины, на третьей и четвертой — мужчины…

А обелиски в лесу, во ржи — сколько их по всей Беларуси!..

Вот на Витебщине, в Шумилинском районе — на девяти километрах мы видели их пять. Стояли они, один за другим, четыре памятника, справа и слева от проселка, называя бывшие деревни Дражаки, Ямище, Щемиловку, Заозерье. Пятый, самый высокий обелиск, стоял на поляне среди волнующейся ржи. Надпись на нем говорила, что здесь был хутор Зуево, где в первые годы оккупации размещался Сиротинский подпольный райком партии. Первое заседание этого политического и боевого штаба партизанского движения Сиротинской зоны состоялось в 1941 году. Хутор был сожжен в 1942-м…

Обелиск стоит на краю поляны, в траве, за ним — стена ржи…

Земля Белоруссии хранит мужественную и трагическую память. Не найти па ней места, которое не ждало бы памятника: от Бреста до Орши, от древнего Полоцка до Турова — сплошь была истоптана, изранена фашиста ми, корчилась в муках и гремела местью. Когда видишь, как полоцкая Софийская церковь, что помнит дни Все! слава Чародея и других героев «Слова о полку Игореве» сегодня старательно реставрированная, всматривается в Курган бессмертия, насыпанный на другом берегу Двины, чувствуешь их — исторические дали родной земли.

Память народная продолжает судить и карать фашистских нелюдей-убийц. Мемориалы в Хатыни и Облинге, в Лидице и Орадуре, в Дальве и Брицаловичах, бесчисленные наши памятники — недремные часовые той памяти…

ХАТЫНЬ И ХАТЫНИ

Старик держит мальчика как будто над всей землей. Такое каменное и такое мягкое тело мертвого мальчика. Глаза старика черной бездною свидетельствуют, что здесь произошло — в Хатыни. И спрашивают у всего мира: так что же здесь было, неужели это правда, люди, то, что с нами было, что с нами делали?

1

«И меня повели в тот хлев… Дочка, и сын, и жена уже там. И людей столько. Я говорю дочке:

— Почему вы не оделись?

— Дак сорвали с нас одежу, — говорит дочка.

Ну, пригонят в хлев и закроют, пригонят и закроют. Столько людей нагнали, что и не продохнуть уже, руку не подымешь. Люди кричат, дети эти: известно, столько людей и страх такой. Сено там было, солома, кормили еще, держали коров. Сверху и подожгли. Подожгли сверху, горит стреха, огонь на людей сыплется, сено, солома загорелись, задыхаются эти люди, так сжали, что дышать уже нечем. Нечем дохнуть. Я сыну говорю:

— Упирайся в стену, ногами и руками упирайся… А тут двери раскрылись. Раскрылись, а люди не выходят. Что такое? А там — стреляют, стреляют там, говорят.

Но крик такой, что стрельбы той, что стуку того и не слыхать. Известно же, горят люди, огонь на головы, да дети — такой крик, что… Я сыну говорю:

— По головам, по головам надо!

Подсадил его. А сам по низу, между ног. А на меня убитые и завалились. Навалились на меня убитые те, и не продохнуть. Но я двигал плечами — тогда я здоровее еще был, — стал ползти. Только до порога дополз, а стреха и обвалилась, огонь — на всех… А сын выскочил тоже только голову ему немного осмалило, волосы обгорели! Отбежал метров пять — его и уложили. На нем люди убитые — из пулемета всех…

— Вставай, говорю, они уехали, уехали уже! Стал его вытаскивать, а у него и кишки уже… Спросил еще только, жива ли мама…

Не дай бог никому, кто на земле живет, чтоб видели и слышали горе такое…»

Это — из рассказа **Иосифа Иосифовича Каминского**, жителя бывшей деревни Хатынь Логойского района Минской области.

Люди из соседних деревень и из далеких городов и стран, остановившись около окаменевшего от горя и гнева отца с ребенком на ослабевших руках, видят пепельно-серые трубы, с которых, как с колоколен, срывается медный гул. Удары колоколов надтреснутые, короткие, как зажатая боль. Черные, как из могильных плит, каменные дорожки ведут людей к каменным калиткам, навсегда раскрытым, к темным высоким трубам-

колокольням, с написанными на них фамилиями и именами бывших хозяев… Каминский, Каминская, Каминская… Яскевич, Яскевич, Яскевич… Иотка, Иотка, Иотка… Новицкий, Новицкая… 50 лет, 42, 31, 17, 12, 3, 1, 1, 1… Дети, дети, дети…

Не это ли имел в виду фюрер немецкого милитаризма, когда в 1937 году, говоря об обеспечении Германии продуктами питания за счет Востока, бросил зловеще непонятную фразу: «… ребенок съедает хлеба больше взрослого…»?

Через каких-то пять лет женщина из полесской деревни Слобода Петриковского района **Алена Булава**, не зная тех слов бешеного диктатора, своими глазами увидела их реальный смысл:

«…Люди визжат, кричат!.. Боже мой, дети плачут!.. Страшно было, — если бы вы слыхали. Ну, просто страх!.. Некоторых в хаты загоняли, а нас просто так убивали, окружили и так били — на нашей улице…»

И она, одна из немногих уцелевших женщин, будет спрашивать кого-то через наш, поднесенный к ее старческим губам микрофон, будет недоумевать за всех людей, за весь мир:

«Я это подумаю, так мне страшно… Я жила в те войны, как те войны были. Уже немолодая… Что это, что это за такое было у них — я не знаю. Это звери были, а не люди. Это не люди были, это — звери были».

Гитлеровская пропагандистская машина вся была направлена на то, чтобы «освободить» корыстного обывателя от всех «химер цивилизации», от всего, что связано с совестью, гуманизмом, культурой. За это ему обещали место в «новой Европе» — где-то в верхах.

«Тот, кто присоединяется ко мне, — шаманил фюрер „тысячелетнего рейха“, — призван стать членом этой новой касты. Под этим правящим слоем будет согласно иерархии разделено общество германской нации, под ним — слой новых рабов. Над этим всем будет высоко стоять дворянство, состоящее из особо заслуженных и особо ответственных руководящих лиц… Широким массам рабов будет оказано благодеяние быть неграмотными. А мы сами избавимся от всех гуманных и научных предрассудков»[67].

Это, так сказать, — будущее на тысячу лет вперед, которое фашизм обещал миру. На языке военных приказов, обращений гитлеровского командования к солдатам оно звучало так:

«У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие — убивай всякого Русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай, этим ты спасешь себя

от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навеки»[68].

Избавившись от того, что человека сделало и делает человеком, от того, что называли они «гуманными и научными предрассудками», фашисты стали даже не зверьем, как с горечью называет их Алена Булава, а чем-то еще более диким и несравненно более опасным. Претенденты на звание «сверхчеловека» сделались «сверхзверями»…

…На высоких трубах — фамилии убитых фашистами семей. Трубы эти — на месте бывших изб, дворов, они возвышаются на пригорках и звоном таким вечным, но и таким современным, тревожно-сегодняшним как бы измеряют глубину, самые глубины человеческих душ, тех людей, кто живет сегодня, кто пришел, приехал сюда. Так звуком измеряют глубину океана. А приходят, приезжают сюда и дети, и старики, из-за Урала и с Запада — из Польши, из ФРГ, из США… И люди из других белорусских Хатыней, земля которых здесь погребена или названия которых написаны на хатынской стене, а также из тех белорусских деревень, названия которых тут не обозначены, но судьба которых — тоже хатынская…

Каждый слышит этот звон, и у каждого — свое эхо, своя память о минувшей войне, своя или своих отцов, дедов…

Но после Хатыни она делается острее, должна такой делаться — человеческая память. Потому что то, что произошло здесь, что творилось в белорусских деревнях, касается всех, и об этом должны знать все. Потому что судьба у человечества — одна. Будущее у человечества — одно.

Это по-особому чувствуют здесь, в Хатыни. Многие.

«Трудно почувствовать полностью глубину мучений другого, если сам не узнал беспредельность трагедии, — пишет американский журналист Майкл Давидов. — Я пришел к выводу, что данные о тяжких испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое. Четвертая часть ее населения убита, и восемьдесят процентов ее территории превращено в пепел. Как представить такое? Это было бы подобно трудно вообразимой картине: более пятидесяти миллионов американцев убито и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья»[69].

У немецкого фашизма были свои маски. Временные. Одна — Для Франции. Вторая — для Норвегии. Третья — для бельгийцев, скандинавов. Еще одна — для словаков или болгар…

Настоящий, без маски, оскал гитлеризма видели в спрятанных за колючей проволокой Майданеках и Освенцимах.

Но чем дальше германский фашизм забирался на восток, тем

меньше он прятался за маску «европеизма». Здесь уже он вышел из-за колючих проволок, выполз из гестаповских подземелий, здесь он в открытую бросился на деревни и города — на миллионы людей, на детей, на женщин и стариков, на поляков, белорусов, украинцев, русских, на всех, кто по их тайным планам не должен жить, занимать «жизненное пространство»…

«Нашей задачей является не германизировать Восток в старом смысле этого слова, т. е. привить населению немецкий язык и немецкие законы, а добиться того, чтобы на Востоке жили люди только действительно немецкой, германской крови»[70], - уже открыто в печати высказывался Гиммлер в августе 1942 года.

Но и это, как ни широко, как ни ужасающе масштабно такое делалось, — и оно было только началом. Если иметь в виду фашистские планы «окончательного урегулирования» в масштабах целых континентов…

Что готовил миру, человечеству фашизм в первой половине двадцатого столетия, об этом сегодня люди знают.

Но живут среди людей те, кто может рассказать, как это реально было и как это было бы, если б случилось самое ужасное и фашизм вырвал бы из рук человечества будущее.

Что бы мы ни знали, ни читали о фашизме, эти люди фашизм увидели ближе нас, увидели совсем вблизи — *оскал «сверхзверя» в ту минуту, когда уже ничто не стояло между фашистом и его жертвой, и тот открывался весь, со всем, что в нем было и чего больше не было*…

Хатынь — символ убитых фашистами белорусских деревень. Здесь погибло в огне 149 жителей. В других Хатынях — больше, в некоторых — меньше. Чем измерить муки даже одной семьи, где боль матери, отца в миллион Раз умножены на боль и ужас их детей, которые рядом…

Спросите у любой женщины: сколько человек убили в деревне? — и всегда услышите, что «много! ой, много!» Тысячу ли, сотню ли, или десять человек убили, сожгли —! говорится с одинаково большой болью, острой жалостью. Это — народное понятие, чувство, стихийно-гуманистическое.

А если не одна, а сотни семей — тысяча восемьсот сорок три человека! Как в деревне Борки.

Это была большая деревня на Бобруйщине, а точнее — несколько деревень-поселков, которые объединяла жизнь одного колхоза.

А в тот июльский день 1942 года их объединила смерть.

В теперешних Борках, послевоенных, живут совсем другие люди. И только несколько человек — из прежних, убитых. Они вам расскажут, как было в тот день.

Некоторые и сегодня задыхаются, как от невыносимой тяжести, когда начинают свой рассказ. От немолодой уже, болезненного вида женщины Марии **Пилиповны Закадыницы** мы услышали всего несколько фраз: не хватает человеку дыхания, чтобы сказать еще что-то. Память сжимает горло…

«…Я уже не могу даже и говорить, как меня они сильно били, и мальчиков моих, у меня трое было… Дак я говорю: „Не ходите за мной…“ Я уже этих детей оставляю на берегу, сама в озеро, в воду, дети эти плачут, а я в воду, ну, думаю, утоплюсь, и все. Не, потом детей этих взяла и лежу, лежим, а одного в руках держу, как видим — идут снова немцы… Не, не подошли. И я лежала, лежала…

Вопрос: — А они ходили из хаты в хату?

— Берут — и в хату, если на дворе, и в хату! И в каждой хате так. И мою сестру, и мать, и всех моих… А потом хаты спалили. А потом мы в лес пошли, кто остался, и там жили дети мои, траву ели.

Много побили, ой, много! Считайте, всю деревню…»

У **Анастасьи Илларионовны Касперовой** и здоровья еще осталось, и видела она больше. Помнит женщина обстоятельно и много. Ясные глаза, светлое, открытое лицо, рассказывает она громко, нараспев — и чем дальше, тем громче…

«…Ну, как началось… Мы легли спать. Утром моя мама вышла во двор и говорит:

— Знаешь что, дочка, разбуди хозяина.

А мой хозяин, когда едут немцы, — мы жили на том поселке, — удирает. Встал это мой хозяин, вышел во двор, заходит назад в квартиру и говорит:

— Уже нельзя в лес выйти. Уже оцепили кругом нас.

Ну, мы уже сидим. Только утро стало — сейчас мотоцикл идет по улице. Просто один, так себе. Обошел все поселки. У нас тут, може, семь было их, поселков. Он вокруг все и обошел. Я говорю:

— Что-то будет. Мой хозяин говорит:

— Готовьте вы завтрак.

Ну, мы печь затопили. У меня трое детей было, хозяин и мама. Ну, дак я пошла за водой, взяла ведро, а колодезь вот тут у нас. Таскаю воду — что-то около меня пули свистят: „и-и-и-и-и“, вот просто: „ти-и-в!“ Они, видать, на опушке леса были и меня уже брали в бинокль и по мне, видать, стреляли. Ну, я набрала воды и пришла.

— Знаете что, прямо на меня стреляют. Прямо пули возле меня тивкают! Ну, что ж, говорю, ведь у нас уже так было, что людей брали, — може, снова будут брать, може, куда сгонять будут?

Советуемся в квартире, не знаем что. И видим: по той дороге, с того Дзержинского поселка народ идет. Полицейские ведут свои семьи…

Вопрос: — У вас полицейские были в Борках?

— Гарнизона не было, а полицейские были. Тут они собирались, свои и отовсюду. Тут уже они прятались или, кто их знает, боялись партизан. Прятались по хатам.

Ну, так мой хозяин говорит:

— Повели дзержинские полицейские свои семьи. Потом мы слышим, что получился выстрел в школе.

Около школы такой выстрел, что прямо страшно! Мой хозяин вышел на улицу и другой сосед. Сидим. И сейчас идет машина. А у меня эта невестка, как вам сказать, гостит, дак невестка говорит:

— Знаете что, наверно, и нас поубивают.

И пришел ее мальчик. И обуты ноги его в лаптях, в этих, в резиновых. В войну обували в резину. Дак она говорит:

— Сынок мой, сынок, что ж ты в эту резину обулся? Твои ж очень будут ножки долго гореть. В резине.

А я говорю:

— Что ты говоришь, Вольга, что ты говоришь!

— Чувствуется, что будем гореть, что нас убьют. А я ей говорю:

— Не-а!

Вот, скажите: може, сердце… Я вот как чувствую, что жива буду. Я ей отвечаю:

— Мы, говорю, живы будем. А она говорит:

— Я чувствую, убьют.

Вопрос: — А сколько тому мальчику было?

— А лет так, може, восемь. Тогда видим, машина приходит. И сразу эта машина поворачивается орудием, или как его. И мы так это заплакали и говорим:

— Ой, будут бить, бить, наверно, по деревне. Испугались. А моя свекровка говорит:

— Пойду, може, они по яички пришли, дак пойду я, говорит, хоть яички соберу да отдам им.

Уже откупались. Душу… Она пошла, и эта с мальчиком — вслед. Как они пошли, и к ним пошли три немца. И у них, у свекра, получился выстрел. Мы вот так, как за частоколом, жили. Как получились выстрелы в их квартире, мы плакать все стали. А

мой хозяин говорит:

— Не плачьте. Это не за вами машина пришла, а за мной.

Он думал, как раньше забирали мужчин в лагерь, так и теперь. А я ему отвечаю:

— За кем она ни пришла, а нам все одно плакать. Тогда он говорит:

— Ну, давайте глядеть, може, это они курей бьют. Може, вышли, в хлеву кабана бьют.

Не-а, и кабан выскочил, и куры ходят. Не, свекра семью убили. И сейчас, как только убили, — идут втроем к нам. Вот же рядом так.

К нам пришли…

Это — как кому жить остаться. Идут, а мы так все руки стали ломать, что уже надо расстаться с этим светом, идут же… Подошли к калитке к нашей и так что-то цоп… Не, не так. Шли они и что-то вернулись на крыльцо.

Може, там еще не убили душу. Мы поняли уже сами после. Они это… Душа одна… Эта девочка, она, видать, как Ожила — приглушили, что ли, — она заплакала. Назад вернулись, и слышу — выстрел получился — они добили эту девочку. И пошли назад. А мы все равно стоим, дожидаемся. И сами растерялись, и не знаем, что делать. Потом идут они назад — прямо к нам в калитку. Идут и стали у калитки. А мы так на них в окно смотрим, а они на нас — и так плачем мы! Потом они что-то… А задний, один, залопотал, по-немецки говорить стал — и пошли назад через улицу. Потому что там крайний остается еще двор. Они пропускают тот двор. Дак они пошли в тот двор, а в том дворе, мы знаем, что никого нема, там уже вышли, утекли с того двора. Дак я говорю… Не-е, он говорит:

— Валечка, — это у нас дочка, — сходи погляди, что там у деда.

Она пошла — она не могла отцу отказать и пошла. Это — когда они уже ушли. Поглядела: а там все убитые, девочка та, видать, хотела в дверь, они ее тут и убили. Как бежит наша Валечка:

— Татка мой! (Лезет через забор и так во!) Папочка мой!..

Показывает нам: утекайте! Вскочила в хату.

— Убили уже всех, папочка, у дедушки. Утекаемте, татка!..

А дед, говорит, лежит около стола, и так через всю комнату кровь течет…

Я в эту руку взяла хлопца, а в эту — девку и пошла. И захожу в соседний двор…

А дети ж уже видели убитых, дак они:

— Мамка наша родная, спаси нашу жизнь, спрячь нас куда-

нибудь.

Говорю:

— Детки мои, жито маленькое, ни быльняка нигде нема еще, куда ж я вас, детки, спрячу.

Поздняя ж такая весна была. Оно не выросло еще Нигде ничего. И говорю:

— Я не могу вас, детки, схоронить… Как сумеете, так спрятайтесь.

А жена соседа просится у своего:

— Бежимте! Бежимте! Сенечка, бежимте!..

А он говорит:

— Не, никуда не пойдешь, — и заворачивает ребенка платок вязаный, большой, а нам говорит: — А вы выйдите.

Ну, раз „выйдите“ — може, и нас убили б там вместе с ними — ну, раз „выйдите“ — мы и ушли. За этих за двоих детей — и ушла. Разломала такой высокий частокол перелезла с детьми, через один двор вышла на улицу. Там стоит женщина.

— Теточка, говорю, наших родителей убили, а куда ж мы денемся?

А она говорит… Вообще, нарвалась на самостоятельную женщину. Она говорит:

— Знаете что, побежимте в лес, я забегу за своими сыновьями, и побежим в лес.

— Ну, говорю, побежим.

Я еще во двор зашла, еще зашла, захожу в этот двор — гонят меня из этого двора:

— Иди, иди от нас!

Вроде это их убьют за моих детей. Я говорю:

— Мне уже дальше некуда идти. Я уже никуда не пойду. Я уже остаюсь у вас.

Они выскочили, поглядели, а у ихнего дядьки — через улицу так жил — восемь душ семьи… И там эти деточки и мать вышли и сели на огороде своем и вот так ручечками просились, расставивши, а он их — вот так подряд стреляет, стреляет — всех пострелял… Дак хозяйка повидала это, вскочила во двор и говорит:

— Ну, утекаем теперь, тетка!

Она прогоняла меня, а это видит, что делается, дак и они: „Бежим!“ Собрались, вышли. Дак и та женщина, что за сыновьями забегала, идет. И дочка моя старшая бежит. А там вода была такая, яма большая, дак она, моя дочка, с ее сыном упали в эту яму да давай топиться, а она стоит да говорит:

— Не топитесь, детки мои, не топитесь!

А немец, как пострелял ту семью, давай по ним бить. Они

тогда из воды той да к нам, где я. И мы все — утекать.

Вопрос: — Они сами топились, хотели утопиться?

— Сами уже утопиться, со страху, дети эти наши, мать: „Не топитесь, деточки мои, — говорит, — вылезайте“. Дак немцы стали эти строчить оттуда… Ну, мы попрощались уже тут на дворе, они со своими и я со своими, мы прощались, ведь нас уже убьют. Уже с естой стороны машина, и впереди часовые стоят по опушке леса.

Вопрос: — А слышно, что всюду стреляют?

— Стреля-яют! По всем поселкам стрельба идет…»

Убивают. Семью за семьей. Хату за хатой. Машина работает, машина, каждый винтик которой — тоже вроде бы люди. Идут по улице двуногие, присматриваются, чтобы не пропустить хату, «душу» — старательно работают. О чем-то же между собой рассуждают на человеческом языке, и у каждого в черепной коробке 10 миллиардов клеток мозгового вещества. Все «законные» 10 миллиардов.

«…Приходят в хату, — свидетельствует, вспоминает **Ганна Микитовна Синица**, — а у нас так были две хаты и одни двери во так сюда выходят, а тут печка. Дак как мама у печки собиралась уже нам завтракать подавать, стояла, и они вошли только, — их трое шло к нам, — и так один из винтовки выстрелил. Выстрелил в нее. А я стояла вот так, за дверями в другую половину, и невозможно было им меня убить, дак они, как в нее выстрелили, а она перешла еще в ту хату и через порог упала. Только: „Детки!“ Как она уже упала, я тогда закричала и взлетела на печь. Уже ж деваться некуда. Я на печь, и эти за мной: братиха с девочкой, и соседняя девка, и сестра моя. И я повалилась вдоль стены, так вот, а потом рядом со мной сестра, а эти уже так — на нас полетели. Пули разрывные были — стали у печки вот так, стали и стреляли. Прямо на печь стреляли. Один — с кровати. Ну что, постреляли, постреляли, тогда буфет у нас этот был. Они все по столикам лазили. Что уже они искали, я не знаю.

Когда они вышли из хаты, так я тогда: что мне, думаю, сделать? А у нас вокруг печи был ход — отец у нас столяр был, дак он там доски клал и все окна делал. Я еще не думала, что они будут жечь, даже и не думала. А боялась, что с печи будут сбрасывать этих убитых. Так давай я залезу за печку. Легла в эту запечь. Потом Думаю: не, не буду я тут, а то меня тут убьют. Я думала, Что это наш один поселок жгут, а дед же тут жил, на Хватовке… Дак я думаю: дед придет, и он тогда меня, убитую, не найдет тут. Тех найдет, а меня — не. Вылезу я назад. Правда, я

снова вылезла, на свое место легла. Ну лежу.

Приходят снова эти немцы. Снова по хате этими своими подковами — ходят все, ходят. Что они искали? Прав, да, одеяло у нас было пуховое. Забрали его сразу. А так еще ничего тогда не брали. Патефон стоял. Поиграли нашу пластинку послушали: „Полюшко-поле“ была пластинка. Посвистели и ушли.

Полежала, полежала. Думаю: не, буду как-то выбираться. Они уже хату открыли, хлев открыли, корову вы, гнали. Поглядела я в одно окно, в другое…»

Яков Сергеевич Стринатка — помнит, свидетельствует:

«…А стрельба: та-та-та! Потом гляжу: идут двое в соседний двор. Не — три немца. Они Владимира этого, Добровольского, за воротник — и в хату. Я говорю:

— Что такое?

Ну, они там уже стреляют очередью.

Постреляли, потом — другая хата была, новая. Видим — пошли в ту хату. Там постреляли. Ну, и видим — сюда идут.

Вот они приходят сюда. А мы как сидели: хозяин за столом, я — р-раз отскочил от него, чтоб отстраниться. Сел на постель. Слышим, они все: га-га, га-га. А в хате филенчатые двери. Открываются. Он старуху — сюда, потом как пихнул — она бежала, бежала, чуть не повалилась. Только что-то стала говорить, а он из автомата: тр-р-тр-р! А я уже… А у меня темно, темно в глазах, я уже не знаю. Сижу на постели. А тот сын хозяина — раз, встал над столом, дак они: тр-р-тр-р! Тот туда съехал. А потом они — на меня, я валюсь… Когда я валился, дак пуля — вот сюда, в плечо, сюда и сюда — четыре пули во мне. Я так и мертвый был.

Сколько я там лежал — не знаю. Потом подхватился. А у меня голосовые связки повредило, дак я хочу: „Я живой!“ А оно не говорится, ничего не говорится. Думаю, надо прятаться. И не знаю, что у меня еще и рука перебита. Чтоб не увидели через окно, я — раз на колени, тогда слышу — у-ух, у меня рука! Я руку так сюда и пополз под печь. А подпечье это как раз напротив окна. Думаю, ноги видны. А там пол старый, хата старая была, я половицу подымаю…

А, правда, вот еще что: после меня убили старика, я видел еще, как его пихали, а он в двери упирался. Дак когда я уже очнулся, дак этот старик лежал как раз около меня, ноги поперек этой половицы. Когда я вылазил назад из подпечья, он уже задубел, ноги эти… Дак я его отодвинул и половицу поднял и, руку придерживая, — туда, головой прямо. Как боднул туда, в песок, вот до сих пор влезла в песок. Давай это левой рукой песок

из \-шей, из зубов… Потом знаю: надо мне закрыть половицу. Я давай левой рукой, давай — хлоп на место. Там какая-то была корзина плетеная, полная яиц, и накрыта сверху паклей такой. А меня — то в дрожь, то в холод, то в дрожь, то в холод! Потом слышу: обратно идут.

— Ох, как мне это, говорит, на ботинки аппетиты хорошие!

Это он о ботинках, что у молодого на ногах — он в Финляндии был, когда война была, и принес свои из армии. Так это поговорили и потом, слышу, угомонились, ушли отсюда.

Через некоторое время идут еще. И глядят: когда я под печь эту ползу, моя кровь стежку сделала, да они думали, что я там, и гранату — туда. Кинули гранату. Дак она как жахнула, дак аж куры закудахтали. А дым — ко мне из этой самой, из гранаты. Дак мне уже в яме аж некуда деваться…»

Это — в хатах. А те, что вырвались — бегут по полю, — тех догоняют пулеметные очереди.

«…Ну, дак мы ушли, — продолжает громко, все громче **Анастасья Касперова**, — а они как начали по нас стрелять вслед, дак вы поверите, под пар было вспахано, по этой пахоте бежали — так били, сколько нас уже там семей вышло, може, три или четыре — и так бьют, что даже бежала с нами собака одного хозяина, дак так, бедная: где пуля вроется, она — туда… Вот они били, били так со Всех сторон — и с той стороны бежать стали, и с этой, н спереди. А впереди бежал у нас сын той женщины, он службу уже отслужил, дак он махнул, что — „ложитесь!“ И слышу, как сзади у меня упали. Одна женщина говорит, прощается:

— Сынок мой, прощай!

Дак я вот так поднялась, глянула — правда, он лежит, она на коленях над ним. Потом вижу — впереди тот снова поднялся и скомандовал, махнул нам и сам поднялся, потому что он уже видит, что они нас живых возьмут. Ну, мы опять побежали. Так я бегу, так я и веду уже этих двоих детей — мальчика и девочку. Младших. А они так сыплют, так сыплют! Эта девочка вырвала ручку из моей руки и побежала вперед, в лес. Побежала. А мы уже с этим хлопцем моим. Как добежали — я уже ранена, но я не знаю, что я ранена — бежит девочка из лесу назад ко мне и говорит:

— Мамка моя! Я думала, тебя уже убили, дак я назад иду, чтоб и меня убили. — И говорит: — А что у тебя?

А-а-а, гляжу, что уже… И шагом пошла в лес. Уже не стала бежать, так уже сердце мое… Я и пошла. Вот и ушла, и семья эта

ушла, и девка моя старшая…

Вопрос: — А тот, что командовал вами?

— И тот вошел в лес. Жданович Миша. Потом он был в партизанах. Бежало нас двенадцать человек, а четверых на ходу убило. Как вскочили в лес, Миша стал нам перевязки делать. Мне сделал перевязку, потом сестре своей. Стоим. Такая стрельбища идет — невозможно терпеть. Откуда ни возьмись хозяин мой — скок ко мне.

— Ой! — говорит…

Это он кровь увидел, что это я ранена. До этого я ничего не помнила, а тут мне так ви-и-идно, что хозяина увидела! А то думала, что ж я буду делать с детьми без хозяина!

Мы так сидели, сидели, страшно так — бьют, стреляют, страшно, страшно! Ну, куда ж нам? Посидели, посидели, пошли мужчины наши: как же сашу[71] перейти? Пошли сашу глядеть. Перешли эту сашу, сидели, сидели в том лесу, комары, комары ~ невозможно, зарезают нас, ни огня нема, ничего в лесу, вскочили в чем стоим. Пошел хозяин, нашел пастухов там из другой деревни. Те уже нам дали огня — спичек. Спички уже те кресанули, огонь разложили, хоть куромель от комаров — некуда деваться. Голод же в лесу, дак хозяин пойдет куда, а их обстреляют…

Вопрос: — Сколько в Борках убили людей?

— Людей, може, тысяча восемьсот, говорят, там написано на памятнике: тысяча восемьсот сорок три.

Вопрос: — Ходили из хаты в хату и так убивали?

— Из хаты в хату. А в той деревне — Закриничье — собирали в одну хату, в другую и убивали. А нас так поубивали, по хатам. Поубивали, а потом запалили.

Вопрос: — А полицейских как?

— А полицейских — в школу, не в школу, а в сарай в школьный и спалили. Живьем, живьем и с семьями.

Вопрос: — А много тех полицейских было, что сожгли?

— А человек десять было их тут…»

Вот так убивали, убили самую большую из белорусских Хатыней — более 1800 женщин, детей, мужчин деревни Борки Кировские Могилевской области.

После нападения на Советский Союз главное управление имперской безопасности взялось за разработку Генерального плана «Ост», положив в основу «указания», «идеи» главарей фашистского рейха — Гитлера, Гиммлера, Розенберга и др.

Сам план «Ост» не найден: он, очевидно, уничтожен. Зато сохранились документы, комментирующие, дополняющие,

оценивающие этот план.

Вот выдержка из одного такого документа, исходящего из «Восточного министерства»:

«1/214, государственной важности

Совершенно секретно!
Государственной важности!
Берлин, 27.4.1942.

Замечания и предположения по „Генеральному плану „Ост““ рейхсфюрера войск СС.

Еще в ноябре мне стало известно, что главное управление имперской безопасности работает над Генеральным кланом „Ост“. Ответственный сотрудник главного управления имперской безопасности штандартенфюрер Эл назвал мне уже тогда предусмотренную в плане Цифруй 31 млн. человек ненемецкого происхождения, подлежащих переселению»…

«Восточное министерство» в лице начальника отдела колонизации доктора Ветцеля, подсчитав и пересчитав поляков, украинцев, население Прибалтийских советских республик и указав территории, подлежащие немедленной колонизации, дает «встречную цифру».

Аппетит каннибалов растет — 31 миллион уже мало.

«Таким образом, общая численность населения рассматриваемых областей (подлежащих немедленному заселению немецкими колонистами. — Авторы.) составляет 51 млн. Число людей, подлежащих, согласно плану, выселению, должно быть в действительности гораздо выше, чем предусмотрено. Только если учесть, что примерно 5–6 млн. евреев, проживающих на этой территории, будут ликвидированы еще до проведения выселения, можно согласиться с названной в плане цифрой в 45 млн. местных жителей ненемецкого происхождения. Однако из плана видно, что в упомянутые 45 млн. человек включены и евреи. Из этого, следовательно, вытекает, что план исходит из явно неверного подсчета численности населения.

…Если учитывать, что на рассматриваемых территориях остается 14 млн. местных жителей, как предусматривал план, то нужно выселить 46–51 млн. человек»[72].

В эту цифру не входят русские и белорусы, а с ними — можно

вообразить, какие Освенцимы и Хатыни имелись в виду!..

В приведенном документе есть ссылка на мнение одного из сотрудников ведомства Розенберга, профессора доктора Абеля.

«Абель видел только следующие возможности решения проблемы: или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы. Эти очень серьезные положиния Абеля заслуживают большого внимания. Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорее в том, чтобы разгромить русских как народ»[73].

Есть в этом же документе и раздел «К вопросу о белорусах»:

«Согласно плану предусматривается выселение 75 процентов белорусского населения с занимаемой территории. Значит, 25 процентов белорусов, по плану Главного управления имперской безопасности, подлежат онемечиванию»[74].

Что означает такое «выселение» — Белоруссия узнала на опыте сотен своих Хатыней. Это же уготовано было и тем 31 или 51 миллиону человек, а затем и новым сотням миллионов людей, которых подсчитывали и пересчитывали аккуратные чиновники кровожадного германского империализма.

По «Генеральному плану „Ост“», по гитлеровским планам «окончательного урегулирования в Европе», согласно фашистской доктрине борьбы за «жизненное пространство на Востоке» — да и мало ли вариантов было того стратегического, империалистического, людоедского «плана». Из него же исходили, к нему примыкали и разные конкретные, «тактические» планы борьбы с «активными элементами», с неизбежным сопротивлением советских людей оккупации, рабству, уничтожению. Эти конкретные планы должны были служить и служили все тому же главному плану: под видом борьбы с партизанами — уничтожать, уничтожать, уничтожать население. Чтобы на потом меньше работы осталось…

В деревне Баканиха на Витебщине, когда жителей согнали в помещение, к ним зашел офицер. Немного помародерствовал: забрал у кого что лучшее из одежды, выбросил за дверь. А после и еще о чем-то вспомнил. Старик Архип Жигачев так рассказывает:

«Тогда офицер этот взял и попрощался с нами. Говорит:

— До свидания. Давайте спасибо своим этим партизанам!»

Должно быть, с обидой сказал, с уверенностью, что это перед ним, эсэсовцем, виноват кто-то — те дети, женщины! У них, может, братья, отцы, мужья — партизан А как же: ехал через темный, густой лес, через болото пробивался, надрожался под

своим мундиром с грозными эмблемами смерти, все время оглядываясь, ожидая партизанской засады. И для него тот общий «план», что ще сверху: делать так, чтоб на восточных землях детей, женщин, мужчин стало меньше на столько или столько-то процентов, тот расистский план в мозгах и под мундиром такого вот карателя обретал окраску даже уже самозащиты. Он от партизан спасается!..

И командование, издавая свои чудовищные приказы и оно, видите, спасает своих солдат, свои коммуникации… В конце концов и высшие «фюреры», те так же начинали обижаться на население Белоруссии и других оккупированных территорий. Как же, сам бог, сам творец направляет волю, интуицию, руку фюрера, это он указывает ему, что и как делать:

«Само провидение как бы хотело указать нам туда дорогу… Огромная империя на востоке созрела уже для распада»[75].

«Творец возложил на нас обязанность исторической ревизии еще невиданных масштабов…»[76]

А тут какие-то партизаны, какие-то там «неарийцы» мешают, сопротивляются и на фронте и в тылу, не хотят, чтоб стерли с карты их Родину, чтоб «выселяли» на тот свет их семьи, их детей. Сколько не только гнева, жестокости, но уже и обиды на «этих» русских, «этих» белорусов, украинцев, поляков, на всех, кто не захотел послушно покориться судьбе, которую им определил «избранник провидения». Новые и новые приказы, направленные на уничтожение целых народов, теперь приобретают все больше характер антипартизанский. Фашисты все настойчивей, но напрасно, старались вину за свои планы и за свои дела переложить на тех, кто мешал им эти планы реализовать. На партизан.

И те, прежние их наглые, идиотские жалобы — жалобы палачей на свои жертвы, продолжаются, кстати, и сегодня. В мемуарах, исследованиях многих западных генералов (бывших и новых), историков, политиков, литераторов, что снова и снова пишут о «незаконности действий партизан», жалуются на детей, женщин и их мужей, братьев — на партизан, защищавших Родину, свой строй, жизнь и будущее своих детей. А западногерманский профессор К.-Г. Пфеффер, тот даже заявляет, что гитлеровцы оставили «неплохую память о себе у советского народа». Видите, даже так! Правда, жалуется Пфеффер, последние годы войны «были почти всюду омрачены беззаконными действиями партизан»[77].

Вон сколько обиды и сожаления! Не меньше, чем У Того бандита в офицерском мундире, что уничтожил жителей Баканихи. Не забыл, забрал, что лучшего было на людях (чтоб не

пропадало «имперское» добро), и прежде чем поджечь хату с людьми, совсем по-пфефферовски упрекнул: «Это вам за ваших партизан».

А уж как обижаются на свои жертвы беглые предатели, «бобики»-старосты, полицаи, власовцы, бандеровцы, руководители «белорусской рады»! У них (как обнаружилось теперь) были тоже «планы», тоже расчеты, когда они помогали гитлеровцам уничтожать своих земляков, советских людей. Они хотели с помощью немцев «только» выбить большевистский дух из народа. И не их, мол, вина, что слишком «тело» и «дух» держались одно другого. «Ну, и гибни, если ты такой!» — гневались они на народ.

Их руками немецкие фашисты тоже немало народной крови пролили. Где только было возможно, они прятались за этих предателей. По случаю создания так называемой «белорусской рады доверия» оккупантами высказывались, например, такие суждения, такие расчеты: «…русские будут смотреть на этот факт, как на фиктивный шаг, но зато это даст нам возможность все мероприятия… проводить их руками и возложить на них всю ответственность…»[78]

Но временами случалось, что та машина уничтожения, которую они обслуживали со всей старательностью предателей, садистов, отщепенцев, хватала, затягивала в свои зубья и их самих. Как в тех же Борках, где сожгли и полицаев.

Об этом рассказывала **Ганна Микитовна Синица** с презрением к подлой тупости фашистских подручных.

«…Вопрос: — А что там было, когда полицейских собирали?

— Ага. У нас ни одного полицейского не было в поселке. А из Дзержинского — один. Ну, и ходил он улице, а мой брат уже хотел спросить, что это будет, зачем окружили.

Говорит:

— Костик, Костик, что это такое?

Дак он и не стал разговаривать. Он же думал: „Нас повезут в Германию, а вас будут убивать, дак зачем я буду с вами разговаривать“. Ну, им сказали, что: „Заберите ваши семьи, и мы вас увезем в Германию“. И они свои семьи все пособирали и привезли к школе. И тут их тогда — что: взяли эти семьи все и их самих, заперли в сарай в школьный и подпалили. Вот они живые и погорели. Нас хоть жгли неживых, убивали, а их живых спалили. Вот так.

Вопрос: — Говорили нам, что раньше эти полицейские удрали, когда повели их на партизан?

— Из-под Кличева откуда-то утекли. Ходили уже на партизан,

а потом взяли да оттуда утекли. Немцы, може, подумали, что тут звязь имеется с партизанами, и они всех этих полицейских и побили.

Вопрос: — Они удрали со страху или, может, и вправду связь имели с партизанами?

— А, не имели никакой звязи! Потому что они всегда так угрожали, кидались на людей, что где уж тут им иметь звязь. Придет к нам, примерно, ночевать. У нас бабы одни. И только, говорит, заикнись кому, что я тут, дак я тебя убью. Прятались, чтоб партизаны их не взяли. По чужим хатам прятались…»

2

Борки Кировские убили 15 июня 1942 года. За несколько месяцев до этого, в марте 1942 года, уничтожили много деревень вместе с людьми в Октябрьском районе. Там, на Октябрьщине, целый район сжали петлей из нескольких дивизий и убивали всех людей — Деревню за деревней. До самого освобождения Белоруссии Советской Армией и партизанами продолжалось такое в масштабах, все более зловещих и угрожающих самому существованию нашего народа.

В областях и местностях, которые на немецких картах считались «армейским тылом» (Витебщина, Могилевщина, Гомелыцина, восточная часть Минской области), к этим «акциям», «экзекуциям», «массовым кампаниям», «очисткам», «особым мерам», «фильтрациям» — разные были у них названия — обычно привлекались крупные армейские части, целые дивизии.

А на западе республики, особенно в тех районах, которые были включены или должны были вскоре войти в будущий «германский рейх», делом «выселения» и «переселения» жителей постоянно занимались специальные группы, команды. Конечно, и их прикрывали армейские соединения, а во время блокад Беловежской пущи и иных мест — в этом прямо участвовали дивизии вермахта.

На Нюрнбергском процессе неопровержимо доказана непосредственная вина, ответственность за многочисленные акции геноцида не только специальных частей СС, СД и жандармерии, но и армейских подразделений, армейского командования. Они делали одно дело, только у вермахта были еще первоочередные заботы на фронте, а специальные команды действовали так, будто уже наступила пора «окончательного урегулирования», это значит, как бы после победы. И потому действия этих команд, групп, специальных частей можно рассматривать как репетицию того зловещего «окончательного урегулирования в Европе» (уничтожение славянских и других народов), на которые, если бы Гитлер победил, он бросил бы целые армии.

А пока, кроме того, что уничтожение тысяч и тысяч мирных жителей уже происходило, продолжалось силами армейских и специальных частей, в ходе этих акций что-то делалось и на будущее — планомерно и с маниакальной настойчивостью. Испытывались методы «массовых экзекуций». Отыскивались варианты, учитывались «ошибки» и неточности. (И все время писались, посылались в Берлин отчеты.) Изучалась психология

жертв. И исполнителей также.

Снова вернемся к живым свидетельствам, к непосредственным свидетелям.

Вот как убивали деревню Низ Слонимского района. И как на ходу меняли и искали удобный прием, чтоб люди «без лишних забот» (для палачей) стали под пули, под расстрел. В освенцимах это уже было налажено, отрегулировано, как машина (фиктивные «бани», «лазареты» для новых эшелонов жертв и т. д.). А здесь же ни колючей ограды, ни «бань» этих, и убийцы изобретают каждый раз новые способы обмана, чтоб убить по возможности всех, чтоб никто не спасся.

Рассказывает **Левон Сидорович Ализар**.

«…Это было 16 декабря 1942 года. Приехали так часов в… Еще не взошло солнце — часов в восемь или семь. Машина была. Поставили караул вокруг деревни. Зашли к старосте. Староста был местный, со старостой ходили по домам и говорили, что будут у всех проверять документы. Ну, конечно, документов не проверяли, а только собирали мужчин возраста выше шестнадцати и ниже сорока пяти. Если сорок шесть, то уже не брали. Говорили, что пойдем на работу, берите лопаты и хлеба. Берите в сумки хлеба. Вышли. Собрали весь молодежь, средний возраст, вышли за деревню. И тогда остановились по краям дорог, на средине, и разрисовали план такой вот буквой „Г“. Конечно, тогда каждый понял, что будет нехорошо. Начали кто закуривать, кто сюда-туда, и не копали ям. С хлебом были все, в сумках хлеб. Сказали, хлеба взять на два дня. И после шла машина легковая из лесу. Немецкая, приехал начальник-немец. И сказал этой всей молодежи:

— Запрягайте коней, поедем.

Ну, конечно, это все маскировка была. То плуг, то борону положили на воз, позапрягали коней, посажали людей. Я тоже запряг коня. Один хлопец сел, а у меня поглядели документы и сказали: „Домой“. Два немца были, один говорит — „езжай“, а другой — „домой“. Ну, конечно, сгоняли нас в хаты — в четырех местах. Деревня наша — хат пятьдесят, а может быть, и больше, и убили двести девяносто шесть человек.

Ну, меня как загнали в эту хату, там уже все собранные были. Мужчин собирали вроде на работу, а женщин — в хаты, на убой… Ну, меня пригнали самого последнего, стоял в дверях. Уже больше не было… Сто пятьдесят человек было в этом доме. Ну, може, минут двадцать, больше не прошло, как я стоял в этом доме, и тут вызывают троих. Пошли. Вышли, и они нас повели за

сарай. Вышли за сарай, я тут сразу у них был уговор: немцев трое и нас трое.

Сказали:

— На колени!

Как сказали „на колени“, тут в один звук — из пистолетов. В головы. Мне вот так, в затылок, а тут вот вышел, вылетел. И тогда уже начали подводить больше. А мы уже — там… эти двое — сразу им попали — даже не шевельнулись. Но у меня не отшибли память. Если б я был без памяти, то меня добили бы, именно, что я был в сознании. Зашумело в голове — все равно как мне дали по уху.

Я свалился, упал ничком, дыхание затаил и не шевелился.

Тут, може, через минут пару, начали валить уже. Как подойдут те люди за сарай, увидят, что мы уже лежим, только ойкнут: „Ой!“ И убивают их.

Я только думал о том, что как начнут добивать, кто сразу свалится, могут и меня добить. Как только придет за сарай, повернется, дак они убивают. По голосам я не узнавал, кого приводили, я был не на своем конце деревни, а там от Слонима, куда меня, было, загнали. Как только выйдет сюда — „таточка!“, „мамочка!“ — и тут убивают, стреляют.

Навалили, конечно, всех перебили.

Тогда успокоилось, тишина наступила. Ну, лежал я часов до двенадцати ночи. Тут начали лазить по трупам свиньи. На голове у меня лежали люди, а ноги были свободные… На голове у меня лежали, и я не узнавал, кого приводили, слышно только было, как ойкали дети, а так не узнавал. Начали лазить свиньи, кровь собирать, прошли по моим ногам, я уже почувствовал, что немцев нема, начал вылазить.

Вылез из этих трупов, поднял голову, и тут еще Бардун был также… Тоже встал. Он нашел еще девочку под матерью. Ее немного ранили, она живет, эта девочка. Так, годов, може, десять ей было. В трупах лежала. Еще один дядька был, в доме прятался, подошел, поглядел, что мы шевелимся. И повылезали, и пошли в лес. Ну, конечно, снежок пошел, я тогда встал, у убитой женщины взял платок теплый, голову замотал, раны свои, и пошли в лес.

Пошли в лес, снег целый день шел. Проходили до вечера, а вечером пришли сюда, поглядеть, что тут есть.

Ну, конечно, пришли в деревню… Я уже ничего… Все у меня распухло, ничего не слышал, так брел, кровь шла, ни кушать ничего, только попить.

Пришел домой, трупы разобрал, понаходил своих детей.

Четверо убитых, одна девочка и три мальчика.

И жена…»

В Гародках, что в Дятловском районе Гродненской области, — там уже иначе делали. Приехали, оцепили деревню, обставили пулеметами: никуда не удерешь. И тогда начали ходить по хатам и приказывать, чтобы люди шли па проверку паспортов. И надо только, вспоминает **Иван Викентьевич Гародка**, взять из дому семейный список В западно-белорусских деревнях, что ближе к «рейху», был введен такой контроль: на каждой хате — семейный список. Чтобы никого чужого! Всех по именам назвать. Вынесли стол, скамьи поставили: совсем «мирная» бюрократическая акция.

«…Сами стали с автоматами, — рассказывает Иван Гародка. — И немец спрашивает у солтыса[79] по-польски:

— Будут квартиры нам? Солтыс говорит:

— Будут.

И они тогда, в тот момент давай стрелять. Пока он не сказал про эти квартиры — они не стреляли. Это знак у них был такой, команда. А солтыс, он не знал. И его тоже убили. И братьев его убили, и женку, и детей, всех…

Как они давай стрелять, так я давай бежать.

Мы втроем тогда спаслись…

А потом деревню нашу сожгли. В Гародках убили тогда триста шестьдесят душ. А в нашей семье батьку убили (мать раньше померла), три сестры убили, и братишка был еще малый…»

А в Хотепове Смолевичского района Минской области еще по-другому: пришли, разбрелись по улице, но так, что у каждой хаты оказалось по три карателя. В деревню людей пускали, пока не набралось «достаточно», «сколько надо». Тогда — две ракеты, и каждая тройка вошла в «свою» хату и убила «свою» семью.

«…На каждом дворе поставили по три человека — чтобы в этот же момент перебить людей. У каждой хаты. Столько их тогда наехало! Скотину они уже забрали, погнали. Это уже другие, а они дали две ракеты, в том конце и в том. А потом в хату входят и убивают детей и всех, какие там старухи… У меня вот убили мать, убили жену, убили трое детей. Сын был с тридцать шестого, дочка с тридцать восьмого и с сорокового один, маленький был. В углу это… Патроны там, и все… Все там лежало. Я пришел потом и только трупы своих закопал. Пожгли. Только которые не сгоревши. Жена, мать еще… А детей — одни кости пособирали.

Сто восемьдесят человек убили…»

(**Иван Васильевич Лихтарович**, житель деревни Хотеново.)

В Засовье на Логойщине каратели переночевали, устроили даже вечеринку под губные гармоники, а раненько пошли по хатам: матери, женщины управлялись около печи — их первыми стреляли, а затем заходили туда, где спали дети…

Вот как рассказывает об этом **Сабина Петровна Шуплецова**.

«…Пришли немцы в нашу деревню, и тут они переночевали, а раненько — еще некоторые люди и спали — начали убивать. А вечером они никому ничего не говорили. Убивали в хатах, и тех людей, у кого ночевали, тоже поубивали — пошло заодно. Я была у соседей. И говорили, что в Германию будут брать, а если кто из молодежи убежит, то убьют стариков. Не хотелось, чтобы пострадали наши старики. Ну, вот я к одной девушке пошла: если уже в Германию придется ехать, дак чтоб Уже вдвоем. Только мы немного побыли у них, идут немцы уже убивать. Идут втроем к ним в хату, а один немец Стоял на улице. Я шла, а он спросил только у меня, где мой дом. А я говорю: „Вон“.

Вопрос: — А на каком языке он спрашивал?

— Ну, говорил-то он по-нашему, но видно было, немец, речь его не такая.

Я пошла домой… Глядим — горит село. Давай же будем уже утекать. И вот мы бежим улицей. А там немец увидел, что мы бежим — за хатой он прятался — пулемет вкопанный был. Мы этого немца увидели и другой дорогой побежали. Добежали до пуни. Там речечка.

Тогда два хлопца говорят моей уже матери:

— Теточка, давайте будем топиться.

Там речечка маленькая была. А моя мама говорит:

— Детки, будем проситься, а може, как отпросимся. Немец выстрелил по нам и вернулся. А потом уже из пулемета как стали стрелять по нам. Меня ранили, было. Ну, и мы полетели в болото…

Хлопцы еще были малые.

И речка небольшая была — теперь ее уже совсем нема…»

В Студёнке Быховского района — окружили раненько, проехали по деревне на машинах, даже с орудиями, до полудня пробыли около ветряка на отшибе, а потом уже строем пошли по улице. По два, по три отделялись от колонны, шли во дворы.

— Заходи в хату! Ложись!..

Убив полтысячи жителей Студенки, переехали в соседний поселочек Студенец. Пока мыли у колодца руки, садились пить-

есть, — работала авиация: Студенку жгли с самолетов, которым каратели перед тем дали сигнал из орудия. Каратели, конечно, могли и сами зажечь, как обычно и делалось. Однако захотелось вот так. Проверить, что более эффективно. Да и психологический момент — показать технику, мощь. Показали и вернулись в Студенку — дожигать то, что от авиатехники не сгорело.

(Из рассказа **Лидии Карповны Артемовой**.)

Как одинаково страшно, как бы механически и в то же время с садистской ухмылкой все это делалось — в разных деревнях и в разных местностях. Как смаковали они свои «находки», «варианты», как бы выхваляясь один перед другим. Где — в огонь, где — в яму или в колодец, где — «документы проверяем», где — «в Германию повезем!».

«…Это 28 мая, в два часа дня, убивали людей.

Позвали нас…

Ну, приказали на собрание. Я в хате была. „Паспорта менять“.

Ну, мы все и пошли. Ту сторону поубивали уже, тот конец, а этот, наш конец, еще не знал. Говорят, что на собрание, все и пошли.

Приходим на этот двор, а уже люди лежат убитые. Нас туда и привели. Так вот сарай стоял, баня тут. Там стояли эти трое, которые специально убивали людей. С автоматами. У них — кожаные рукавицы. Голые, в майках, и в рукавицах. А рукавицы вот такие — длинные (показывает)…

Ну, как они убивали? Били в головы… Я сама видела, как мать убили, невестку, дитя — всех…

Ну, меня немец отбросил в сторону, перебросил на другую сторону… Это нас, молодых, которых в Германию…»

(**Антонина Ивановна Икан**. Иканы Борисовского района Минской области.)

И «изобретательные» они были на «варианты», и одновременно, если видели, что жертвы уже в их руках, не очень и скрывали свои намерения: «На собрание!», «Паспорта менять». А люди уже знают, слышали про те жуткие «собрания», про «отправку на работы»…

В этих вариантах — что? И в этих издевательских «собраниях», «паспортах»? Утонченный садизм палачей, хитрость, надругательство.

Однако и что-то еще… Что записывалось, отмечалось в отчетах фюреров «айнзатцкоманд», «зондеркоманд» и что собиралось, изучалось в верхах — в Берлине.

3

На Могилевщине, в Быховском районе, есть большая Деревня с красивым названием Красница. Мы туда приехали в солнечный июльский день 1972 года — через тридцать лет после того, как деревню эту убили. Красница живет, как живет сегодня и Хиросима.

Но живет и память — о собственной смерти память И день тот для уцелевших жителей Красницы — вспышка ужаса, муки, перед которыми последующие месяцы и годы военного лихолетья пропадают. «До» и «после» а над всем — тот июльский день 1942 года.

«…Они шли через деревню, не трогали никого. С того вон, конца, через кладбище. Только один побежал утекать, дак его изловили:

— Ты партизан?

— Не.

Ну, его и отпустили. С такой политикой, чтоб это успокоить людей. Да. Ну, засели они. Съездили еще в Быхов узнать, какую Красницу — Первую или Вторую — убивать. В Быхове уточнили, приезжают, оцепили всю деревню. С винтовками, пулеметами поставили немцев. А с ними были п полицаи. Потому что, когда загоняли в хату, дак они по-русски:

— А ну, в хату заходите!

Ну что, недогадливый народ был. Идут, и все.

Вопрос: — А еще не было таких случаев поблизости, чтоб убивали?

— Раньше не было еще. До этого даже не слышно было.

Да. И стали в хаты загонять. Загоняют и дальше идут, а вслед уже поджигали. Хаты эти с народом. Горят хаты. И с луга люди идут, сено везут, а немцы смеются эти, которые там охраняют, часовые эти. Смеются только, что сами идут на гибель. А люди ж не знают. Друг с другом разговаривают, что „это с партизанами бьются, давай утекать, а то будет и тута…“. А когда немцы только приехали, комендант объяснил, что на поле ни скота, ни самих — никого чтоб не было. Ни в лесу, ни на поле. Потому что с партизанами будет бой, и будут всех убивать. А в деревне не будут трогать. Ну, все и кидались в деревню. Бегут, бегут и бегут. А того не знают, что они бегут, а их в хаты загоняют и убивают. Да. И жгут.

Вот и все.

Вопрос: — Ну, а вы? Вас тоже?..

— Нас шесть человек шло с косами. Ну, и их шло восемь.

— Бросайте через забор косы, — приказывают.

Ну, мы и бросили. Как бы на теперешний ум, дак развернулся бы с этой косой — не успел бы меня застрелить, как я ему голову срубил бы косой. Глупые, можно сказать, были. Вот и все. Неученые. Не догадывались, что это делается.

Вопрос: — А как они одеты были?

— В форме. Ага. Ну, дак мы идем с луга, а часовые смеются. А чего они смеются — мы ж не знаем. Встречаем на улицах этих, которые загоняют и убивают.

Говорят:

— Стоп! Назад заворачивайте! Бросайте косы через забор!

Ну, и бросили.

А тут горит.

Вопрос: — А крики людей слыхать?

— Не слыхать ничего. Ничего не слышно, а только стрельба, и в этом конце горит. Да. Ну, нас завернули и говорят:

— Заходите в эту хату.

Мы заходим в хату эту, а тут полно уже загнали. Людей. И сразу ж гранату нам сюда — шарах! Граната взорвалась. Крик! Закричат — вторая! Третья! Ну, когда третья, тогда уже все.

И замолкли.

Вопрос: — А вы как в этот момент?

— Я заметил, что он в дверях чеку из гранаты вынимает — я ж был на войне уже. Я ж в Финляндии был на войне, дак я знаю оружие.

— Ложитесь!.. Гранату бросает!

Я сам только успел упасть, кто лег, кто нет — он уже бросил гранату. И мальчик, которому живот вырвало, — граната перед ним взорвалась, — он бросился на меня, его голова на мою попала. И когда уже третью гранату они бросили, взорвалась — все, тишина наступила. Дым этот сошел немного — заходит один немец или полицай и проверяет каждого. И из винтовки добивает. Этого Мальчишку — он еще живой был — потянул, он приоткрыл глаза, дак он в него ударил, а его голова была выше Моей, и мне только фуражку пробило. А самого не потревожило. Из этой группы вышло нас двое не ранетых, я тоже не ранетый был, это не ранение, что шапку пробило, волосы выщипнуло. Да и двое ранетых вышло. А все погибшие в этой группе. Там народу, може сорок или пятьдесят человек было — я не могу точно сказать.

Вопрос: — Вы долго лежали?

— Не, как они только вышли… Я сознания не терял я слышу: выходит… вышел… Ушел… Разговор, ушли на улицу… Да, как на улицу ушли, я подымаюсь. Кругом поглядел — нема никого, все

лежат! Тихонько говорю:

— Есть ли кто живой? Да. Другой говорит:

— А я живой. И другой говорит:

— Я ранетый, но живой.

Что делать? Да. Давай на чердак. Мы на чердак вскочили. Там дыра была. Да. Я наблюдал. Они пошли в одну хату. После — дальше.

Я говорю:

— Будут жечь, мы сгорим тут.

— Да не будут!

— Да как не будут? Дым идет же, горит что-то.

Ну, соскочили и — в огород. Ячмень был. В ячмень в этот. Да. И там ползли по этому ячменю. А там через лужок — в жито. Пока часовой отвернувшись был. И — в лес.

Вопрос: — А у вас семья была?

— Всех убили. Одним словом, родни, братовых детей — сестры и братья у меня — погибло в то время у меня двадцать пять человек. И жену убили…»

Так это видел **Поликарп Миколаевич Шакунов**. Мы его встретили на красницкой улице, — вел коня с пастбища, может, как тогда, тридцать лет назад. Мы его остановили, спросили, кто мог бы рассказать, «как убивали…»

— Есть, остались люди. Я остался.

Отомкнули нам клуб и, пока Поликарп Миколаевич рассказывал, собирались еще жители прежней, убитой Красницы. Приходили по одному. Садились вдоль стены, у окон, и молча слушали то, что видели, пережили и сами.

857 человек тогда убили в Краспице…

Лизавета Ананьевна Шкапцова.

«…Ну что. Утром рано я выгнала корову. Прилетел самолет — и как раз там моя хата была — и по кургану, по земле бегает. Тогда я говорю:

— Что это такое, что это самолет по полю бегает? Бегал он, бегал, поднялся и полетел.

Вопрос: — Что он, садился там?

— Не, не садился. Так во низенько кружился, кружился, ага. Немного погодя я выгнала корову, — идут с той стороны, с востока, цепью идут.

— Ой, говорю, куда ж это деваться? Что тут будет? Ну, тогда подошли. Правда, шли — не затронули нас.

Как шли — только зверски так: видно, что это они идут…

Потом я стала печку топить. Стала печку топить. Ну, вытопила печку, ну, пошли мы на сенокос, на болото. Пошли на болото, видим: снова едут машины, восемь машин, оцепляют всю нашу деревню. А у меня мальчик небольшой остался дома. Я думаю: „Ребенок остался, будет бояться“. Тогда я говорю:

— Что, пойдем или нет? (Там и мужчины были.) Ну, что, мужчины, пойдем в деревню?

— А что ж будем делать — пойдем.

Ну, собрались мы и идем. Пошли вперед сначала три хлопца. Видим — пропустили их. Тогда нас четыре человека, идем мы, подходим. Правда, часовой сидит и кричит. Мы хотели бежать бегом, а он нам махает вот так! Мы бегом, он показывает: „Не бегите“. А, правда, куда нам надо итить, там сильно били. Дак он нас заворачивал. Направил нас к Перепечиновой хате. Мы подошли.

Вопрос: — А что он вас заворачивал, чтоб не шли?

— Туда чтоб мы не шли…

Вопрос: — А он — немец или полицейский?

— Не, русский. По-русски. Один сидит близко, говорит моему хозяину:

— Иди-ка сюда. Он подошел.

— Вас убивали когда?

— Не.

— Стреляли?

— Не стреляли.

— А приезжали когда?

— Не, не приезжали.

Ну, и ничего больше не сказал. Ну, мы и пошли. Тогда он говорит:

— Налево.

Мы налево повернули, подошли: стоят возы, и кони стоят. Я тогда пошла, думаю: „Пойду-ка я в хату“. Подошла — ой-ё-ё! Стонут люди! Я уже не могла в хату зайти: „Ой-ой-ой!“ Как только я из хаты — идут вшестером Идут вшестером и нас этих всех двенадцать человек:

— Зайдите в хату! Скорей, скорей, скорей! Ну, мы забежали в хату.

— Давайте документы! — мужчинам. Правда, мой хозяин отдал документ. Они его тут бросили. Тогда:

— Ложитесь ничком!

Ну, и мы все… Легли. Тогда… Стоит он так на пороге — мы вот тут лежим. Бил он, бил, бил, бил, бил… Разрывными, всякими. Слышу — меня по плечам. Ну… Оно не болит сразу. Как застрелят тебя — ничего не болит. Только чувствую: кровь пошла-

а-а, пошла-а-а!

Я лежу.

И многих так…

Никто ничего не говорит. И ранетые не говорят, и убитые…

Настрелялся он, наверно, охоту согнал. Потом говорит:

— Капут! Пойдем.

Ну, и собрались они, и ушли. Я подняла голову. Хозяина моего уже убили в голову, другой там хлопец лежал — того убили в голову. Мужчина с нами пожилой лежал — того не убили, а сына убили, такого ладного. Ну, и тот мужчина поднялся.

И другая женщина, Дуня Князева, говорит:

— Пойдем и мы.

— Не, — говорю я, — не пойду я. Не пойду, пока не будет хата гореть.

Потом она в окно поглядела:

— Нема, пойдем. Я говорю:

— Не, иди, я не пойду. Раз уже хозяина убили, буду и я лежать.

Тогда пошли все, и я думаю: „Пойду и я“. Только я шевельнулась, а за мной — два мальчика и три девки. Ну, они ранетые все. За мной ползут. Я вышла во двор, поглядела — нема никого. Я тогда — частокольчик такой стоял — я думаю: полезу в ячмень. Я вот так подняла частоколины да и хотела лезть. А уже бок мой болит. Вылезла в ту дырку таки. Полезла в ячмень. За мной — дети те все. Никуда не отходят. Я говорю.

— Деточки, расползайтесь!

А никто — никуда! И лежали мы до самого вечера. И сон, и холодно, кто живой, кто мертвый — не знаем уже. Потом подходит уже этот Перепечин Андрей и стал спрашивать. Я услышала его голос, поднялась. Вот спасибо: они меня перевязали. (Показывает на Перепечина.) Дали мне кухвайку, я оделась, а потом хата уже сгорела, во так, низко. Я хотела туда, где мой хозяин лежит, в огонь. Андрей меня откинул от огня, говорит:

— Иди отсюда, иди домой.

А мой чуть не за полкилометра, двор. У кого ни спрошу: „Кто видал моего сына?“ — дак кто видел, а кто не видел… Ну, тогда пошли мы в болото. В болоте сидели, сидели. Холодно? И ранетые, в крови. Тогда мы взяли, ета, и пошли в Лежанку. В Лежанку пошли мы, перевязали нас, раздели, ета, все мое, что в крови — я ж вся была, и голова, все в крови…»

Вольга Мефодьевна Надточеева.

«…Ну, уже некуда прятаться. Пока мы тут с мамой побегали, уже некуда прятаться. Детей же шестеро, все ж малые. Уже видим: машина едет легковая, и сидят там какие-то с кукардами. Они остановились около нас и спрашивают:

— В каком направлении стреляли партизаны?

— Мать моя говорит, что мы ничего не знаем, никаких партизан не видели.

— Ну, говорит, через два часа вы уже увидите!.. Мать моя пришла да и говорит:

— Что это он сказал?

Ну, и оцепили они деревню, и расставили этих своих Патрулей, и стали бить. Только мы стали в лес туда бежать, а тут из пулемета по нас. А у матери ж малые дети — ну, куда ж! Большие куда-то разбежались, спрятались, а мы тут, четверо нас осталось, малых, я — самая старшая. Ну, и мать моя в картошку села, а картошка такая низенькая была, и мы около нее сидим. Счас дошли до нашей хаты, заходит за сарай и стал стрелять А я так вот к стене прислонилась, стою, тогда говору:

— Мамочка, побегу! Дак она говорит:

— Деточка, не знаю, как хочешь, беги, не могу тебя и ни тут держать, и никак, как хочешь… Беги.

Только я ткнулась бежать, а меня как кто сзади держит, не могу оторваться от стены, так мне страшно. Ну, а они побежали, и всех их побили.

Вопрос: — Тех девочек?

— Двух этих девочек. Всех. Всем головы поразбивали. Тогда, как я выскочила, я их видела. Ну, тут уже мою маму… Стал стрелять по маме. На руках у нее была трехлетняя девочка — ее ранил на руках. Я так вот гляжу, дак она вытянулась, закричала. Мама подняла ее на руки, дак оно так синее, синее, а крови не видела, ничего. Потом идет уже сюда немец, к маме сюда идет.

Я говорю:

— Мамочка, побегу я в хату. Страшно мне. Она говорит:

— Деточка, беги.

Тут маму убили. И двух этих девочек. А мальчик маленький испугался и куда-то в хату заскочил, там и сгорел он живой. А я побежала в другую уже, в соседнюю. Не, еще я бегу, а он — на меня:

— Ишь, куда спряталась, щенок! А ну, говорит, в хату.

Я бегу, а мое все это тело прямо дубовое стало. Вбегаю в хату, там уже убитые лежат, десять человек убитых. Ой-ёй-ёй! Мне так страшно стало. А тут детей много, много прибежало сюда. Дак они тогда под кровать.

Вопрос: — Дети?

— Дети те. А мне уже некуда, я как-то запоздала, дак я с краю тут легла. Думаю: „Все они живы останутся, а меня убьют, раз я крайняя“. А он тогда подошел к кровати и р-раз отодвинул! Значит, я была крайняя, дак меня кровать загородила, а те, которые от стены, естые все погибли. А я лежу живая. И лежу, меня эта постилка загородила с кровати, не видна я. Кого из нагана добивают, тех, кто хрипел, шевелился. Я лежу.

Потом уже — тихо, тихо, нигде уже… Я голову подняла, а он на пороге стоит, автомат вот так и папироску курит. Сейчас подбегает, постилку эту заворачивает на кровать и стал в меня стрелять. Три раза выстрелил и два раза не попал, а третий попал. Целился мне, видать, в висок, да — пониже, у меня вот шрам чуть-чуть есть. И я лежала калачиком, скорчившись, и в колено пуля прошла. Ну, тогда я вижу: кровь эта течет — и думаю: „Живая ли это я, в сознании? Думаю: ну, уже все…“»

Петр Юрьевич Перепечин.

«…Я был пацан. Нас было у матери четверо малышей. Брат — двадцать шестого года, который остался жив, сестра — тридцать третьего и тридцать седьмого — брат. Отец умер в тридцать седьмом году. Брат старший пошел прятаться в ячмень, а в это время бежала Бобкова Мария. Она теперь в Могилеве живет. Девушка. Выскочила. Мы в одном классе учились с нею. Бежала и кричала:

— Утекайте, хоронитесь, убивают всех подряд!

Я маму стал просить, говорить, что, значит, пойдем хорониться.

Мама что-то или растерялась она, или еще что:

— Никуда, говорит, не пойдем.

Ну, тогда я стал просить, чтоб младшего брата или сестру отдала, чтоб мне уйти вдвоем. Она не пустила, говорит:

— Иди, если хочешь, один, раз тебе надо так.

Ну, а потом в ета время, когда мы… Увидели мы уже, что подвигаются сюды, мы в свой двор зашли, туда, к сараю, сели вдоль забора: я самый крайний сел. Заходят двое. Один говорил по-немецки, другой — по-русски, который говорил по-нашему — этот с винтовкой. А тот — с пистолетом. Стал на выходе.

Зашел тот, который говорил по-русски. Он, конечно, „Доброволец“.

— Идите в хату, ложитесь.

Ну, мать тут на колени, все мы рядом там, давай просить там: „Паночки, голубчики!“ — там все это… Ну, потом он, значит, хотел меня прикладом ударить. Я сразу Поднялся и пошел

впереди. Пошел впереди, за мной — сестра, тридцать третьего года. Я как шел — у нас две хаты было, — во вторую хату пошел, а мать с маленьким тридцать седьмого этот, — в той хате. Он сразу… Мать убили насмерть сразу. Брат долго мучился. Потом зашел — сестру сразу насмерть… А мне сюда вот в плечо ударил, сюда пуля вышла. Как лежал, закрылся и глаза закрыл. Кровь пошла, я лежал, ну, кто его знает, предположение — книги читал же — кровь есть, думаю: скоро я умру или нет? Ну, потом они… Там стоял отцовский еще, ну, по-нашему — как чемодан такой — сундук такой. Они там, что лучшее было, выкинули, посмотрели все перерыли, ко мне сюда, в кровь выкинули. Ну, и вышли из хаты они, ушли, значит.

Я встал, сестру эту перевернул — мертвая. Мать лежит — тоже мертвая. Я еще брата на руки взял, поносил. Он тоже кончился. Я его матери на руку положил, в окно поглядел — никого нет.

Только выхожу во двор — они выпускают наш скот. Ну, корова там была, овечки. Выгоняют их во двор. Только они, значит, заметили — я через забор перескочил. Они еще раз выстрелили. Ну, и бежал, как раз набежал на этого старшего брата в ячмене. Он меня положил, и я больше уже и не встал. Раны стали болеть, и больше не встал. Ну, в общем, скот они выгнали, просигналили, значит, когда жечь. Зажгли. Потом, значит, сгорел наш дом. Встали мы, этот брат меня поднял, соседи стали подходить. Ну, и пошли в лес…»

Вот так один за другим садятся к микрофону жители Краспицы — когда-то убитой деревни. Следом за Петром Перепечиным — снова женщины — **Ева Туманова**, **Нина Князева**. По какому-то особенному счастью эти люди и еще несколько десятков краснинцев спаслись в тот день. Палачи сделали свое дело: 857 человек застрелили, сожгли. И все же не так «чисто», как умели и учились делать. Тут еще только осваивали приемы, методы. Потому что были мы на месте и таких деревень, уничтоженных в 1943 и в 1944 годах, когда-то больших, многолюдных (Маковье Осиповнчского района, Ямище Шумилинского, Пузичи Солигорского и другие), где ни одна живая душа не спаслась. Ни одного, к го мог бы рассказать. Поле, рожь, памятник в березовой рощице — цементная пирамидка с трехзначным числом убитых, сожженных, и невидимые жаворонки, что пробуют своим щебетаньем заполнить эту, аж до неба, пустоту… Особенную пустоту, которой нет, может быть, и в самой пустынной пустыне.

Красницу убивали в числе первых (в этой местности). Правда,

доходили слухи про Студенку (также Быховского района), что будто бы перебили там всех людей. Однако, оказывается, тяжело человеку в такое поверить. Даже много чего повидав, пережив.

Каратели все это учитывали: когда люди уже сильно напуганы, точно знают — тут один «подход». Однако совсем иной, если убийцы могли рассчитывать на такое вот состояние: человек видит, что бьют, убивают всех подряд, а все не верит, что возможно это…

Андрей Пилипович Перепечин.

«… Это было 17 июля 1942 года. Раненько, еще спали все, появился самолет над Красницей. Вот он стал очень низко летать, все поднялись. И в это время со стороны Давыдович шло очень много немцев. Ну, они прошли через Красницу, ничего никому, так, спокойно прошли. Все не обратили внимания. Снова все разошлись по своим домам, по своим работам. Через некоторое время являются снова те немцы — уже со всех сторон. Оцепили эту деревню и ничего никому не говорят — тихо, и все. А где-то часа в три дня они начали убивать. Начали убивать с естой стороны. От школы. Сразу в школу загнали несколько человек, там — гранаты, слышны взрывы были. И выстрелы. Но ничего не слыхать: ни крику, ничего. А как это говорил Шакунов, это правда, что весь Народ был на сенокосе. Ну, они с сенокоса сгоняли в деревню, никто ж не знал зачем. И вдруг, понимаешь, выбежала одна девчонка, дак ее, Бобкова, — ага, Мария, — Дак выбежала она, выскочила в окно. Бежит по деревне и кричит:

— Спасайтесь, убивают людей!..»

В Могилеве мы отыскали **Марию Бобкову** — ту, когдатошнюю девочку, крик которой будто разбудил многих: «Убивают же людей!» Теперь у Марии Викторовны Другая фамилия — Павлова, по мужу. В старом деревянном доме, адрес которого нам дали в Краснице, ее мы не нашли: переехала в микрорайон Юбилейный. Обычно мы сначала человека видим, слышим, а уже потом узнаем, что с ним было — из его рассказа. Здесь же мы должны были встретиться с женщиной, заранее зная 0 ее судьбе, уже зная ее «историю». И мы невольно присматривались к ней, будто узнавали — присматривались к невысокой женщине, со смугловатым худым лицом, что сдержанно смотрела на нас, слушала, зачем это приехали к ней издалека люди. Красница?.. Да, она туда часто ездит, бывает там. Хоть сама давно уже в городе живет, работает на мелькомбинате. Муж — слесарь. Вон и дочь уже выросла, это она там, на кухне,

звучно, по-молодому смеется — с мужем своим, таким же молодым. У них там свой разговор, свои интересы, а мать — если это людям надо! — села перед нашим микрофоном.

«…Когда немцы оцепили деревню, мама была на сенокосе, а мы — брат мой и три сестры — дома. Недалеко от нас была школа. Когда приехали, они сначала стали убивать этих, беженцев. Они там жили, в школе, несколько семей, и их стали стрелять. А у нас там рядом жил сосед, он был дома. Дак стреляют этих в школе, а пули по деревне так — фи-у, слышно, как летают. Я тогда пошла к нему:

— Ой, говорю, дядя, что-то делается, убивают или что.

А он:

— А, паникерша! Кто тебя тут будет убивать!

Там они расстреляли, в школе, и начали ходить. Два немца той стороной улицы идут, а два — по этой. По хатам: два — туда, и два — сюда. Наша хата была третья или четвертая.

Вот они в один дом зашли, там было закрыто, в другой зашли.

Старуха бежала — у нее дочки на болоте были — о внучкой была. Приостановилась и говорит:

— Пойду дальше.

В третий зашли, поубивали всех, кто там был.

Вопрос: — Вы слышали, как стреляли?

— Не, мы не слышали. Они войдут — и там стреляют. А мы все мотаемся, то к дому своему, то к соседу:

— Мужчины, что ж нам делать?

Страшно, бьют!

У меня сестра и брат были старшие, а я средняя. Ну, тогда идут к нам! Ой, два немца!..

Там были и полицаи, а эти — с бляхами на груди. Страшные такие. Уже убили соседей и к нам идут. Я: „Ой, дядя, глядите: по хатам ходят, убивают, сюда идут!“

Ну, мы тут стали и стоим. Я в своем доме не была. Две сестры там были — убили. Идут сюда! А мы с братом тут. Брат после болезни, был совсем слабый. Если б он был здоровее, и он бы убежал. А он был совсем слабый.

Полицейский и говорит:

— Идите в хату!

— Ой! — все закричали. — Что делать?

Мы все тогда — этот мужчина, у него была семья пять душ, я шестая — сейчас мы все ничком, положились на пол и стали кричать. Ну, я уже не помню, кто там как кричал. Они сейчас — винтовки там или пулеметы, и давай в этих людей стрелять. Как

они первый раз выстрелили… Как раз около окна стоял сундук… Как они первый раз выстрелили, я тогда на сундук, в горячке, что ли, на сундук, а окно это открывалось — я в окно. Рукой толкнула и на улицу побежала. Когда я побежала, два немца с другой стороны шли. Поубивали в другой хате и шли. Они полопотали, а я — по деревне, на тот конец. Они еще там не проходили, они только тут начали. Я побежала, люди стоят, все спрашивают:

— Что там, Маня, что там? Я говорю:

— Ой, утекайте, убивают немцы!

Тогда — кто куда, табунами. Побежали прятаться, кто куда. А тех, кто на болоте были, маму нашу, тех загнали также в хату и гранаты кидали, а кого — спалили.

А дочка того хозяина тоже за мной кинулась в окно, а немец ей в плечо, и она назад, в грудь упала. Но осталась жива, в Брестской области живет.

Люди говорят, что, когда я бежала, меня узнать не могли: черная, черная, страшная! Я иногда езжу туда, Мне говорят:

— Ну, ты нам жизнь спасла. Стояли б и ждали, пока подойдут немцы.

А мы потом в рожь спрятались, во ржи сидели. Потом они затрубили, сигнал дали и уехали…»

4

Если долго, несколько лет подряд, ездишь, слушаешь все это, записываешь, из-под жуткой, невозможной правды людских рассказов и документов выступают какие-то общие черты всего этого явления — белорусских Хатыней.

Фашистская машина массовых убийств работала с учетом человеческой психологии. Психологии человеческой массы, которую убивают. Так было в гитлеровских концлагерях, и об этом немало говорилось на Нюрнбергском процессе, много написано книг. За колючей проволокой концлагерей механизм убийства был отрегулирован на миллионах жизней и смертей. Не случайно и называют их «фашистскими фабриками смерти». Условия там были стабильные, всегда почти одинаковые.

В деревнях каждый раз обстоятельства иные, они все время меняются. К этому и старалась приспособиться «машина уничтожения», когда она выползла из лагерей смерти, из гестаповских застенков и поползла по польским, белорусским, русским, украинским деревням.

А перед нею человек, вот вы, ваша семья, ваши односельчане. Вас вдруг останавливают среди привычных занятий и говорят:

— Заходите все в хату. Быстрей! Заходите и ложитесь. Лицом вниз!

Вас, ваших детей, вашу мать застрелят — вот сейчас, через минуту. Автоматы нацелены, только нажмет пальцем…

«…Когда пришли в нашу хату немцы, которые должны были нас расстреливать, дак мне помнится: один немец был высокий… А они были в серых, длинных, ну как эсэсовцы — с черепами. Один с автоматом, а двое были с пистолетами. Они как зашли — у нас стояла детская кроватка, сундук такой деревенский был, бабушки нашей, а так подушка лежала. Я на эту подушку… Как они пришли, так я на эту подушку лицом упал… Потому что мать сказала: „Когда они придут, то падайте, как кто может…“ Она уже знала, что будут делать… Я лег на подушку, а тут лежала сестренка моя. Она руками голову обхватила и лежала. И вот они начали стрелять. Я не запомнил… Только помню, что выстрелили, то так вот рука дернулась…

Поднял после голову — уже было полно дыму…»

(**Иван Александрович Сикирицкий** из деревни Левище, живет в городе Слуцке.)

Или: вы сбились всей семьей посреди хаты, а он уже пришел — в каске, чужой, нетерпеливо озабоченный своим делом…

«…Нас было в хате восемнадцать человек. Сестра двоюродная с детьми, из Литвич приехала, четверо детей. Бее до одного мы посадились на солому в хате и уже ждем. Один немец пришел, поставил… такой вот, на ножках… пулемет. Когда он в хату пришел и пулемет поставил, дак что-то сказал по-немецки. Тогда я помнила, а теперь уже забыла, что он говорил. И давай строчить! Я ничком как легла, так и осталась только одна… Убили.

Лежала я, долго лежала.

Забрали все, что гам было, — слышно было, как бубнили. Что-то они говорили, но по-немецки.

Я лежала и не двигалась.

Потом — запалили. Икон там было много, дак они сразу иконы запалили, на стол положили сена. Рушник висел на иконах, дак они положили сена на стол и сено и рушник подожгли. Как они пошли, я подняла голову, поглядела — горел угол. Лежу я и слыхать мне, как они только — пок, пок — стреляют людей…»

(Регина Степановна Гридюшка. Засовье Логойского района Минской области.)

Вы на все это смотрите и свою собственную смерть, что вот сейчас к вам повернется, — видите!

«…Они тогда — трах! — мать убили из нагана. А я из-за трубы вижу, на печи сидела. Мать убили. Двое было младших, брат и сестра, на кровати спали, — подошли, отвернули одеяло и в головы — тах, тах, тах. Обмерла я — все… Не кинулась туда, а сижу и думаю — будет… Нехай залазят на печь и убивают…»

(**Алена Ильинична Батура**. Засовье Логойского района.)

Вы должны что-то делать в считанные секунды, глядя вблизи в лицо смерти. Один закрывает собой, ложась или падая, дитя. Другой, услышав: «Ложитесь!» — бросается через всю хату в окно. Третий — на оружие бросается, безоружный. А кто-то вон, отец, мужчина, идет первым в хату и первым ложится на пол (рассказ Нины Князевой из деревни Красница)[80]. Человек же до последнего мгновения все еще рассчитывает на что-то: может на то, что вот так он оставляет какой-то шанс своим детям. Может, хоть их пожалеют! Или хочет спрятаться и детей спрятать как можно скорее от еще большей жестокости, лютости садистов —

пусть даже в небытие спрятать.

Нина Князева помнит, что отец крикнул, когда мать с детьми бросилась под печь:

— Сгоришь живая!

Что может быть страшней для человека, для отца, когда он только и смог — выбрать своим детям не самую лютую смерть?..

«…Загнали нас, — рассказывала Нина Князева. — Ну, а в хату мы зашли — что делать? Один за другого стали прятаться… Ну, и они стояли:

— Так, долго с вами чикаться? Ложитесь! Только ничком. Ложитесь!..»

Они ж работают — пришли исполнять «постановление» (как один из них сказал), «приказ», «план», а тут в прятки стали играть: один за другого, за мать дети прячутся. Ложитесь! Некогда тут!.. Вы не одни! Церемониться тут долго с вами!

Работают. И пишут отчеты — деловито-резвые, победные, подробные.

«Рота получила задание уничтожить расположенную к северо-востоку от Мокран дер. Заболотье и расстрелять население. Роте были прикомандированы: взвод Фрона из 9-й роты и 10 чел. бронеавтомобильного подразделения 10-го полка. 22 сентября 1942 г. около 18 час. 00 мин. 1, 2 и 3-й взводы достигли на своих машинах западного выезда из Мокран и соединились там с подразделениями, присланными для подкрепления. После краткого разъяснения обстановки и распределения сил в 23 час. 00 мин. рота выступила в направлении Заболотья…

23 сентября 1942 г. около 02 час. 00 мин. рота подошла к первым отдельно стоящим дворам Заболотья. В то время как главные силы двинулись дальше в глубь деревни, к территории оцепления, отдельные дворы были окружены выделенной для этого командой и жители выведены из домов. Таким образом еще до вступления в деревню было задержано около 25 мужчин и женщин. Живущему на хуторе старосте приказано было явиться в 05 час. 30 мин. к командиру роты, находившемуся у въезда в деревню. К этому времени все внешнее оцепление было расставлено без особых происшествий.

Все население во главе со старостой было согнано в школу, а одна команда тотчас же отправилась в выселки, расположенные в 7 км от деревни, с тем чтобы забрать жителей… Все остальные были разделены на 3 группы и расстреляны на месте казни…

Результаты операции следующие: расстреляно 289 чел., сожжен 151 двор, угнано 700 голов рогатого скота, 400 свиней,

400 овец и 70 лошадей…»[81]

Это пишет «наверх» командир 11-й роты 15-го полицейского охранного полка капитан Пельс. Совсем в стиле традиционного военного донесения — радостного, победного — с поля боя. Однако и с «психологией», как видите — этого от них, практиков, очевидно, ждут там, «наверху».

С «психологией» и с подчеркиванием, что целесообразно, а что нежелательно при таких операциях и какие неожиданности («особые случаи») встречаются, какие замечены слабые звенья в организации.

В отчете капитана Каспера — командира 9-й роты того же 15-го полицейского полка, которая уничтожит деревню Борисовка, та же радость и гордость исполни теля, который знает, чего от него ждут высшие инстанции:

«С рассветом староста в Борисовке собрал все население. После проверки населения, при содействии полиции безопасности из Дивина, 5 семей были переселены в Дивин. Остальные были расстреляны особо выделенной командой и похоронены в 500 м северо-восточнее Борисовки. Всего было расстреляно 169 чел., из них: 49 мужчин, 97 женщин и 23 ребенка… В общем было уничтожено: в самом населенном пункте — 12 деревенских дворов и 8 сараев, вне деревни — 67 хуторов… Приговоры о расстреле были приведены в исполнение только в полдень, к 1 часу дня вследствие приготовлений (рытье могил)»[82].

Капитан Каспер услужливо засвидетельствовал, что решение высшего начальства о расправе оказалось вполне предусмотрительным, потому что при сожжении деревни «было точно установлено, что в некоторых зданиях происходили взрывы боевых припасов»[83]. Постройки сожгла 9-я рота 26 сентября, после разграбления имущества расстрелянных. Пожар был финалом бандитской расправы, так что «виновность» казненных и ограбленных крестьян капитан «установил» на четвертый день после их смерти. Он отвечал только за нарушение графика и эти нарушения разъяснял и обусловливал. Вообще мысли капитана Каспера занимал больше всего хозяйственный результат карательной экспедиции. Он внес даже предложение, как усовершенствовать подобные мероприятия, и проявил хозяйскую заботу об имуществе, о «своих людях» — грабителях:

«Следует в будущем обязательно требовать, — советует капитан Каспер, — чтобы при подобных акциях присутствовал на месте районный уполномоченный по сельскому хозяйству, так как встречается много вопросов, которые могут быть выяснены только лично»[84].

Капитан Пельс более своих коллег уделил внимания вопросу о «вине» расстрелянных его 11-й ротой жителей деревни Заболотье. Искал же он доказательств виновности не перед расстрелом, а в ходе расстрела, и даже «нашел» их, о чем и уведомил начальство в отчете. Согласно его представлениям невинный человек, оказавшийся перед дулом автомата, должен утерять власть над собой, если ж он сохраняет человеческое достоинство, значит — виновен.

«Казнь, — докладывает Пельс, — была произведена планомерно и без особых происшествий, если не считать одной попытки к бегству. Большинство жителей деревни сохраняло самообладание и шло навстречу вполне заслуженной судьбе, которая вследствие их нечистой совести не явилась для них неожиданностью»[85].

Однако эти касперы и пельсы хорошо знали, что слова о виновности жертв — для формы, на всякий случай. Как говорил главный убийца Гитлер: не обязательно, чтобы мир знал об «окончательных целях» фашистской Германии, «важно, чтобы знали мы сами». А на случай, если бы кто-то из немцев принял всерьез рассуждения, что караются действительно виновные, были изданы и распространены в армии известные объяснения и приказы, в которых прямо и категорически запрещалось наказывать немецкого солдата за любую жестокость и беззаконие в отношении населения оккупированных территорий СССР.

«За действия военнослужащих вермахта и вольнонаемного персонала против местного населения не возбуждать никакого судебного дела даже в том случае, когда действия являются военным злодеянием или проступком»[86].

Командир батальона майор Толлинг в сводном отчете трактует операцию с деловитостью мясника; он обращает внимание начальства на жалобу карателя оберлейтенанта Мюллера (его отчет приведем ниже) о несовершенстве полевых карт, на которых не были обозначены хутора, и это обстоятельство усложнило задачу; майор поддерживает «рацпредложение» капитана Каспера об укреплении деловых связей карателей с окружными и районными уполномоченными по сельскому хозяйству, затем подводит итог убийствам и грабежу:

«…Было расстреляно: в Борисовке — 169 чел., в Борках — 705 чел., в Заболотье — 289 чел. Скот, инвентарь зерно, а также повозки и машины были конфискованы. В Дивин и Мокраны угнано 1470 голов рогатого скота, 1108 свиней, 148 лошадей, 1225 овец»[87].

Перед нами другой документ: отчетный дневник «боевых дел»

полицейского полка «Центр», который шел, а можно сказать, плыл по крови мирных жителей через всю Польшу, а затем Белоруссию. Как рефрен, звучит в нем после каждого сообщения о расстреле задержанных мужчин, женщин, захваченных пленных, еврейского населения, трафаретная фраза-заклинание: «по закону военного времени». Эта «реплика», адресованная тем, кто до поры «не должен знать окончательных целей» — обязательно и привычно присутствует даже там, где все и без того сказано на весь мир — самим Гитлером. В этом дневнике уничтожение еврейского населения тоже объясняется законом военного времени, их «виной», потому что они, видите ли, «занимаются коммунистической пропагандой» или «грабительством».

Это все идет наверх, а оттуда, после нужного обобщения опыта — спускаются такие «доверительные приказы»… Обратите внимание на специальную заботу о «духовном равновесии» убийц-исполнителей:

«Полицейский полк „Центр“
1а 15 34
11 июля 1941

СЕКРЕТНО!

1. Согласно приказу высшего начальника СС и полиции, напр., командующего тылового района группы армий „Центр“, все задержанные за грабительство мужчины-евреи в возрасте от 17 до 45 лет должны расстреливаться на месте по законам военного времени.

Расстрелы проводить в стороне от городов, деревень и путей сообщения.

Ямы выравнивать, чтобы не оставалось никаких холмов.

Я запрещаю фотографирование и допуск на экзекуции зрителей. Экзекуции не объявлять публично, могилы не обозначать и не указывать.

2. Командирам батальонов и рот особое внимание уделить поддержанию духовного равновесия занятых в этих акциях людей. **Впечатления дня стараться снимать налаживанием товарищеских вечеринок**. *(Подчеркнуто нами. — **Авторы**.)*

Позже людям надо объяснять необходимость обусловленных политическим положением мер.

3. Докладывать о проведенных экзекуциях только

днем до 20 часов в краткой форме.

Копии: Полиц. бат-ну 307, 316, 322.
Отд. 11 а/с
Монтуа
Полковник охранной полиции, командир
Майор охранной полиции»[88]

А с еще высшего этажа — от нацистского партийного аппарата и армейского командования идут рекомендации уже для общего пользования. Вот как звучат они, эти рекомендации, в приказе по 293-й дивизии (512-й полк):

«Подготовка разрушения населенных пунктов должна проводиться так, чтобы: а) до объявления об этом у гражданского населения не возникло никаких подозрений; б) разрушение должно начаться сразу, одним ударом, в назначенное время, в соответствующий день; в) в населенных пунктах строго следить за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого пункта, особенно с момента объявления о разрушении»[89].

5

В Хатыни — кладбище более 600 убитых белорусских деревень. И это далеко не все те деревни, куда фашисты приходили, приезжали, чтоб уничтожить, сжечь всех — от старика до ребенка, где выполнялся план «обезлюживания территории», «расширения жизненного пространства на восток».

Белорусских деревень, где каратели убивали людей, — 4885. **По далеко не полным подсчетам более трехсот тысяч мирных жителей было сожжено живьем, убито, замучено в тех деревнях.**

И почти столько же населенных пунктов — 4315 — «просто сгорели». Также от рук гитлеровцев, но жителей там не убили.

Когда побываешь, как мы, в большинстве районов, во многих деревнях, записывая их военную, огненную память, и после читаешь отчеты карателей, документы, вдруг возникает и такое отличие: «просто сгорели». Потому что в Хатынях фашисты еще и «работали», более того — «экспериментировали».

Белорусские Хатыни — это подготовка к реализации планов и целей, которые касались не только нас, не только советского народа. И даже не одних только славян.

Вырабатывались методы, готовились специалисты для «окончательного урегулирования» — уничтожения целых народов в Восточной и Западной Европе и на других континентах.

Конечно, после разгрома главных противников фашистской Германии.

«Когда война будет выиграна, тогда, я вам уже говорил об этом, начнется наша работа, — зловеще напоминал своим подручным Гиммлер в октябре 1943 года на совещании группенфюреров СС в Познани. — …Если СС совместно с крестьянами и мы совместно с нашим другом Бакке (возглавлял полицейские силы. — Авторы.) начнем заниматься заселением Востока, великодушно, без всяких ограничений, не спрашивая ни о чем, с размахом и революционным напором, то в течение 20 лет мы продвинем границу нации на пятьсот километров на Восток…

…Мы будем диктовать Востоку наши законы. Мы будем пробиваться вперед и постепенно подойдем к Уралу»[90].

Вот такие масштабы имелись в виду — «после победы». Однако и они — только первый шаг к всемирному господству «арийской расы».

Восточная политика геноцида была сформулирована Гитлером еще в 1932 году:

«Восточные территории станут большим экспериментальным

полем по установлению нового общественного строя в Европе, и в этом состоит большое значение нашей восточной политики»[91].

«Экспериментальным полем» избрана была прежде всего Белоруссия. Потому, в частности, что в хозяйственных отношениях этот край лесов и болот, с точки зрения нацистов, — не самый «ценный». Значит, как раз его превратить в огромный «загон», куда будут перегоняться целые народы на «карантин», «особую обработку»…

Вот выдержки из рапорта одной из команд, занятых делом приемки эшелонов и «размещения», «устройства» еврейского населения, присланного из Западной Европы. (Согласно плану Гитлера таким же путем затем должны были пойти, «переселиться в Белоруссию» и «за Урал» голландцы, бельгийцы, англичане и другие европейские народы, чьи земли собирались заселить немецкими колонистами.)

«Группа СС „Арльт“
Минск, 3 августа 1942 года

РАПОРТ

Работа части людей здесь в Минске по-прежнему та Же самая. Транспорты евреев через довольно равномерные промежутки времени прибывают в Минск и передаются нам. Так что уже 18 и 19.6.42 мы снова занимались рытьем ям…

26.6 — прибыл ожидаемый транспорт из рейха.

27.6 — мы снова вернулись в Минск. Следующие дни были заняты чисткой оружия, приведением в порядок амуниции.

10.7 — была брошена против партизан латышская команда в лес под Койданово. При этом был обнаружен склад боеприпасов. И вдруг нас с тыла обстреляли из автоматов. Один латышский сослуживец был при этом убит. Преследуя банду, расстреляли четырех человек.

17.7 — прибыл транспорт евреев, отправлен в имение.

21, 22 и 23.7 — рыли новые ямы.

24.7 — снова транспорт евреев (1000 человек) Из рейха.

С 25.7 по 27.7 — рыли новые ямы.

28.7 — большая акция в минском гетто. 6000 евреев доставлены к ямам.

29.7 — 3000 немецких евреев доставлены к ямам.

Следующие дни снова заняты чисткой оружия, подгонкой амуниции.

Позже моя группа несет дневную службу по охране здания тюрьмы…

Поведение людей здоровое, в неслужебное время хорошее и не дает повода к осуждению.

Унтершарфюрер СС»[92]

Эшелоны с Востока шли, оккупированную Белоруссию все более превращали в район «особой обработки» миллионов людей. Привезенных. А вместе с тем и местного населения. Планировалось «по-особому обработать» не менее трех четвертей самих белорусов. Заодно и поучиться, лучше овладеть «техникой обезлюживания», подготовить «кадры». Имело значение в этих расчетах и то, что в представлении Гиммлеров и розенбергов «белорусы являются наиболее безобидным и поэтому самым безопасным для нас народом из всех народов восточных областей»[93]. Расчет на это, на покорность, «кротость» белорусов очень скоро фашистам пришлось перечеркнуть — и с какой еще паникой в их штабах. Сотни тысяч белорусских партизан, целые районы, недоступные для оккупантов, армия «Центр» почти все время оставалась на голодном пайке, потому что железнодорожное движение без конца прерывается, а затем — в 1943 и 1944 годах — невиданные в истории войн одновременные партизанские удары по всем коммуникациям — «рельсовая война». Население фашисты продолжают уничтожать, теперь — под видом борьбы с партизанами и даже «самозащиты». Однако партизаны мешают еще шире развернуть «работу», партизан столько, что на задуманное выполнение «плана» уже не хватает сил: приходится защищать от партизанских атак все дороги, города, важные объекты. Специальные группы-команды (под прикрытием и с участием армейских частей) с маниакальной настойчивостью продолжают «работу», хоть война уже явно проиграна. Они все «обогащают» методы, готовят кадры, готовятся к чему-то еще более бесчеловечному и зловещему, экспериментируют.

Слово это — «эксперимент» в наш век все чаще вспыхивает зловещим смыслом. Хиросима, Нагасаки — это тоже «эксперимент».

Существуют документальные кинокадры о том, как избирались объекты первых атомных бомбежек.

Местность, топография, желательно, чтоб была такая и такая…

Строения — такие… Населения — столько…

«Этим требованиям соответствуют (рука с цветным карандашом ищет на карте) города…Хиросима (крест)… Нагасаки (крест)».

Нацисты не владели таким оружием. И в этом счастье человечества. Приходилось им рассчитывать на «обычное». Да на специальные команды: их требовалось Для «плана» все больше и больше, опытных, обученных на практике — потому что масштабы имелись в виду не Меньшие, чем у атомных маньяков — десятки, сотни миллионов запланированных убийств.

И на жутком пути к этой цели «окончательного урегулирования в Европе» (а затем — и во всем мире) — трагедия белорусских Борок, Красницы, Брицалович, Княжеводцев, Студенки, Парщахи, Хатыни…

Сотни и сотни Хатыней, отчетов, «экспериментов»:

«операция Борки (Малоритские)», «операция Борки (Кировские)», «операция Красница», «операция Збышин»…

Экспедиции в целом назывались у них иначе, обычно не по названию отдельной деревни или местности, а вот так издевательски «поэтично»: «Фрюлингсфест» — Весенний праздник; «Зумпффибер» — Болотная лихорадка; «Зумлфблюте» — Болотный цветок; «Нордполь» — Северный полюс; «Эрнтефест» — Праздник урожая; «Щтерненлауф» — Звездный путь, «Шнеехазе» — Заяц-беляк; «Фен» — Альпийский ветер; «Винтерцаубер» — Зимние чары; «Вальдвинтер» — Лесная зима, «Кугельблитц» _ Шаровая молния; «Цауберфлёте» — Волшебная флейта; «Майгевиттер» — Майская гроза; «Цыгойнербарон» — Цыганский барон; «Фрайшутц» — Вольный стрелок и т. д.

Однако убийство Краспицы, или Борок, или Брицаловичей, как и каждой из Хатыней, было обычно отдельной операцией — с особенной задачей и отчетом о поведении жертв и самих палачей, о просчетах или «тактических находках», «открытиях».

В одной и той же местности специальные команды редко убивали деревни одинаково: если одних собирают, сгоняют в гумно или в сарай под видом «собрания», «проверки документов», то в соседних деревнях уже ходят из хаты в хату и убивают на месте. С учетом опыта, для обогащения опыта…

В границах общей «задачи» был полный простор для садистских импровизаций. Прикажут людям помолиться (Доры Воложинского района) и сожгут их. И еще вот так наиздеваются…

Юлиан Рудович.

«…Сказали всем идти в церковь, помолиться богу, и нас

отпустят домой. В церкви немец подошел ко мне:

— Отдай киндер матке, а сам — вэк!

Взял за воротник и выбросил во двор. И всех, кто из с детьми, — выходи! И кто оставит ребенка, в церкве оставит — может выходить. Пущали, пущали, кто оставит… Но не каждая ж мать может так сделать. Ну, мы не оставила, не оставила… Не знаю… Но кто-то должен в живых остаться, если так, правда или нет? Если так, кто-то должен остаться! А моя не захотела, осталась с маленьким. Немцы церковь подожгли, мы все, которые во дворе, слышим, как люди там летают. Из пулеметов всех перерезали — огонь только…»

Или бросят старую, немощную женщину в колодец (Погуляпка Речицкого района), а на нее — имущество домашнее, колеса, бревна…

И снова пишут «отчет» — победный, торжественный, с сознанием, что выполняют «миссию». А как же, они не просто убийцы, они служат идее, «великой Германии», «фюреру», рискуют получить пулю от партизан, сражаясь за «новый порядок».

А сверху идут поощрения, награды, одни палачи ставятся в пример другим.

Особенно прилежным, способным к такому занятию, оказался Оскар Дирлевангер — его Гитлер отметил чипами и всякими «крестами», какие только были: от «золотого» до «рыцарского».

Вот «вехи» его биографии, очень типичные: 1932 г. — вступает в нацистскую партию; 1934 г. — за преступления: «разврат с лицами моложе четырнадцати лет» — два года тюрьмы. После приобретения соответствующего карательского опыта в Испании и в Польше он появляется в Белоруссии с такой аттестацией: прошел подготовку, которая перекрывает судимость за «браконьерство». Так именовали высшие чины, до самого Гиммлера включительно, с усмешкой взаимопонимания, эсэсовские забавы «с лицами моложе четырнадцати лет»… В приказе, с которым Дирлевангер приехал из Люблина в Белоруссию, сказано было, что он «равный среди нас». «Равный» сразу начинает расти, делать карьеру — уже на крови детей и женщин белорусских. Склонность к «браконьерству» остается. Кавалер золотого, рыцарского и пр. крестов любил поучать своих молодчиков: я, мол, не против того, чтобы вы спали с русскими девками, однако после этого ты должен застрелить ее…

Более ста двадцати тысяч — столько людей убили, сожгли заживо «рыцари» дирлевангеровской банды в Белоруссии. Борки Кировские, Збышин, Красница, Студенка, Копацевичи, Пузичи,

Маковье, Брицаловичи, Великая Гарожа, Городец, Доры, Иканы, Заглинное, Великие Прусы, Переходы… Сто пятьдесят населенных пунктов сожгла вместе с людьми команда Дирлевангера только в Могилевской и Минской областях. Немало и в других, особенно в Витебской и Гомельской.

Этот убийца не только писал отчеты, но и лично ездил в столицу «третьего рейха» и привозил оттуда награды, приказы об укрупнении его бригады, радостную уверенность садиста-палача, что главные убийцы знают о нем, надеются на его старательность.

Расхваливая в своих приказах Дирлевангера, начальство писало о том, что он «подает пример радости участия…» в массовых убийствах людей. «Радости» — и не менее! Вот чего хотели, чего требовали от убийц-исполнителей те, кто планировали уничтожить тридцать миллионов славян. Для начала — тридцать…

В Нюрнберге, на процессе военных преступников, произошел такой диалог между судом и одним из соучастников тех дел, хорошо знающим тайные планы и цели фашистской верхушки, — с Бах-Зелевским, начальником штаба боевых частей по борьбе с партизанами при рейхсфюрере СС.

«**И. В. Покровский, советский обвинитель**: Знаете ли вы что-нибудь о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, закоренелых воров и выпущенных на волю арестантов?

Бах-Зелевский: В конце 1941 г., начале 1942 г. для борьбы с партизанами в тыловой группе „Центр“ был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимость, официально из так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийства и т. д.

И. В. Покровский: Чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников?

Бах-Зелевский: На мой взгляд, здесь есть открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вевельсбурге в начале 1941 г., перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является: расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы уменьшить их численность на тридцать миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для

выполнения этого замысла. (Подчеркнуто нами. — Авторы.)

И. В. Покровский: Можете ли вы откровенно и правдиво утверждать, что целью мероприятий, которые проводились вооруженными силами в установленных немцами округах, было уменьшение славянского и еврейского населения на 30 миллионов человек?

Бах-Зелевский: Я придерживаюсь того мнения, что эти методы действительно привели бы к уничтожению 30 миллионов человек, если бы это продолжалось»[94].

6

В деревне Борки, что в Малоритском районе на Брестчине, мы записали рассказы уцелевших жителей об очередном злодеянии таких «рыцарей нового порядка». Существует, уцелел также отчет, взгляд на то же событие и самого убийцы — обер-лейтенанта 15-го охранного полицейского полка Мюллера. И жертвы и палач рассказывают об одном и том же: обычные люди и рядом — один из своры тех, что возомнили себя хозяевами судьбы, жизней миллионов людей. Которые, видите ли, живут «не так», «не там», от которых надо очистить планету, чтоб воцарились «фюреры»: «великие», поменьше и самые маленькие — каждый над кем-то «фюрер».

Жила себе эта трудолюбивая деревенька среди болот, пахала и засевала песчаную почву, копала картошку, выкашивала осоку на болотах, ставила под дикими грушами колоды для пчелиных роев. И не думали в хате **Марии Михайловны Лихван** (теперь — Хабовец), что существует какой-то «план», согласно которому все эти деревни надо убить.

«…Видите, — вспоминает Мария Михайловна, — за три дня перед тем ходили, писали, сколько кто имеет душ, сколько семьи, староста ходил, и десятник ходил, Ну, писали, а потом через три дня это сделали…»

Женщина и сегодня, через тридцать лет, боится, не хочет сказать: «убили» или «расстреляли». Человеческая природа ее протестует против самих этих слов, и женщина употребляет слово «это». И оно — неопределенное условное «это» — психологически даже более точное: «это» — чему на человеческом языке и названия не должно быть!

Мария Лихван, которую для беседы позвала в библиотеку борковская учительница, как-то долго задерживалась. И мы начали уже волноваться, послушается ли нашей просьбы женщина, захочет ли ворошить в памяти страшное. Мы увидели празднично одетую, аккуратную женщину. Аккуратность — видать, ее вторая натура. И говорит она, очень аккуратно выговаривая слова, очень точно и как-то по-детски искренне интонируя каждую фразу. Окрашенный украинизмами белорусский язык звучит у нее как-то очень складно и по-своему — хоть не к месту это заметить — красиво, благозвучно.

«…Мы вечером тое все чулы со своим чоловиком. Вышли на двор Мы были так с километр от села. И говорит мой:

— То нимцы. Я говорю:

— Кто его знае.

— Что будем робыты? Куда утекать: дети малые… Пойдем в хату уже.

Пошли мы в хату. Пошли в хату, стояли, стояли, слухали той гомон, как людей еще с ночи сгоняли и людям в окна били, чуты було.

Так я встала уже до рассвета. Встала до рассвета и давай топить. Картоплю мы тогда убирали. Давай топить. У меня был хлопчик маленький, шесть педель всего, а те — большенькие.

Слышим уже — стучать, из села бегуть, все утекають, видно.

— То нимцы!

И уже видим: наступает скризь, скризь[95] иде. А туды, тою трактовою дорогою до Борисовки идуть, и легковые идуть. Идуть все, и назад так скоро ворочаются.

— Ну, каже, куды ж, куды ж, каже?!

А я кажу:

— Во, это уже нимцы.

Около нас такие заросли были. Он говорит:

— Я выйду, схоронюся. До бабы так не пристануть.

Так посидел трошки[96] и пришел до хаты. Спрашиваю:

— А чего ж ты так пришел? Он отвечает:

— Не можно так… Что уже одному — нехай буде всим. Не могу сидеть.

Ну, пришли два до хаты… Не-е. Один пришел до хаты, а те два стали, оцепили и заглядають, один в кладовку пошел, наверх, глядит и что-то бормочет, може, спрашивает, чи там нема никого. Кто его знае. И каже: „Люс, люс! На сходку! На сходку!“

А мой чоловик каже:

— Ну, собирай детей и сама собирайся.

Я как села — уже и не шевелюсь… Он говорит:

— Бери хлиб, ты не знаешь, когда тебя выпустят; детям есть, може, захочуть.

— Я ничего не возьму, я ничего не возьму…

Он взял сам. Он взял, одел на себя костюма, а я тоже собралась, и диты собрал, и хлиб взял. И как вышли мы — как раз солнце всходило, как нас выгоняли. Вышли мы, и тот, что нас выгонял из хаты, вышел, а там двое стоят. И показують, что „станьте“. Мы постали. — Ох, бить нас будут, бить. Уже не буде нас.

А мой говорит:

— Что уже буде… Но уже всим разом…

Так постояли. Опять один пошел до суседа, поглядел от суседа, что оттуда блестит от села, и махает нам, чтоб подходили.

Мы подходим, подходим.

У меня была старша девочка — с 1930-го, Ганна. А Упраска — с 1933-го, а та Гарпыиа — с 1940-го, а хлопчику шесть недель було. Он взял ту девочку, что с 40-го, ей уже два года було, а я — хлопчика, и так иду, и ноги не идуть. Я отстала, а нимец так глядит то на него (тот, что нас гонит), то на меня, то на него, то на меня. А кругом стоят. И спрашивает:

— Пан, цурка?[97]

— Цурка.

— Капут, пан, капут! Ладна[98] цурка, капут…

— Ох, идем, говорю, долейка несчастна. Уже нас, говорю, поубивають.

И уже подводы идуть, на подводы понасели.

— Не тебя одну, каже, всех повыгоняли.

Зашли сюды, на огород, а людей, ой! Уже сколько много людей! Зашли, посадили. Так он держит ту дивчинку, что с 40-го, а я — хлопчика. Нимец и каже:

— От восемнадцати до сорока всем мужчинам выйти. От восемнадцати до сорока…

Как держал мой чоловик дивчинку, так опустил, поцилувал и вышел. И нимец взял жердь, так много наставил, во, в три ряда мужчин наставил, и старших, и молодых, а тогда взял жердь и во так жердью, такою жердью, что копны носять, поровнял их, а мы уже там плачемо, плачемо. И дети плачуть. Нигде ниточки в платках не було сухонькое…

И гонить, гонить их на дорогу ту трактовую. Тех мужчин. А те нимцы, что гонять, то уже чекушку из кармана: глотнуть, глотнуть, и так в плащи кутаются.

И погнали их…

А наш староста в ту, легковую, сел, и кудысь в тот угол отъехал, и слез, и так по хатам все бегает, по хатам бегает, и тех лопат насобирал. Еще люди не знали, думали, что, може, буде облаву делать на партизан или на что. Ничего не знали… А как лопаты насобирал, ну, то говорять люди: „Уже на нашу голову насобирал“. И поехал в тот угол, повернул, и поехал на кладбище, староста.

И загнали ту пачку одну, пришли опять брать, опять наставили тех мужчин… Забыла, чи три, чи четыре разы гоняли туда тех мужчин, от восемнадцати до сорока лет. Загнали и заставили там яму копать. Давай ямы копать. Ямы копают, и уже слышно, что стреляют: пуль-пуль-пуль!.. Вот здесь же не очень далеко…»

Оказывается, эту ужасную человеческую трагедию можно видеть и описывать даже с подъемом, с радостью. Выполняя

обязанности командира десятой роты, обер-лейтенант Мюллер пишет в отчете:

«…Операция проходила планомерно, исключая сдвиги некоторых ее этапов во времени. Основная причина их была следующая. На карте населенный пункт Борки показан как компактно расположенное село. В действительности оказалось, что этот поселок простирается на 6–7 км в длину и ширину.

Когда с рассветом это было мною установлено, я расширил оцепление с восточной стороны и организовал охват села в форме клещей при одновременном увеличении дистанции между постами. В результате мне удалось захватить и доставить к месту сбора всех жителей села без исключения. Благоприятным оказалось, что цель, для которой сгонялось население, до последнего момента была ему неизвестна. На месте сбора царило спокойствие, количество постов было сведено к минимуму, и высвободившиеся силы могли быть использованы в дальнейшем ходе операции. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела, благодаря чему население оставалось в неведении о предстоящем. Незаметно установленные легкие пулеметы подавили с самого начала начавшуюся было панику, когда прозвучали первые выстрелы с места расстрела, расположенного в 700 м от села. Двое мужчин пытались бежать, но через несколько шагов упали, пораженные пулеметным огнем. Расстрел начался в 9 час. 00 мин. и закончился в 18 час. 00. Он проходил без всяких осложнений, подготовленные мероприятия оказались весьма целесообразными»[99].

В Борках Малоритских, кроме Марии Лихван, уцелело еще три женщины, которых каратели перед тем гнали от села до самого кладбища, где убивали людей. От общих рвов-могил их отделяло полсотни метров. Эти женщины припоминают события и дополняют их новыми подробностями.

Мария Кондратовна Хамук, в то время — бездетная женщина, солдатка. Муж ее попал в немецкий плен из польского войска в сентябре 1939 года и находился в ту пору, когда оккупанты уничтожали Борки, в Германии.

«…Нас було тринадцать душ семьи. Мы все легли спать. А кто-то стучится в хату. Моя свекруха встала да говорит:

— Вставайте, детки, это смерть наша… А как могла она знать, никто не знает.

Нас захватили десятеро. Мой свекор взял хлеба, а немец взял тот хлеб вырвал и на полатки, и мы уже видим: что-то будет…

Гнали нас в село на собрание, посадили в огороде сидимо мы, сидимо, потом приходят немцы, вызывают от восемнадцати лет до сорока пяти. И вызвали, поставили по четыре человека и говорят: „Уже будут в Германию брать…“ Потом мы глядим: идет машина, берет, собирает заступы, выносят из хат. Говорят, что уже будут убивать, расстреливать — вот так там всякого, кто депутатом, кто такой, а кто такой… А кто ж надеялся, что всех людей будут расстреливать? Никто не думал…

Мы ждем, ждем. Говорим: „Вот придут“.

А мы все в огороде сидим, нас много, людей. Уже ждем — и дождались.

И давай. Уже немцы тут, идут, и кто не мог — возили, а кто мог идти, по тридцать человек гоняли туды на кладбище.

А то уже дошла очередь, а я все оставалась сзади, оставалась-таки сзади. Уже осталось совсем мало людей. Уже думаем: „Что будет, то будет, идем уже вперед“. Не можем терпеть, уже нервы не выдерживают. Мы пошли. Нас человек тридцать гнал до кладбища. Пригнал — лежала одежа вся скинутая. Так мы думали, — дождь такой сильный, сильный шел, так мы думали, что люди убитые лежат такой кучей. Мы доходим туды, а то — одежа, народ весь раздетый был, в ямку голых гнали убивать.

Тогда нас положили ничком, около той одежи. И опять говорит по-польски:

— Вставайте, кто имеет паспорт — отдайте!

А тогда у нас, при немцах, прикладывали пальцы к паспорту.

Мы, кто подал тот паспорт, кто не подал, кто дома забыл взять того паспорта. Кто ж там тогда помнил…

И потом говорят по-польски:

— Скидайте одежу с себя.

Я просилася, чтоб мне хоть погибнуть в одеже.

И потом я стала снова проситься. Думаю, у меня родни нема тут, в Борках, — одна родня тут, что я вышла замуж, а другая родня, отец и мать, в другой деревне были, в Борисовке. Ту тоже всю выстреляли деревню… Как стала я проситься! Говорю, что у меня чоловик в Германии.

А он говорит:

— А письма е?

Говорю:

— Дома е.

Думаю, как уже додому заведет, да не найду тех писем… А их и не было, тех писем, я ему так мутила, чтоб мне остаться.

А потом говорит по-польски:

— Вэзь свое убране![100]

Стала я отходить, голая, в одной рубашке, верхнего на мне не

было. А он потом по-польски говорит:

— Вэзь свое убране. Только, говорит, чужого не тронь.

И посадили меня уже под таким бурьяком, под сосною. И такой сильный дождь пошел…

А тех людей, что со мною гнали, и таких маленьких детей, то поубивали на моих глазах… Детей матери распеленывали, и он — таких голых носил в ямку…»

Евхима Парфеновна Баланцевич была в ту пору тоже солдаткой, как и Мария Хамук, и ее муж находился в плену с польско-немецкой войны. На руках у молодицы оставался шестилетний сын, а рядом с нею была старенькая мать, из тех матерей, которых народная песня называет советчицей в хате. Евхима Парфеновна говорит:

«…Как еще гнали до школы, то все люди так говорили, може, еще в Германию повезет, а уже как минули ту школу, то люди говорят: „Нема нас. Поубивают нас…“

Один, — его звали Кальчук, — как поехала машина краем, он увидал немцев, выскочил через окно и начал утекать в кусты. Добежал до кустов, и там его убили.

Немцы стали с машины по ему стрелять. И приехали назад, та машина, в огород, и говорят:

— Нашу машину обстреляли, а вы еще говорите, партизан нет. А нашу машину обстреляли.

А кто ж стрелял?

Мы ж все в огороде…

Пришла его мати ридна и говорит дочке:

— Нема, дитынонько, нашего Ивана.

И вот тоди мы вси сталы плакаты. Коли нема Ивана, говорим, нема и всех нас. Его убил над канавой.

Вопрос: — А он на самом деле стрелял по машине?

— Никто не стрелял по ним, только так они говорили, чтоб мы не разбежались в огороде, что вот „в нашу машину стреляли“.

Вопрос: — А партизаны у вас тут были?

— Не. Мы не бачилы тут. Партизанив мы тут николи, николи не бачилы. Только один человек, когда убивали, был из нашей деревни в партизанах. Радиюк Владимир.

…Ой, загнал ту молодежь… Потом уже машины стали ходить, лопаты собирать в деревне. Насобирали тех лопат и дали той молодежи, чтоб ямки копали. Накопали тех рвов, я не видела как. Слышали, из пулемета сек, слышали тот звук, как стреляли. Из пулемета сек…

Ну, что ж, сидим, дожидаем поры: уже никуда не убежишь.

И уже поубивал их, и тогда давай уже брать старших

парубков, мужчин. Повыбирал тех мужчин, и то гнал, то возил там — всяк было.

Поубивал их, тогды давай уже выбираты бабов. Меня тоже туда завезли на возу. Кто не мог идти, кто идет, кто сидит. Я вот уже и не помню, сколько нас душ сидело на возу… И хлопчик мой со мною. И моя мати — уже когда мы подъехали до того кладбища, то думали, что там люди убиты, а то одежа лежала.

Довозит нас — а то одежа, что обдирает… Заставляет нас раздеваться, уже будет убиваты. И то уже раздеваемся… А мне, знаете, моя мати родная говорит: „Просись, дитынонько“.

А мой, знаете, чоловик был в плену в Германии. Дак я говорю:

— Панейку, не бейте меня, мой муж в Германии, в плену. В Германии, говорю, а у меня, вот, и хлопчик…

А он сразу и говорит:

— А письма у тебе е? — Говорю:

— Нема.

— А паспорт у тебя е?

— Е. А у меня, в кармане, был как раз паспорт, взяла… Он мне, тот, что заставлял одежу обдирать, говорит:

— Ты стой, будь задней.

Я и стою. Уже пошла моя сестра замужняя и дивчинка, и мати уходит, еще дивчина была, четырнадцать годов, снова невестка с двумя хлопчиками: одному четыре, другому — два… Они пошли от меня, а я уже думаю: „Как я пойду на ту смерть…“ Я остаюсь одна. Стою я, знаете, одна. Стою и стою. Уже и погнал их, пораздевал их. Я дивлюся так во, как они раздеваются. И пораздевались и пошли туды. Вот так, туды, за кладбище. Он по эту сторону кладбища раздевал, а по ту бил людей, и не было видно тех рвов, там, где я стояла.

А после тот немец говорит мне:

— Иди, сядь на жердях.

А то кладбище обгорожено такими жердями было.

Я пошла, села, взяла того хлопчика, о это напротив той груды, что одежа лежит. Дивлюся: тех подгоняет, те раздеваются, тех отгоняет туды — уже убивать, тех привозит, то пригоняет — во!.. Я так дивлюся, как народ тот распределяется…

И без шапки, только в одних рубашках, рукава засученные. И захватывает тех людей и уже гонит до ямы, стрелять… Немцы в одних фабричных рубашках и без шапки — гэть! С пистолетами. Я сама видала. И горилку пили, знаете, и горилку пили! По чекушке берет, из кармана вынимает, чекушку расколыхае и глотком — разом… Он, наверно, затем, чтоб смелость была…

Я так, знаете, сижу, сижу… А после четыре немца, во такие

пузатые, мордастые, в погонах, с козырьками. Стали надо мной и что-то, знаете, погергетали, погергетали один одному и пошли от меня. Пошли. Ничего не сказали…

Моего мужа два брата погибло и отец. И у меня, знаете, родни убили: два брата, батька и мати, и у одного брата двое детей, и у другого двое детей, и сестра замужняя, дивчина… Вот уже я сейчас посчитаю, сколько душ…

Вы знаете, и забыла, сколько душ… Два брата… Пятнадцать из моего роду погибло, из чоловикова — тоже погибло два брата и батька, а мати и бабушка остались. И я во, и хлопчик…»

Эти мирные люди, оказавшиеся перед дулами автоматов, искали выхода. Своих родных, которые попали в немецкий плен из польского войска, они выдавали за людей, которые как будто находятся на работе в Германии. И иногда этот прием срабатывал. Разъяренные повальным убийством, каратели вдруг отпускали кого-нибудь. Очевидно, чтоб показать и убедиться, что и они — «фюреры», «боги».

Кстати, муж Евхимы Парфеновны Баланцевич, узнав о жуткой судьбе семьи и деревни, рискнул удрать из плена и, удрав, сотрудничал с партизанами, а потом вступил в ряды Советской Армии и погиб героической смертью в борьбе с гитлеровцами.

Агапе Сергиевич было в то время под сорок, и у нее было трое детей. Изо всех уцелевших она наиболее полно воплощает тот тип крестьянки из глухой полесской деревни, который сложился здесь за века. Безобидность и сверхпростота таких людей, как говорят, написана у них на лице, звучит в голосе, в каждом слове.

Агапа Сергиевич говорит:

«…Я была в хате. И старик так пришел, — у нас конь был, — пришел и говорит:

— Немцы коней берут. — Говорю:

— Бери копя и утекай. Что коней берут, то это ничего.

Он взял того коня и поехал в Купчее, на Украину. Это недалеко, за болотом. Ну, а я была в хате, у меня еще дочка е, тогда было два года, на руках была. Ну, пришли ко мне, десятник и говорит:

— Собирайся на сходку.

А я сроду не ходила на ту их сходку. Я и не можу ходыты, и не люблю по такому ходыты. Ну, пристали — идти!..

Вижу — все люди идут, все село. Я подхожу туда. Там во наш лес был. У меня сосед был, я говорю:

— Знаете, что этакое дело, что немцы так сгоняют, а може,

убивать будут?

А он говорит:

— И чего ты не выдумаешь! А за что тебя будут убивать?

Нехай будет так.

Идут селом, идут, идут, аж то в огород загоняют. Гляжу: все люди в селе уже на коленях. Все на коленях! Говорю так:

— А что? Что я говорила? Так оно и е…

Ну, и огородом гнали. И партиями гнали на кладбище. Партиями. У меня дивчинка была на руках, ну, и зашла я на кладбище. Уже каждая партия берет свою родню, и уже обнимаются, и уже пулеметы стоят, и трещат, трещат… Я уже раздеваюся…

Вопрос: — Приказали раздеваться?

— Ну, конечно. Така во куча была одежи людячей… Я даже не знаю, куда она подевалась. И така во куча была бутылок: только пьют и бьют, пьют и бьют!..

Ну, думаю, уже все. Мне ничего… Только мой хлопец остался, тот, что скотину пас, и другой, еще меньшенький, остался. Думаю: „С голоду сгинут, с голоду“. Какой-то немец такой, я не знаю… Он, може, русский… Я стала просить:

— Ох, говорю, панейко, пустите меня, у меня два хлопчики дома остались, пустите меня.

— А где твой старик? Говорю:

— На мостах.

Тогда люди мосты делали. А он на мостах не был. Только коня повел. А он говорит:

— Мы-то пустим, а чи ты придешь?

— Приду.

И он дал мне патруля, я в село, зашла в село и говорю:

— Там мой хлопчик остался, с голоду помре, пойду заберу, нехай лучше убьют.

А потом меня опять загнали на кладбище, а с кладбища бежит тот, что меня отпустил. И говорит:

— Что, своего мужа ведете?

Я говорю:

— Не, он далеко, на мостах…

Я опять пошла в село и там замоталась. И уже людей сталы добиваты. А я утекла. И все…»

Обер-лейтенант Мюллер, исполняющий обязанности командира роты убийц, изложил результаты этих событий бухгалтерским языком:

«Привожу, — пишет он в отчете, — численный итог расстрелов. Расстреляно 705 чел., из них мужчин — 203, женщин

— 372, детей — 130.

…При проведении операции в Борках было израсходовано: винтовочных патронов — 786 шт., патронов для автоматов — 2496 шт.

Потерь в роте не было. Один вахмистр с подозрением на желтуху отправлен в госпиталь в Брест»[101].

Правда, непредусмотренная неожиданность произошла, которая должна была и обер-убийцу Мюллера вывести из равновесия.

В его свору как-то попал человек… Не очень, может быть, и человек, если оказался там, а все же — не выдержал он бесчеловечной «работы»…

Послушаем продолжение рассказа **Марии Лихван**, которую мы оставили с детьми на страшном старостином огороде, среди старых мужчин, среди женщин и детей, под присмотром карателей. Она рассказывает:

«…Ах, то выходит один, може, переводчик. Говорит:

— Марья Лихван есть?

Моя суседка говорит: „Панейку, я Марья Лихван“. Та говорит: „Я Марья Лихван“. А я все думаю: „Нехай. Он меня вызывае — будет убивать…“

Выхожу я и две дивчинки со мною, а та, еще с 1940 года, то ее моего чоловика мати взяла на руки, и хлопчик со мною. Так и идем мы. Идем, а он так во взял мою свекруху за плечи и назад отпихивает. А я говорю:

— Пан, это матка моя и цурка моя!

— Ё, ё.

А тех, что понабегали, то зараз немцы прикладамы их, и назад отогнали.

Ну, выходим, выходим мы, думаю: „О, господи, чого ж мы?“

А то пришли уже из того, левого села, ну, и мого чоловика сестра пришла, со своим свекром пришла. Мого чоловика сестры сын был у немцев, в Неметчине, в плену был.

Вопрос: — Из польского войска?

— Ага.

И они стали просить, что такие и такие. Они списали на бумажку, и то нас во вызывали, мы вышли. И я говорю:

— Ну что ж, как я вышла? Вышла с детьми, такие дети. Ну, что я сама?.. Чтоб чоловика, говорю. То нехай меня уже бьют.

А мого чоловика сестры свекор говорит:

— Стойте, будем просить, чтоб твого чоловика вызвали.

Подошли мы до нимцив. Говорит:

— В которую очередь забрали?

— В первую.

— У-ут! Юж[102] далеко на работе.

Уже он убитый был. Мой чоловик. Вот.

И взяли нас, и завели. Там у меня был двоюродный брат, его тоже тогда расстреляли… Завели до той хаты, пустили меня, четверо тех детей. Я плачу в той хате.

Вот свекор мой остался. Кто остался, того больше не пустили. Говорит:

— Не плачь, не плачь, твой Игнат остался, утек он. Мы видели, что утекал он.

— Де ж он утек, — говорю я, — коли я знаю, что он же не утек.

И вот там мы сидели. И такие были немцы, что и там были. Пришли до хаты, пришли и спрашивают:

— Чего она так плаче?

Взял мою дивчинку, что с сорокового, и притулил до себя и дал конфету. И так плаче, плаче, плаче…

А одын чоловик наш, борковский, немного знал по-немецки говорить. Говорит:

— А вот женщина осталась, остались дети, как бобы один другого не подымет, а мужа убили.

И так тот немец плачет. Посидит, посидит и опять на двор выйдет. Как станугь уже там стрелять, опять в хату придет. Чи то не немец, може? Чи то я не знаю, что это такое…

Вопрос: — А он с оружием был?

— Не, у него не было оружия.

Вопрос: — А форма немецкая?

— Нимэцька, нимэцька.

И вот мы сидели, долго сидели. Уже сонечко так заходит…

…Мы скотину, коров гнали в Мокраны, то так во было, как сказать, — еще кровь шла, еще не закопаны были…»

Простая женщина, несмотря на смертельный страх и личное горе, все же заметила тогда и запомнила на всю жизнь одно человеческое проявление среди озверевших убийц. Про того расплакавшегося немца вспоминает также **Евхима Баланцевич**.

«…Один немец зашел до хаты и заламывал на себе руки. Я видела сама. Так поглядит на тот народ, так во покачает головой, отвернется и платочком утирался. И все видели — те, что и убитые потом люди. Говорят: „Дывысь, як плаче…“ И он не выстоял, вышел в Старостины сени и упал, сам упал. И тогда, как увидели его, сразу увезли.

Вопрос: — На подводе?

— Нет, легковою его увезли…»

Соврал в отчете обер-лейтенант Мюллер, — оказывается, не по подозрению на желтуху был отправлен в Брест один его подчиненный. Впрочем, и солгал Мюллер без особого риска. Наивысший его начальник, Гиммлер, настаивал на том, чтобы проявления человечности называть — слабостями, значит — недомоганиями. Выступая на совещании обергруппенфюреров СС оккупированных восточных земель в Познани, 4 октября 1943 года, Гиммлер хвастался сам и хвалил своих подручных за то, что они излечились от совести, как от человеческой слабости. Гиммлер говорил именно о таких голлингах, мюллерах, касперах, пельсах:

«Большинство из нас должно знать, как выглядят 100 трупов, лежащих в ряд, или 500, или 1000. Выдерживать все это до конца и в то же время, — за исключением отдельных фактов проявления человеческой слабости, — оставаться порядочными людьми, вот, что закаляло нас»[103].

7

Республика «самых безобидных славян», как вначале считали «планировщики» народных судеб в фашистском Берлине, показала себя страной всенародного партизанского движения Почти полумиллионная вооруженная армия народных мстителей Белоруссии вместе с партизанами других республик создала настоящий «второй фронт» в тылу немецкой армии. Чтобы справиться с этим гневом народным, с пламенем всенародной войны, у фашистов силы уже не было, и чем дальше, тем меньше ее оставалось, той силы. Зато злобы, лютости, действительно, накапливалось все больше. Злобы на всех, кто оказался более сильным, чем это «планировалось» фашистским рейхом, кто не хотел ни «переселяться», ни «выселяться», ни становиться покорным рабом оккупанта. Их злоба тоже убивала — самых мирных, беззащитных. Продолжалось уничтожение населения в деревнях и городах, превращение в зоны пустыни целых районов — особенно на Витебщине, на севере Минской области… Фашистские теоретики «обезлюживания» превратились в слуг того «плана», который сами же и придумали. Но и сумасшествие политическое возникает не само собой, а на определенной почве.

Еще в двадцатые годы начал подбирать и дрессировать себе кадры политических авантюристов, погромщиков, насильников истеричный агитатор из баварских пивных, ефрейтор первой мировой войны Адольф Гитлер. Он вынюхал в немецком мещанстве мстительный дух реваншизма, а в военной касте — спесивую воинственность. В среде промышленников и финансовых воротил, напуганных призраком «красной революции», он увидел экономическую силу, которая готова его поддержать и будет финансировать подготовку к агрессии. Соединить в один кулак нацистской диктатуры все эти силы и ринуться на завоевание «жизненного пространства» на востоке — так нахально и грубо изложил политический авантюрист свою программу и «обосновал» ее звериными принципами борьбы за существование и естественного отбора: «В борьбе вижу предназначение каждого существа»[104]. «Сила — это первейшее право»[105]. «Капиталисты выдвинулись вперед благодаря своим способностям и по принципу отбора, что еще раз доказывает превосходство их расы; они имеют право руководить другими»[106].

Гитлер строил свои планы не на одной взбалмошной крикливости. Разбойничьи доктрины подкреплялись у него политическим террором, он сколотил военизированные отряды

нацистской партии СА и СС, дал им задание овладеть улицей, а через улицы и площади прокладывал путь к власти.

Избранных в партийный аппарат Гитлер возвышал до небес, ставил над людьми, называл «рыцарским орденом вождей». Претенденту на фюрерство достаточно было освободиться от человеческой совести, признать грубую силу законом жизни, научиться слепо подчиняться приказам более сильного, не сомневаться, не критиковать, чтобы быть зачисленным в касту вождей и попасть на должность микрофюрера в каком-нибудь из районов оккупированных земель.

Сначала, когда Гитлер только начинал политическую авантюру, он выше всего ценил в своих сообщниках разбойничью инициативу, наглость, советовал сделать своим девизом: «если ты не немец, я размозжу тебе голову». А уже в тридцатые годы, когда он подошел к решающему шагу — захвату власти, — он взял своих подручных на цепь, потребовал слепого послушания: «Каждый член партии должен делать то, что говорит фюрер. Фюрер — воплощение идеи, и только он знает ее конечную цель»[107].

И тут уже «система», которую богачи вызвали к жизни, финансировали, которой помогали укрепиться, приобрела определенную самостоятельность, превращая и хозяев в своих слуг, в винтики ужасной тоталитарной машины: после коммунистов, социал-демократов, представителей научной и творческой интеллигенции, уничтоженных или загнанных за колючую проволоку, фашистская машина с такой же беспощадностью начала дробить кости всякому, кто хотел бы сберечь свою личную независимость, самостоятельность.

Напористо и планомерно создавали нацисты культ силы. Власть для них была идеалом, какой-то особой формой собственности, особой ценностью. Приобщение к власти, распределение власти и употребление ее регулировалось специальными ритуалами.

Ритуал господства — это массовые зрелища, митинги, погромы, оргии, во время которых Гитлер и его клика публично обжирались властью, заражая властоманией обывателей, превращая мелких мещан в агрессивных авантюристов. По мере того как опыт господства болезненно разрастался, фашистская орда бросила клич к международному разбою — аншлюс Австрии, оккупация Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции и т. д. Все это новые залежи власти, новые сеансы владычества. При этом они готовили немецкого буржуа и обывателя к главному акту — агрессии против СССР.

Недавние сапожники, колбасники, пивовары, лавочники, канцеляристы — стандартная буржуазная мелюзга, городские и сельские люмпены, прошедшие обработку нацизмом, слепли и глохли от блеска и бряцания атрибутов неограниченной власти, которыми наделили их сподвижники фюрера, посылая наводить «новый порядок» на оккупированных советских землях. У этих микрофюреров глаза заволакивались бумажными бельмами, на которых были только слова приказов и директив. У этих марионеток выросли бумажные уши, через которые не проникали другие слова, кроме приказов фюрера. Фюрер назвал этот, перевернутый вверх дном, мир началом нового мира, «новым порядком» в Европе. Обработанный ядом нацизма, обыватель на должности микрофюрера слепо верил в это и продолжал разрушение основ цивилизации, сеял насилие, бессмысленную жестокость, ужас и смерть.

И хоть гитлеровская военная машина после Сталинграда и особенно после Курска уже безнадежно катилась к границам Германии, «план» висел над башкой не толь ко этих мелких, но и самых крупных «фюреров». На сколько они были даже «удивлены», что не все идет щ их планам, показывают свидетельства, признания гитлеровских генералов-«мемуаристов» (Гудериана. Типпельскирха и др.).

Вот что написано в мемуарах одного из главарей секретной службы Гитлера — в книге Вальтера Шелленберга «Говорит шеф нацистской контрразведки», изданной в Париже в 1957 году:

«Если полученная информация не соответствовала их собственным концепциям, они просто отбрасывали ее. Что же касается высшего руководства, то здесь дело обстояло еще хуже. Так, например, до конца 1944 года Гитлер игнорировал любые неблагоприятные сведения, даже если они имели в своей основе реальные факты или просто здравый смысл»[108].

Гитлер, например, почти до самого конца никак не верил, что есть, существует могучая Советская Армия, которая гонит немцев на запад. Он же ее уничтожил еще летом 1941 года, и даже объявил об этом всему миру. А раз объявил — так оно и есть. В свои слова такие диктаторы верят, как в дело окончательное и необратимое. Нет, во всем генералы виноваты, их бездарность и измена, потому что не могут же, действительно, «эти русские» гнать «его» солдат, «его» армию, тем более что Советской Армии фактически уже нет!

«Логика» маньяка стала государственным мышлением фашистской империи, и неудивительно, что и сподвижники Гитлера рассуждали и действовали в том же направлении. Когда дело, например, касалось партизан да и вообще всей ситуации на

оккупированных землях.

Летом 1943 года Гиммлер разослал начальнику карательных групп, высшим начальникам СС и полиции Украины, а также «срединной России» приказ Гитлера о том, что «области северной Украины и срединной России должны быть очищены от всякого населения». Здесь имелось в виду и белорусское Полесье, которое немцы включили в «рейхскомиссариат Украины».

«Срединной России» у немцев уже фактически не было, а Полесье еще надо было заново отвоевать у партизан, чтоб приступить к исполнению этого очередного людоедского приказа, однако приказ написан, и фюреры ждут, что какие-то силы выполнят его точно. Были же силы для этого совсем недавно, и маньяки-убийцы никак не верят, что уже нет прежнего!

Через каких-то десять дней Гиммлер гневно повторяет свой приказ — потому что в «машине» что-то испортилось, не точно работают ее звенья и «винтики-люди». И снова бывший агроном Гиммлер излагает свои (и своего фюрера) идеи о борьбе с партизанами… с помощью кок-сагыза. Но прежде всего — планы мести населению, которое все еще живет и собирается пережить и «планы» гитлеровского Берлина, и самих авторов всех этих людоедских приказов и расчетов.

«*Рейхсфюрер СС Оперативное управление, 20 июля 1943, № 39(168)43*

СЕКРЕТНО

1. Начальнику полиции безопасности и СД
2. Начальнику карательных групп по борьбе с бандами
3. Высшему начальнику СС и полиции срединной России (Rußland-Mitte)
4. Высшему начальнику СС и полиции южной России (Rußland-Süd)
5. Начальнику главного хозяйственного и управленческого отдела СС

Некоторое время тому назад я издал приказ о том, что на востоке должны быть оборудованы лагеря, в которых мы будем воспитывать детей эвакуированного бандитского населения, делать из них пригодных для работы людей, которые впоследствии будут представлять из себя хорошую рабочую силу для немецкого народа. Как мне кажется, решение этого вопроса не очень

подвигается вперед. Вместе с тем я получаю от начальника полиции безопасности и СД от 10.7.1943 г. предложение об изолированном содержании жен бандитов вместе с их детьми в специальном лагере Травники. Это предложение, на мой взгляд, не является решением проблемы.

Я прошу соответствующих начальников главных управлений и обергруппенфюреров СС вместе обсудить и провести в жизнь следующее изданное мною распоряжение.

Фюрер приказал, чтобы **бандитские территории** северной Украины и срединной России были окончательно и без остатка очищены от населения. Это должно быть сделано на протяжении следующих четырех месяцев. В будущем эти территории прочно остаются недоступными для заселения бандитами, потому что там они не будут иметь ничего для проживания — ни укрытия, ни пищевых продуктов. С другой стороны, я думаю, что мы не должны оставлять эти территории неосвоенными — в смысле получения пушнины и использования земли. Представляю себе прежде всего две возможности:

1. С силами, достаточными для поддержания безопасности, мы занимаем на несколько недель ту или иную территорию. Вместе с нами прибывает персонал лесного управления, а с ним — лесоразработчики. В течение этих недель проводится вырубка в охраняемых лесах, и, что, может, самое лучшее, древесина вывозится на низкорослых русских лошадях: или на железную дорогу, или, если стоит лето, к водным путям, по которым она будет сплавляться.

2. На землях, которые окажутся пригодными, мы начнем выращивание кок-сагыза или других растений, которые нам могут понадобиться, которые, однако, не употребляются людьми в пищу. Я имею в виду, например, коноплю (не лен), другие масличные культуры или разведение вербы для плетения корзин под снаряды. Возможно, найдутся и некоторые другие такого рода растения. Однако прежде всего я думаю о выращивании, при наличии хорошей земли, кок-сагыза. В этом смысле здесь можно было бы прибегнуть к способу действия, как при использовании лесов для получения древесины.

При выращивании этих культур я не боюсь

разрушений от рук бандитов, потому что даже большое количество людей, которые тем не менее очутились бы на лишенной продуктов питания территории, могли бы уничтожить посевные площади только вытравливанием растений, перепахиванием или вытаптыванием. А это вообще очень сложное дело, и оно могло бы быть легко обнаружено и пресечено контрольными облетами.

В те дни, когда для обработки почвы или сбора урожая потребуется много рабочей силы, территория занимается нами и туда ввозятся женщины и дети для выполнения сельскохозяйственных работ.

Поэтому я считаю целесообразным, чтобы жены бандитов и все собранные дети были расселены в деревнях на окраинах бандитских территории и заняты там полезным делом: например, плетением корзин и тому подобным. Они должны, однако, получать рацион продуктов питания, достаточный только на несколько дней, и им не должны выделяться никакие сельскохозяйственные угодья в размерах, превышающих необходимое для пропитания самих себя и детей. Во время сбора урожая должно быть уделено внимание тому, чтобы все собранное складывалось нами в безопасных местах, чтобы банды никоим образом не могли питаться за счет разворовывания продуктов или их разграбления. С другой стороны, достаточное дневное питание рабочих путем выдачи им дневного рациона должно проводиться исключительно по русской аккордной и стахановской системе.

Я надеюсь, что группенфюрер СС Глобочник проведет эту работу как самую первоочередную в срединной России.

Г. Гиммлер

Оберштурмбанфюрер СС»[109]

То, что раньше и совсем недавно выглядело зловеще, все больше превращается в суетню разъяренных и перепуганных крыс, которых вот-вот настигнет расплата. Все меньше у фашистских карателей возможности мстить населению оккупированных земель. Тем более — думать об «окончательном урегулировании».

И тем не менее они продолжают реализовать тот первоначальный план «Ост». Рушатся военные стратегические и тактические планы, надежды на победу в войне, на скорое мировое господство, на тысячелетний «третий рейх», а они вон

как стараются убить… ну, хотя бы одного еще ребенка — русского, белорусского, украинского, польского…

Что тут — автоматизм некоего бездумного, жуткого механизма?

Нет, не только.

В каких-то штабах и в чьих-то мозгах все это имело вполне «рациональный» смысл, служило плану еще более глобальному.

Пангерманизм, — а гитлеризм, нацизм можно рассматривать как особенно зловещий этап в развитии и притязаниях давнего пангерманизма, — всегда исповедовал следующее: даже проигрывая войну, нанести как можно больший ущерб сопредельным странам, народам. Особенно — их «биологическому потенциалу». Чтобы в «следующий раз» их было меньше, а немцев больше..

Один из пангерманистов, Клаус Вагнер, еще в 1906 году в своей книге «Война» проповедовал:

«Давайте смело организуем массовое насильственное переселение европейских народов. Потомство нам будет благодарно. Необходимо будет прибегнуть к мерам принуждения. Эти народы надо загнать в резервации, где мы будем держать их изолированными, с тем, чтобы мы могли получить пространство, необходимое для нашей экспансии»[110].

Голос, интонации, фразеология — вполне розенберговские…

Или вот еще — из выступления другого пангерманиста, Генриха Класса, вещавшего в 1913 году:

«Мы должны закрыть наши сердца для жалости…

…Малые страны, вроде Голландии и Бельгии, утратили свое право на существование…

Мы должны проводить агрессивную политику. Франция должна быть сокрушена раз и навсегда. Да будет война для нас священна. Мы должны приветствовать ее как врачевателя нашей души…

Мы ожидаем фюрера! Терпение, терпение, он появится»[111].

А в 1943 году — уже от имени того терпеливо ожидаемого фюрера — фельдмаршал фон Рунштедт учил слушателей Берлинской военной академии:

«Уничтожение соседних народов и их богатств совершенно необходимо для нашей победы. Одна из серьезных ошибок 1916 года состояла в том, что мы пощадили жизнь гражданского населения враждебных стран, ибо необходимо, чтобы немцы всегда по крайней мере вдвое превосходили по численности народы сопредельных стран. Поэтому мы обязаны уничтожить по крайней мере треть их обитателей…»[112].

А потому, даже проиграв фактически войну, они еще убивали

— женщин, детей… Еще хотя бы одного русского, белорусского, украинского, польского ребенка… И автоматизм в этом — кошмарный автоматизм фашистской машины уничтожения. В каждом отдельном случае. А в целом — снова план, снова расчет на отдаленное будущее.

И когда власть их жестокости, сумасшествия сузилась до собственно немецкой территории, тот самый «план» их повернулся уже против немецкого населения. Не убивать, не вешать, не топить и не жечь они не могут — это их форма существования. И не только мысли о том, чтобы спастись или чтобы протянуть еще месяц, неделю, час, а вот эта их природа убийц проявлялась в том, что и Германию они готовы были, хотели и старались превратить «в зону пустыни». Других земель для такой «работы» у них уже не осталось.

«Фюрер немецкого народа», издыхая, так отблагодарил Германию:

«Если война будет проиграна, пусть погибнет и немецкий народ. Такая судьба неотвратима. Нечего задумываться над основами самого примитивного прозябания. Наоборот, лучше самим уничтожить эти основы, к тому же своими собственными руками. Народ оказался слабым, будущее принадлежит более сильному восточному народу. Кроме того, те, что останутся после воины, представляют незначительную ценность, все лучшие погибли»[113].

И приказал — последний раз бешеный укусил — затопить водами Шпрее тысячи немецких женщин, детей, что спасались в берлинском метро…

И это был для фашизма вполне логический конец, результат. «Фюреры» клялись интересами немецкого населения, и все, что делали, все зверства свои клали на «алтарь» все тех же «интересов немца». Потому что его руками все и делали. Однако не вытянул он их кровавую колесницу из той пропасти, в которой они очутились. — Не получилось всемирного господства «новой касты». Тогда — пристрелить и его, немца, убить и немецкий народ — как загнанного коня убивают. Не нужен. Отомстить и ему за то, что они, «фюреры», издохнут, а немецкий народ останется жить. Геббельс так верещал перед самым концом:

«Немецкий народ заслужил участь, которая теперь его ожидает… Но не предавайтесь иллюзиям: я никого не принуждал быть моим сотрудником, так же, как мы не принуждали немецкий народ… Теперь вам перережут глотки… Но если нам суждено уйти, то пусть тогда весь мир содрогнется»[114].

Вот что такое Хатынь, что такое белорусские Хатыни! Как и Лидице, Орадур, они — символ нацистских зверств. Но и что-то

большее. Это уже — настоящий оскал фашизма, который от многих стран Европы до времени был скрыт.

Белорусские Хатыни — это нечто настолько зловещее, что людям планеты нелегко до конца осмыслить и до конца почувствовать даже после освенцимов и бухенвальдов. Белорусские Хатыни — это та реальность, практика, которую фашизм готовил целым странам и континентам, однако широко начать успел только здесь.

Огромными жертвами советский народ заплатил за то, чтобы мир, чтобы другие народы не испытали того же, не познали сотен и тысяч Хатыней. Своими Хатынями заплатил.

Это должны понимать, знать те, кто приезжает, приходит сюда — в Хатынь. Об этом немо кричит резкая, темная фигура старика с таким каменным и таким мягким телом мертвого мальчика на руках, об этом кричат названия бывших деревень на страшном «кладбище деревень» — единственном на Земле.

В книге использованы фотоматериалы времен Великой Отечественной войны — из Государственного центрального белорусского архива кинофотофонодокументов, из фондов Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, а также из следующих изданий:

· Der Zweite Weltkrieg Ein Chronik in Bildern von Heinz Bergschicker. Deutscher Militerverlag.

· Walka (Kronika walki Armii Ludowej). Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, 1963.

· Stalingrad. Eine Chronik in Bildern von Heinz Bergschicker. Verlag der Nation. Berlin.

notes

Примечания

1

Куб *(диал.)* — чтоб, кабы.

2

Ниц *(польск.)* — ничего.

З

Зара *(диал.)* — сейчас.

4

Свастика.

5

«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, стр. 104.

Там же, стр. 105.

7

Там же, стр. 122.

8

Там же, стр. 396.

9

Johannes Leeb. Der Nürnberger Prozeß. Bilanz der Tausend Jahre. Kiepenheuer und Witsch, Köln — Berlin, стр. 418–419.

10

«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия Фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М, «Наука», 1967, стр. 115.

11

Городской поселок Октябрьский.

Сарач *(диал.)* — наст.

13

Вярчыце вярчэ! *(диал.)* — крутите жгуты.

14

Весной 1942 года на Октябрьщипе были словацкие части. Но вскоре немцы их убрали, увидев, что словаки переходят на сторону партизан.

15

См. главу «Свыше десяти».

16

См. главу «Збышин».

17

См. главу «Тридцатый».

Байня *(диал.)* — баня.

19

Прогон, дорога для скота.

Ниц нема *(польск.)* — ничего нет.

21

Лёус *(искаж. нем. Los!)* — пошел вон.

22

Житель Западной Белоруссии.

23

Суша — соседняя деревня. *См.* главу «Две старости».

«Sarkanais arājs» *(латышск.)* — «Красный пахарь».

25

Бывшее Кобылево.

26

Партизанское движение *(бел., разг.)*.

27

Фарзухан *(искаж. нем. versuchen)* — попытаться, здесь — искать.

Чашник *(диал.)* — шафер.

Калі ласка *(бел.)* — пожалуйста.

Ёвня *(бел.)* — овин.

31

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. М., Издательство юридической литературы, т. I, 1955, стр. 518.

32

«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М. «Наука», 1967, стр. 515.

33

«Преступные цели — преступные средства». Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). М., 1963, стр. 45.

34

Петриковский район Гомельской области.

35

Die Familie *(нем.)* — семья.

36

Еврейский религиозный праздник. По обычаю в этот день все носят друг другу подарки.

37

Пусть идет принесет.

— Будут ли свободные квартиры для ночлега?
— Будут.

39

Сергей Осипович Притыцкий (1913–1971) — прославлеиный западнобелорусский подпольщик, затем партийный и государственный деятель.

Где муж? *(польск.)*.

Вшистки *(искаж. польск.)* — все.

Цмэнтаж *(польск.)* — кладбище.

Моглицы *(бел. диал.)* — кладбище.

44

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. Минек, «Беларусь», 1965, стр. 278–279.

45

Там же, стр. 43

Там же, стр. 43

47

Там же, стр. 66

Там же, стр. 71

Так иронически называли власовцев.

Купель *(диал.)* — небольшой пруд.

51

Кресало.

Шула *(бел.)* — столб, верея.

53

Белорусская народная песня.

См. главу «…Тяжело мне было под землей».

55

Biuletyn Glownej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce, № XIV, Warszawa, 1963, стр. 141.

«Zycie Literackle», Krakow, 4.III.1973.

Руки *(искаж. польск.)*.

«Дружба народов», № 9, 1973, стр. 218.

59

Рассказ Марии Кот приводится по двум, сделанным в разное время, магнитофонным записям.

Малые Прусы.

61

В Западную Белоруссию.

Так называли изменников из числа бывших военнопленных.

63

Племянник *(укр.)*.

Итоги второй мировой войны. Сборник статей. К. Г. Пфеффер «Немцы и другие народы». М., 1957, стр. 507.

Roger Manvell, Heinrich Fraenkel. Goebbeis. Warszawa, «Czytelnik», 1972, стр. 173.

Там же, стр. 173.

67

Вацлав Краль. Преступление против Европы. М., «Мысль», 1968, стр 13.

Раманоўскі В. Супраць фальсіфікацыі гісторыі савецкага партызанскага руху. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962, стр. 54–55.

«Литературная Россия», 1972, 22 дек., № 52.

Нюрнбергский процесс, т. II, стр. 905.

71

Шоссе.

Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Т. 2, М., «Наука», 1973, стр. 30–35.

Там же, стр. 36–37.

Там же, стр. 37.

75

Allan Bullock. Hitler. Studium tyranii. Warszawa, «Czytelnik», 1970, т. III, стр. 109.

Там же, стр. 124.

77

Итоги второй мировой войны, стр. 507.

Раманоўскі В. Саўдзельнікі ў злачынствах. Мінск, «Беларусь», 1964, стр. 124.

Солтыс *(польск.)* — сельский староста

80

См. главу «Я тоже из огненной…».

81

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944, стр. 50–51.

Там же, стр. 46.

83

Там же, стр. 46.

Там же, стр. 47.

Там же, стр. 50.

86

Erich Hesse. Der Sowjetrussische Partisanenkrieg 1941 bis 1944 im Spiegel deutscher Kampfanweisungen und Befehle. Musterschmidt Verlag. Göttingen, 1969, стр. 30.

87

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944, стр. 52.

88

Фотокопия из архива Glownej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. *(Перевод с немецкого языка.)*

89

Партархив Института истории партии при ЦК КПБ, ф. 4, вып. 33а, с. 222, л 12.

Нюрнбергский процесс, т. II, стр. 908.

91

Вацлав Краль. Преступление против Европы, стр. 13.

92

Фотокопия из архива Glownej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. *(Перевод с немецкого языка.)*

93

«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, стр. 116.

Johannes Leeb. Der Nürnberger Prozeß. Bilanz der Tausend Jahre, стр. 418–419.

Везде, повсюду *(укр.)*.

Немного *(бел.)*.

Дочка *(польск.)*.

Красивая *(польск.)*.

99

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944, стр. 48–49.

100

Возьми свою одежду.

101

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944, стр. 49.

Уже *(польск.)*.

103

Нюрнбергский процесс, т. II, стр 833.

Allan Bullock. Hitler. Studium tyranii, т. III, стр. 13.

105

Там же, т. II, стр. 177.

Там же, т. I, стр. 185.

107

Там же, т. I, стр. 184.

108

Walter Schellenberg. Le chef du contreesptonnage hare parle. Rene Julliard, Paris, 1957, стр. 101.

109

Фотокопия из архива Glownej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. *(Перевод с немецкого языка.)*

110

Альберт Кан. Заговор против мира. Издательство иностранной литературы. М., 1961, стр. 94–95.

111

Там же, стр. 95.

112

Там же, стр. 118.

113

Allan Bullock. Hitler. Studium tyranii, т. III, стр. 256.

114

«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука». 1967, стр 558.